ISSN 0130 – 6545

9. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

«ТВ»

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Прыжок над Кройцбергом
Безработный в парке

Цветные иллюстрации номера — работы Моники Зивекинг (Западный Берлин)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 сентябрь 1988

Содержание

ЖОАН УБАЛДО РИБЕЙРО — Сержант Жетулио *(Роман. Перевод с португальского Л. Новиковой. Вступление Жоржи Амаду)* 3

НГУЕН БИНЬ — Стихи *(Перевод с вьетнамского и вступление Ильи Фонякова)* 73

УМБЕРТО ЭКО — Имя розы *(Роман. Перевод с итальянского Е. Костюкович. Продолжение)* 81

Литературное наследие

ДЖОН ДОНН — Четыре стихотворения *(Перевод с английского Иосифа Бродского. Послесловие Вячеслава Иванова)* 176

ИОСИФ БРОДСКИЙ — Большая элегия. Джону Донну 182

Публицистика

Б. Й. ЖЕЛИЦКИ — Уроки современной трагедии *(Заметки историка)* 186

ПЕТЕР ШЮТТ — Поездка в Иран *(Главы из книги. Перевод с немецкого В. Брун-Цехового. Окончание)* 192

Культура и современность

Кобо Абэ — Запад — Восток: встреча культур *(Перевод с японского Б. Никольского)* 203

Лоллий Замойский — Делайте вашу игру, литераторы от бизнеса! 205

Письма из-за рубежа

ЙОЗЕФ НЕСВАДБА — Вновь позывные Москвы... *(Перевод с чешского Т. Н. Осадченко)* 210

Критика

О французской прозе

РОБЕР АНДРЕ — Вчера и сегодня *(Перевод с французского И. Истратовой)* 214

ТАМАРА БАЛАШОВА — ... Сегодня 218

ЖАН-ЛУ ТРАССАР — Гниенье *(Перевод с французского Л. Лунгиной)* 222

Вик. ЕРОФЕЕВ — «Поэта далеко заводит речь...» *(Иосиф Бродский: свобода и одиночество)* 226

Среди книг

Издано в СССР

М. В. Толмачев — Несостоявшееся знакомство *(Микеланджело Буонарроти)* ◆ О. Алякринский — Записки сумасшедшего *(Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом)* ◆ Н. Захарова — Добиться правды благодаря обману *(Шэнь Жун. Деревенская тайна)* 232

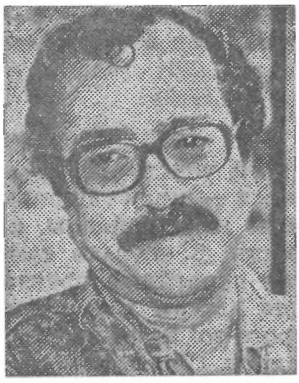
Издано за рубежом

И. Ланин — Банальность как частный случай, или А вы счастливы жить, как живете? *(Дорис Дёрри. Любовь, тоска и вся эта чертова дребедень)* ◆ И. Тогоева — Стойкое деревце Чилоло *(Чикайя У Там'си. Эти нежные плоды хлебного дерева)* ◆ Н. Груздева — Северное сияние для каталонцев *(Литература народов советского Крайнего Севера)* 238

Из месяца в месяц 243

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1988



ЖОАН УБАЛДО РИБЕЙРО

Сержант Жетулио

РОМАН

Перевод с португальского Л. НОВИКОВОЙ

Советским читателям

Годы назад я с чувством глубокого удовлетворения представлял моим соотечественникам роман «Сержант Жетулио» и его автора Жоана Убалдо Рибейро, тогда еще дебютировавшего в бразильской литературе.

Ныне я имею возможность представить этот роман и его автора моим советским друзьям. И должен отметить, что за годы, истекшие со дня появления книги в свет, она выдержала испытание временем, в отличие от многих других произведений не покрывается пылью на полках книжных магазинов и библиотек, по-прежнему привлекает к себе внимание новых и новых читателей, по признанию нашей критики, с полным правом вошла в классику национальной прозы.

Жоан Убалдо Рибейро этим произведением подтвердил свою принадлежность к той части нашего молодого поколения, что обеспокоена судьбами родной страны. На страницах романа живут разные люди — наемные убийцы-жагунсос и полицейские, обездоленные труженики и бессовестные политиканы, во имя собственных корыстных интересов ни во что не ставящие человеческую жизнь, а также солдаты и офицеры, шофер и священник... Живет тут и сержант военной полиции Жетулио Сантос Безерра — живет, мучает и убивает, пока не кончает бесславно свое бесславное существование. Ему, выходцу из низов, ставшему преданным слугой режима, до недавнего времени господствовавшего в нашей стране, слепому исполнителю чужой и подлой воли, дан приказ от всемогущего местного «шефа» противозаконно арестовать и препроводить до означенного пункта политического противника «шефа» — властелина штата. Арестованный подозревается в том, что он «удениста» — член буржуазной партии «Уньан демократика насионал» («Национально-демократический союз»), распущенной после государственного переворота 1964 года. Выполняя приказ, сержант Жетулио своей беспримерной жестокостью, бесчеловечностью, изощренными издевательствами над арестованным по сути пытается скрыть свой животный страх — ведь он отрезал себе все пути к собственному спасению, к возвращению в человеческое общество, хотя долго не осознает, что сам стал жертвой предательства со стороны «шефа», переметнувшегося в другой лагерь. Оказавшись «вне закона», сержант неминуемо идет к гибели...

Роман Жоана Убалдо Рибейро проникнут жестокой, суровой правдой. Это роман-изобличение, он не оставит читателя равнодушным, он вселяет в сердце тревогу, призывает бороться против антинародной реакции. С наибольшим драматизмом, пожалуй, изображена не фигура безымянного арестованного, уже едва живого, почти полностью сломленного морально и физически, но все же сохранившего в себе остатки сил, чтобы отвечать молчанием на издевательства садиста, а сержанта Жетулио — олицетворяя собой террористический, репрессивный режим, он обречен на самоуничтожение. Он приговорен историей.

Такую книгу, конечно, мог написать лишь тот, кто лично знал, видел либо пережил времена произвола. Жоану Убалдо Рибейро выпало на долю с ранних лет близко познакомиться с сержантами жетулио, как и с наемными убийцами, с политиканами.

Действие романа развертывается на многострадальной земле северо-востока Бразилии, по пути из штата Сержипи в штат Баия, но произведение отражает наши общенациональные проблемы, более того — проблемы многих латиноамериканских стран. Голод, нищета, бесправие, моральная и духовная отсталость, наконец, гнет латифундистов-феодалов и гнет транснациональных монополий — таковой предстает наша действительность в романе Жоана Убалдо Рибейро, большого мастера нашей литературы, писателя бразильского народа.

Салвадор, Баия

ЖОРЖИ АМАДУ

История эта о том, как сержант Жетулио везет своего пленника из Паулу-Афонсу в Барру-дос-Кокейрос. История прозрения.

I

Последняя капля. Главное — не дать ей упасть. Для человека главное — устоять. А сорвался — пиши пропало: пойдут-полезут всякие несуразицы да неурядицы, и в конце концов обязательно приключится мерзость. В поездке самое главное — беречься женщин-попутчиц. Это мое первейшее правило. От Паулу-Афонсу до места нашего назначения дорога длиннющая, да еще придется тащиться по ней ночами. А дорога-то! Разве это дорога? Чума, а не дорога. Только для телеги и годится. Ехать нам еще... Через Канинде-де-Сан-Франсиску и Монти-Алегри, тот, что в Сержипи, потом от селения Божьей Матери во Славе до селения Божьей Матери во Скорби, а дальше, дальше еще сколько! Сирири, Капела, да мало ли их будет еще на пути, этих забытых богом и чертом дыр. Не сочтешь. Ну хотя бы Маруин — вроде бы город. А на деле — пылища, грязища, сквозь хлопковые плантации не продерешься. Сушь, зверская сушь. Это сертаны, а сертаны — только для двужильных. Лачуги, люди, валящиеся с ног от усталости, красная глина, а по ней ползет кипá, эта бесконечная колючая пакость. И люди и растения из сил выбиваются, чтобы выжить,— все в язвах и наростах. А гадов ядовитых! И муравьи летучие, и ящерки-огневки, и вши змеиные... В этих местах я троих порешил, как раз среди кактусов. Один все никак не хотел падать — видно, колючек боялся. И обрати внимание, Амаро: человеку вот-вот помирать, а он об удобствах думает. Из него кровь хлещет, а он кобенится: ему на тот свет, видите ли, чистеньким отправиться хочется. Пришлось еще одну пулю всадить — в затылок, чтоб уж наверняка. Ну и чертыхался же я тогда: заставил меня тот тип поколесить за ним по этим треклятым зарослям, пыли из-за него наглотался, ботинки новые порвал. Как я уже скáзал: там сплошные колючки, а над ними — стервятники-урубý. Он, правда, моих последних ругательств не слышал — вытянулся и застыл. Обычная, в общем-то, работенка. И до каких мест мне пришлось бы за ним гнаться — до Итапикуру? Или, может, до Витория-да-Конкисты? Конца нет человеческой глупости, жжет она ему пятки, вот и мечется он по белу свету, пытаясь надуть судьбу. А каждому назначен свой час. Теперь лежит там этот подонок с распоротым брюхом — развалился на кактусах, словно на мягком матраце. И все ему нипочем. Кто видел выстрел в затылок, тот знает, что это такое. Короткая судорога по всему телу — и точка. Потом появляются урубу: наказание кончилось, началась уборка. Урубу мгновенно замечает, если кто затих в кустах, и повисает над ним, как нечистый дух. Снижается кругами, и воздух свистит под его огромными крыльями. А потом тяжелыми прыжками приближается к трупу: страшенный, как грешная душа, черный, словно в трауре. Подбежит — отскочит, подбежит — отскочит. Да, видно, нюх у него отличный. Знаешь ли ты, Амаро, что птенцы урубу вылупляются белыми? Потом темнеют и темнеют, пока не станут совсем черными. Да такими, что смотреть на них — с души воротит. Нас тошнит, когда мы на них смотрим, а им, может, отвратно смотреть на нас. Тишина, жуткая тишина давит в тех местах, когда высыхает вся вода, и лишь чудом залетевшие птицы разгребают тину, уцелевшую в руслах рек. Только изредка пощелкивают кастаньетами сухие плоды на кустах да раздаются звуки, похожие на шуршание тростника. Но откуда здесь тростнику взяться, если и болот-то нет! И нет здесь никого, кто не боялся бы урубу. От голода он наглеет, подходит совсем близко к человеку и скачет, скачет, распахнув крылья и разинув клюв. Здесь он единственный хозяин. Виден даже его змеиный язык, слышно, как цара-

пают землю когти, когда он сужает круги вокруг тебя. Будь уверен: сожрет человека по частям в мгновение ока. Вцепится, попятится назад, оторвет кусок и глотает, запрокинув голову,— спокойно, не торопясь. Второй тип, которого я прикончил, сдох почти так же, только с большими удобствами: успел еще и помолиться. Говорят, правда, что он и сам бы загнулся. Его, дескать, укусил ядовитый москит, и он мог отправиться на тот свет в любую минуту, хотя с виду был здоровяк здоровяком. Но ты ведь сам знаешь: кто жрет плоды жаки и глушит дрянную кашасу[1], тот рано или поздно отдаст концы, хотя еще за несколько часов до этого выглядел свеженьким. Сам я, правда, не видел — рассказывали. Я-то никогда не позволял доброму христианину смешивать в моем присутствии то, что смешивать нельзя. Как можно, например, пить воду после того, как пососешь сахарный тростник? Или жевать кокос, если у тебя кашель? Естественная смерть не красит человека. Она медленна и мучительна и вызывает жалость. Гляжу я, как люди бесятся на народных гуляньях, и говорю себе: вот ведь курочки божьи! Потому что люди — что куры в курятнике. Бродит себе курица по двору, разгребает мусор, ищет зернышки. А хозяин тут как тут. Хвать ее за шею, одним махом сбрил ей на зобу перышки, и р-раз! И вот она уже плавает в блюде с уксусом — чтобы кровь не пропадала, еще для подливки пригодится. Так и с человеком: он и не догадывается ни о чем, а господь бог хвать его и голову, как курице, набок. И тут уж выть и плакать бесполезно. Можешь орать: «Святой Лазарь! Святой Киприан!» — никто тебе не поможет. Святым не положено по рангу распоряжаться судьбой человека. И вот уж создание божье, творение рук его, разлагается на составные части. Уденист ли, педесист[2] — кто бы ты ни был, к какой бы партии ни принадлежал — перед смертью все равны. А ты, Амаро, ты-то сам хоть раз видел, как человек дергается в агонии? А, Амаро? Да, я знаю: когда ты ведешь машину, болтать не любишь, с тобой бесполезно говорить. Разве кроме тех случаев, когда ты везешь потаскух. Но мы-то не потаскухи, уж по крайней мере я. Слушай, Амаро! Эй, Амаро! Сволочь ты эдакая! Ты хоть отвечай, когда с тобой разговаривают. Когда-нибудь за твое хамство какой-нибудь верзила вспорет тебе брюхо. Только и хватит тебе времени, чтобы, держась за кишки, пробормотать полмолитвы «спаси-божья-матерь», четвертушку предсмертной исповеди, выбрать местечко в грязи поуютнее и доползти до него. А может, и сдохнешь на полдороге. Эй, Амаро, какой-то вид у тебя сегодня отсутствующий! А ты знаешь, Амаро, что этот тип — арестант, которого мы с тобой сейчас везем,— родом из Мурибеки? Ну и местечко, доложу я тебе: народишко — поголовно идиоты, ничего там нет, ну ничегошеньки. Слушай, Амаро, отвечай мне, пока я не разозлился. Ах, черт!.. Ну и сволочная же дорога! Несчастье прямо-таки. Для того ли я угробил столько народа, чтобы вновь трястись в темноте по этим колдобинам? Конечно, не всегда я приканчивал своих клиентов. Разные случаи — разные лекарства. К примеру, есть у нас в полицейском участке в городишке Фрей-Паулу два здоровенных чана. Так вот, если надо кого проучить, суем ему пустой газовый баллон на пару литров, и давай наполняй эти чаны водой. А хитрость вся в том, что баллон-то этот — ха-ха-ха! — дырявый. Вот и приходится бедняге носиться бегом от колонки с водой к чану. Туда-обратно, туда-обратно, да на бешеной скорости: дырок-то в баллоне много, так что вода, пока он успевает добежать до чана, вся вытекает. Дрыхнуть где придется, а жратва такая, что после нее кишки крутит и понос одолевает. По воскресеньям одна фасоль, а вместо супа грязная водица с листом

[1] Спиртное из сока сахарного тростника. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Педесист — член существовавшей в Бразилии буржуазной политической партии ПДС (Partido Democrático Social — Социал-демократическая партия).

капусты. Брр! Неаппетитно! Такое не для меня. Ну, а если случай потруднее, есть другие методы, которые помогли бы клиенту избавиться от жизни. Например, берешь полфунта сухой соленой рыбы или мясных отбросов — только самых мерзких и, конечно, немытых. Все это запихиваешь ему в пасть и заливаешь стаканом касторки или просто наталкиваешь касторовых шариков. Знаешь, в таких, будто резиновых, облатках? Слушай дальше. Если он обгадится в моем округе — ему конец. И главное, никто ничего не скажет: не могу же я позволить загаживать свою территорию! Бывает, что тип этот успевает удрать, особенно если найдет лошадь. Тогда уж он скачет во весь опор подальше от границы моего прихода и только после этого осмеливается облегчить желудок. Например, если он смылся из Барракана, то под кустом он присядет только в Симан-Диасе. Запакостить мою территорию жидким дерьмом?! Упаси бог! Я делал так не раз, и только по доброте своей душевной, чтобы не применять крайних мер. Ведь наверняка у этого бедолаги есть жена, ребенок; сам хнычет, как малец сопливый. Ну что с ним делать? Однако порядок есть порядок, и его надо уважать, даже если жена этого типа в тот момент рожает. И если сержант не в силах поддерживать порядок, кто же с ним будет считаться? Я вот даже сейчас, хоть и потерял власть, все равно пользуюсь авторитетом. Так что в Аракажу я тебя, арестантская рожа, доставлю, не будь я сержантом Жетулио! И уж когда сдам тебя с рук на руки кому положено, вы увидите, что такое сержант Жетулио. В Аракажу совсем другое дело: там есть друзья, есть где поразвлечься. Не по мне это — возить, как сейчас, клиентов. Устаю я. Как только доставлю вашу милость куда надо, сниму комнатенку, и пошла она к чертям, жизнь эта цыганская. Даже если доктор Зе Антунес будет меня упрашивать, все равно не соглашусь. Осяду, уйду в отставку. До чего горяча в бутылке вода! Но пить можно. Слушай меня, Амаро: никогда не пей воду, если не знаешь, откуда она взялась,— это второй мой закон. Лампиан [1], например, всегда носил в сумке серебряную ложку и любую еду доверял только ей. Если ложка темнела — значит, в еде яд. Ведь от любого яда серебро темнеет, ты разве этого не знаешь? Ну и тут уж, ясное дело, хозяину дома, где он обедал,— крышка. Но если ложка по-прежнему блестела, то Лампиан распахивал свои сундуки и одаривал всех. А взбеситься он мог из-за любого пустяка и всегда заставлял людей присутствовать на своих судах. Скверно, конечно, он поступал, безо всякой идеи народ крошил. А каков результат? Отрезали ему голову в Баие и выставили на обозрение толпе, будто рога особо прославившегося быка. Конечно, он до этого неплохо поиграл в жмурки-салочки с полицейскими всех штатов и оставил по себе память не хуже нашего последнего императора Дона Педру Второго[2]. Люди говорят. Я-то сам Лампиана никогда не видел. Таких типов просто так не угробишь. Эй, Амаро, где мы находимся? Предупреди меня, когда будем подъезжать к Куритибá-Велью,— боюсь нарваться на засаду. Черт бы побрал этих москитов — хуже пекла! Лезут всюду, липнут к лицу, не отдерешь. Сколько же всякой летучей нечисти в Букине, передать невозможно! Да разве Букин — это Бразилия? А Порту-да-Фолья тоже, скажешь, Бразилия? Там ведь полным-полно немцев, которые и говорят по-особому: тянут. Да и Аракажу, и Сокорро, и Баия — все это тоже не Бразилия. Настоящая Бразилия — это наши степи-сертаны... Ты слышал, как говорят баиянцы? Не говорят — поют. Даже противно. Да, хорошо бы сейчас окунуться. Жарища, черепушка рас-

---

[1] Лампиан Виргулино Феррейра да Силва — вожак движения «кангасо» на северо-востоке Бразилии, возникшего в начале 20-х годов. Начавшись как взрыв протеста крестьянских масс против гнета помещиков, кангасо выродилось впоследствии в разбойничьи банды, которые использовались властями в своих целях.

[2] Педру II (1825—1891) — бразильский император, свергнутый в 1889 году, когда в Бразилии была провозглашена республика.

калывается. Да еще эти антихристы крылатые всю физиономию искусали. Нет, Амаро, ухожу на пенсию. Куплю себе домик в Жапаратубе: место тихое, прохладное, городок стоит на речке. Единственный ее недостаток — течет она откуда-то из дикой глухомани, из Мурибеки. Лежи-полеживай да хрусти вареными крабами. Куплю пару молочных коз, поставлю им на уши свое тавро, буду себе отдыхать да в карты резаться. Представляешь, тянучки из козьего молока! Тихая, спокойная жизнь. Ты такой не знаешь, Амаро. За спиной у меня — двадцать покойников, может, и больше. А ведь если на меня со стороны посмотреть, так и не подумаешь, правда? Не был бы я человеком решительным да энергичным, так сидел бы и по сей день где-нибудь в сертане, без славы, без имени, жевал бы с голодухи горькие стручки мукуньи, худой, как бродячий пес. Да такая же голодная жена, да стая ребятишек, да крохи еды на всю эту ораву и на целую неделю. А работать-то где и на чем? У какого-нибудь помещика? Верхом на полудохлом одре собирать его стадо, разметанное засухой по сертану? Или ждать дня святого Иосифа и гадать, будет ли опять засуха? Надеяться на дождь, которого нет и никогда не было... Там если капли и падают когда с неба, то испаряются, не достигая земли,— настолько она раскалена. Огонь. В Жапаратубе не так знойно. Куплю себе бинокль, буду любоваться видами. Очень нравится мне бинокль... Да, больше двадцати покойничков у меня за спиной. Они для меня как девки, с которыми переспал,— всех не упомнишь. Первая женщина, как и первый убитый тобой,— это трудновато, но потом привыкаешь. Главное — не смотреть им в глаза. Конечно, убивать в упор неприятно, к тому же цепляются, рвут на тебе мундир. Я, правда, в мундире не часто на дело хожу, но если уж ты при полной форме, кому понравится, чтобы ее пачкали! Не люблю я, когда у меня во внешнем виде беспорядок. Проклятая дорога! А может быть, Амаро, мне лучше купить где-нибудь в укромном местечке кусок земли да развести огород? Буду сажать маниоку... Вот ведь интересно получается: все знают, что она ядовитая, но я, например, ни разу не видел, чтобы от нее умирали. И вообще-то, убивать людей ядом нехорошо. Знал я одного сержанта, который приложился к кашасе, настоянной на листьях тату, и изошел рвотой. Некрасиво умирал — всю кровать запачкал блевотиной. Третий, которого я кокнул,— тоже в сертане, был похож на индюка. Не помню, как его звали. Красный он был. Коммунист. Долго умирал. Но парень был смелый — встретил нас с мачете, так что пришлось изрядно продырявить ему шкуру. И даже после этого он умудрился раскроить Алипио щеку, словно ананас — на две половинки. Безобразная была рана. Да, Амаро, напомни мне в первом же городе купить бриллиантин, а то, когда хожу без мундира и фуражки, волосы дыбом стоят, как швабра. Так вот, Алипио тогда еще попытался было что-то сказать, но не смог — только шипел, как проколотый мяч. Странно, разве человек щеками разговаривает? Крови, правда, было немного — он себе только шею малость запачкал, а щека напоминала разорванное знамя, когда каждая из половинок развевается сама по себе. Так вот, Амаро, куплю я душистый бриллиантин и приведу в порядок баки. Ну, Алипио тоже не растерялся: успел-таки разика четыре ковырнуть в кишках у того коммуниста. Вообще-то трудно подобных типов на тот свет отправлять, всех этих уденистов, педессистов, интегралистов [1], коммунистов и прочих политических — для меня они все на одно лицо. Как хамелеоны, за воздух цепляются. Женщины — те умирают попроще. Я, правда, не большой искусник в этой области. Все они — дряни и суки, только и думают, как бы тебя на крючок поймать. Некоторые, говорят, даже специальное лекарство пьют, чтобы злее быть.

[1] Интегралисты — члены фашиствующей партии во главе с Плинио Салгадо, пытавшимся в 1938 году осуществить в Бразилии переворот.

Как так можно? Ах ты, тело прямо так и горит от москитов, а пылища — даже ночью под рубашку забивается, и сам от нее желтеешь. И чего ты, Амаро, так мчишься? Проселок ведь! А вот ты, ваша милость, арестант мой разлюбезный, полагаю, не торопишься. Куплю себе в городе самого модного одеколона — «Кина петролео ориентал» — и буду, как мой шеф, красоваться. Обольется он этой штукой и выходит на главную улицу Аракажу — улица Жоана Пессоа — весь в белом и с платочком в кармане. Остановится на углу, про политику поговорит, а потом пьет пиво с сыром под темным соусом. И женщин у него сколько хочешь, правда, дешевка все. Только он войдет в салун, только она на него посмотрит и готова. А все благодаря чему? Благодаря одеколону. Ну, давай, Амаро, жми, а то еще заснешь. Проклятые мошки, никуда от них не денешься! Мальчишкой, бывало, наловишь мух, засунешь их в бутылку с водой, да еще и трясешь как следует. И что ты думаешь? Откроешь пробку, а мухи оттуда стаей. Вот какая в них сила. И что меня в этих самых мухах бесит, так это то, что никак от них не отвяжешься. Сгонишь, к примеру, одну, а она тут же обратно садится. Можно еще и так: схватишь муху на лету да как шваркнешь об стену! И пока она, обалдевшая, лежит, ты ее и приканчивай. Но здесь-то, в машине, как ты ее об стену будешь шваркать? Ничего не выйдет. А ты, Амаро, пользовался когда-нибудь «Киной»? Знаешь, если я приведу в порядок волосы — к примеру, выпрямлю свои кудри,— так, может, и похорошею. Но сделать это можно только в парикмахерской в Аракажу. А как мне туда идти? Ведь я там наверняка опять какому-нибудь «товарищу» шкуру продырявлю. Тем более если он на меня посмотрит как-нибудь не так. В Аракажу все сложнее, чем в глубинке: город большой, да и свидетелей слишком много. О политике там и говорить не приходится. Какая там политика! Вот здесь, в глухомани,— другое дело, тут можешь действовать как мужчина. Дьявольщина! Смотри, Амаро, в кабину влетела пото́! Ядовитей этой мухи ничего не бывает, эта сволочь жалит тебя в рожу, ты распухаешь, как подушка, и тебе уже никогда не избавиться от следов укуса. Знаешь что, Амаро, давай-ка остановимся на ночлег в первом же удобном месте — сил моих больше нет. Мало было всякой дряни, так еще и пото объявились. Помню, еще мальчишкой подцепил где-то в траве мукуи́на — подкожного червяка. Спасся только тем, что обливался серным раствором и сидел возле костра — близко-близко,— пока зуд не успокаивался. Воняло, правда, от меня омерзительно, и сам я был какой-то желтой масти и весь в парше. Отвратная штука этот мукуин. Прежде чем ложиться в постель, нужно обязательно посмотреть, нет ли их в белье. Кстати, о постели. Вот тебе третий мой совет: никогда не ложись спать безоружным. Много настоящих мужчин погибло из-за такой глупости. Да, не забыть бы еще купить транзистор — это придает мужчине особый шик. Помню и такой случай: пришил я одного типа прямо в постели, а заодно и семейство. «Таинственное убийство в Итабаяниньe. Вырезана вся семья...» Народ ошалел от ужаса, а я спокойненько спал в Арауа. Мне, Амаро, в отличие от тебя, не нравятся газеты — слишком много слов, да и слова какие-то трудные. Пишут о том, о другом. Обо всем, кроме правды. «Уденисты, коммунисты, коммунисты, уденисты, социал-демократическая партия...» Поручили нам как-то прикончить одного такого прогрессиста. Нашли мы его у «ночных бабочек», а проще говоря, в борделе. Одет он был с иголочки: в тончайшем диагоналевом костюме, галстук переливается. Сам веселится, корчит из себя черт знает кого, будто на праздник какой пришел. Тут Тарсио рванул дверь и разразился знаменитым своим криком, вернее, ревом. Ты знал покойника Тарсио, Амаро? Амаро, я же к тебе обращаюсь! Знал ты Тарсио или нет? Так орать мог только он: «Всем оставаться на местах! Стреляю! Так вашу... разэтак!» Ну и так далее. Потом прошли от дверей в комнату,

стали осматриваться, заглянули во все углы. А тут шлюха мелкими прыжками пробирается к выходу. Пришлось пригвоздить ее ножичком к стенке возле самой двери — сбежать хотела. Я забыл предупредить их, что здание окружено — по всему забору сидели мои люди. Одним словом, положеньице для клиента не из приятных. И вдруг среди этого переполоха он пытается толкать речь: «Что это такое? Что все это означает? Как это понимать, сержант?» Я ему отвечаю: так, мол, и так, сеньор, придется вам со мной пройтись. Хозяйка борделя — выговор с присвистом, будто она из высшего света Рио-де-Жанейро — тоже начала выступать. Ну, Тарсио, естественно, схватил ее за глотку и впихнул в какую-то комнату. Ты думаешь, она заткнулась? Кончилось наше терпение, пришлось Тарсио опять заняться этой дамой, уставился он на нее своим слепым глазом, дохнул перегаром: «Не создавать беспорядка!» Где это, мол, видано, чтобы потаскухи возникали! Так нет же, не успокаивается. Правильно говорит пословица: коли самому дьяволу некогда, он посылает секретаря. Привыкла, чтобы мужики вокруг ее подола вились. Тарсио ей опять: «Пошла вон!» Так ведь не только не ушла, а еще больше удила закусила. Пришлось Тарсио опять поглядеть на нее своим страшным глазом, и уж на этот раз шлюха успокоилась. Бело-серый глаз Тарсио многих до сердечных припадков доводил, а когда он к тому же злился, то глаз покрывался красными прожилками, и совсем жутко делалось. А началось с того, что однажды шеф мне говорит: «Сеу [1] Жетулио, доставь мне одного человека, только живым. Хочу, чтобы этот подонок у меня здесь попрыгал». Но тип этот был не из робкого десятка, сам в драку полез. Мы как увидели у него под мышкой пистолет, так и решили: тут ему и конец. Ну, двинули его пару раз парабеллумом по роже, трепыхнулся он, как птичка, и затих. На месте физиономии — кровавая каша, зато стал тихим-претихим. Тарсио хотел было снять у него машинкой волосы, да не успел. В тот раз надо было всего лишь поучить его кастетом или дубинкой, а не устраивать побоища вроде того, что мы организовали в свое время в коммунистической газете. Нам, правда, никто этого не поручал, но уж очень этот грязный листок нашему шефу надоел. Так что в один прекрасный день вся редакция сгорела к чертям собачьим. И как водится, когда приехали пожарные, во всем квартале вдруг не оказалось воды. Ничего от них не осталось, ну просто ничегошеньки. Только один человек уцелел: стоял, бедняга, у бывшего порога и плакал. Трус, видно, был большой, слизняк. Наверное, из Баии. Худой, как былинка, и плакал, скорее всего, от собственной слабости. Короче, все сгорело, все дотла. Даже уголька, чтобы сигарету зажечь, не осталось. Вот так мы прикончили тогда этих уденистов-коммунистов. Очень уж они обидчивые, хотя и сами любят заваривать всякие беспорядки. А как только жареным запахнет, так их словно ветром сдувает. И все-таки я нескольких прикончил. Устроили они как-то митинг на площади Пиньейро Машадо в Аракажу. Криков было! «Луис Карлос Престе!» [2] Загородили все подходы и выходы — ни пройти ни проехать. Вызвал меня шеф: «Сеньор Жетулио, ты меня прекрасно понимаешь. Пройдись-ка дубиной по этой своре подонков». И пока они там распинались, мы вошли на площадь со стороны Фаусто Кардозо и разнесли их всех по клочкам. Ты не находишь, ваша милость, что мы вправе были разогнать эту псиную свору? Тогда я, правда, не рассуждал, потому что в тот момент в толпу врезалась еще и конная полиция. А потом шеф словчил — заявил другой газете, что поджог совершили интегралисты. И опять мне: «Вот что, сеньор Жетулио, придется тебе проучить еще и интегралистов, чтобы они не поджигали чужих газет. И пожалуйста, во имя господа бога, не расправ-

[1] Уменьшительное от слова «сеньор».

[2] Имеется в виду Луис Карлос Престес (род. в 1898 г.) — видный деятель бразильского и международного рабочего движения.

ляйся с ними на месте — лучше приводи их ко мне». Поработали мы малость, и вскоре дом шефа был битком ими набит. Да, все-таки приятное это занятие — жечь редакции, тем более коммунистические. Позже все эти дела поступили в полицию, и тут началось: «Я требую...», «Мы требуем...», «Я никакой газеты не поджигал...», «Такого быть не может...», «Я ничего не знаю!» А дальше последовало: «Папаша этого сеньора — важная персона. Придется его отпустить». И всякая такая канитель. Многих тогда арестовали, засадили в каталажку, завели дела. По мне — так сидеть бы им всем по сегодняшний день. Кому такие людишки нужны! Но нет же! Тут еще какой-то альфонс забежал к шефу и предупредил, что на того собираются организовать нападение. Если, мол, самого шефа дома не будет, схватят жену, если и ее не будет, украдут сына. Ну, пригнали армейские части из Баии, спустили овчарок, ребенка спрятали. Солдаты укрылись за стволами огромных деревьев оитизейро по краю площади, покрытой их опавшими лиловыми цветами. Цепь залегла прямо на гальку. Одним словом, все как на войне. Мы с Тарсио остались возле дома, у каждого по новехонькому, хорошо смазанному карабину — только стреляй. Любой, кто ворвался бы во двор, свалился бы с продырявленным черепом, не досчитав и до двух. Все были готовы к перестрелке. Представляешь, Амаро, какой бы мы устроили веселый праздник. Но на площади было тихо, казалось, что только оружие тяжело дышит в руках людей. Матерь божья! Если бы ты там был, ты бы точно в штаны наложил со страха, тем более если б тебе еще и обрез в руки сунули. А, Амаро? Обмарался бы? А как ты думаешь, револьвер сам может стрелять? Скажи, Амаро, а того, кто родился в Мурибеке, как надо правильно называть: мурибекенец или мурибеканец? А может, мурибекиец? Ну, слава богу, другой водитель за руль сел! Ты неплохой шофер, арестант. У тебя твердая рука. У нашего шефа есть шофер Батиста, он водит «студебеккер» хозяина в самые трудные и деликатные моменты. Я, правда, недолюбливаю его, но водитель он классный. Так вот, залегли мы — кто за деревья, кто за парапет. Головы не высунуть — враз схлопочешь пулю из засады с улицы Кедра. Человек ведь не птичка, ему головой крутить не положено. Тарсио, правда, иногда все же вылезал — ему со слепым глазом ничего не было видно. Потом он решил сбегать в ближайшую лавочку Зе Корды за колбасой, потом захотел своего любимого клейкого печенья, а еще позже решил смотаться за бутылкой кашасы. Я-то никуда не выскакивал, сидел неподвижно. А уденистов этих самых видел, как тебя сейчас. Я знал, что эти типы — черт их разберет, кто из них уденист, кто педессист,— готовы на все. Но такое могло случиться только в Аракажу, в глубинке мы с ними сотворили бы то же самое, что они выделывали в Рибейрополисе. Да ты небось, ваша милость, знаешь о той заварухе, а может, и сам принимал в ней участие. Говорили, в Рибейрополисе уденисты подожгли городишко, сожгли весь скот до последнего теленка, а потом посыпали землю солью, чтоб уж никогда не родила. А до этого выбили окна, высадили двери и, когда входили в дома, прикрывались живыми людьми наподобие щитов. Сегодня они не хотят об этом вспоминать. Так вот, в тот раз они все же не вылезли на площадь сводить свои политические счеты, а то много бы крови пролилось. Все были готовы к перестрелке, все ждали, что вот-вот откроется круговой огонь, но эти сволочи отсиделись в укрытии, иначе быть бы свинцовому дождю. Лидером тогда у них был Кристиан Машадо — стоящий парень, настоящий бразилец. Президент — всегда президент, а он вполне мог им стать. А уденист — всегда уденист. Послушай, Амаро, может быть, вместо этого одеколона мне лучше купить бриллиантин «Глостора»? Вроде и запах от него получше; от этой «Кины» ведь мухи дохнут. Ты помнишь негра Рамальо? Вот уж был ворюга, скверный человек. И жизнь свою кончил, получив по заслугам: привязали его

к машине и потащили, а то, что от него осталось, бросили в болото. Никудышный был человечишка, да и негр к тому же. Да еще из Баии. Подумать только: негр, да еще и баиянец! Так он тоже бриллиантином «Глостора» пользовался. Представляешь, какой нахал! Да, надо мне привести в порядок баки, а то совсем заросла физиономия. Вот уж кто был настоящим мужчиной, так это наш дон Флориано [1]. По слухам, конечно, сам-то я его никогда, естественно, не видел. И сколько ему сейчас было бы лет, тоже не знаю. Все, кто, как он, носит фамилию Пейшото,— настоящие мужчины. Старики так говорят. Есть еще Лейте, Собрал, Прата — тоже именитые семьи. А вот Виейра — скверная фамилия. Господи боже мой! Да что же за жара адова, мозги плавятся. А ты ее не чувствуешь, ваша милость? Хорошо по утрам в горах: туман еще не поднялся, изо рта, когда разговариваешь, пар идет. Еще хорошо смотреть на цветущий сахарный тростник где-нибудь в Риашуело: плантации напоминают мне море у Аракажу. Видел бы ты, Амаро, эти бесконечные зеленые волны, пробегающие от малейшего дуновения ветра. Но смотреть на них надо обязательно сверху, с вершин окрестных холмов, а то снизу — с дороги — тростник похож на растрепанный веник. Сверху цветущие метелки кажутся рыже-золотистыми, иногда горят чистым золотом. Лучше всего глядеть на них по утрам: ветра нет, стебли вытянулись в полном спокойствии, нет еще ни проклятых насекомых, ни домашней скотины. Сестра моя — живет в Вила-Нова, в вековухах осталась, сейчас, как и другие старые девы, дни напролет проводит у окна, будто локти к подоконнику приклеила,— так вот, она очень любила смотреть на цветущие плантации, она-то и научила меня понимать эту красоту. Раньше я и внимания на нее не обращал, а теперь люблю сидеть на холме и наблюдать за этим рыже-зеленым морем; выдастся свободная минутка — сажусь и замираю от этой благодати. Что мне надо? Чашечку хорошего кофе, сигарету и покой. Самое главное — покой. Даже гамак с девкой не нужен. Просто сидеть и наслаждаться тем, что вокруг. Думать о жизни, размышлять, жить так, будто нет на свете дрязг, пакостей, хамства. Но так бывает только на рассвете. А взошло солнце, наступила жара, заволновался тростник, поползли-полетели всякие гады, начинаешь чесаться, как чесоточный, и жизнь опять становится дрянью. Черт побери, нет на земле места, где бы можно было спокойно пожить. Конечно, хорошо бы заиметь сахарный заводишко, уж оттуда меня никто, ни одна сволочь не вытащила бы и не прибила. Как это можно: ворваться на завод и прикончить хозяина! Такое мне не по душе! Это против закона. По крайней мере, должно считаться противозаконным. Почему, коли человек всю свою жизнь провел в бегах, он должен прятаться даже на задворках собственного завода, за отбросами? А где же привилегии владельцев? Знаешь, я вот размышляю о жизни и вдруг вспомнил, какой хлеб в Иньямбупе. Хлеб там совершенно особенный. Ты пробовал, Амаро? Пробовал? Еще нет? Ну, знаешь ли... Так вот, хлеб там необыкновенный. Иньямбупе находится в Баие, и все-таки это не Баия. Как доберемся до города, почищу ботинки. Прежде чем надеть форму, я ведь был чистильщиком обуви — совсем еще мальчишкой, когда приехал из деревни в Аракажу. Дрался зверски, от злости. Если хорошо приспособиться, так ведь и из рогатки человека укокошить можно. Говорят, сам-то я не видел. Я только птичек сбивал, которые на диких голубей похожи. У нас их «пожарниками» называют, потому что они кричат, будто выговаривают: «птушшил-пожжар, птушшил-пожжар». Что-то у меня грудь заболела, в ящике под ребрами словно постреливает. Пожалуй, к врачу надо сходить. Не представляю, как это можно быть доктором: всю жизнь только и делать,

[1] Флориано Пейшото (1839—1895) — вице-президент, а затем и президент Бразилии после провозглашения страны республикой и отречения в 1891 году первого ее президента — маршала М. Деодоро да Фонсеки.

что чужие печенки щупать! Но профессия есть профессия. Не нравятся мне врачи, вся эта медицина, но ни разу в жизни я не стрелял в докторов. А может, и стрелял?.. Не помню. Говорят, в Пернамбуку был такой лекарь — Синимбу. Теперь-то он уже покойник, теперь ему не лечить ни в Пернамбуку, ни в Перолине, ни в Мараньяне, ни у черта на рогах. Никудышная, грязная тварь. Отмыли его по обычаю отваром из маиса, растерли. А его три не три, не покраснеет. Одно слово — мертвяк. Лежит как деревяшка. Людям, видно, неприятно смотреть на неприбранных покойников, вот и украшают их, обряжают в парадный костюм, который при жизни был надеван раза два, да и то лишь на выборы. А потом — в ящик, и дело с концом. Мерзкая профессия — могильщик. Все жители Параибы могильщики: легко людей на тот свет отправляют. Потому и говорят, что Параиба — это настоящая Бразилия. Будь проклята эта пылища! Чихнешь, а из ноздрей не сопли, а желтая глина летит. Единственно, чем можно спастись, это глотком кашасы. Вот повезло, так повезло: тащить вашу милость из Паулу-Афонсу, из эдакой далищи, из самого нутра Баии, по этому дерьмовому проселку. В общем-то, путь не такой уж и долгий, если бы не эта дорога: весь в пыли, даже в складки шеи забилась. Помнишь, Амаро, как везли покойного Кавалканти, тоже из Паулу-Афонсу? Погрузили его в «скорую помощь», а где уж там «скорая», где «помощь»?! Так, повозка худая, еле ползла. А Кавалканти весь в дырках — двадцать шесть пуль в него всадили. Но малый он был здоровый, довезли живым до Аракажу, хотя и исходил кровью всю дорогу. Сколько ему потом чужой влили — страшно подумать. Представь себе: двадцать шесть дырок в шкуре, а он, как боевой петух, не сдается, не уступает смерти. Ты, ваша милость, арестант мой любезный, полагаю, не видел, как люди помирают, как они не хотят сдаваться костлявой: мне рассказывали, что ты только командовал, а своими руками никого не убивал. Может, ты и прав, при твоем-то положении... Но могу тебя заверить, что нет на белом свете более страшного зрелища, чем умирающий, который не хочет умирать. Грудь ходит ходуном, а из нее со свистом рвется воздух, голова крутится туда-сюда, скрюченные пальцы хватают пустоту. Кто этого не видел — не знает, что это такое. Некоторые говорят, что смерть — это покой, другие — что это примирение, вроде бы как отдых. Может быть, и так, но только после того, как отлетит душа. В момент же расставания с этим миром каждый цепляется за что попало, выискивает расширенными от ужаса глазами это что-то, за что можно ухватиться. И вновь елозит, вновь скрипит зубами, крутит головкой, задыхается, пытается что-то сказать, озирается по углам, будто ищет поддержки, и страдает от того, что никто не намерен составить ему компанию в путешествии на тот свет. Уж и губы лиловые, а он все старается подняться, сесть, тянется, вертится во все стороны, егозит, содрогается, на лице — страх и ужас, и опять свистит в легких последний глоток воздуха, дергаются ноги, и штаны уже обмараны, а думает он о том, чего никогда не совершал, и жалуется господу богу, просит его, рвет с себя одежду, раздувает грудь, под конец — откуда только последняя сила берется?! — вдруг поднимается, окидывает всех еще раз взглядом отчаяния, и вот он шагает уже по пути, по которому мы все когда-нибудь пойдем. У каждого свой час. Однако никто не желает себе этого часа, и все, что о смерти болтают святые отцы,— пустые слова. Пусть любая опасность, любая трудность, но только здесь, на земле, об этом потом хоть рассказать можно. А кто сможет рассказать о собственной смерти? Никому неохота быть расстрелянным или растерзанным. Будь проклята эта дорога! А я-то думал, что все, прошли те времена, когда я мотался на грузовике, перевозя из поселка в поселок одних и тех же «избирателей». Ха-ха-ха! Однажды решили мне помешать — попытались отобрать у меня грузовик и распустить по домам «избирателей».

Началась перестрелка. Потеряли мы тогда два «голоса», по собственной глупости потеряли. Только противник потерял намного больше. А ведь мы своим людям уже заплатили, они у нас все наперечет. Сержипи — это настоящие сертаны, даже в тех местах, где сертанов и нет. А ты, арестантик дорогой, оставь-ка руль да садись назад. И отодвинься от дверцы — не видишь, она вся пулями изрешечена, на нее не то что наваливаться, трогать страшно. Ты уж меня извини, ваша милость, что я все время болтаю,— это чтобы не уснуть. Сам не знаю, о чем говорю, не знаю, о чем думаю. Говорю и в то же время думаю; думаю, а сам чешу языком. Запутался. Можешь мне не отвечать, хоть это и считается недостатком воспитания. Да ведь дело-то как обстоит: если я задремлю, ты свистнешь у меня пистолет, сначала окрикнешь меня, потом влепишь пулю Амаро в затылок, а дальше смоешься в заросли, и поминай тебя как звали. Вот чтобы этого не случилось, я и беседую с тобой, словно ты мне не пленник, а кум и мы с тобой болтаем у крестильной купели в церкви. Я, конечно, понимаю, что не очень для тебя большое удовольствие слушать мою брехню. Так и ждешь момента, чтобы я уснул и получил из собственного пистолета пулю в висок. Но запомни: если такое случится, если ты сунешься за моим оружием, я проснусь раньше, чем ты дернешь за крючок, и будь уверен, раскрою тебе котелок. Мне все равно, ученый ты или не ученый. И еще одно намотай себе на ус: по мне, так вместо того, чтобы разыскивать тебя со всеми предосторожностями в Паулу-Афонсу и тащить по этой трижды растреклятой дороге... Амаро, можешь ты наконец укрепить эту дверцу, чтобы она не распахивалась? Кобыла обезножившая, а не «гудзон»! Так вот, повторяю тебе, арестант: по мне, так проще было бы полоснуть тебя ножом ио шее, положить твою голову в чан из-под вина и тащить ее, а не всего тебя со всеми твоими потрохами. Тащить по всему штату Сержипи такое дерьмо, как ты! Вот уж точно: дерьмо и есть дерьмо. И голова у тебя как у недоноска, и сердце как у кретина, и вообще ты — сукин сын. Нет, ты только посмотри на этого подонка, Амаро! Пытался сбежать в Паулу-Афонсу, скрыться в Паулу-Афонсу, отсидеться в Паулу-Афонсу! Шастает, бегает, как блудливая тварь. В чистилище тебе бы сидеть, а не в Паулу-Афонсу. Бесстыжий! Ублюдок скрюченный! Он, видите ли, гимназию кончал! Вот тебе по шее за гимназию! И еще раз! И еще разок! Не видел я еще такого человека, который из гимназии вышел бы настоящим мужчиной. Уж лучше бы я тебе в самом начале голову свернул и сунул в сумку, а кишки выбросил бы ягуарам. И о чем ты, холера, все думаешь? Отвечай, чучело! Скоро уже Рибейрополис, там я посмотрю на тебя, черномазая сволочь. Он, видите ли, смыться надумал, негр проклятый, мерин, козел оскопленный! Тварь! Сбежать думаешь? Да я из тебя за такие мысли душу выну! Я тебя насквозь вижу. Небось думаешь: сбегу, вернусь в Паулу-Афонсу, заведу себе мадамочку — и прощай, сержант. Вот он о чем думает, Амаро. И не вмешивайся, Амаро! Когда голова от мыслей огнем горит, надо ее малость охладить. А ты, Амаро, кончал гимназию? Насколько я знаю, ты в «Атенеум»[1] приходил только для того, чтобы мыть там лестницы. И если мытье лестниц прибавляет знаний, то, значит, тебе, Амаро, здорово повезло — ты у нас ученый. Спроси нашего клиента, Амаро, что он думает об этом? «Ученый», видите ли! Погань, стервец! Он тебе и не ответит, Амаро, он и говорить-то с тобой не захочет, он ведь только с учеными разговаривает, с докторами всяких там наук. Посмотри-ка на него, как он дрожит: губы, словно отрубленный хвост ящерицы, дергаются — боится, что я его пристрелю. А что! Вот возьму и прикончу. Мне все равно, черт побери! Лучше слушай меня: сожмись в комочек и си-

[1] Имеется в виду гимназия иезуитов «Атенеум» в городе Аракажу, где учились дети состоятельных родителей.

ди — там, на заднем сиденье, твое место. Да оторвись ты от двери, букашка! Амаро, а может, все-таки двинуть его разок-другой по балде? Я так считаю, что когда он сам дергал за крючок, то ни о чем не думал; тогда он был таким смелым, таким сильным, таким своевольным — ну совсем как Лампиан. А кто ты есть на самом деле? Бездомный кобель, никудышный стрелок, гроша ломаного не стоишь. И вот еще о чем хочу тебя предупредить: будешь от страха штаны марать, отрежу тебе кое-что, а рану засыплю цементом. Счастье твое, что тебя судом судить будут, журналистишка какой-то за тебя выступает — одним словом, все по закону. Я бы, не раздумывая, снес тебе котелок и завернул бы его в красивую бумагу, как для подарка. Я так полагаю: дадут тебе меньше тридцати лет каторги. Еще бы: тут и судья, и защитники, и всякие там прокуроры. Все к твоим услугам. Но в тюряге можешь помереть. Если же дадут больше тридцати — все равно помрешь, только когда вернешься на волю. Так что жизнь твоя идет по замкнутому кругу, и выхода у тебя нет. Вот что, Амаро, пора нам устраиваться на ночлег, остановимся у первого встречного дома. А теперь помоги мне привязать этого типа к дереву, чтобы не сбежал. Понадобится по нужде, справляй здесь же, со связанными руками, понял меня?

II

Я живу в огромном мире. Живу кочуя, как тот глиняный бычок, которого возят с одной ярмарки на другую [1]. Э-ге-гей! Ты мой глиняный бычок, э-ге-гей, ах бычок, ты мой бычок, бычок глиняный, я и есть тот бычок — игрушечный, раскрашенный. Бедный мой бычок! Эх, бедняга я, бедолага! Вот такие-то дела: вся жизнь — на колесах. Про меня говорят, что я вол, отбившийся от стада. Все мне об этом твердят, все. Эх, мой глиняный бычок, и я такой же. Видел ли ты, Амаро, такие игрушки? Их раскрашивают яркими красками, да и краски тоже делают из глины. Вот и я словно из глины сделан: всегда измазан красноземом, да и ем из красных глиняных плошек, если, конечно, найдется, что поесть, и во рту постоянный вкус необожженной глины. Помню себя мальчишкой на ярмарках. Начинались они чуть свет. Постепенно открывались окна — одно, второе, третье, четвертое. И вот уже раскладывают вяленое мясо — огромные тонкие лоскуты, совсем темные посередине и светло-желтые там, где сохранилось сало. До сих пор помню, как я там обжирался, помню запахи мясных рядов. Иногда рано утром выносили покойников. Очень рано, потому что впереди долгий и трудный день. Покойникам еды не надо, им легче, чем нам. Но спозаранку похороны всегда были более пышными и многолюдными, потому что с солнцем народ уже шел толкаться по улицам, и никому не было дела до погребения. На заре — другое дело. В этот час все заняты похоронами, и только похоронами. Медленно плывет гроб, потом так же медленно сползает на землю, слышно лишь шарканье подошв да шорох одежды. Городишко еще спит, а в окнах уже стоят кувшины с водой — запотевшие. Мне нравилось гладить толстые бока этих кувшинов, играть с огромными волосяными ситами для муки — они всегда висели наготове. И еще — растирать камешки. Некоторые легко раскалывались. Часто я прятался в тени и толок камешки в порошок, тогда получались краски. Целый день галдели, и откуда только у нас силы брались? «У меня лучше», «У тебя хуже», «У меня голубой», «У тебя не такой голубой». У меня всегда был запас камней самых разных цветов, а порошки мы хранили в особых коробочках, но они то и дело терялись. Разве может ребенок хранить что-нибудь долго, тем более порошок, тем бо-

[1] Речь идет о популярной народной игре, один из атрибутов которой — глиняная голова быка на длинной палке.

лее он ни к чему не пригоден — только что цветной. Бывали, конечно, случаи, когда у бережливых эти коробочки хранились дольше, чаще — нет. С особым усердием мы берегли их, когда начинались дожди. Но под навесами торговых рядов всегда было сухо и темно. Интересно нам было смотреть на ряды глиняных бычков: глядишь на них со света, а они тянутся и тянутся, пока не сольются в одну линию — конца и края им нет. А вокруг раскинулись горы. Они шли цепями, одна вырастала из другой, и тоже без конца и без края. На солнце все они переливались разными красками, а в грозу, когда слепили молнии, казалось, будто холмы и горы движутся, хотя все знали, что они не могут двигаться. И мы, мальчишки, глазели на них, думая о стадах, что пасутся на склонах, и мечтая накинуть аркан на дикого бычка. Пройдет дождь — и сухо, только лужицы. Перед дождем все в природе замирало, цепенело. Я садился на пригорок и наблюдал: вокруг ничто не колыхнет, не затрепещет, все замерло. Не хотелось даже слова вымолвить. Только мысли летят. Глядишь вниз, на город, от окна к окну взгляд трудно перевести, таким плотным и упругим становится воздух. И голова будто в воде — не повернешь. А стадо — ничего, стоит смирнехонько. Время тоже замирало, его хватало на что угодно, потому что вся жизнь останавливалась; время не ощущалось в эти преддождевые часы, ибо делом заниматься было просто невозможно. Казалось, город вот-вот умрет, застынет, как те вытесанные из камня псы, что сторожат входы богатых вилл, окруженных высокими решетками. Нигде я не видел столько решеток вокруг домов, как в Ларанжейре. Нет, видел, конечно, но таких высоких — нигде. Даже описать невозможно. Ты, к примеру, идешь по тротуару, к которому крепится нижний карниз решетки. Идешь, идешь, идешь, вроде уж и карниз кончился, а взглянул вверх — все та же решетка, и где ее конец — не видно. И все на разный манер: одни словно копья, другие увенчаны шариками. Все покрашены в коричневый цвет, а за ними, будто привинченные к окнам, старые девы: мертвые взгляды, высохшие щеки — ничего не говорят, только смотрят. Время от времени одна из них поворачивается в сторону, застывает в таком положении, будто ей лень развернуться обратно, и сидит так — неподвижная, словно растение. Не слышно ни слова, им уже не о чем говорить, остается лишь смотреть на то, что происходит за решетками. Вся Ларанжейра зарешечена. И жизнь здесь как за решеткой — монотонная, тоскливая. Идешь по такой улице, все прямо и прямо, и вдруг в самом неожиданном месте она обрывается, и дальше — ничего, конец света. А бывает и так: прошел еще немного по пустырям, и вновь возникает та же улица с теми же решетками, охраняющими изъеденные временем дома. А сколько в таких домах проституток! Я и не представлял! Нечесаные, глазищи красные, по утрам в окнах висят. Сегодня-то я понимаю, каково им. Бедные девки-девочки, жаль мне их! Ларанжейра с каждым годом умирает. В один прекрасный день она помрет совсем, и город станет похож на высохший плод кажу, в котором только семечко и остается. В сертане — ни заборов, ни решеток, ни других городских штучек, зато земли — о-го-го! Каждый об этом знает. И коз здесь не перечесть. Бывает, когда я лежу, вот как сейчас, спокойно, только медленно ворочаются в голове мысли, я вспоминаю, как вчерашний день, одну далекую историю. Она произошла в Ларанжейре. Давно. Где бы я ни был, что бы ни делал — закуриваю сигарету, с кем-то беседую, спрашиваю, который час, гляжу на лица людей — меня вдруг одолевает это воспоминание. И вновь я себя чувствую как в тот страшный момент. Ну может быть, не совсем так, но похоже. И я уже догадываюсь, что со мной будет потом. Это всего один миг, мгновение, как резкая боль в груди. А потом все опять забывается, и я возвращаюсь к своей обычной жизни. Да, я сам, один, совершил это. Теперь уже все едино, не поправишь... В то время она ходила с животом.

Когда в моих делах наступало затишье, я шел к ней. В самую жару или, наоборот, в прохладу ложился рядом и гладил, гладил ее вздувшийся, круглый живот. То были минуты полного покоя. Она вела себя тихо-тихо и, как щенок, смотрела на меня узкими светлыми глазами. Мне доставляло огромное наслаждение ласкать ее живот: уж и пупок выдался напружинился, и ребеночка можно было ощутить рукой. Сколько раз я лежал рядом с ней в ленивой дреме, поглаживая свое дитя сквозь ее тонкую кожу, думая о нем — о том, кто там, внутри... Я убил ее. Убил, хотя прежде даже мысли не допускал об этом. Не было во мне ни ярости, ни злобы. Сначала думал: рано еще, чтобы во мне злоба бурлила, вот вернусь и тогда... Не было этого. Вошел к ней, она лежит, еще спросила меня: «Что с тобой?» Она, конечно, прекрасно понимала, что со мной, понимала, что ей от меня никуда не скрыться, что я найду ее всюду. Не знала только, как я поступлю. Сколь она ужасна — боль измены. Она рвет грудь, лишает сил. Не умею я такое объяснить. Судьбы женщины и мужчины — совершенно разные вещи. Мужчина приходит к любой женщине, чтобы поразвлечься, и вот она уже зачала. То, что растет в ее утробе, неотделимо от нее, и она становится иной. Та, которая приняла в своей постели двоих, не похожа на ту, что познала только одного. У первой уже нет секретов. Вторая же для всех кроме тебя — тайна. Вот это я и хотел ей сказать, когда вошел в комнату. Уже открыл рот, хотя обычно я не разговариваю с теми, в кого собираюсь стрелять — считаю это невежливо. Но с ней я хотел поговорить. Я выбил ногой дверь в комнату, ударился о кирпичи, боль разлилась по всему телу. Вошел. Вижу только ее спокойные глаза, зачесанные набок волосы разметались по подушке, голова склонилась набок. Боль стихла, но заговорить я все никак не мог. Смотрит на меня: «Что с тобой?» Она знала, все знала. Увидела, что держу руку за спиной, и отвела взгляд. Я вынужден был так поступить, потому что мне невыносимо было переходить улицу, зная, что вслед мне тычут пальцем: «Вон пошел рогатый...» Я сразу же ушел оттуда, и больше ноги моей в Ларанжейре не было. Живу как перекати-поле. Так лучше. Весь мир — мой. А теперь вот Лузинети пристала ко мне: хочу от тебя сына. Нет, я не хочу оставлять свои ростки в этом мире. С гибелью того, неродившегося, для меня умерло все остальное, все, что могло быть у меня в будущем. Как сорванная лиана, болтаюсь в воздухе, не цепляясь ни за что. Всех проклинаю. Всех ненавижу. Очаг, жену, детей. Один я, во всем мире один. А женщин я найду себе без труда. Сегодня — одна, завтра — другая. Я сам себе все: и жена, и сын, и муж, и отец. Вот так-то. Однажды я ушел с рыбаками надолго в море. Все мы немного моряки. Так вот, добыли мы военный катерок, пристроили к нему паруса и — о-ля-ля! — в открытое море! Было это в Риашуело. А оттуда пошли мотаться по волнам. Я считаю, что Сержипи — это полмира. Правда ведь? Если не так, то почему же здесь есть все: и земли и леса. Такая красотища! Есть все, что можно захотеть. Захочу — и стану здесь королем конголезским. Захочу — свиней буду гонять. Захочу — заставлю любого поверить, что дважды два — пять. Здесь я и бог и дьявол, что хочу, то и ворочу. Иногда я чувствую себя султаном, вождем мавров, королем войска арабского. Иду я — и все к дьяволу, в тартарары! Чего я тут только не пережил, не перечувствовал! Вот тащится мул, а на нем огромные корзины из ивняка, а в них — глиняные бычки. Покачиваются корзины, позвякивают игрушки. И кругом решетки Ларанжейры. Нет, туда я не вернусь. Еще один мул, другой; идет лошадь, вторая, и всюду — корзины, корзины, а в них раскрашенные глиняные бычки. Мама, смотри, бычков привезли! Глиняных! Сушь. Вся Ларанжейра изборождена морщинами, деревья, земля — все здесь мертвое. И плывут по старой пыльной дороге среди узорных железных решеток корзины, полные игрушечных бычков. Время остановилось, замерло. И только мерно

покачивается под каждый взмах копыт глиняное стадо. У бычков — яркие нарисованные глазки. Они тоже застыли. Цветные рожки — они никого не продырявят. Крепкие ножки — но они не ходят. Зазвенела ярмарка, и все осветилось, задвигалось, затрепетало. Задвигалось и глиняное стадо. Э-ге-гей! Пошел вперед, глиняный бычок! Мама, мама, посмотри, бычок пошел! Да он же глиняный, сынок! Все равно он ходит! Да это же солнечный зайчик на нем играет, сынок! Да нет же, бычок побежал, мама! Это тебе так кажется из-за тумана, сынок! Да нет же, мама! Посмотри-ка лучше в ту сторону, сынок: видишь, ослик идет-покачивается? Раз — в одну сторону качнулся, раз — в другую. А на ляжке у него клеймо стоит. А мы своему осли-ку даже два клейма поставим, чтобы было понадежнее. Мама, а почему наша Ларанжейра такая пустынная, будто мертвая? Мама, а ты мне купишь глиняного бычка? Мама, мы пойдем с тобой на ярмарку? Мама, посмотри: корзины, полные глиняных бычков! Мама! Мама!.. У нас в доме было два бычьих черепа, да нет — гораздо больше. Там осталась моя кожаная пастушья рубаха. Она была вся в дырках от пуль. Там остался мой кожаный нагрудник, грязный и забытый. Там я сидел на берегу ручья, уставившись на колышки соседских заборов, украшенных, по обычаю, разноцветными яичными скорлупками Там остался навсегда бычок моего детства. Глиняный. Раскрашенный. Там остались черепа тех бычков, которых я съел,— они тоже были разной масти. Ах, мама, как мне было их жаль! Когда-нибудь я умру, а Ларанжейра все будет тянуть лямку жизни. Иногда в детстве я засовывал палец в ухо быка, почесывал его и тихонько подергивал, посвистывая при этом. Теперь меня некому слушать. Стада нет. И свист мой ни к чему. Я, правда, пастухом никогда не был. И все же, когда я свищу и разглядываю землю, мне становится горько.

III

Я сижу на крыльце фазенды [1] кума Нестора. Большой палец на ноге огнем горит — под ногтем какой-то паразит завелся. Пытаюсь разглядеть этого гада, но снаружи ничего не видно. Мысли текут пустые вялые. Например, почему близлежащие деревни, разбросанные по холмам и долам, носят такие странные названия: Маисовый Стебель, Черный Камень, Глянь На Море, Завтра Будут Кокосовые Орехи? Много здесь таких селеньиц, но большинство из них опустели, кое-где торчат еще две-три соломенные хижины, редко — деревянные. Народ здесь худющий, не ходит — ползает, уткнувшись носом в землю. Наконец, обнаружил я под ногтем червяка, разрезал полпальца, захватил горсть земли и обмазал ногу, чтоб зажила скорее. Сижу, поглаживаю больное место, а ногу уж и не чувствую: так она опухла. Да и как не опухнуть, если столько дней ботинки не снимаю, вены вздулись, как канаты, а о носках и говорить не приходится — будто расплавились, в кашу превратились. Вытянул ноги, поднял их кверху, чтобы каждый палец на ветерке проветрился, а то вонь такая, что не продохнуть. Хотел поваляться на террасе, а места для этого, хоть она и просторная, нет. Пришлось ноги опустить на землю, и снова принялся я рассматривать больной палец — совсем к носу подтянул. Зуд в ноге меня одолел невыносимый. Я еще глубже резанул и обнаружил наконец тварь эту подкожную. Расковырял как следует — до того места, где он сволочь, вцепился,— прямо по живому мясу. Но вытаскивать не тороплюсь — такое серьезное дело прежде обмозговать надо. Сижу, свернул из табачных листьев толстенную сигару — тупую по концам, пузатую посередине,— покуриваю, пускаю дым, а он так в воздухе и стоит, потому как воздух

[1] В данном случае — деревенский дом.

здесь тоже мертвый. Глазею на пасущегося поблизости рыжего быка, вот он лег и все хвостом помахивает. Хорошая скотина! Однако всем понятно: уж коли обнаружился в твоем теле паразит, то извлечь его следует обязательно. Эта дрянь пасется в тебе, словно бычок на пастбище! Не бывает так на свете, чтобы добрый христианин мог спокойно наслаждаться своим отдыхом, вечно какая-нибудь дрянь объявится. Пришлось мне вынуть из дорожной сумки пакетик с иголками, выбрал я самую острую из них и пару раз лизнул ее кончик, чтобы духов отогнать. Потом закинул больную ступню на коленку другой ноги, зажал палец и наконец извлек иголкой насекомое. Всем известно: оставь его надолго — он так размножится, что у тебя под кожей расползется целое сонмище паразитов. Палец совсем размяк и опух, стал похож на гнилой помидор. Пришлось сдирать с него вместе с грязью ошметки кожи, а потом растирать лимоном и пеплом. Только так и можно спастись. У кума Нестора есть дочка. Все на меня поглядывает, шельма! Еще как прибыли мы сюда, я подумал: не напрашивается ли она на поцелуйчик, ну и прижал ее в углу. А вышло, что хотела она получить поцелуйчик не от меня, а от нашего проклятого арестанта. Я ее спрашиваю: «Хочешь, поцелую?» Нет, не хочет. Девчонка совсем выросла, даже неприлично ей по дому в короткой рубахе шлепать. Уже налилась телом. Амаро, как увидел ее вчера, так и зашелся: «Исправной тебя господь создал, да будет благословенна наша матерь божья!» А сам уставился на нее, глаз не отрывает от края юбчонки, замышляет какую-то каверзу. Я ему: «Слушай-ка, Амаро... Понял?» А он: «Что ты, сержант? Что ты? — говорит.— Что ты?» Что ты, что ты... А сам куда пялишься? Посмотрим, как ты запоешь, когда кум Нестор засечет, что ты на его девчонку заришься. Я-то ему ничего не скажу. Амаро зажал в одной руке стебелек тростника, другой — пистолетом играет, целится в воздух, балуется. Будто ему и дела нет ни до чего. А тут опять девчонка появляется, под посконным платьем грудки обрисовываются. Мне, например, такое не по душе; такое всегда мужчину в замешательство вводит. Не меня, конечно, других. Девчонка выросла без матери, без братьев-сестер. Отец с утра пропадает в стаде. Говорят, был у нее братишка-близнец, так помер от боли в животе, когда ему еще и недели не исполнилось. Вскрылся у малютки пупок, и, хотя ему аккуратно присыпали ранку сухим навозом и резаной травой маструсо, ничего не помогло. Отошел. Вытянулся и застыл. Ни у кого сил не хватило по обычаю положить младенца. Так и похоронили полустоя-полусидя. Люди об этом рассказывали, сам-то я не видел. По мне, так я сейчас бы с этой фазенды смотался. Вот только явился бы Элевалдо и сказал: «Можешь топать...» Смотался бы немедленно. Надоело мне здесь до чертиков, да еще этот Амаро. То он тростник ломает да покусывает стебелек, то в ленты его рвет. К черту! Надоело! А сам все поглядывает на холмики под рубахой девчонки. Конечно, она уже совсем женщина, небось лет тринадцать-четырнадцать уже есть. Девчонка стоит рядом, смотрит прямо на меня.

— Червяка выковыриваете, сеу Жетулио?

Не люблю, когда меня называют «сеу», для чего же тогда мои сержантские нашивки?! Да, выковыриваю. А что другое может делать человек, когда у него в руке иголка и нога задрана кверху? Может, собирается себе ноги сшить вместе? Не нравится мне, как девчонка ведет себя: физиономия постная, ручки сложены на животике, а глазками так и шныряет, так и шныряет. Не по душе мне такая порода. А хуже всего, что наш арестант с нее глаз не сводит и все ей улыбается. Позавчера я заметил, как они пересмеивались; врезал я тогда девчонке, так оба аж застыли от страха. Предупреждал же я кума, едва мы пришли на фазенду: запри этого типа в каморку, посади на цепь или свяжи арканом, поставь туда ночной горшок, пусть старая Озонира носит туда ему жратву. В первый день заперли и при-

вязали. На второй им уже этого ублюдка жалко стало. «Он такой вежливый, такой образованный» — и прочая ахинея. Да еще эта старая глухая корова Озонира зудит: «Бедненький, ему веревка руки натерла», «Бедненький, он и двинуться не может», «Бедняжка, он и не жалуется», «Бедненький, он такой голодный». Вырвал бы я язык этой слепой кобыле Озонире! Толку от нее никакого, только языком мелет как помелом да все забывает. Сидим, мелем всякую чепуху. Амаро несет свое, кум Нестор — свое. Вот уж поистине — чем старее, тем глупее. Нестор рассказывает о себе всякие истории — когда, где и что с ним случалось. А я про себя думаю: дождаться бы, чтобы кум в поле уехал, вот тут-то я бы устроился... Пастух — он и есть пастух: весь божий день от зари до зари среди скотины. Весь высох, от солнца кожа дубленая, только прищуренные глаза посверкивают. Но мужчина он старой закваски. Есть у Нестора такая привычка: первое, что он делает, вернувшись с поля — еще до умывания,— это садится на крыльцо и старинной бритвой «золинген» чистит себе ногти. Не торопясь, палец за пальцем. Иногда при этом слушает радио, но не всегда. Так вот, даже кум Нестор, вроде старой Озониры, стал меня просить развязать и выпустить из каморки моего арестанта. И чего ему в голову ударило?! По мне, так эта падаль — сам лукавый, уж точно бес хитрющий. Пришлось вытащить этого типа, который стал уже похож на связку маисовых стеблей, но веревки с шеи не сняли — пускай ходит по комнате на привязи. Говорю куму: «Слушай, Нестор, очень мне этот человек не нравится! Нельзя ему доверять. Не человек он, а оборотень». Опять толкую: «Пойми, кум! Вот увидишь, ударится он о землю, обернется волком. Этот тип чуть было со всем городом Рибейрополисом не покончил, правда, не получилось у него тогда. Дьявол, а не человек! Сущий черт! Если бы только от меня зависело, я бы кровь из него выпустил и тем самым долг свой выполнил. Нет, приходится тащить его, и выхода у меня нет никакого». А арестант уже на середине комнаты, да еще и поклоны на все стороны развешивает:

— Добрый вечер всем.

Сама вежливость! Будто никогда не приказывал убивать, будто никогда не осквернял могил, будто и грехов за ним не водится. Каков хам! А бандит-то, выходит, здесь я! Я, который никогда в жизни не стрелял никому в спину. Пускай так, пускай я бандит! Похоже, что, если мы еще чуть-чуть здесь задержимся, то мой арестант получит свободу, а я, как ненужный пес, останусь здесь с петлей на шее и привязанный к столбу за ногу. Такие случаи тоже бывали. Тут я заметил в углу здоровенный цеп. Почему бы мне не схватить его и не отреть старую Озониру, и моего арестанта, и каждого, кто под руку подвернется? Глядишь, и все встало бы на свои места. Почему я тогда ничего такого не сделал? Забавно, оставил все как есть. А тип уже вовсю против меня сети плетет, даже Амаро начинает с ним заодно выступать, при этом опять пожевывает свои стебельки, а сам шкодливо поглядывает на девчонку. Такого я вытерпеть не мог и стал медленно закипать.

В этот момент и появился Элевалдо, не мог он не вернуться сюда. Видно, где-то по дороге собрал солдат на подмогу. А вот тут чуть было пулю себе в лоб не схлопотал. Мне поручено ответственное дело, я сижу злой как черт, а он вдруг появляется из кустов, не предупредив и даже не крикнув. «Вот что, сеу Элевалдо,— говорю я ему,— повезло тебе, что у меня пистолета в руке не было, когда ты из зарослей вынырнул. Тогда бы я не колебался, и — бац! бац! бац! — все пули легли бы одна в одну, а во лбу у тебя засветилась бы дырочка, одна-единственная, но с тремя кусками свинца. Ты за этим сюда пришел?»

— Хватит пороть ересь, Жетулио. Отпусти арестанта! Придется

тебе посидеть несколько дней с этим типом на фазенде Нестора Франко.

Вот как! В один прекрасный день, когда я уже почти выполнил свое задание, когда осталось только сдать его с рук на руки и возвращаться назад, дело вдруг принимает такой неожиданный оборот.

— Объясни мне почему?

— Потому что газеты подняли шум и вой, в Аракажу направлены армейские части округа. Шеф заявил по радио, что он никого не хватал и не похищал.

— Это правда, он сам не хватал. Этого типа похитил я.

А тип уже тут как тут: стоит, привязанный за ногу к имбуе [1], но уже смеется. Была у меня когда-то тетка, так она однажды с самим дьяволом повстречалась. Пошла нарубить веток с дерева жакейры, ударила по стволу, мачете сломался, и она, как водится, имя нечистого помянула. А он тут как тут! Грязный такой, мерзкий, тетка говорила, самый отвратительный из всех отвратительных. И хвост змеится, и смрадом несет, и рожа нахальная-пренахальная, какую только лукавый может скорчить. «Звали меня?» — спрашивает тетку, а голосок тоненький, как свистулька, не говорит — трели выводит. Тетка рассказывала, что он, когда пасть открыл, такая вонь пошла, словно из помойки. Так и хочется перекреститься, как представишь, что бес к тебе обращается: «Вы меня звали?» А потом стал скандалить и жаловаться, что зря его поминают из-за какого-то сломанного топора, что он никакого отношения к инструментам не имеет и вообще там не блудил в тот час, а положено ему было негодяйствовать в Итапоранге, и что вообще некрасиво просто так, к слову, поминать каждый раз чертей. Тем более, если речь идет о каком-то паршивом мачете. Тетка ответила, что не звала она дьявола, и сказала, дескать, не «дьябо», а «кьябо», что, как известно, является названием овоща, и тебе, мол, бес, твое имя послышалось, так как слова похожие. Черт отвечает: «Врунья старая!» И как влепит тетке две затрещины, да такие сильные, что она, по ее словам, на землю свалилась. А лапа у него была тоже черная, грязная — натуральная чертячья лапа. И стал он ей юбку задирать, всякие пакости говорить и гримасничать, как только черти умеют. И опять ей: «Вы меня звали? Меня зовут Эрундино». Короче, необычный то был черт — ни Люцифер, ни Сатана, ни Вельзевул, ни наш обычный бесенок буте. Эрундино, видите ли, его звали. И затянул, как песенку: «Эрундино, Эрундино, Эрундино меня зовут, Эрундино...» Мерзкий, отвратный, черный, нечистый. Истинный дьявол. К счастью, тетка все-таки вспомнила молитвы: «О святой Киприан... О три креста Давида... О три колокола царя Соломона... О три слезы Марии Магдалины... О три раны Христа Спасителя! И так далее и тому подобное. Молится, кланяется, а сама норовит чертяке на хвост наступить. А кончик у него острый, как индейская стрела, и все дергается. Все же тетка хвост ему прищемила, но тут дьявол взорвался и улетучился, оставив после себя такую вонищу, что еще двадцать лет у каждого, кто по этим местам проходил, голова кружилась. Так вот, когда я увидел ухмылочку своего арестанта — он все еще за ногу к дереву был привязан,— пришло мне на ум, что он не иначе тот нечистый, которого моя тетка как-то в лесу повстречала. Стоит, скалит белые зубы и будто говорит:

— Сеу Жетулио, давайте забудем о том, что было. Я вернусь в Паулу-Афонсу, останусь в Баие, а вы отправляйтесь куда вам заблагорассудится. Со временем все уляжется и наступит мир и покой.

Дьявол! Элевалдо привез новые указания, ослушаться вроде нельзя, но пока я как бы отвечаю своему арестанту:

— А ты, ваша милость, заткнись, пожалуйста, не то прикладом

[1] Вечнозеленое дерево семейства лавровых, достигает высоты до 40 м.

по зубам двину. Мне даже хочется, чтобы ты меня после этого обматерил — был бы повод влепить тебе пару пуль из этой вот винтовки!

Возможно, сам Элевалдо ни в чем и не виноват. Возможно, мне лучше взять себя в руки и успокоиться. Но физиономия моего арестанта злит меня до бешенства, и мне хочется разнести ее, даже не зная, что именно мне в ней так не нравится. Если бы у него на носу хоть прыщ какой был, ей-богу, врезал бы ему по роже прикладом, потому что всем известно: ничто так хорошо не лечит от прыщей, как такие вот примочки. Спрашиваю Элевалдо: мол, не лучше ли покончить со всем этим делом здесь же, на месте. Громко так говорю: давай, мол, этого типа сейчас порешим. И даже объясняю, каким образом мне хотелось бы это сделать. Пусть арестант слышит мои слова, а то стоит, делает вид, будто ему все нипочем, даже уверенность в нем какая-то появилась. Опять говорю, что этого типа можно повесить, дело-то плевое. Элевалдо уставился на арестанта, будто размышляет над моим предложением. Этот Элевалдо тоже себе на уме. Вылезает из своего «гудзона» Амаро, вытирает физиономию, что-то жует, потирает шрам на лбу, спрашивает, сразу ли будем приканчивать нашего клиента или подождем. Элевалдо не отвечает, только языком цокает. Клиент, видя это все, перестал зубы скалить. Ну что, отбило смех, вражина рогатая? Понял, что солнышко для тебя может закатиться? Мне кажется, что Элевалдо становится жаль арестанта. Предлагает он держать его в доме Нестора, покуда не узнает, что делать дальше. И тогда он вернется, чтобы сообщить, когда нам можно будет продолжить путь с арестантом. Возможно, придется идти по рекам, избегая дорог. Потащили мы своего типа опять в дом, впереди Амаро катится на своем «гудзоне», оглядывается на нас и песенку поет: «Шагай, шагай, солдатик! Топай, бумажная твоя голова! Левой — правой, макаронная твоя голова! Тянись, тянись вперед, дынная твоя голова!» Чего он только не напридумывал, этот Амаро: и крабья голова, и меринова, и тыквенная.. И так до тех пор, пока мы не дошли до дома и не заперли клиента. Тощища! Поначалу я все жевал острый овечий сыр — а что еще было делать? Сегодня, как в сказке, валяюсь целый день на веранде, уж и не знаю, сколько дней здесь провели. Девчонка стоит над душой и все интересуется, вынул я из пальца паразита или нет. Амаро опять режет тростник и копается в потрохах «гудзона», посвистывая или напевая одну и ту же песенку. Я не всегда его понимаю: когда Амаро говорит, он как-то по-особому прикусывает язык. «Даже солнце (ну, про солнце я понял), даже солнце — тру-ля-ля! — пропихнулось сквозь окно и залило — тру-ля-ля! — и залило ей лицо». Дерьмо, а не песня! Спрашиваю его: «Как это «пропихнулось»?» «Не знаю, — говорит,— я так заучил». Как это «залило»? По-моему, песни должны быть такими, чтобы доходили до каждого, а не как этот бред. Амаро знает много песен, но имеет дурную привычку — как привяжется к одной, так и мочалит ее целый день:

Красоточка пригожая,
Моя рыжеволосая.
Глазки завлекательны,
Осколочки рубин...

Опять спрашиваю: «Ну, как это понимать — «осколочки рубин»? О чем это?» А он и сам объяснить не может и вроде даже обижается, что я его допрашиваю. По-моему, глупо петь песню, если ничего в ней не смыслишь, а он знай свое заладил: «Осколочки рубин... осколочки рубин.. » Никогда я еще ни от кого такого не слышал, только от него. В обычное время меня бы такое не тронуло, но когда слышишь одно мычание коров и в ноздри тебе бьет запах стойла да навоза, когда не знаешь, как выбраться из этой дурацкой тягомотины, вытерпеть занудство Амаро невозможно. Ему очень нравится произ-

носить всякие красивые слова. Он их сам себе повторяет вслух, будто мозгами подвинутый, и получает от этого удовольствие. Я еще не успел вытащить червяка из пальца, даже ботинки еще не снял, как вдруг появляется Амаро с травинкой в зубах: «Если мы этого типа потащим сейчас в Аракажу, большая заваруха со стрельбой начнется». Сам, говорит, подумай, сам рассуди. Смешно мне на Амаро глядеть, потому что зубы у него через один торчат: один вывалился, другой еще кое-как держится, и рот будто арбузная корка с несколькими застрявшими в ней семечками. Что поделаешь! Ничего не поделаешь, придется ему так и жить с арбузной коркой вместо рта и редкими семечками вместо зубов. Время тянется нескончаемо, по вечерам оно вообще останавливается. Разговоры мне надоели до чертиков, Амаро продолжает трепаться, и только о красотках или о центрфорварде Шаруто из Котингибы. Разглагольствует об ударе Шаруто. «Вот это удар! — повторяет он.— Врежет так врежет! Однажды Шаруто даже прорвал мячом сетку во время игры в Сокорро против команды «Пассаж», оставил о себе память! Да разве только в том матче! Сколько сеток мячом продырявил — не сосчитать!» «Вот что, Амаро,— говорю я ему.— Во-первых, мне не нравится Котингиба — дохлый городишко. Не люблю я и Сокорро, тоже рахитичный поселок, нафаршированный юными альфонсами и проститутками, будто они все сбежали из колонии для малолетних преступников. Во-вторых, мне не нравятся команды, играющие в голубых майках. В-третьих, не думаю, чтобы твой любимчик Шаруто с длинными, как у цапли, ногами и таким же длинным, как у этой птицы, носом может быть хорошим игроком. И в-четвертых, прикуси свой язык, который болтается как помело, потому что лучшая команда — это «Олимпийская». Усек?» Я-то сам никогда ее не видел, не знаю, какие майки носят ее игроки, помню только, что на груди у них несколько колец нарисовано. Говорить неохота, но не могу же я все время молчать?! Да еще Амаро меня злит, злят щели у него во рту, злит его медленная косноязычная трепотня, но если его не слушать, то услышишь одно мычание скотины. Жара обволакивает, дышать трудно, тишина, и мы с Амаро перебрасываемся словами только для того, чтобы ее растворить. Паузы становятся все длиннее и длиннее. Сидим, уставившись в пространство. Ночью не спится. Лежим на старых топчанах. Что же еще прикажете делать? Амаро опять твердит о своем любимце: «Шаруто то, Шаруто се, потому что мяч взял Шаруто, потому что мяч подал Шаруто». И опять по новой все о том же. Слышал, заткнись! По ночам на земляном полу появляются жабы. Мы с Амаро внимательно следим за ними, будто никогда в жизни не видели этих тварей. Вялая болтовня переключается на жаб. Амаро, например, спрашивает: «Ты когда-нибудь видел белых жаб? Посмотри-ка вон на ту, совсем белая». Я поднимаю голову, прикрываю глаза от света крохотного фитилька керосиновой лампы без стекла и смотрю на жабу. Некоторое время слежу за ней: тварюга замерла, видно, ждет свою жертву — светлячка. «Да,— говорю,— правда, совершенно белая. А если посмотреть с головы, то и не подумаешь, что она такого цвета». Амаро кивает: «Такая белая, будто покрашенная». Я опять приподнимаюсь и гляжу на жабу: «Действительно, будто ее покрасили, такая она белая». «Точно,— отзывается Амаро.— Такой белый цвет бывает только от краски». Мы оба рассматриваем жабу, и каждый время от времени то так, то эдак повторяет одну и ту же фразу: «Жаба белая». Мы видим ее кишки — она проглотила светлячка, и еще некоторое время он излучает свет у нее в утробе. Постепенно свет тускнеет, пока не погаснет окончательно. Амаро утверждает, что жаба сродни лягушке. «Это давно всем известно,— отвечаю.— Ты лучше скажи, не забарахлит ли твой «гудзон» в дороге?» «Забарахлит?! Это почему же ему барахлить, господи боже мой?!» «Гудзон» — американская машина? — спрашиваю я.— Однажды я видел двух американ-

цев — рыжих, как огонь». «А черные у них есть?» Нет, негров там нет, это же тебе не Баия, а Америка, Америка лежит далеко-далеко, где-то позади Африки. Мы продолжаем эту тему, пока я не говорю, что мне хочется поупражняться в стрельбе по жабе. Амаро возражает: в полу останутся дырки, да и шуму много ненужного будет. Поэтому мы снова глядим на квакушу — она сидит спокойно, переваривая светлячка. Стрельбы не будет, и мы кончаем тем, что пытаемся заснуть, несмотря на адскую жару. Амаро нашел какую-то книжку в коричневой обложке и пыжится, пытаясь ее прочесть. Там есть такая фраза — «речь без слов». Мне вообще всякие речи не по душе, поэтому я придавил пальцем фитиль и решил спать. Во сне мне, должно быть, приснилась жаба в «гудзоне».

Паразита проклятого из-под ногтя я все-таки извлек. Вот он, на кончике иглы, и сейчас я сожгу его спичкой. Деваться ему некуда, не успеет улизнуть. Пару раз крутанулся в пламени, вздулся пузырем и превратился в пепел. Но дырку в пальце он мне оставил здоровенную, придется ее землей мазать, чтобы не загноилась. Во мне опять начинает клокотать злоба: где это видано, чтобы человек вроде меня проводил время, замазывая дырку в ноге и зная, что после этого ему вообще будет нечего делать! Я, конечно, мог бы отправиться в поле с кумом Нестором, но скотина мне не по душе. Не люблю подходить к ней близко: бык — животное глупое, пойди догадайся, что он задумал. Кроме того, я не могу оставить арестанта, девчонка Нестора так и крутится перед ним, она ведь и развязать его может. Может, может! Я в этом не сомневаюсь. Но если она такое сделает, то сгореть мне на месте, если я ее с собой вместо этого типа не увезу. Мне и в голову ничего такого не приходило, пока не разыгрался скандал. Сидел это я спокойно на крыльце, почесывая больной палец, как вдруг слышу в комнате крики и вопли старой Озониры: «Пресвятая богоматерь из Перпето Сокорро! Иисус Христос из Пирапоры!..» Уж кого она только не поминала! Пошел я посмотреть, что там за шум, что за галдеж. И что же? Старая Озонира лупит чем попало моего арестанта, а тот крутится-вертится, норовит уклониться от нее да поскорее застегнуть ширинку. Хватаю винтовку, направляю на него, оборачиваюсь, а рядом — девчонка с мордой заговорщицы прикрывает свою стыдобушку. Я так и врос в землю.

— Говорил же я тебе, кум Нестор! Будь у меня в руке нож, отхватил бы ему все напрочь. Такое сотворить!

Был у меня нож, кстати отличнейший. Но если честным быть, не видел я смысла в том, чтобы обкорнать арестанта — он по-прежнему сидел на веревке, и ума не приложу, как умудрился пристроиться к девчонке. В самый тот момент появилась старая Озонира. Этого они никак не ожидали: обычно старуха в такой час шаталась где-нибудь милях в двух отсюда, а на сей раз побоялась оставить дом, вот и застала бесстыдников врасплох.

— Сеу Нестор, девочка не хотела, а этот нахал схватил ее за руку, потянул силой...

Враки! Девчонка как раз очень этого хотела, наверняка сама приставала, он-то со связанными руками такое сделать, понятно, не мог. А девчонка вдруг ударилась в рев: мол, папочка, родной, дорогой! Ничего-то она такого не хотела! Пошла, видите ли, дать арестанту воды, а то все тихонько в своем углу сидела. Но не порушил он ее, не порушил!

— Это точно, сеу Нестор. Девочка смирнехонько сидела в своем углу. Все дело в этом негодяе, чертяке бесовом!

Ставлю сколько угодно, что девчонка сама к нему приладилась. Не вода лодку манит, лодка сама к воде тянется. Стою, наблюдаю. Приятно видеть, как бесится кум Нестор, трясет головой, разглядывая взъерошенного арестанта, его расхристанный вид. Этот не знает

куда и деваться — то вверх поглядит, то вбок, то вниз, губы кусает и все твердит: «Ничего я не знаю, ничего не знаю».

— Отними руки от порток, козел! Хотел покрасоваться, так красуйся!

Не завидовал я ему. Сеу Нестор произнес только эти две фразы, потом влепил пару пощечин дочери и попросил нас с Амаро подержать девчонку, чтобы он смог ее выпороть. Она того заслуживала. Девушка, увидевшая в таком виде мужчину, становится девкой. Или станет ею. Наказания всегда помогают, вот мы и держали девчонку, пока отец хлестал ее бичом, который я заметил на стене еще раньше. Ловко порол — удары приходились и по спине, и ниже, и ремнем, и рукояткой. Скоро наша помощь была уже не нужна. Девчонка мягкой куклой сползла на землю и затихла. Старая Озонира пошла присыпать раны солью и полить уксусом — и поделом. Никакой отец не будет уважать такую дочь, даже если он в ее вину не верит. Чертова шельма! Она, видите ли, «не хотела»! Очень скоро захочет! А соль и уксус прочистят раны, останутся лишь рубцы, о которых она уже завтра забудет. Сейчас ей молчать следует, только благодарить отца за то, что не выгнал из дома, а то бы ей прямая дорога в шлюхи. Я-то давно понял, что все именно таким манером и кончится, лишь только увидел девчонку рядом с арестантом, увидел, как зазмеилось ее тело под жестким платьем. Недаром говорится: «Не жди там добра, где голая девка и сатана». Когда все успокоилось, кум Нестор позвал нас с Амаро на террасу. Сидим. Я скручиваю сигару, Амаро ковыряет носком ботинка земляной пол, выводит линии. Кум поглаживает длинный нож. Говорю: «Лично я не против, чтобы из этого типа выпустить кровь хоть сейчас. Но дело в том, что кончать его будут в Аракажу». Эта сволочь — важная шишка, набитая идеями. Нельзя, чтобы он помер здесь, в глухомани. Хотя теперь мне и самому неясно, может быть, и в Аракажу его не удастся прикончить, может, его там отпустят? Там и газеты и власти, а он — лицо известное». «Меняется политика,— говорю я.— Ох, как меняется, стала какой-то сопливой, жалостливой. А все потому, что руководят ею педерасты». Кум Нестор меня не слушает и ничего не отвечает. Он молчит, и я захлопнул рот. Что я могу сделать? Только ждать. Так мы сидели и ждали — кум Нестор не торопился, ему надо было обдумать, как поступить дальше. Мы трое сохраняли полнейшее спокойствие, беспокоился лишь арестант, который, вместо того чтобы сидеть и молчать, бегал по комнате, докуда ему веревка позволяла. Вдруг заводит разговор:

— Сеньор, вы должны меня выслушать. Можно все объяснить.

— Объясняй у себя дома, сукин ты сын! — поднялся с места кум Нестор и дважды ударил его в пах ногой.— Вот так-то, теперь станешь потише. Буду я еще объясняться с такой тварью, как ты.

Кум снова уселся в плетеную ивовую качалку, сурово смотрит перед собой.

— Девчонку можно отправить в монастырь святого Иосифа,— говорит Амаро.— Там и очистится от греха. Выйдет из монастыря уже старой, все позабывшей. Или отправьте ее в другой, где решетки повыше и почаще.

— Уж лучше бы она померла, сеу Амаро. Для меня она больше не существует.

Молчим. Дочь-то его, ему виднее. Прошло много времени, прежде чем кум Нестор высказался:

— Здесь этого типа убивать нельзя, люди могут прийти, а я не выношу беспокойства.

Это верно.

— А можно его оскопить. Наполовину. Вы ведь клеймите скот, сеу Нестор?..

— Да, но я даже козла не трогал горячим железом.

— Это несложно. Прикладываете раскаленную железяку, не-

много пахнет горелым мясом и — все. Главное в этом деле — точность, а то этот гад может кровью изойти. Хлопот немного — прижгли, и все дела.— Амаро придумывает новые способы.

— Нет,— возражает кум Нестор.— Этот тип может свалиться без памяти и окочуриться. Или свихнуться.

Я смотрю на арестанта: он волнуется все больше. Глядит на длинное, отточенное лезвие старого мачете, потирает руки, дергается. Нужно быть сильным мужчиной, чтобы не упасть в такую минуту на колени. Но этот не падает. Вид у него такой измотанный, что он уже и сам на себя не похож. Думаю, что, если бы мы приказали ему встать на колени, встал бы, приказали раздвинуть ноги и приготовиться к пытке, раздвинул бы. Но крепится. Уденисты — они все такие, поверьте мне.

Наступила глубокая ночь, сверчки и лягушки надрываются, а вопрос еще не решен.

— Сеу Нестор, полагаю, что арестанта все же лучше доставить целехоньким. Мой долг — вручить его со всеми частями тела.

— Простите меня, ваша милость сеу сержант, целым он отсюда не выйдет. Он ведь не хотел оставить мою девочку целенькой... И если бы не старая Озонира, устроил бы мне веселое рождество.

Согласен, значит, надо решать дело другим манером.

— Эй, Амаро, выдержит стекло твоего «гудзона», если по нему молотить головой.

— Хм,— отвечает Амаро,— не треснет. Конечно, если по стеклу долго колошматить, то поцарапать можно, а разбить — нет. Эти стекла — высший класс.

— Есть идея,— говорю.— Потом можно будет сказать, что этот тип сам звезданулся о стекло машины, а перед этим пропахал мордой по дороге. Любое увечье можно объяснить. Пускай он потом доказывает, что не грохался, это будет последнее, что он произнесет в своей жизни.

Обращаюсь к куму Нестору:

— Ваша милость, есть у тебя клещи для выдирания гвоздей? Выдеру я ему пару зубов спереди. Лучше по два зуба — сверху и снизу. Для порядка. И свистеть и плевать будет легче. Правда ведь, арестант?

Кум Нестор приносит старый, проржавевший сундучок, медленно открывает его, и крышка издает глухой скрип. Достает клещи — они тоже старые и ржавые. Как бы таким инструментом не повредить клиенту десны.

— Извини, ваша милость,— говорю ему,— другого не имеем. Выбирай: либо клещи, либо нож в пах. Понял меня, голубчик? Ваша милость понимает,— продолжаю,— что означает дергать зубы? Так открой же свой ротик-бутончик! Вот тебе, сволочь! Вот тебе!

Врезал я ему пару раз по морде железякой, всунул клещи в рот, выдернул четыре зуба. И бросил его.

IV

Никогда не предполагал, что Амаро знает столько молитв. Тем более не думал, что падре из заброшенной церквушки в Жапоатан заставит всех троих нас встать на колени и молиться. Священника этого я прежде знал только понаслышке, и когда увидел его в первый раз, то подумал, что на святого он похож меньше всего, скорее на бандита и к тому же чокнутого, который разыгрывает из себя слугу божьего. А может, он одержимый? Таких у нас всегда было навалом. Говорит он быстро и громко — едва успеваешь понять, а прозвище у него «Стальной падре с красной рожей». Уж такой у него характер — сталь, а через все лицо тянется длинный красный

шрам. Рубец этот то наливается кровью, то бледнеет, и так всегда, в зависимости от настроения. Он знал, что мы идем к нему, знал, что придется нас приютить. Но когда мы подошли к церкви, он стоял со скрещенными на груди руками, словно спрашивая: кто такие, почему здесь? Время, мол, близко к полуночи, а таких, как вы, на дорогах шляется множество. Падре разглядывал нас из-за деревянной решетки бокового придела, разглядывал долго, не произнося ни слова. Мы с Амаро толкуем ему, что очень торопимся, что с нами еще один, тот, что на привязи и стоит, опустив голову, у самой двери. Потом мы с Амаро объясняем, почему нам пришлось переодеться — мне снять свою сержантскую форму и накинуть дождевик с капюшоном; почему у нашего клиента на лице повязка — десна у него разорвана, а разорвана она потому, что клещи, как известно, не слишком-то приспособлены для удаления зубов, они все время срывались, вот поэтому-то я ему всю десну и разворотил, кровища хлестала так, что мы боялись за арестанта — подохнет, а наказать его так и не успеют; почему мы, я и Амаро, нервничаем — дела у нас дерьмовые: за нашими спинами маячат отрубленная голова армейского лейтенанта и трупы нескольких солдат, которых мы кокнули в заварухе на фазенде кума Нестора. Священник слушает, по-прежнему скрестив руки на груди,— до всего-то ему есть дело! Падре ли ты, монах, епископ, хоть сам святой, хоть ангел или пророк — нельзя же в такую тяжкую минуту стоять как истукан! Мне кажется, что мы торчим перед дверью этой церкви уже год. Нет, неверно. Кажется, что стоим день, потому что годы, как известно, летят быстро, а дни тянутся медленно. Не спуская руку с пистолета, прижался к решетке и внимательно слежу за падре. Он с места не двинулся, только выше поднял толстую поминальную свечу и осветил свое лицо. Рожа у него, прямо скажем, не из приятных: отекшая и красная, совершенно красная. И очень мрачная. А взгляд как у цепного пса. Он буравит своими глазками меня, а я уставился на него, так мы и стоим нос к носу. Я держусь спокойно, только опустил капюшон и повернул лицо к свету, притянув арестанта поближе:

— Проси благословения у святого отца! Только и знает, что скулить под своим намордником! Ну ты, будь повежливее!

Священник вздрагивает. Наконец, словно из глубокой пещеры, раздается:

— Эй, вы там, снаружи!— На голове у священника что-то непонятное: то ли ночной колпак, то ли шлем — видно, какая-то штука из их церковного облачения.

— Эй, вы там, внутри!— отвечаю.— Это я, Жетулио, от дона Акризио Антунеса. Того самого сеньора Антунеса из штата Сержипи, этого собачьего угла, где все так накалено, что вот-вот взорвется.

Опять кричу:

— Послушайте, сеу падре! Откройте вы наконец засов, а то придется нам топать дальше на Парамбу или Пакатубу. Но учтите: если наше задание сорвется, то виноваты в этом будете вы, ваша милость.

Похоже все-таки, что у падре мозги набекрень, потому что опять слышится:

— Эй, вы там, снаружи!

А я ему:

— Эй, вы там, внутри!

И опять, и опять.

— Вы что же, хотите, чтобы я в колокола ударил?

— Эй, вы в церкви!

Вдруг этот праведник спрашивает:

— Нестор помер?— А двери так и не открывает.

— Не так просто его загнать в могилу,— отвечаю.— Он сам не-

мало людишек ухлопал на своей фазенде. Здорово подскочила смертность среди тех, кто хотел ворваться на его земли. Я все вам расскажу, ваша милость, только впустите нас. Откройте же дверь!

— Во имя господа бога,— говорит священник, приоткрывая решетку.

Вошли. У ног падре сидит огромный черный пес. Сам он — в ночной рубахе и ночном колпаке, через плечо — двустволка старинного образца, курки уже взведены. Он крепко держит ее под мышкой, прижимая локтем, смотрит на нас в упор.

— Никогда не видел такого оружия, сеу падре,— говорю.— А курки взведены?

— Да, наготове. И если ты дернешься, то останутся от тебя одни клочья. А заряд в ней такой, что если дать из обоих стволов, то даже такого борова, как ты, в воздух подкинет.

— Не думаете ли вы, сеу падре, что эту винтовочку лучше убрать подальше, небось, пороху до пятнадцати арроб[1] сжигает.

Священник медленно поглаживает приклад, каждый из стволов, трогает мушку, лаская. Затем отставляет двустволку в сторону.

— Даже если поставить ее дулом в землю,— замечает он,— при малейшем шуме сама выстрелит. Курки легкие, как у револьвера. Однако в церкви я не стрелял, какой же это будет храм, если в нем палить! В церкви убивать нельзя. Убивать можно снаружи, вне дома божьего. Вот мы и ставим здесь вокруг церквей высокие заборы. Не переношу кровавой охоты в доме господнем.— Священник продолжает:— В свое время у нас в церкви проводились выборы, вот когда приходилось загодя и очень тщательно готовиться.

Он опять берет двустволку за стволы и устанавливает ее возле скамьи, продолжая разговаривать, будто сам с собой. Временами он оглядывается по сторонам, но чаще взгляд его обращается куда-то вверх, под крышу.

— Если здесь пальнуть из моей пушки, церковь рухнет. А денег на ремонт у меня нет.

Он говорит еще некоторое время, положив руку на голову прижавшегося к нему пса, повторяя, что, мол, денег ни на ремонт, ни на что другое ему не дают.

— Дерьмо, а не храм божий,— сокрушается падре, вздымая руки, потом с силой хлопает себя по ляжкам.— А теперь помолимся,— заключает он.

Мы опускаемся на колени. Никогда бы не подумал, что Амаро знает столько молитв, я-то их совсем не помню. Амаро громким голосом заводит псалом.

— Заткнись,— говорит ему священник.— Высокая партия моя.

Приходится нам снять намордник с арестанта. Амаро хотел сделать это осторожно, так как кляп под верхней тряпкой припекся к губам, но если не торопиться, то он никогда не кончит с этим делом. Я бы, например, не снимал с арестанта намордник, все равно он говорить не может, даже сотворить молитву. Рожу у него после моей операции страшно разнесло, да и за кого ему молиться? Я всегда говорил, что бог против уденистов, а у коммунистов вообще бога нет. Но Амаро все равно стаскивает с этого олуха намордник, тянет у него изо рта кляп. Арестант стонет и охает, а вокруг разносится нестерпимая вонь. Священник поднимает свечу, чтобы лучше разглядеть изуродованное лицо.

— Пожалуй, лучше рвануть одним духом,— сомневается Амаро.— Не так больно.

Священник возражает:

— Может опять пойти кровь.— Он нажимает на щеки арестанта, заглядывает ему в рот.— Сержант, что произошло с этим несчастным?

[1] Арроба — старинная мера веса (около 15 кг).

— Кхм-кхм. Я к этому никакого отношения не имею,— отвечаю я.

— Я вас спрашиваю, сержант: что вы с ним сделали?

— Что, что... Пресвятая матерь божья! Сначала врезал ему рукояткой, чтобы он пасть свою открыл, а потом выдрал зубы — по две штуки сверху и снизу. Легкая операция.

— Так-так,— замечает священник.— Потом вы мне расскажете поподробнее. А сейчас помолимся... Повторяйте: мой грех, моя вина, помяни меня, боже, помоги мне...

Арестант крестится двумя руками, оно и понятно: руки-то связаны. Но я не подхожу, чтобы освободить его, пусть зарабатывает себе проклятие на том свете за то, что молится не как положено. Молимся долго, я дважды прочел «Отче наш», дважды «Ave Maria», потом мне молиться надоело, и я стал просто слушать священника, продолжавшего частить на своем панихидном языке. Больше всего в тот момент я боялся, как бы вдруг арестант не стал праведником, добрым христианином, но, похоже, наш падре был не из тех, что творят чудеса. Я уселся на скамью дожидаться конца моления, стараясь не заснуть, а в голове вертелся вопрос: перестанет ли храм быть храмом, если я в нем засну? Так я и сидел, тараща глаза. Амаро же оказался совершенно другим человеком — он с головой ушел в псалмы, в песнопения. Скорее всего, он никогда не попадает в аварии именно потому, что охраняет себя от несчастий словом божьим. Мне тоже захотелось выучить, как Амаро, много молитв. Помню, как я повел сына шефа к первому причастию. После церкви мы сфотографировали малыша: в руках он держал большую свечу, обвязанную длинной лентой, а на ширме за его спиной летали ангелы. Однако матери фотография не понравилась — мальчик получился в профиль и все, дескать, из-за меня. А я-то при чем? Захотелось малышу крутануться, вот он и повернулся боком к аппарату.

Краснорожий падре, одергивая ночную рубаху, ходит между скамьями туда-сюда, опять туда, опять сюда. Ходит приседая, как пастух, привыкший к седлу. За ним следит взглядом арестант, руки его по-прежнему стянуты веревкой.

— Как в страшном сне,— вдруг говорит падре.— После молитвы об отпущении нам грехов надо промыть этому несчастному рот соленым раствором. Потом я устрою вас всех на чердаке. Вы, конечно, могли бы поспать и здесь, на скамьях,— продолжает краснорожий падре,— но завтра чуть свет пономарь придет готовиться к первой утренней мессе, а я не хочу, чтобы вы еще и ему надели намордник.

Потом он говорит, что покажет нам чулан, где стоят две койки с натянутыми вместо матрацев коровьими шкурами, а третий, поясняет он, может устроиться на полу, набросав себе соломы. Боже мой, как мне хочется упасть на красный кирпичный пол, растянуться на нем, но я слушаю и рассматриваю падре. Сколько ему лет? Неизвестно. Может, пятьдесят, может, тысяча. Походка вразвалку, как у сельского жителя. Может, сын пастуха, а может, до принятия сана и сам верхом гонял стада. Здоровый, крепкий, как растущее у нас железное дерево, правда, уже начинает сутулиться. Внимательно слежу за арестантом: рот распух, губы вывернулись. Он пытается распрямиться, разогнуть спину — по ней я ему тоже накостылял. Не могу понять, что за человек этот священник? То падре как падре, а то вдруг ведет себя как сахарозаводчик — гордецом эдаким! Похоже, он способен болтать ночь напролет, все они белокожие охочи до политики.

— Может, завтра разрешим все проблемы, сеу падре?

— Хорошо, сержант, ведите своего пациента.

Тут я заржал как лошадь, так смешно мне было глядеть на этого гада, который, оказывается, похож на «пациента». Я ржал и

ржал, пока живот не заболел от хохота. Мне это показалось так забавно, что я даже погладил арестанта по макушке и подтолкнул вперед: «Проходите, сеньор пациент! Шагайте вперед, ваша милость пациент! Ха-ха-ха!» Какой же он «пациент»? Разве у настоящих пациентов бывают такие хари! Мне хочется дразнить и травить его, как зверя: «Пожалуйста сюда, доктор пациент! А теперь сюда, ваша милость маэстро! Еще чуть-чуть!» И я взрываюсь хохотом при каждой шутке. Он бы убил меня, если б мог. А чего? Не могу я позволить, чтобы этот тип портил мне кровь своим существованием. Я бы ему и рот не промывал соленым раствором, но тут мы остановились перед крестильной купелью, и священник решил, что лучше всего нашему клиенту прополоскать десны святой водой. Амаро нашел какой-то металлический сосуд — похоже, это был ночной горшок, но почему-то удлиненный,— священник бросил в него соли, развел водой, и мы стали заливать этот рассол в рот арестанту. Заливали, промывали, а потом использовали этот горшок для малой нужды — арестанту совсем было невтерпеж. После всего, связав ему еще и ноги, бросили на пол на солому — прекрасно устроили.

— Эй, Амаро,— говорю.— Ты заметил, что этот падре ходит приседая? Не иначе — из пастухов.

— Кхм-кхм.

— Удобно устроился на кровати?

— А жаб здесь нет.

— Слушай, Амаро, а ведь наш хиляк настропалился смыться, когда увидел, как к фазенде кума Нестора двигается целая армия во главе с лейтенантом. Видал, какая силища прибыла!— Эта сволочь Амаро уже дрыхнет мертвым сном.— Амаро, проснись! Ничего, наступит твой день, арестант. Падаль этакая! Блоха брюхатая! Достанется тебе, а то разлегся тут, дышит, пузо то вверх, то вниз. Остались еще люди на божьем свете, которые тебя могут укокошить. Вот сядем опять в наш «гудзон»... Эй, Амаро! Послушай, Амаро, твой «гудзон» стоит перед церковью? А если и сюда солдаты пожалуют?

Так хочется спать, но сон моментально улетучивается. Размышляю: не стянуть ли мне у священника двустволку и не расположиться ли с ней у окна? Не следует спать сейчас, никак не следует. Ах, подонок! Ах, сукин сын! Будь проклята твоя мать-потаскуха! Может быть, в этот момент к церкви уже шагает за нами рота солдат? Арестант проклятый!

Непонятно, что же все-таки произошло за это время в Аракажу? Элевалдо не сказал напрямик ничего, но что-то случилось. Похоже, и мое путешествие, и порученное мне дело уже кончаются. Не рвануть ли мне отсюда, попросив на дорожку благословения краснорожего падре и захватив с собой пациента? Эй, Амаро, как ты считаешь, похожа рожа нашего арестанта на «пациента»? «Сеу пациент» — ха-ха-ха! Вот уж точно — «сеу пациент»! Амаро, ты заметил, что этот падре необычный какой-то? Сегодня так чертыхнулся, что аж уши завяли. Может, на их церковном языке ругательства что-то иное означают? Давай, Амаро, завернем нашего «пациента» в рогожу, обвяжем веревками, бросим в багажник и прочь отсюда! Я бы лучше отсиделся в Барре-дос-Кокейросе, подождал бы там указаний. И баста! Никто и не догадается, что мы сидим в пяти шагах от Аракажу с этим поганым живым сундуком, на виду у всего города, прямо на Императорском мосту, поглядывая сверху, как бегают у берега речки сири. Может, прямо завтра и тронемся в путь? Не знаю, возможно. Да, этот падре не простой человек, и молитву может прочесть, и из своей пушки пальнуть. Это мне в нем нравится. Видел церковный придел? Все он сам делал: и бревна пилил, и таскал их. Такой и быка запросто свалит, уж ты мне поверь. И двустволка у него хороша — по пятнадцать арроб пороха на заряд! Ха!

Значит, так: если здесь появятся чужаки, нам, по-моему, надо спрятаться в этой пристройке. Она хоть и прилепилась к церковной стене, но все же не храм божий. Так вот, я сижу за дверью и шлепаю первого же, кто полезет. Первому же шустряку, который пересечет порог, устрою в черепе хорошую дырку — пиф-паф, бух-бах! Сначала один курок, потом — другой, и дело сделано. Разглядел ты пушку священника? Серьезная штука, доложу тебе. Двустволка старинной работы, такая осечки не даст, курки у нее что надо. Похоже, пара фунтов пороха в стволы все же забита. Хотя тут не порох, тут специальный патрон — он еще сильнее. Никогда из такой штуковины не стрелял. Эх, жизнь моя паскудная! Ну разве это жизнь, Амаро? Сплошная подлость. А с другой стороны, чего мне канючить, я ведь другой и не знаю. Что я умею делать? Ничего. Ну и сволочь же ты, Амаро! Спишь, как колода, а я вот не могу... Скорее всего, этот падре все же умеет молиться, только вот молитвы у него все какие-то деревенские, больше на ворожбу похожи. Сам я никогда не слышал, чтобы священники заговаривали скотину против сглаза или змеиного яда. Говорят, это не помогает. А не помогает потому, что священник не пастух. Пастух — тот все про скотину знает, потому и ворожить ему уметь нужно. Побормочет, поколдует, глядишь — клещи все сами с коровы и валятся: чпок-чпок-чпок! Эй, Амаро, скажи-ка, а Сержипи — это ведь не только пустынные сертаны? Есть у нас и добрая земля, есть и жизнь, правда? Ох-ох, болит у меня хребтина от этой кожаной кровати. А у тебя не болит, Амаро? Молчит. Видно, я больше всех болтаю, сам с собой говорю. А ты, Амаро, с первого дня, как тебя господь бог на свет выпихнул, больше всего в жизни любишь дрыхнуть. Слушай, ты заметил, какой пес у падре? У меня тоже был такой кобель. Ну, может, не совсем такой, но похожей породы. Пожалуй, еще крупнее. Звали его Потом Скажу. А все потому, что, когда у меня спрашивали его кличку, я отвечал: «Потом скажу». А сам молчал. Так и пошло — сколько меня ни спрашивали: «Как зовут твоего барбоса?»— я всегда отвечал: «Потом скажу». Опять шло время, опять меня спрашивали: «Ваша милость, помните, вы мне обещали сказать, как зовут вашего пса?» Я снова: «Потом скажу». Эй, Амаро, что же ты даже не усмехнешься? Где это видано, чтобы так мертвецки спали? Лежит, как бревно! Да тебя такого хоть голыми руками бери. Вот ведь обалдуй! А я вот никак не могу заснуть в этой ловушке.

Сам не понимаю, как я сумел улизнуть из заварухи на фазенде кума Нестора. Пламя полыхало, как на день святого Иоанна, когда кругом костры жгут. До того момента все было спокойно, и по лицу кума Нестора никто бы не сказал, что он взбудоражен. Медленно слез с коня, отстегнул от пояса кожаные фартуки, повесил их на гвоздь, спокойно поднялся на крыльцо, поглядел на сапоги, заметил, что забыл снять шпоры, спустился со ступенек, присел, вновь зашел на террасу, открыл сумку для табака, что висела у него на груди, захватил щепоть и только тогда обратился ко мне: «Знаешь что?» У меня в голове и мыслей-то никаких не было, не понял даже, о чем речь. Амаро, как всегда, под «гудзоном» и наверняка храпит, потому что делать ему там совершенно нечего. Арестант по-прежнему взаперти. Чего я мог знать и о чем думать? Ни о чем.

Кум Нестор только и сказал: «Знаешь что?» — состроил непонятную рожу и замолчал. Я ничего не ответил, слежу за выражением его лица, за движениями: достал табак, мелко-мелко накрошил листья, свернул самокрутку, закурил да еще в рот табака напихал, после этого сообщил, что к фазенде идет отряд из двадцати солдат; что он послал батрака Кармалино загнать стадо в стойло; что солдаты вооружены винтовками со штыками и при них — два коротконствольных пулемета или что-то вроде этого. Добавил, что я могу еще немного побыть здесь, а потом лучше мне смотаться отсюда

через задние ворота. Идет отряд? Что за напасть! Кум Нестор еще сказал, что лейтенант ничего ему не объяснил, но, похоже, что-то стряслось в политике, все закрутилось наоборот, и отряд прислали за арестантом. «За моим клиентом?» — «За ним самым». Тогда ладно, прикончим этого малого — и точка, пускай солдаты его забирают, когда он уже в деревяшку превратится. Или даже раньше, сразу как только дух испустит. Однако кум Нестор решил по-другому. По его мнению, было бы неуважением к самому себе допустить, чтобы отряд вторгся в его владения. Он предложил подождать, пока солдаты подойдут к перекрестку дорог. Здесь он постарается задержать их, чтобы мы успели смотаться под защиту Стального падре. «Устроим встречу этим свиньям, этой правительственной делегации»,— говорит Нестор, а у самого физиономия хмурая, и в углу рта окурок дрожит.

Никогда не предполагал, что лишу головы лейтенанта, который привел солдат на фазенду. По крайней мере, в мыслях у меня такого намерения не было. Я не говорил себе: «Послушай, Жетулио, давай-ка освободим лейтенанта от забот о собственной голове». Тем более что увидел я его лейтенантские погоны позднее, когда отряд подошел уже совсем близко. Но я сразу же понял, что парень этот — большой нахал.

Мы залегли у развилки, все думаем об одном, только каждый — по-своему. Уставились на дорогу. В этот час в природе тишина, воздух — хоть режь, такой густой и тяжелый. Вдали видны кусты, похожие на табуретки из лозняка; все тихо, только изредка цикады или какие другие насекомые застрекочут. Так вот, тогда я даже не думал лишать лейтенанта головы. Прежде я никогда ничего подобного не совершал. И вот появляется лейтенант и говорит с кумом так, будто ротой своих солдат командует. Смотрит на меня: «Вы одеты не по форме, сержант». Я гляжу на него и тут узнаю: ба, старый знакомый! Зовут его Амансио. Все знают, что он педераст, да еще и уденист. Солнце печет — сил нет. Лейтенант обвязал под фуражкой голову белым платком, стоит, смотрит на нас узкими поросячьими глазками. Говорит вежливо, культурно, а я вежливых да культурных на дух не выношу. Уж лучше бы хамил. Может, потому я лейтенантика сразу и невзлюбил, что был он слишком уж галантен. Глядит прямо на меня и говорит: «Этот не по форме одетый сержант вывез некоего субъекта из города Паулу-Афонсу и скрывает его здесь, на вашей фазенде. Я прибыл сюда, чтобы препроводить куда надо всех троих: субъекта, сержанта и шофера. Правительство не намерено терпеть подобный произвол. Субъект отправится со мной».

Гляжу, по лицу Нестора заходили волнами тяжелые желваки. Видно, с большим трудом сдерживается, чтобы не бабахнуть... Но пока терпит. Тут лейтенант вытягивает широченный нож и ну перед нами кобениться, да еще твердит, что у него нет времени для болтовни. Кум Нестор сплюнул жеваным табаком и продолжал плеваться до тех пор, пока не очистил рот от последней крошки. А потом спрашивает лейтенанта:

— Сеньор явился от правительства Баии? Если сеньор так обеспокоен, что какого-то типа схватили в Паулу-Афонсу, он наверняка представляет правительство штата. Верно?

— Нет,— отвечает лейтенант.— Я представляю местные власти, те, кому подчиняетесь и вы, и этот сержант.

— Я подчиняюсь? — спрашивает Нестор.— Ну уж нет! Это уж как мне вздумается!

— Хорошо,— говорит лейтенант.— В настоящий момент я представляю правительство.

— Вот как?— заметил Нестор. И уставился в землю. А надо вам сказать, что, когда такой человек, как Нестор, уставится в землю,

это не к добру: значит, он хочет скрыть от собеседника, что собирается сделать в ближайшую минуту.

Я стою молчу. Земля не моя, моя — только шкура. Лейтенант — тоже не подарочек, не душистый цветочек, и его ребята, видно, уже залегли по обе стороны ведущей на фазенду дороги. Нестор прислонился к бревну широких и низких ворот.

— Видите эти ворота, сеньор?— обращается он к лейтенанту.— Так вот, тропинка, что идет от них, ведет прямехонько к моему дому. А в мой дом может войти лишь тот, кого я приглашу. Вас же, сеу лейтенант, никто сюда не приглашал.

Мне вдруг почудился в воздухе запах мертвечины, верно, у входа на фазенду расположилось гораздо больше солдат, чем я думал.

— К вам я не имею никаких претензий,— отвечает лейтенант.— Я прибыл сюда только за названными мной тремя лицами и только с ними отсюда уйду.

— За какими лицами, сынок?— удивляется Нестор.

— Я уже все вам прекрасно растолковал и объяснил. Эти трое — сержант, шофер и арестованный.

— Так вот,— вмешиваюсь я.— Я-то уж точно отсюда никуда не пойду. А ты пойдешь, Амаро?

— Нет, я тоже не пойду,— откликается Амаро.— Нет у меня никакой охоты путешествовать.

— Ну вот видите, сеу лейтенант, как обстоят дела,— говорит Нестор.— Слышали? Эти господа не горят желанием отправиться с вами. А уж я гостей со двора никогда не выгоняю. Мой отец дал мне в этом смысле хорошее воспитание. Единственное, о чем я вас прошу, сеу лейтенант, так это не входить в ворота, потому что если вы ступите на мою землю, то станете гостем, а я еще по своим гостям никогда не стрелял. Сами знаете, лейтенант, как это бывает неприятно,— закончил свою речь Нестор.

Солдаты галдели совсем близко от нас, можно было даже расслышать, что они пели, какую ересь, а может, и спорили, кто из нас первым получит пулю.

Нестор опять:

— Я понимаю, что вы прибыли сюда по поручению правительства, что у вас все заранее продумано и подготовлено, но у меня свои собственные законы. Ведь даже последняя сошка из ваших властей сочла бы для себя недостойным такое: ворваться в дом честного человека, перестрелять его гостей, устроить драку,— в общем, полный кавардак.

— Послушайте, сеу Нестор,— возражает лейтенант.— Мы не хотим смерти. Вы вручаете мне трех субъектов, о которых идет речь, я немедленно ухожу отсюда, и здесь вновь воцаряются святая тишина и порядок. Нечего об этом и толковать.

— Полагаю, что сейчас здесь начнется большой праздник для урубу,— отвечает Нестор.

— Возможно,— соглашается лейтенант.— Только вам следовало бы помнить, что стервятнику трудно проклевать военную форму.

— Пожалуй, вы правы, лейтенант,— откликается кум,— урубу легче растерзать мою рубаху, чем вашу. Но не забывайте, что на мне еще крестьянская куртка из недубленой кожи.

— Допускаю,— режет лейтенант,— но эти двое, дезертир-сержант и недоумок-шофер,— не лучшая для вас компания.

Не помню, кто первым нажал на курок— я, кум Нестор или солдат, стоявший невдалеке? — но всем стало ясно, что дальше такое длиться не может. Лейтенант вдруг свистнул — очевидно, это был сигнал к действиям. Сколько людей было с ним? Кто знает. Да еще и обхамил меня, обозвал позорными для мужчины словами, а я такого не переношу, так что каша заварилась сразу же, только пыль

столбом взвилась. Мы залегли по одну сторону ворот, солдаты — по другую, слышно, как пули по деревяшкам цокают. Нестор стреляет только стоя, он то и дело вскакивает, палит, что-то орет, опять валится в пыль, двигается вбок скачками — сейчас он больше на обезьяну похож, чем на человека. Воздух уже стал голубоватым от порохового дыма, а стрельба все нарастает. Но сукин сын лейтенант все же увернулся от полдюжины моих пуль, посланных одна в одну чуть ли не в упор; вижу, лежит, упираясь левой рукой в землю, забился между двумя деревьями. То, что он зажат стволами, размышляю я, лишает его маневренности, но, может, за ним — солдаты, которые поддерживают его огнем? В таком случае лейтенант может сопротивляться долго. Но я уже решил, что выйду прямо на него, я должен это сделать. Со мной всегда бывает так: сначала появляется в животе холодок, становится трудно дышать, потом всплывают воспоминания, и я расслабляюсь, а дальше рождается ярость. Вот она уже ударила в голову, в черепе что-то происходит, он взрывается грохотом, и я встаю во весь рост. Во весь рост. Но сейчас я удержался, не встал, полежал еще немного, пока Нестор выманивал солдат из укрытия. Они появились из-за кустов там, где их никто не ждал, и стали нас окружать. Помню, что стрельба была адская, словно на огне маис жарили — чпок! чпок! чпок!— потом все слилось в один сплошной выстрел, мощный и страшный, будто рухнула каменная скала. В воздухе закружились сорванные листья. Грохочут выстрелы, мечется листва, а я ползу и ползу к лейтенанту, подбираюсь к нему сбоку; он целится в меня, но тут кум Нестор стреляет в него, да так, что самого чуть землей не завалило. Я совсем близко, вот уже почти столкнулся с ним нос к носу. Он, видите ли, белый платочек повязал! Не хочет пыли наглотаться, неженка! Тут я малость приподымаюсь, хватаю пригоршню песка и бросаю в глаза этому подонку,— еще и еще!— всю рожу ему запорошил. Лейтенант выхватывает нож, прилаженный сзади к ремню — огромный тесак, величиной с доброго осла,— и начинает им размахивать перед собой; видеть он ничегошеньки не видит, поэтому машет то кругами — шире и шире,— то из стороны в сторону, то сверху вниз — ни с какого конца к нему не подступиться, только и мелькает перед моими глазами очерченный сталью огненный круг. Жду, не зная, что предпринять, пистолета у меня в руке нет, а нож — короткий. Мне остается только бросать лейтенанту в морду землю, пыль, песок, глину. Вдруг вижу — камень. Здоровенный голыш вроде тех, которыми дороги мостят. Хватаю его и с яростью — откуда ей еще было взяться, я и так вне себя!— гляжу на лейтенанта, гляжу ему прямо в переносицу, внимательно рассматриваю до мельчайших морщинок его лицо; камень жжет мне руку, и я со всей силой опускаю его... Вижу, как лейтенант оседает, будто трясичный, валится набок, заливаясь кровью. Вот тебе! Вот тебе! Еще раз! И еще! Прижал я этого негодяя к земле — сил нет махать камнем дольше, я ведь тоже лежу. Подполз вплотную, гляжу — вроде копыта откинул. Осмотрел внимательно этот обмякший куль и на всякий случай, взяв камень двумя руками, еще раз обрушил его на голову лейтенанта. Поднял его и потащил к воротам фазенды. И вдруг... Тем самым резаком, которым он перед моим носом размахивал, я полоснул его по шее. От уха до уха. В общем-то, дело оказалось гораздо проще, чем я предполагал. Да, именно тем самым ножом, который висел у него за спиной на ремне, когда он меня обзывал рогоносцем, я и рубанул его.

Когда-то мне снились очень красивые сны, прекрасные сны. Сегодня мне снятся жабы. Во сне мне хочется сделать их попригожее. Жабы огромные, с огромными пастями, и все они выстроились передо мной в ряд. Невозможно отрезать голову жабе, не вскрыв ей туловища,— у жаб ведь нет шеи. У лейтенанта шея имелась. Так

вот, отделил я его голову от шеи, привязал за волосы веревку, раскрутил ее и, обернувшись к солдатам,— как я не погиб! ведь они палили по мне без передышки!— закричал: «Эй вы, полюбуйтесь-ка на голову своего командира! Всех, кто там засел, ждет то же самое!» Еще сильнее раскрутил веревку и забросил я голову к солдатам. Огонь тут же прекратился, и их можно понять: зрелище, прямо скажем, не из приятных. Видимо, солдатики сильно перепугались, гонору у них поубавилось. Но ведь я не мог иначе поступить! Как я могу снять с себя ответственность?! При мне этот арестант проклятый, и на фазенде оставаться было никак невозможно. Правда, здешний падре тоже не подарок — психованный, совсем чокнутый. Да еще жабы эти... Куча жаб... То и дело мне снятся. А что, если это уже наяву?

Кто знает?.. Амаро дрыхнет, гад арестант не спит, это я точно знаю. Так вот, опять жабы — мои бывшие напарники. Одного звали Натерсио. Он всегда посмеивался над остальными. Стоит, растянет, как жаба, свою пасть, скалится, а сам думает, как бы кого сцапать, как бы ему «жука» или «светлячка» покрупнее проглотить. Был и другой. Тоже порядочная жаба. Звали его Роке Педроза, этот посерьезнее, улыбался редко, уж в самом крайнем случае, когда, по его мнению, следовало смеяться. Да и то в такие моменты он вставал во весь рост, долго думал, потом спрашивал: «Послушай, кум! Ты полагаешь, что сейчас следует смеяться?» И если кум именно так полагал, Роке Педроза опять переспрашивал: «Точно знаешь, что надо смеяться?» Кум гарантировал: да, смешно, смейся, хохочи, гогочи! Только тогда Роке Педроза улыбался, вежливо так, учтиво, прикрыв рот ручкой и не испуская ни единого звука. Эстевес Жакес — тоже жаба препохабная. Был он лекарем и страшно этим гордился, ко всем лез с советами, болтал без умолку, но толку от него не было никакого, на уме — только денежки и спиртное. Морда как у святого, а каждому норовит перца под хвост насыпать, для него это самое большое удовольствие. Так и стоит у меня перед глазами этот строй жаб с Роке Педрозой во главе, будто он наиглавнейший командир. Из этих животных хороший отряд можно было бы сколотить, да только Эстевес Жакес постоянно всех баламутил, сплетничал, пакости про своих друзей говорил их женам, а подружкам — что о них после ночи клиенты болтают, и при этом крестился, божился. До того его трепотня доводила, что все расплюются между собой, рассорятся, передерутся. А все потому, что у Эстевеса Жакеса не рот, а жабья пасть, дыра вонючая — ни одного зуба, и когда он говорил, из этой дыры будто глухое эхо доносилось.

Еще одно воспоминание, часто оно является мне. Обед в доме какого-то уденисте в Сан-Кристоване. Богатый был человек, и дом у него богатый, однако представьте, был уденистом и к тому же другом шефа. Понять не могу, как это получилось! Очень он любил смеяться, постоянно скалил зубы, как Натерсио. Да, Натерсио... Все-таки очень он был похож на жабу этот Натерсио, один к одному, разве что жабы усов не носят... Так вот, уденист... Нигде и никогда я такого стола, как у него, не видел. Из какого-то особого черного дерева. Огромная веранда, и в полверанды стол, один конец его под крышей, а другой — на воздухе. Вокруг сад, раскинулись огромные кажараны, оити, агуакатейро, в глубине, где хозяйственный двор, тоже деревья, дует легкий ветерок, свежий, приятный, думается только о гамаке, о том, что хорошо бы здесь поспать, подремать. Городок Сан-Кристован тихий, приятный, слышно, как под ветром шелестит листва, будто мелкий дождик по ней стучит, а за оградой — солнце. Оно уже на закате, спешит вниз по горбатой улице, не обжигая, тихо сползая по гладким булыжникам мостовой. Вот оно обогнуло церковь, докатилось до площади, что в центре Сан-Кристована, откуда хорошо видно еще одну церковь, стоящую на

холме. С него видна дорога, и если смотреть вниз, то кажется, что у подножия церкви раскинулось море — такое все вокруг голубовато-сизое. Бегут кривые и старые улочки, они, как и солнце, скатываются к площади, а дома на них стоят впритык и смотрят окнами друг в друга; на каждом доме — ставни, весь город — ставни, ставни, ставни. И вот уже солнце уходит за холм, ненадолго замирает там, а ты сидишь, отдыхаешь. Стоит лишь протянуть руку и зацепишь тонкую лианку, на которой висят здоровенные, как груши, зеленые плоды шушу; сорвешь с лианки тонкий усик, тянешь его, словно резинку, тянешь — растягиваешь, ни о чем не думая, не обращая внимания на то, что происходит вокруг тебя, забывая о жизни или, наоборот, вспоминая о ней и размышляя: что же это такое — настоящая жизнь?

Теперь о жратве. Хозяин говорит: «Слава богу, мы собрались сюда, чтобы пообедать. Так давайте же начинать, слава богу!» И тут он крестит лоб, как христианин. Но я-то, настоящий католик, знаю все козни дьявола, поэтому не очень поверил хозяину, тем более что он был уденистом. Какой он христианин, к чертям собачьим?! Даже молитвы не сотворил перед обедом. Я добрых христиан-католиков прекрасно знаю, вместе с ними в толпе забрасывал камнями протестантов, что жили в Аракажу. У этих молитвы были написаны на стене, и среди них такая надпись: «Входи сюда с миром, но уважай чужую религию». Мы, конечно, входили, но только не с миром, а с камнями за пазухой и забрасывали этих безбожников. Потому что истинный христианин не пляшет, не скачет и не мочится от страха, а когда помирает, тело его не гниет и душа его еще долго бродит, стеная. Короче, я сразу усек, что хозяин наш — безбожник. Ну ладно, раз пришли обедать, давайте, слава богу, обедать и не торопиться. «Если кому охота выйти по нужде,— предупреждает хозяин,— то, пожалуйста, отходите подальше». А рядом и не пристроишься! Но терпеть уже нет сил, час поздний, да и напились мы к началу обеда уже предостаточно. Чего только не было в бутылках! И вермуты разные, и наши родные напитки вроде канжибрины, катуабы, журубебы, да еще и алкатран — это когда их с вермутом смешивают. А потом пошли настойки на травах — их в народе меопатиас называют. Уж и не знаю, сколько часов мы за столом сидим, слава богу, и можем еще сколько угодно сидеть, слава богу, жратвы еще навалом, слава богу,— треплется хозяин. Было у него четыре служанки, две из них в наколках и белых передниках, подносы с трудом несут на вытянутых руках, такие они тяжелые. Теперь о блюдах. Сначала принесли рыбу куриму, выращенную здесь же, в хозяйском питомнике. Рыба эта сама по себе жирная, а тут еще обложена ломтиками свиного сала. Из куримы было два блюда. Сначала ее подали запеченную в листьях банана, мы ее в лесу тоже так готовим, но здесь она была гораздо вкуснее, да к тому же чищенная — без потрохов и чешуи. Рыба так и плавала в жиру, он просачивался даже сквозь плотный лист, так что приходилось осторожно разворачивать его над тарелкой, чтобы не пролить. А аромат какой! А мясо! Само отстает от костей. Мы выкладывали куски на подушечку из кокосового пюре и поливали особым соусом, в котором целиком плавали маленькие жгучие перчики — когда они созревают, то становятся темными, почти черными. Все это подается с зелеными приправами и специями; одно удовольствие смотреть на эти соусы и медленно помешивать их ложечкой. Второе блюдо — мокека — было приготовлено по-баиянски: рыбу варят в белом кокосовом соусе с маслом денде, а есть ее надо с картофельным пюре. Куриму режут крупными кусками, некоторые из них светлые, другие — к хвосту — более темные. Берешь такой кусок и медленно объедаешь его, пока не остается голый хребет, а сок от рыбы капает на пюре, и каждый кусок тебе кажется нежнее,

чем предыдущий. По бокам рыба обложена только что выловленными речными раками; их только из воды вытянут, сразу же бросают в кипящее масло без соли, а солят уже на столе, когда едят с растопленным сливочным маслом. Вкуснейшими были эти самые раки, а уж нежные!— на них ведь еще и панцирь не успел образоваться, таких молоденьких отбирают для стола. Я брал в рот одного, а уж глазами выбирал другого — кто следующий? Да, забыл! До этого были еще морские устрицы, здоровенные, с кулак. Их можно есть и сырыми и вареными; по мне, так лучше сырыми, потому как неловко плевать в тарелку, если она показалась тебе недоваренной. С хрустом выковыриваешь ее из раковины и — в рот, а к устрицам еще подали маленьких улиток, тоже обжаренных в кипящем масле в глубокой сковороде; их надо поливать соусом и класть на устрицы, а к этому можно добавить еще и крохотную рыбешку арату. Берешь такое, посыпаешь щепотью крупной и желтой, как яичный желток, соли, и в груди у тебя начинается жжение, так что приходится скорее гасить его напитками. Эта еда, доложу я вам, очень помогает для выполнения мужских обязанностей. Каких мы только морских и речных тварей не ели! А ведь были и другие блюда, только на них никто уж смотреть не мог. Но я ем и смотрю, чего еще подадут. Хозяин говорит: «После обеда можно отдохнуть в гамаках, думаю, их на всех хватит». Да, не забыть про мясо. После рыбы подали фасоль с капустой; мы засыпали туда муки, перемешали как следует, а сверху нарезали тонкими ломтиками вяленое, но тоже обжаренное мясо и в миску добавили еще мякоти манго с кусками арбуза. И был еще поросенок. Его зарезали тут же, при нас, и сделали к нему подливку из его же крови. Поросенок был совсем нежирный, кости из него вынули и оставили лишь те, что придают мясу особый вкус и которые можно потом поглодать. Так вот, еще и поросенок. А под конец подали «солнечного мяса» — просоленного, провяленного и высушенного на сильном солнце. Хозяин при этом говорит: «Это напоследок, потому что после такого мяса все кажется безвкусным». Действительно. Его можно есть сырым, как ветчину, но в тот раз мясо поджарили. Целая простыня мяса: с одной стороны немного жира, с другой — чистый срез; к нему тоже принесли картофельное пюре на молоке, пышное и воздушное, как пух, без единого комочка. Мясо было разрезано на глазах у всех, и никто не отказался. Мы насаживали здоровенный кусок на двузубую вилку, отрезали от него тонкие кусочки, потом опускали их в пюре и поливали подливой. В пюре же — кусочки жареного лука, совсем немного, и жарят его тоже по-особому: не маленькими кусочками, а крупными скорлупками; из масла их вылавливают, когда они становятся черными и сморщенными, но зато вкус получается как у поджаренной шкварочки. Еще подали к мясу подливу, густую-прегустую, тягучую. Все молча сидят, едят, только изредка кто-нибудь рыгнет. Меня тоже на это потянуло, но я огляделся по сторонам, распустил пояс, повис на подлокотнике кресла, только изредка вздыхаю. Вот и все ремни распустили, смотрят поверх стола, ничего не видят, только мясо из зубов выковыривают. И опять все молчат. На сладкое подали нам кажу. Очень люблю я этот плод: сам будто румяный пирожок, а в боку у него семечко, будто длинный белый коготь вонзился. Кажу принесли в собственном соку, а надо сказать, что сок этот больше на вино смахивает. Кажу ели по правилам: сначала надо отломить кусок острого овечьего сыра — запах от него такой идет, что не обманешься, точно, овечий!— положить этот кусок на тарелку, потом полить соком, а сверху положить плод. Ах, как великолепны кажу! Расправляемся со сладким, а хозяин сосет ягоды питомбы, высасывает мякоть и косточки выплевывает тут же у крыльца. «Здесь такая распрекрасная земля,— говорит он,— что из этих косточек деревья вырастут». Сидим, болтаем

о том о сем. Хозяин наконец говорит: «Ну вот, славу богу, теперь и отдохнуть можно». Все разлеглись по гамакам, а у меня сна нет.

Нет сна и теперь. Дела... Еще этот Стальной падре... Я стоял у окна и курил свою первую сигарету, а когда я закуриваю первую, у меня всегда голова кружится. И тут начали просыпаться соседи. Слышу: тук-тук — это толкут в домах маис для утренних лепешек. Вдруг появляется падре и говорит, что мне придется еще подождать. Чего ждать? Оказывается, он послал кому-то записку, и если ответа не будет, нам придется мотать отсюда в Илья-дас-Флорес или еще куда. Тут он начинает кипятиться, пыхтеть, ругается почерному и добавляет, что никто отсюда никуда не двинется, пока не прибудут некие личности, которые-де и примут решение по нашему вопросу. Потому что это дело, говорит падре, сильно пахнет жареным.

— И я,— добавляет он,— не знаю, какой выход вам выбрать: либо ваши милости прикончат этого доброго христианина, хвала господу богу нашему Иисусу Христу и пребудет свято имя его во веки веков, либо вы отпустите несчастного страдальца на свободу, потому как неизвестно, будет ли у вас и дальше возможность тащить его в город. Да к тому же,— все тянет из меня жилы падре,— налицо совершенные вами жестокости: у арестанта выбиты зубы, на теле — следы побоев. А ведь времена меняются. К тому же вы, ваша милость, сеу сержант, отрубили голову лейтенанту, и неизвестно, как на это посмотрят власти. Ну ладно, был бы капрал или какой другой низший чин. Но как можно лишить головы офицера! Даже в приступе ярости! Такое бывает только при умопомешательстве.

Падре садится в качалку и замечает арестанта, долго смотрит в его сторону, потом малость успокаивается:

— Так. Именно так. Велик приход господа бога нашего.

— Падре, но лейтенант обозвал меня рогоносцем. И дело оборачивалось так: либо я, либо он.

— Так. Именно так,— отзывается через некоторое время священник.— Действительно, выхода у тебя не было; ты вынужден был отрубить ему голову.

Тут он крестится и добавляет, что этих слов ему не следовало бы произносить. И опять:

— Положение изменилось, не знаю, сумеете ли вы доставить вашего пленника в Аракажу, там к власти пришли новые люди, появились новые газеты, и все толкуют, что, когда вы, сеу Жетулио, прибудете в Аракажу, то лично вам продырявят шкуру, а вашего арестанта отпустят на волю. И не думаю,— уточняет падре,— что шеф Антунес сможет вас защитить.

— Ах, вот как! А если не Антунес, так кто же может меня защитить?!

— Не знаю, не знаю,— отвечает священник.

Он стоит, засунув руки в рукава сутаны, широко расставив ноги, склонив голову набок. Долго молчит, потом говорит:

— Когда-то здесь были плодородные земли. Когда-то здесь жило много людей и доброму человеку нечего было бояться. А теперь земли заброшены, медяка ломаного не стоят, полное запустение. Никто ничего не знает и не понимает — кто от кого зависит. Есть люди, которые хотят здесь все изменить, но тут уж ничем помочь нельзя. Если у человека отбирают силы, что у него остается? Ничего. А здесь могла бы цвести жизнь. Могла бы. Но пока для любого здесь — не жизнь, а могила.— Падре покачивает головой, сжимает губы в тонкую ниточку.— Почему бы вам, ваша милость, не исчезнуть?— наконец спрашивает он.

Мне исчезнуть? Мне! Как это я могу «исчезнуть»? Во-первых, я — это я. Всегда останусь сам собой, а куда же скроешься от себя? Исчезнуть я никак не могу.

— Пожалуй,— размышляет священник,— оно и так.

— Ну вот,— настаиваю я.— Пускай другие исчезают — слабаки, но не я. Я не знаю, сколько людей ждет меня в Аракажу, кто сможет меня там задержать. Кроме того, на это дело меня отправил сам шеф! Он послал меня за этим типом. Я пошел, поймал его, связал, привел в разум и обязан доставить его, даже если шеф не сможет меня защитить. Все равно я доставлю этого выродка. Дойду и вручу: вот он! Получите! Приказ выполнен, шеф! А потом будь что будет, но дело уже сделано, субъект доставлен. Я не такой человек, чтобы не исполнить своего долга. Ну а если, как вы говорите, сеу падре, дело оборачивается по-иному, я, пожалуй, подожду новых указаний. Пока же я выполняю то, которое мне было дано, и даже если бы сюда нагрянул сам шеф и стал упрашивать меня не тащить дальше этот живой мешок, я все равно бы потащил его. Потому что подумал бы: «А вдруг шеф решил спасти меня от скандала? Беречь меня?» Я не боюсь никаких скандалов и неприятностей, поэтому доволоку арестанта любыми путями. Дотащу и передам, пусть даже у меня от натуги пупок развяжется. Хотел бы я посмотреть на тех молодчиков в Аракажу, которые осмелились бы мне сказать, что я не должен был выполнять данный мне приказ! Потому что я — Жетулио Сантос Безерра, и не родился еще на свет божий другой такой, как я! Я — Жетулио Сантос Безерра! Мое имя звучит, как стихи! Мой дед был храбрецом из храбрецов, и все в моем роду были настоящими мужчинами; мою мать звали Жуста[1], и она тоже была бесстрашной! По всему сертану не было и нет никого храбрее меня и во всем — во всем!— я лучше всех! Приходите! Я здесь, меня зовут Жетулио Сантос Безерра. Мясники бьют баранов пестом по голове, а я ударом кулака наповал сваливаю хоть барана, хоть быка, хоть человека! Любого насмерть прибью! И оружием, что всегда при мне, владею отлично. Я бегаю, стреляю, кричу лучше всех! И кровью исхожу больше всех! И пью кашасы больше всех! И дерусь, и ссорюсь, и убиваю яростнее всех! А в теле у меня сидят четырнадцать пуль. Я могу пришить любого и голову с плеч снести, а меня никто не может истребить! Я не боюсь ни покойников, ни привидений, ни оборотней, ни тьмы, ни ада, ни черта, ни дьявола! Я не слушаю сказок о свободе и никому не доверяю. Я не болтаю о женщинах. Я никому ничего не должен и не люблю, чтобы меня хватали да вязали! Сеу падре, наверное, слышал о Жетулио Сантосе Безерре? Я и есть тот самый! Пусть каждый содрогнется от страха, если я улыбнусь, пусть каждый похолодеет от ужаса, если я нахмурюсь, если я топну ногой, пусть каждый смывается подальше да побыстрее, а уж если я кому в лицо дуну — перепоручай свою душу господу богу. Меня не берут укусы кобры, я не боюсь ни голода, ни холода, молча перенесу любые муки, хоть на куски режьте — не скажу ни слова. Я сплю на земле, на деревянном топчане, а могу вообще не спать и влепить пулю любому, кто ко мне сунется, потому как первым всегда стреляю я, и когда стреляю, то целюсь не в ноги, а в лицо или грудь, и дырок от моих пуль немного — я их укладываю одна в одну. Еще раз вам говорю, падре, во всем Сержипи нет лучшего стрелка, это я вам совершенно точно говорю, Сержипи — земля настоящих мужчин, а я — настоящий мужчина этой земли. Если надо, падре, я подожду, но ждать — не означает тянуть канитель. Я дотащу этого шкодника хоть волоком, хоть на «гудзоне», хоть целого, хоть по кускам, хоть на вертел нанизанного! А потом скажу: «Прибыл из Паулу-Афонсу, доставил вам этого пентюха, зубов же у него впереди нет потому, что на дороге он лакомился отварным буйволиным горбом, вот и сломал». Доложу только шефу и заткнусь, сложив руки на груди и глядя в стенку.

---

[1] Justa — ссора, поединок, состязание *(португал.)*.

А меня там пусть кто хочет разглядывает. Все! Точка! И если никто не хочет со мной следовать дальше, я отправлюсь один, слышишь, Амаро?

— Да,— заключает священник.— Я не из породы таких храбрецов, как вы, сеу Жетулио.

V

Не могу сказать, что мне нравится сидеть в церковном приделе сложа руки и слушать спозаранку звон колоколов. Неохота пальцем пошевельнуть, даже бороду почесать, такая лень одолела. То и дело к нам заглядывает священник и рассказывает всяческие истории. Недавно принес коробку с домино и шашки. Позвал я падре, говорю ему: «Буду ждать до завтра. Если никто не явится, пускаюсь в путь, и никакая сила меня не остановит». Амаро учит меня всяким уловкам в игре, объясняет, куда двигать шашки на доске, а я, как болван, постоянно проигрываю. «Давай сначала, лучше всего ходить с угла». Нет, ничего у меня не получается. Никогда не научусь, не хватает у меня терпения сообразить, как эти кругляшки скачут по доске, не вижу никакого смысла, только голова начинает раскалываться. Амаро же про шашки может трепаться сколько угодно, словно это важнейшее дело. Кроме того, я не могу играть, не подзадоривая его, но Амаро шуток не понимает. Ну как можно играть в шашки всерьез? Сукин сын Амаро! Опять пробился в дамки, выставляется, будто боевой петух на арене. Обычно он держится такой тактики: отступает, отступает и вдруг — раз! — и я в ловушке. Берет мою шашку и говорит, что каждая стоит столько-то очков. Никогда я о таких правилах не слышал. С домино та же история — придумывает какие-то хитрости с костяшками, будто каждая из них сколько-то стоит. Не может такого быть! Конечно, я мог бы проверить — вернуться на фазенду кума Нестора и спросить у того, но там легко схлопотать пулю, там, я думаю, все еще идет перестрелка. У кума было гораздо лучше — там скотина, жабы. На них хоть ругнуться можно было, там мы не скучали. Амаро на фазенде тростник резал, плел из него что-то, а здесь ему, видите ли, моя компания понадобилась!

Иногда я наблюдаю сквозь церковные решетки, как ребятишки запускают воздушных змеев. Стоит сентябрь — самое подходящее время для этого занятия. У каждой забавы — свое время: время для волчков, время для игры в кости, время для стеклянных шариков. Не знаю почему, но это так. Я смотрю, как в воздухе мечутся хилые, дрянные змеи, без мочальных хвостов, без украшений, в этом затхлом городишке и шнура для них подходящего не найдется. Я сам змеев никогда не запускал, у меня не получалось — не взлетали. Я любил орешки щелкать, да притом чужие, но чтоб моими лакомились — упаси бог! Мальчишками мы были тощие-претощие, ничего, кроме своего угла, не видели и не знали, а потом подрастали и уходили из родных краев. Мужчины у нас исчезали, оставались только девы-вековухи. Приходит такой, как я, парень в Аракажу, поселяется и говорит: я родился в Жапоатане. Где-где? В Жапоатане, поверьте! Чудно, мужчин там нет, а ребятишки все лезут и лезут на свет божий, и с каждым годом все больше и больше их. Даже в Мурибеке рождаются, правда ведь, Амаро?

А падре что-то очень нервничает. Ему бы сюда монашку... Как ты думаешь, Амаро, монашка помогла бы? Конечно, может, ничего такого между священником и монашками и не происходит, но народ-то болтает... Амаро, опять ты запел!

Голос у Амаро низкий, тягучий, поет шофер, прихлопывая в ладоши. Поет заунывно, не повышая и не понижая голоса, о давних собы-

тиях в Кануду[1]. Священник рассказывает нам, сколько народу положили солдаты в Кануду, как до последнего патрона сопротивлялись его защитники и как они взялись за гвозди, когда у них кончились патроны. «Брали они гвозди,— объясняет падре,— обычные ржавые гвозди, и закладывали в дуло вместе с хорошей толикой пороха, а потом уплотняли все это шомполом. Заряд хоть и болтался в стволе, но силы получался страшной. Несчастный, кому доставался такой подарок, если и не помирал сразу же, все равно отдавал потом богу душу от заражения крови. Много солдат погибло в Кануду от этих самых гвоздей.

— Трупов было так много,— добавляет священник,— что урубу питались только высшим офицерством.

Сказал это, засмеялся и пошел вниз по лестнице. А я опять сижу на месте, как корова, как черт знает что, в ожидании, когда сюда приедет кто-то и привезет мне указания, как поступать дальше. Сил моих больше нет! Ладно, завтра же сорвусь отсюда, хоть сдохните вы все! Интересно, откуда же прибудут эти посланцы? На каких таких скакунах они прискачут? И о чем таком будут мне толковать? Ничего не понимаю. Опять пришел священник, стал меня и Амаро обучать молитвам, а этот выскочка-арестант со своими разговорами лезет. Сначала я решил вновь надеть на него намордник, потому как боялся, что он будет орать, призывая себе на помощь, но падре успокоил: пусть орет хоть до посинения, здесь его никто не услышит. Однако я все-таки говорю этому ублюдку, эдак вежливо ему объясняю: «Послушай, дерьмо ты эдакое, если будешь вопить, я прикажу трезвонить в колокола, в самый большой — праздничный — колокол, чтобы не было слышно шума. Но учти, с первым же ударом колокола я выбью тебе все оставшиеся зубы, чтобы ты не морочил нам голову. Не гляди на падре, это тебе не поможет. Я засел в этой дыре и готов ко всему, и если ты, услышав разговоры о своем освобождении, полагаешь, что уже находишься в безопасности, то глубоко ошибаешься. Запомни: твоя судьба предопределена; твоя милость отправится со мной в Аракажу, где я сдам тебя с рук на руки. Там тебя посадят за решетку, и вот тогда другие арестанты попользуются тобою всласть! Женского пола у них там нет, а побаловаться хочется. Ты, конечно, понимаешь меня?.. Кроме того, твоя милость видел, как я открутил голову лейтенанту, и я не задумываясь откручу еще одну — у любого, кто бы тут ни появился, с погонами он будет или без. А твою оторву за милую душу». Священник мне говорит: «Ну что вы такое городите, сержант?!» А я ему: «То, что слышите, сеу падре. Именно то, и ничего другого. Этот недоумок мне все нервы вымотал, сил моих нет терпеть, никогда я себя гаже не чувствовал. Скажу вам по чести, падре, рехнуться можно от такого задания! Бьешься, как рыба на горячем песке,— и то нельзя, и это нельзя! Все какие-то тайны, секреты. А почему нельзя? Почему нельзя, я вас спрашиваю? Почему?! Должен же найтись кто-нибудь, кто объяснит, почему нельзя. А я говорю: можно! Я вас всех спрашиваю, дерьмо собачье: почему нельзя?»

Время от времени падре клянет меня такими словечками, что я язык прикусываю, тем более что у священника в руках все та же двустволка — он с ней не расстается, и рожа у этого слуги господня такая, что сразу видно: целится он метко, и уж если прицелится, то на курок нажмет непременно. Но я не хочу убивать священника, зачем себе жизнь портить? Вся беда в том, что, когда делать нечего, человеком овладевает желание кого-то мучить, стукнуть, отлупить. Не знаю почему, но это так. Опять появился падре. Опять затянул молитвы, кладет поклоны. Мы тоже вынуждены опуститься на колени и гнусавить псалмы, но громче всех молится этот антихрист-арестант. Мы стоим на

[1] Кануду — искаженно от Канудос, местность на северо-востоке Бразилии в штате Баия, где в 1893—1897 гг. вспыхнуло крестьянское восстание, с трудом подавленное правительственными войсками.

коленях, крестимся, кланяемся, а меня так и тянет сделать ему какую-нибудь пакость. Но я ничего не говорю вслух, мы по-прежнему беседуем с господом богом, устремив взгляд куда-то вверх. Молитвы, я полагаю, больше всего нужны этому ублюдку — своей жизнью он, конечно, не очень-то доволен, еще бы, не очень доволен, не доволен и тем, каким манером путешествует, да и путешествует он не по своей воле. Он здорово сдал, поскучнел, похудел, не бреется, но десны у него заросли, и опухоль стала спадать. Он давно не мылся, наверное, обовшивел — даже в бороде, видно, завелись,— и вонь от него идет изрядная. Ладно, каждый живет так, как ему хочется.

Снова повторяю священнику, что не останусь здесь больше: «Никоим образом, падре, никоим образом». Говорю об этом и Амаро. Этот отвечает мне, что не уверен, раскочегарит ли свой «гудзон», и не знает, остался ли еще бензин в канистрах, а здесь во всей округе и капли горючего не сыщешь. Ноет, стонет, хнычет. Амаро всегда был такой соплей. «Не важно,— говорю я.— Если твоя старая рухлядь сломается, бросим ее на дороге, пойдем пешком, может, оно и к лучшему. В любом случае завтра отправимся. Не думаю, что за нами организуют погоню, не верю, чтобы кум Нестор донес, кто отрубил голову лейтенанту. Пожалуй, на фазенде и в живых-то никого не осталось, хотя, конечно, не знаю, чем там дело кончилось. Здесь нам задерживаться нет никакого резона, завтра ранехонько, еще до солнца, и отправимся в путь». Тут опять выступает падре и сообщает, что он получил ответ на свою записку и завтра сюда прибудут посыльные, чтобы всем договориться. Идет, остаюсь, но только до завтра, а потом все равно уйду. Я и говорить-то толком не умею, а уж куда там «вступать в переговоры»! Я обязан доложиться одному-единственному человеку — шефу, дай бог ему здоровья, а от него я не получил еще ни словечка. Возможно, посыльные и доставят мне что-нибудь от шефа, да только я ушам своим не доверяю, я должен глазами увидеть новый приказ. Только так. «Падре, а что это за люди?» «Не знаю,— отвечает священник.— Какие-то очень важные птицы». Важные... Важен бог на небесах, а кто еще важный, не знаю. В детстве, когда я еще совсем сопляком был, подарили мне бумажный кораблик. Я был его капитаном, его хозяином. Когда я малость подрос, стал играть в помещика — будто у меня сахарные плантации и я — владелец завода. А теперь не знаю, кто важнее и главнее в этом мире, все в голове перемешалось. Падре опять мне толкует: «Ты не должен был рубить голову лейтенанту. Кроме того, теперь ты еще и дезертир, и не знаю, как ты из всей этой истории выпутаешься». Я ему: «Странно мне слышать такие слова, сеу падре. Никогда еще не было такого скулежа по поводу какого-то поганца. Подумаешь, лейтенант! Подумаешь, голову отрезали! Да будь он хоть генералом, теперь никто золото на погонах не уважает. Отрезал — и отрезал. Точка. Надо быть настоящим мужчиной, я и был им. Лейтенант сейчас по облакам гуляет, у него, наверное, уже и крылышки выросли, сидит себе на облаке, играет на скрипочке. Ему там, наверху, гораздо лучше, чем нам здесь, внизу».

Я размышляю: может, священники — тоже важные персоны? Наш краснорожий кажется мне очень важным. Может, после бога священники самые важные? А ведь есть и другие важные люди, например, бригадейро Гомес Кристиано Машадо или Жетулио Варгас[1]. А еще есть губернаторы, а у губернаторов есть друзья и все важные-преважные. Не знаю, как все это устроено на белом свете. Хотелось бы мне малость разобраться. Может, Амаро понимает? Нет, не буду его спрашивать, а то решит, что я совсем невежда. Думай не думай — бесполезное дело. Все равно не пойму. Для меня мир устроен так: есть шеф,

[1] Имеются в виду политические деятели Бразилии: бригадный генерал, позже маршал авиации Эдуардо Гомес (1896—1981) был командующим военно-воздушными силами, дважды министром; Кристиано Машадо (1893—1953) выдвигал свою кандидатуру на пост президента республики; Жетулио Варгас (1883—1954) был президентом республики с 1930 по 1945 и с 1951 по 1954 год.

и есть я. Конечно, существуют и другие люди, но они для меня ничего не значат.

Чтобы стать настоящим человеком, я должен быть как шеф, иначе крышка. Но пока что я — это я и не могу быть другим. Старею я. Наверное, мне уже за тридцать, а может, и все сорок — я своего возраста не знаю, но седину в бороде заметил уже давно. Да, я не могу быть другим, а это значит, что я должен выполнить приказ. И я выполняю его хорошо, а как же иначе? Кем я буду, если не выполню приказ?!

Приехал бы сам шеф, было бы прекрасно: если же он не приедет, я и не знаю, как поступить. Я — сержант военной полиции штата Сержипи. Но это ничто. Главное, я — Жетулио. Очень бы мне хотелось увидеть шефа — устал я действовать в одиночку, тут соображать надо, кумекать, а я ничего в таких делах не понимаю. Я сержант военной полиции штата Сержипи. Что это означает? Это означает, что я сижу здесь, в церкви, охраняю этого балбеса-арестанта и воротничок от мундира растер мне весь подбородок. Кто я такой? Никто. Я люблю вкусно пожрать, сладко поспать, женщин люблю. Ну а то, что мне непонятно, что мне не нравится, меня просто утомляет. Эхма! Пришел бы я в Аракажу, отдохнул бы, небылицы друзьям порассказывал и сидел бы себе, ждал дальнейших указаний. Вот это другое дело. А что сейчас? Сам не пойму. Не люблю я, когда что-то меняется в этом мире, горько мне становится, тяжко, словно в тупик попал. Хотя бы поэтому надо доставить этот мешок с костями в Аракажу и передать его кому следует. Так я и поступлю. И уж потом буду разбираться в остальных делах. Когда пожалуют сюда важные господа для переговоров — а я их никого не знаю — буду держать пистолет под столом наготове. Пристрою его так, чтобы влепить пулю в рожу первому же. Если уж придется умереть, то в одиночку я этого делать не собираюсь, хотя помирать, честно говоря, неохота. Надо предупредить Амаро, что может начаться перестрелка, и спросить у падре, не уступит ли он мне свою двустволку.

Вот они. Прибыли. Одного из них, этого толстяка плешивого, я уже видел однажды. Это было, когда убили Арналдо, на ярмарке в городе Натал. Большая была заваруха. Плешивый крутился в толпе, как волчок, и орал: «Я только-только взялся за кружку пива, только поднял ее, как вдруг грохнули два выстрела! Подряд, один за другим». Все стали кричать: «Это Марио Баррето! Марио Баррето стрелял!» А я-то знал, что стрелял не Марио Баррето. Мне ли не знать, кто палил из пистолета! Но я не хотел говорить, говорить об этом не следовало. Вот я и заткнулся. Плешивый очень любит потирать руки, а во рту у него золотой зуб — точнее, ползуба — ярко-ярко сияет. Двух других, что с ним прибыли, я никогда не видел. Один говорит, будто жует что-то, ни черта не поймешь; на ногах — кожаные сандалии, над губой — усы, глаза бегают. Этот мне сразу не понравился. Рядом с ним — третий, вот в него-то я и буду целиться. Этот совсем не говорит, на щеках здоровенные баки, и по всему видно, хорошо вооружен. Вполне возможно, даже наверняка, он уже приготовил для меня свою пушку. Хотя, кто его знает... Словом, сидит он, не шелохнется, не почешется. Да оно и к лучшему. Как только он дернет рукой, из-под стола грянет выстрел. Распрекрасно я устроился за этим столом: вытянул ноги, положил их на стул, делаю вид, будто меня ничто не интересует, а я просто размышляю о жизни; одной рукой потираю себе живот, другой зажал под курткой своего стального дружка, смотрю в сторону, корчу из себя рассеянного, будто и не вижу того молчаливого, в которого буду стрелять при первой необходимости. Никак не проявляю себя, своих намерений: все даже выпить не прочь, посмеяться, да и день стоит свежий, прекрасный. И совсем не похоже, что вот она, опасность, совсем близко. Но как только кто-нибудь из них шевельнется, я надавлю указательным пальцем и, не меняя простецкого выражения

лица, продырявлю череп молчаливому. Я бы с большим удовольствием сразу же прикончил его, чем слушать их разговоры, моя кровь никак не уживается с его кровью. Пистолетом я уже порвал себе рубаху, но это — ерунда, можно будет заштопать.

Говорит все время плешивый; тот, что с усами, пытается вклиниться в беседу, но долго говорить он не может — заикается, мямлит, мычит. И как только такой трухляк мог получить жетон окончившего университет?! Я говорю: «В этот момент уже весь Сержипи знает, что ваши милости здесь и что я тоже здесь». Я заранее знаю, что сейчас скажет плешивый; мне мерзко смотреть на усатого, который покачивается на стуле, хочется приказать ему сидеть смирно, но я не могу этого сделать — я должен сдерживать себя. «Вы, сеу сержант, убили лейтенанта и разгромили воинскую часть». Так-так... «Отрубили лейтенанту голову». И так далее: ля-ля-ля, тра-ля-ля... «Здесь не место законам сельвы!» Распрекрасно! «Кроме того, вы, сеу сержант, совершили еще ряд проступков». Ля-ля-ля...

— Я внимательно вас слушаю, сеньоры. Так же внимательно, как слушал бы собственную мать. Я лишь выполнил свой долг, и хоть он был и лейтенант, какое право он имел оскорблять меня, обзывать рогоносцем! Дело обстояло так: либо он, либо я. Кроме того, голову отрубил ему не я, а какой-то солдат.

— Какой солдат?

— А вот этого я не знаю. Там поднялась такая пылища, что не было видно собственной ноги. Я таким образом никогда людей не кончал. Это сотворил какой-то психованный солдат. Да где это видано, чтобы лейтенантам головы рубить! Да еще в такой тяжкий день, как пятница, когда впору жертвы злым духам приносить! Нет, это дело никудышное.

— Кхм, кхм...

Мне приходится скосить глаза на молчаливого, не задумал ли он чего. Но обе его руки лежат на столе, значит, все в порядке. Плешивый совсем осатанел, вскочил из-за стола, тычет мне в грудь:

— Видите ли, сержант, произошло недоразумение. Ошибка — в том, что вас отправили разыскать некоего человека в Паулу-Афонсу, из-за чего у нас возникли сложности.

— Кто это сказал? Шеф?

— Да, шеф. И еще он сказал, что нам сейчас никто помочь не сможет, положение изменилось и нас никто не прикроет.

— Сам шеф приказал вам передать мне это?

— Он самый.

— А почему шеф сюда не приехал?

— Ответьте сами на этот вопрос, если сможете.

— Не понимаю, почему шеф не хочет, чтобы кто-то знал о его новом приказе.

— Потому что сюда направляются федеральные армейские части! Вы отпускаете арестованного и скрываетесь сами, все остальное мы уладим в Аракажу.

— Я не могу скрыться. Пусть другие скрываются. Как я могу исчезнуть, если я — это я! Я полагаю, сеньоры, вы вот чего хотите: стоит мне освободить арестанта и уйти, как вы пуститесь по моим следам и прикончите меня, заберись я в любую адову щель, чтобы свалить на сержанта Жетулио вину за это дельце.

— Даю вам слово чести!

Можешь подтереться своим словом. У меня тоже есть слова, но их так мало.

— Я поступлю следующим образом, именно таким, и никаким иным. Вы, сеньоры, отправляетесь восвояси, а я остаюсь, поговорю еще со священником, потом освобожу арестанта. Но пока вы здесь, сеньоры, я не отпущу его от себя ни на шаг. Мне нужны гарантии.— Молчаливый дергается, и я говорю ему: — Ангел мой, я же вижу, что ваша

милость держит под мышкой пушку. Но позвольте мне сказать вам кое-что, такое маленькое, совсем крохотное «кое-что». Во-первых, я никогда и никого не боялся. И таких, как вы, я повидал на своем веку много, ох как много. И все они получили по кусочку свинца одного и того же калибра. Пуле не надо быть крупной, важно, чтобы она попала точно в цель. Во-вторых, обратите внимание на ту мою руку, которая находится под столом, ведь я эту руку не в кармане держу, в ней у меня «смит». И, поверьте мне, очень добротный «смит». Орудовать им — одно удовольствие. И если ваша милость будет настаивать, я вам его покажу. В-третьих, поглядите наверх, там, на церковной галерее, стоит Амаро. Эй, Амаро, ты там? Не трудитесь даже смотреть, в руках у Амаро игрушка, которую одолжил ему один мой друг, и Амаро она очень нравится. Не так ли, Амаро? Можете мне поверить, она Амаро нравится. Вы бы посмотрели, ваша милость, какой у нее крючок, какой мягкий и нежный спуск, а все потому, что в ней имеется специальная пружинка, и она срабатывает при малейшем прикосновении пальца.

— Успокойтесь, сержант, давайте поговорим нормально.— И опять — ля-ля-ля... Но я совершенно спокоен.

— Вы, сеньоры, сказали мне, что шеф об этом деле более знать ничего не хочет. Я вам верю. И если это так, я, конечно, могу освободить арестанта, но повторяю: не при вас. Так что, я надеюсь, ваши милости уберутся отсюда с миром таким же манером, каким прибыли сюда, и как только вас здесь не будет, я отпущу этого типа и уйду сам.

Уж не знаю, как это у меня все так складно выговорилось, однако я вдруг почувствовал себя очень спокойно. Ну что со мной может случиться еще? Может случиться, что я умру, а больше этого ничего произойти не может. Но уж если мне умирать, то со мной уйдет немало людей, за мной целый караван мертвецов потянется. В конце концов сеньоры отказались от дальнейших споров-переговоров, отправились восвояси, а я остался наедине с собой. Надо было принимать решение, а какое — не знаю. Не нравится мне эта страсть к переговорам. Не по мне это. Вспомнил я о том, что передавал мне Элевалдо: может, то, о чем он говорил,— правда и я остался во всем мире один, без всякой поддержки? Разве что Амаро... Но за Амаро я не отвечаю, я отвечаю только за самого себя. Итак, что мне сказал в тот день шеф? Он сказал мне: «Доставь мне сюда одного человечка, если не целиком, то хотя бы половину от него». Вот он, целехонький, правда, четырех зубов не хватает, так потом искусственные можно вставить. Ну, похудел, полинял, но это к лучшему, легче жару переносить. Если я послушаюсь приказа и не доставлю этого остолопа, то, скорее всего, останусь безо всякого вознаграждения. Да и кто знает, может, все, о чем болтали эти сеньоры,— вранье? А если я его все-таки доставлю, то по крайней мере собственными глазами увижу, что там, на месте, происходит. И потом уж можно помирать, хоть враз, хоть на медленном огне — один черт! Но может, то, что я туда припрусь, не понравится шефу? Не знаю. Эх, черт...

Идти вперед или не идти? Вот в чем вопрос. А может быть, лучше выстрадать то, что тебе предрешено, что записано в Книге Судеб? Или лучше порвать, покончить со всем на свете? Умереть — все равно что уснуть. Во сне отходят все боли, страдания, поэтому мне всегда так хочется спать. Но когда спишь, видишь сны, и все опять начинается сначала — и боли, и страдания. Поэтому лучше умереть — отпустить душу, и тогда все кончится. И сны тоже. Жизнь слишком длинна, и в ней столько крушений. Кому под силу вынести их? И наступающую старость? И чужое властолюбие. И лживые, жестокие приказы. И неблагодарность. И боль измены. И незаслуженную немилость, и многое-многое другое, чего и словами не выразишь. Со всем этим можно быстро покончить, одним взмахом ножа... Кому под силу вынести все тяготы этой жизни, в которой ты познал только пот и кровь? Лишь

тому, кто боится смерти. А почему боится? Да потому, что ни один из тех, кто ушел в ту сторону, назад не вернулся. Потому мы и терпим всякие несправедливости — чтобы не изведать самого страшного, чего в этой жизни нам знать не дано. И как подумаешь об этом, начинаешь трусить, и жажда битвы утихает. Хорохоришься, принимаешь решения, а вспомнишь о смерти — и хочется послать все к чертовой матери. Падре, ваше преподобие, помяни меня в своих молитвах!

Вот как я поступлю: доставлю я своего клиента, доставлю. Никогда я не отступал посередине. Я знаю, сеу падре, что вы предпочли бы, чтобы я отпустил этого олуха, но я не сделаю этого. Можете потом говорить, падре, что я вас ослушался, что я оказал сопротивление, не выполнил полученного приказа, но я доставлю этого типа до места назначения, даже если меня разнесут в клочья. В крайнем случае поступлю так: дойду любой тропой до места, сдам его и вернусь сюда. Пусть даже мне придется бесконечно кружить по дорогам. Выйду отсюда, обойду Мурибеку, поднимусь к Мальяда-дос-Боиз, доберусь до Гарару, опять сверну назад, к Ампару-де-Сан-Франсиско, затем направлюсь через Акидабан и Кумбе, тут я улизну на Фейру-Нову, Дивину-Пастору и Санта-Розу-де-Лиму, а далее — Мальядор, Розариу-ду-Катете, Маруим. Войду в Санту-Амару-дас-Бротас и спущусь вниз по реке, и хотел бы я знать того, кто меня схватит,— никто еще не видел, чтобы сержанты плавали в индейских каноэ. Дойду до Барры-дос-Кокейроса, устрою все свои дела и покончу с этим грязным поручением. Там, где я пойду, нет ни полицейских комиссаров, ни инспекторов — никого, кто мог бы меня сцапать. Во многих из этих деревушек вообще никакой власти нет, не то что в городах. Так что я пойду. Послушайте, падре, если бы меня какой-нибудь святой спросил: «Хочешь ли ты умереть старым и трухлявым или настоящим мужчиной в расцвете сил?» Я бы ответил: «Хочу помереть петухом». Какой смысл тащить ношу до старости! Устал я очень от всей этой истории, пора остановиться. И еще: не хочу жить, прячась по кустам. Не хочу бежать в Сан-Паулу, стать там шофером и крутить баранку. Я даже не знаю, где этот Сан-Паулу находится. Как бы я хотел, падре, окунуть руку в вашу купель со святой водой, перекреститься, схватить свой узелок и скрыться навсегда! Такая на меня иногда тоска нападает, что сил моих нет терпеть все это. Но не дай бог, если я не уведу с собой этого ошметка и не вручу его кому надо! Как я потом сам с собой разбираться буду, что думать о себе? Хотя у меня мало, чем думать, осталось, да и это малое пухнет от горьких мыслей, заполняя пустоту моей головы. Спасибо вам, сеу падре, за еду, за приют, за молитвы, за поучения, за работу. Спасибо вам. Может быть, когда-нибудь смогу отблагодарить вас, а может, этого никогда не случится, может, я сюда никогда не вернусь. А игрушку вашу — двустволку, что держит Амаро,— он возьмет с собой. Очень она ему понравилась, привык он к ней, жаль ему с ней расставаться. А я знаю, сеу падре, что вы себе достанете такую же — там, где достали и эту. Потому что вы, падре, настоящий мужчина. Я ухожу через ту же дверь, через которую пришел сюда, и пошли вам бог всяческой удачи.

VI

Все дома похожи на какое-нибудь съестное блюдо, даже если это просто болтушка из муки. Проклятый «гудзон» встал — кончился бензин. Осмотрел я его и подумал: ну какая же деспотичная сволочь эта куча железа — постоянно требует жратвы. А канистры пустые, и где мы находимся, тоже одному богу известно. По правде говоря, я догадываюсь, конечно, но нам еще топать и топать, а этот сундук с объедками упирается и твердит, что идти он не может. «Послушай, ты — мать твою...— сделай милость, иди! Двигайся! Не прикидывай-

ся, что не можешь шевелить ногами, а то я тебе такое устрою...» Что поделать, топаем. Устали смертельно, рубаха промокла и стала тяжеленной, я ее сбросил, с трудом тащу оружие. Амаро несет свою двустволку — очень уж она ему нравится. То и дело ощупывает, осматривает, разве что не обнюхивает, а по ночам, думаю, когда его никто не видит, Амаро вдыхает аромат своей любимой игрушки и все чистит и чистит ее тряпицей, захваченной из машины. Я долго осматривал «гудзон». Машина вроде бы ничего, а вот уже и состарилась, давным-давно состарилась. Стоит молчаливая, холодная, мертвая. Амаро поднял капот, заглянул в мотор: куча железок, и все недвижимы. Выходит, даже «гудзоны» умирают. Все, что у Амаро осталось, это его игрушка о двух стволах. Когда ложится спать, он устраивает ее рядом, упирая прикладом в землю, и все посматривает на нее, как на дочь родную. Амаро стал мне братом, во всем мире у меня никого нет, кроме него. Только он на всем белом свете выслушивает мои разговоры, только он один не считает, что я свихнулся, помешался на решении доставить арестанта на место. Мне самому иногда начинает казаться, что я малость спятил от всей этой истории. Сколько мы уже отмахали по дорогам! Да еще с этим «подарочком», черт бы его драл! А как еще эту обузу назовешь? Висит на мне, как камень, еле ползет, тащится по пыли, слабак вонючий. Ни на что не годится, кроме как для политики! Только бы ему красоваться. Я ему говорю: «Слушай, я тебе такое устрою — не обрадуешься». А он даже не отвечает. Тоже, видать, решил, что я рехнулся. Ну и черт с ним, пусть думает.

Я знаю, что за нами погоня. Оглядываюсь и чувствую запах пороха, но я не хочу вступать в бой, потому что дьявол всегда может подставить ножку. И тогда я не смогу добраться до Аракажу. А я должен добраться. В Аракажу я с арестантом расстанусь. Во что бы то ни стало. Не знаю как, но расстанусь.

Мы идем, идем, идем. По ночам Амаро рассказывает всякие истории, иногда страшные — про нечистую силу, но это уже после того, как мы свяжем по рукам и ногам своего поганца, дадим ему попить и устроимся на ночлег. Амаро начинает: «Жила-была корова по имени Витория, испортив как-то воздух, она тут же околела». Мы с ним хохочем во все горло, но говорить-то не о чем, вот мы снова и снова повторяем: «Жила-была корова...» Амаро всегда забывает то начало, то конец своих побасенок, иногда забывает и середину, поэтому заранее поясняет: «Эту историю я начну с середины, эту — с конца». Ладно, согласен, давай. Из некоторых историй он вообще помнит какие-то обрывки. Вначале нет охоты ни слушать его, ни рассказывать самому, но потом — какая разница? — пусть мелет любую чушь. И в конце концов я сам добавляю к его рассказам то середину, то конец. Амаро вспомнил забавную сказку по старуху, которая съела живьем макаку, а через два дня выплеснула ее — живехонькую — в ночной горшок.

— Живую? Ха-ха-ха! Как же это может быть, Амаро?

— Как во всех историях про обезьян, они же хитрющие. Так вот, жила-была старуха, она съела обезьяну...

— Как же могло случиться, чтобы обезьяна оказалась целой и невредимой?

— Об этом история ничего не говорит, но ты же знаешь, что обезьяна — животное бесстыжее. Старуха — раз, два! — и проглотила, а макака возьми да вылези живой и здоровой.— Помолчав, Амаро добавляет: — А как вылезла, так и запела: «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, видела я старухин зад — черно-бело-жел-тый...»

— Ну-ка, Амаро, спой еще!

— Видела, видела, видела старухин зад.

И я смеюсь, ржу, гогочу так, что одолевает кашель, никогда не думал, что я способен так смеяться. Я представляю себе старуху, у

которой разболелся живот от этой чертовой макаки, что сидит у нее в утробе, пытаюсь представить себе старухин зад: почему он у нее черно-бело-желтый?

— Послушай, Амаро, а кто научил макаку этой песенке?

И мы с ним поем и поем про старухин зад, потому что больше нам делать совершенно нечего. Мы смеемся, остановимся на минуту и опять хохочем, пока хватит сил, пока в животе не начнутся колики. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хи-хи-хи!

— Эй, Амаро, а мы ведь могли бы быть сегодня в Такарату на празднике Божьей Матери во Скорби. Представляешь, как можно было там повеселиться!

— И не говори, хороший праздник.

— Прекрасные ребята приходят в Такарату из Пернамбуко, не такие хлюпики, как здесь, настоящие мужчины, как в Алагоасе.

— В Алагоасе, в Пиауи, в Сеара́,— поет Амаро,— летает макака, летает макака!

Мне это тоже нравится:

— Настоящая макака, Амаро? Что же это за обезьяна, которая летает?!

— У нее есть крылья, настоящие большие крылья из мяса и костей, как у летучей мыши. Такие огромные крылища, видеть надо!

— Хватит врать! Мелешь всякую хреновину! Никогда не слышал, чтобы макаки летали, не самолет же!

— Летают, летают. Но только в Пиауи, в Сеара и в Алагоасе,— твердит Амаро.

Допустим, летают, но только в этих штатах, а вот в Сержипи, я это твердо знаю, обезьяны не летают. Хорошо бы над нами сейчас пролетела такая макака-самолет, мы бы ее сбили и сожрали.

Каждый дом похож на какое-нибудь съестное блюдо. Каждый дом напоминает нам о еде, но нам лучше идти подальше от жилья, неизвестно, кто здесь живет, и если постучаться в первую дверь, опять может случиться какая-нибудь неприятность. Не проспать бы свой караульный час... Ночь. Вокруг жуть. Поэтому история о летающей макаке из штата Пиауи, которая может просвистеть и над нами, приходится нам по душе. Жаль, что с нами нет собаки: в кустах водится дичь, а по холмам скачут дикие кролики, но как их поймаешь? Сейчас вместо всего нашего оружия лучше бы рогатку иметь, камнем можно хоть птицу подбить, а что останется от птички пожарника, если по ней садануть из винтовки? Ничего не останется, из этой двустволки только по быкам палить. Поймали мы зверька тейу — крохотного, на высоких ножках и похожего на дикую свинку. Амаро увидел норку и приник к ней. Никогда я еще не наблюдал в нем такого терпения, даже охотничьего пса перещеголял. Он лежал и ждал, пока тейу не завозился и не полез наружу. Только он хотел ухватить зверька, как тот опять нырнул вглубь. Амаро вновь прильнул к краю норы — в руках держит мой «смит» со взведенным курком. Ждет. Ну и терпение! Не знаю только от чего — от голода или от его набожности. Стал ему помогать, окапываю ножом края норы, где же этот проклятый зверь? Потом бросил я это занятие, Амаро опять замер и так, молча, пролежал несколько часов. В конце концов он все-таки ухватил зверька, и мы его съели. «Сниму шкуру, подарю какой-нибудь мадаме,— говорит Амаро.— Им нравятся меха». Какой же это, к черту, мех? Я, например, никогда не встречал женщины, которая бы заявила, что ей нравится мех дикой свинки. Придумает же Амаро! Ладно, сдирай шкуру. Мясо тейу внешне похоже на куриное — белое и не жилистое, а по вкусу — совсем как огромная ящерица игуана, чуть рыбой отдает. Зажарили мы тейу на углях, а соли-то нет. Вспомнили, сколько соли хранилось у Краснорожего падре, ведь ему на каждых крестинах надо щепотку соли в рот новорожденному класть. Как это я забыл попросить у падре соли перед дорогой? Верно гово-

рят: дурак и умрет дураком. Тейу без соли — брр-р-р! Но все же лучше, чем вообще ничего, и даже наш колченогий арестант съел несколько кусков. Я вначале подумал, что он скривит рожу и откажется. Куда там! Сожрал за милую душу и еще добавки попросил. «Эй, Амаро, ловок ты охотиться на этих зверьков». «Да я в жизни на них не охотился,— отвечает он.— Брюхо подвело, так и свербит, так и свербит». Что ни говорите, мерзкий вкус у тейу, но ведь известно, что голод — лучшая приправа к любой еде. Даже наш дохляк пошагал живее. Голодать в таких зарослях худо — сразу выматываешься.

Иногда я хватаю арестанта за шиворот, открываю ему рот и осматриваю десны: как у нас дела?

— Прекрасно, сеу слабак, великолепно. Ротик как новенький! Даже не верится. Эй, Амаро, если мы из этой заварухи выберемся живыми я, пожалуй, заделаюсь в Аракажу зубным врачом.

— Ни в Аракажу, ни в Эстании,— отвечает Амаро.— Там своих хватает.

— Ну тогда в Порто-да-Фолья. Гарантирую, там я стану лучшим зубодером. А то́ еще в Мурибеке — здесь народ даже представления не имеет о зубных врачах. Итак, ваша милость арестант, десны у тебя прекрасные, но, возможно, мне придется выбить тебе еще четыре зуба — для равномерности. А заморозка — всегда при мне, взгляни-ка сюда,— показываю ему кулак.

Сертаны прекрасны, когда они зеленые. Здесь все оттенки этого цвета. Я полагаю, что Сержипи — самое зеленое место в мире, но только в это время. Приходит час, и сертаны сгорают под солнцем, становятся сухими, бурыми, печальными. Но сейчас ими не налюбуешься — темное, зеленогривое море, от которого исходит особый аромат, аромат сертанов.

Здесь мало никчемных кустов и деревьев — все больше огромные и стройные, взгляд отдыхает, когда поднимаешь глаза от низа холма к его верху. Бесконечный зеленый мир. Я рассказываю об этом Лузинети — она лежит рядом со мной в ее домике на берегу речки Жапаратубы.

Лузинети любит меня по-особому — нежно и добро, привязана ко мне, как собака, и мне приятно сознавать это. Достаточно мне только подумать о чем-то, и Лузинети уже выполняет мое желание, мне достаточно лишь приподнять голову. Чертовски красивая женщина: крупная, сильная, тяжеленная — не меньше пяти арроб! — с длинными гибкими руками. Одним словом, женщина что надо! И очень душевная. Лузинети хочет иметь от меня ребенка, хочет, чтобы я остался у нее навсегда и продолжал делать ей детей. Я говорю: «Ну хорошо, сделаю я тебе ребеночка, а потом что? Остаться здесь навечно и думать только о том, сколько еще делать детей? Ну, привяжешь ты меня, пущу я корни и стану бездельником. Нет, такое не по мне».

Добрались до дома Лузинети глубокой ночью. Я малость привел себя в порядок, наспех рассказал ей, в чем дело, потом уложил Амаро на соломенную циновку и привязал арестанта. Тут Лузинети сама сняла с меня рубаху, и я оказался рядом с ней.

— Не помню даже, когда я был последний раз с женщиной,— говорю.— Не помню и когда мылся в последний раз, бегаю по зарослям, от меня, верно, вонища идет.

А она мне:

— От тебя пахнет настоящим мужчиной, мужчиной, которого я люблю.

Я почувствовал, как ток ударил в мои жилы, и рухнул в бездну... А она шепчет и шепчет мне в ухо:

— Хочу ребеночка, хочу сыночка! Любимый мой, дорогой, единственный! Я твоя, вся твоя.— Слышны только вздохи. Обнимает ме-

ня, ласкается, словно кошка, и опять шепчет:— Люблю тебя, хочу тебя!

— Но я не хочу, чтобы ты беременела,— отвечаю я.

— Когда-нибудь ты одумаешься, когда-нибудь захочешь иметь свой очаг и вернешься ко мне навсегда.

— Да нет же, я пробуду у тебя несколько дней, отдохну и в путь. Я должен добраться до Аракажу любыми путями, любыми! Но не ради женщины, нет там у меня никого, всяких этих трали-вали.

Смотрит на меня в упор, даже в краску вогнала. А глаза у нее огромные и блестящие. Смотрит глубоко, в самое нутро смотрит, и меня от ее взгляда словно душистым маслом обволакивает. И такое во мне возникает желание обладать ею, такое бескрайнее чувство, что впору разорвать ее на куски, растерзать, раздавить... Боже мой, что же это такое со мной творится? Как, какими словами все это передать? А она все твердит:

— Твоя, твоя, хоть убей до смерти!..

В Жапаратубе почти нет солдат, они появляются здесь только в дни выборов, а в другое время стоит гарнизон, совсем пустяковый. Домик Лузинети — довольно высокий, с односкатной крышей, двускатные здесь не строят. С одной стороны к дому примыкает зеленая лужайка, там всегда тенисто и влажно. Тенисто оттого, что здесь растет несколько высоченных деревьев, а влажно, потому что женщины постоянно стирают и вешают тут белье. С крыльца в дом ведет высокая двустворчатая дверь, одна половинка которой, выкрашенная в какой-то непонятный красноватый цвет, всегда открыта. Окна тоже высокие, и рамы такого же цвета. С другой стороны примыкает чей-то дом, а чей — не знаю. К нему ведет пологая тропинка, перегороженная деревянной калиткой. Пройдя через нее, попадешь на хозяйственный двор, здесь ничего особенного нет, однако отсюда есть запасной выход в низкой ограде. Замечаю, что по верху ограды торчат осколки битых бутылок. Заглянешь за них — обязательно увидишь какую-нибудь фигуру: устроился человек помочиться. Кстати, если рядом растет кустик дикого перца, то для этого растения ничего лучше не придумать — от мочи перец становится огненным. Рядом несколько помидорных кустов, ползут лианки кьябо, пламенеют сладкие перцы, пестрит еще что-то огородное. Все дышит покоем и тишиной, лишь легкий ветер качнет листву да кто из соседей выглянет в окошко и, не обращая на окружающую красоту внимания, сплюнет. Где-то рядом живут те, кто склонялся над этими грядками, кто сажал эти помидоры, кьябо, перцы, кто заботится о них, ухаживает за ними, потому что здесь полный порядок, земля удобрена, и у каждого помидорного куста, как папаша, торчит сук.

Через ограду с бутылочными осколками перепрыгнуть легко — стекло уже стерлось и искрошилось, так что не поранишься. Позади ограды тоже раскинулась полянка, покрытая травой, тут меня никто не схватит, отсюда расходятся несколько дорог. Вскочу на коня — сегодня же надо раздобыть коня! — только меня и видели. Потому что, ягодка моя, зовут меня Жетулио! Впереди возвышаются холмы, низкие и длинные, но для скакуна они — не преграда, и все будет расчудесно. Я пока еще не знаю, куда отправлюсь, мне просто очень хочется выкинуть что-нибудь необыкновенное, отколоть черт знает какое коленце, чтобы всем им доказать... Не нужны мне ни винтовки, ни пулеметы, никакие другие машинки, я даже не задумываюсь, имеются ли они в гарнизоне Жапаратубы, отряд-то здесь самый что ни на есть плохонький. Да, решено, я отправлюсь в казарму. Сам не знаю, для чего я это делаю. Наверное, потому, что улетучивается желание покидать дом Лузинети и все чаще вертится мысль остаться у нее навсегда. Даже мурашки по коже начинают бегать, когда осознаю, что постепенно теряю власть над собой. «Эй, Амаро, ничего мне сей-

час не говори, сиди здесь и пей козье молоко, хотя ты и так за пару дней стал жирным, словно поросенок». Смотреть на Амаро тошно — то войдет, то выйдет и все поглядывает на свою двустволку. А сам я что? Лежу возле Лузинети, смотрю на ее живот и становлюсь тряпкой. Вот Лузинети встала, мне интересно наблюдать за ней: живот у нее выпячивается, и под платьем четко заметен пупок. Мне хочется тронуть его, подуть на него, прижаться к нему. Я думаю при этом: «Слава богу, эта телка — моя собственная, и это совсем неплохо». И тут же вслух:

— Вот что, Лузинети, смотрю я на твой живот, и плоть во мне начинает играть, а мысли о том, что нам надо отсюда уходить, как не бывало. Вот поэтому-то я и отправлюсь сегодня в гарнизон за пулеметом, о котором толковал Амаро. Отправлюсь, чтобы выяснить, действительно ли у солдат есть такая штука.

До этого дня я в Жапаратубе никаких пулеметов не обнаружил, да они мне и ни к чему — я люблю оружие, которое стреляет метко и аккуратно, а пулеметы слишком сильно портят цель, разносят ее в клочья. Ладно, отправлюсь. Оглядываюсь на живот Лузинети и... впервые не испытываю желания.

Нередко я задумываюсь: что мне делать? Допустим, я останусь, свяжу свою судьбу с Лузинети, она хорошая женщина. Женщина как женщина, только из породы хороших. Размышляю дальше. Допустим, привяжу я своего ублюдка где-нибудь подальше и брошу его, пускай сдыхает, пускай сохнет, покуда от него скелет не останется. Правда, проще прикончить его, поблизости закопать, и дело с концом, а я останусь с Лузинети. Сделаю одного ребенка, потом второго — и целую футбольную команду ребятишек. К тому же Лузинети — женщина порядочная, верная. Если я ей скажу: «Не нравится мне этот кувшин», она тут же грохнет его оземь, да еще и добавит: «Откуда здесь эта глина мерзкая взялась? Видеть его не могу!» Но если в тот момент, когда она уже подняла руку с горшком, я закричу: «Боже мой! Какая прекрасная плошка! Какой чудесный кувшин! И откуда только такие чертовски красивые штуки берутся?» — она тут же прижмет глину к груди и скажет, что это самое прекрасное, что есть в ее доме, и оно прекрасно потому, что нравится мне. Я мог бы заставить ее целый день то бить, то обнимать кувшины, но наконец мне становится ее жаль, и я прекращаю игру, снова упираясь взглядом в ее пупок. Он не похож на картошинку и не торчит наружу, как это случается у детей от долгого плача, и не втянут внутрь, не окрашен траурной каймой, как у голодных. Он чуть-чуть выступает над животом и похож на приоткрытую раковинку с немного вывернутыми краями. Настоящая картинка.

Иногда я думаю, что хорошо бы обзавестись ребятенком, иногда — нет, не надо. Приятно спать с женщиной, еще приятнее наблюдать, как она начинает полнеть, наливаться новой жизнью, гладить ее по вспухшему животу. Но потом рождается дитя, и вполне может статься, что все покатится к чертям: этот маленький гаденыш будет расти, начнет ходить, станет задавать тебе всякие вопросы,— много вопросов! — на которые тебе не захочется отвечать. А потом еще захочет то одно, то другое, и так далее. Нет, я этого выдержать не смогу. Не смогу. И женщина начнет донимать всяческими «почему?». Как только она рожает — тут же превращается в квочку. Не гожусь я для всего этого, даже если и останусь. И главное, что я здесь заимею? Сад? Что буду делать? Ухаживать за огородом? Каждый день горбатиться здесь в земле, а потом топать в город — а тут еще ботинки тебе жмут — глядеть, как рожает твоя жена, слушать, как вопит твой ребенок, и самому становиться тряпкой? А потом умереть? Но я уже умер. Черт побери, ну разве это не сволочная жизнь? Поэтому-то я и брожу, ведь когда шатаешься, мозгами шевелить не надо, а если что и сделаю, то не задумываясь. Вот так-то.

По этой самой причине я сейчас одет в длинную рогожную рубаху Лузинети. Я заправил ее в брюки — не хочу, чтобы люди видели меня в женской кофте. Еду верхом на черном осле, сам во всем черном, снял шпоры, чтобы не звенели и не сверкали при лунном свете. Ночь, глубокая ночь. Я уже совсем близко от церкви на главной площади. Слышны только поросячьи визги, словно сегодня какой-то их праздник: свиньи вроде как переговариваются между собой: папа хряк — с сынишкой, мама свинья — с дочкой. Посмотрим, какой поднимется визг, когда я войду в казарму... Я их одной рожей своей испугаю, можете мне поверить. «Эх, Амаро, жаль, нет у меня ни одного золотого зуба! Я бы их так запугал! Самого дьявола затмил бы!»

Ухают совы. В этих местах они живут в каждом большом доме — жрут мышей и прочую нечисть. Если внимательно их рассмотреть, то совы даже красивы, и мне, например, они нравятся гораздо больше петухов. В этот час ночной птиц не видно, но я знаю, что они где-то рядом, устроились на высоком месте, подстерегают добычу. Среди этих птиц есть совы и совушки, с мягкими круглыми мордочками. А вот крупных сов я не люблю, уж больно страшно они щелкают клювами! Даже вздрагиваешь! Сидит перед тобой такая птица, уперлась в тебя взглядом, глаз не отводит, а потом как щелкнет, да так громко, точно молотком по черепу ударили. Не переношу таких, она и палец напрочь откусить может, если к ней руку протянешь. Вполне может откусить, ведь и попугаи откусывают!

— Ты видел, Амаро, как попугаи пальцы напрочь срезали?

— Откусывают, откусывают,— соглашается Амаро.

Сейчас легко можно наткнуться на совищу — самое время им охотиться на летучих мышей, которых на церковной колокольне тьма-тьмущая, висят вниз головами, как колокольчики. Терпеть не могу нетопырей! Прицелишься, грохнет выстрел, а дальше уж ничего не видишь: в воздухе бьется раненый зверек, а вокруг носится туча их, да еще писк стоит — пи-пи-пи! Омерзительные твари, никакой добрый христианин этого воя не выдержит. Моя бы воля, а не господня — не было бы нетопырей на белом свете. Никогда из-за них не вхожу в пещеры, а уж если и сядет на меня летучая мышь, то все кишки наизнанку вывернет, словно ведро теплой воды натощак выпил.

— Слушай, Амаро, ложись около меня, подождем, пока погаснет свет в конторе. Видно, не спит еще сборщик налогов, изучает свои конторские книги, придумывает, как бы ему побольше налогов с крестьянина содрать. Видел этого типа? Вертлявый такой, с усиками... Этот ничего не упустит, хотя сам гроша ломаного не стоит.

Нет, ну ты посмотри на эту деревенщину: набились все в один домишко — и алькальд, и сборщик налогов, и солдаты, и полиция,— воображают невесть что, тоже мне «власти»! Чувствую я себя непривычно — сижу во всем черном верхом на осле. Хорошо хоть деревушка засыпает сразу же, все затихает, замирает, и если бы не этот навозный жук — сборщик налогов со своей лампочкой, я бы уж давно вошел в казарму и поискал оружие. Ты, я надеюсь, не считаешь, что забрать в казарме пулемет — это грабеж? Я ведь не вор! Возможно, это и преступление, но уж никак не грабеж, изъятие оружия у солдат не может считаться воровством. А впрочем, для меня все едино, потому что я — это я, а остальное к чертям собачьим! Укладывайся и наблюдай. Слышишь, шлепанцы шаркают? Это все инспектор свои дурацкие листки читает, людям спать не дает. Сейчас он погасит лампочку, значит, нам придется потрудиться, зажечь ее снова. Кроме того, если он проснется, мы должны будем стрелять ему в голову, а этот карабин, сам знаешь, как палит — после выстрела не только инспектора, но и мозгов его не соберешь; смотреть страшно, свихнулось что-то в этом карабине. Эй, Амаро, не трогай курки! У

этой дерьмовой штуки нет предохранителя, а если солдаты проснутся, тебе придется пустить в ход свою двустволку, пальнуть хотя бы в воздух, что тоже нехорошо, ведь ты можешь прострелить зад какому-нибудь святому или еще какое святотатство совершить. Я лежу в кустах напротив казармы и думаю: если бы до сих пор сохранились кангасо, ушел бы я к кангасейрос — к этим взбунтовавшимся крестьянам, которые стали в конце концов бандитами. Еще вчера я их люто ненавидел, а сегодня уже нет против них злости, что поделать, нет и все! Мог бы я стать кангасейро, вполне мог бы, если бы их всех не истребили. Но кангасо больше на белом свете нет, и вот я лежу в этой засаде.

Смотри, смотри в оба! Я тебе уже трижды об этом говорил, а ты, лентяй, лежишь, жуешь кусок вяленой шкуры, словно козел какой, честное слово! Надоело! Еще немного — ворвусь через эту дурацкую дверь, перебью всех и унесу оружие. Пожалуй, я выгляжу сейчас получше, чем любой король: весь в черном! А еще я мог бы конем быть, только не обычным одром, а скакуном-красавцем, у которого копыта словно из пробки сделаны — так он легко ходит; конем, у которого из ноздрей дым идет, а сам удила грызет и играючи скачет, склонив голову набок. Вот таким конем я мог бы быть! Самым лучшим, самым красивым, самым храбрым... Почище, чем у всякого короля!

Никто меня не остановит, въеду на осле в казарму — посмотрим, какой там переполох поднимется. И если какая-то сволочь из местных полицейских меня узнает, придется уложить ее в ящик, чтобы лишних свидетелей не было. Нет, брат Жетулио, что за ересь ты порешь! Пусть потом рассказывают, что это я их перепугал, я, Жетулио! Именно я разгрыз этот орешек, обстрелял их, помочился в главном зале казармы, а потом скрылся в зарослях. Исчез, словно искра от костра. Ищи ветра в поле. Придется причесать любого, кто попытается вякнуть или показать свою смелость... Стоп, Жетулио! Ты, кажется, становишься все более злобным.

...Когда я выломал дверь и вырвался наружу, таща на плече проржавевшую железяку, Амаро выскочил из-за дерева, словно черт из коробки. Он сидел на осле, а второго тащил за уздечку и при этом зверски ругался. Шпорит, бьет — все без толку. Какая на осле скачка, он только взбрыкивает. Вдруг в конторе сборщика налогов зажегся свет, заорала какая-то женщина, выскочил в трусах мужчина и направил в нашу сторону свой «винчестер». Я кричу: «Эй, Амаро, хочешь жить?» Амаро не отвечает, привязал узду моего осла к своему стремени и — когда только он умудрился это сделать! — поднял двустволку, целится чуть повыше головы того, кто выскочил на крыльцо. Послышалось — тун! — но в человека не попало, зацепило лишь черепицу, так что глина сухая посыпалась. А Амаро чуть на землю не свалился: отдача в плечо была такая, что ему словно осел под зад наподдал. Это чудо-двустволка, видно, только для Красноярского падре годится — тот стрельнул бы и не почесался. Все произошло мгновенно. Я выскочил из дома как полоумный, потому что там оказалось солдат гораздо больше, чем я ожидал. Они чуть было не схватили меня, и не схватили лишь потому, что приняли за приведение. В тот час, когда все уже крепко спали, я неслышно проник в дом, и тут чертова дверь — на ночь из-за духоты ее оставили открытой — громко заскрипела. Я замер, стою уже внутри казармы и жду. В ту минуту я бы все отдал за один золотой зуб. В казарме спал совсем молоденький капрал, который вскочил, как только скрипнула дверь, и мне не пришлось бы тюкнуть его по морде, будь у меня во рту золотой зуб: я бы только улыбнулся — и капральчик помер бы от страха. Известно ведь, что негры — а капрал был черным, словно сажа,— как огня боятся дьявола, может, потому, что они и сами от него недалеко ушли. Я говорю ему: «Продолжайте дрыхнуть в своей

металлической кроватке, сеу подонок, а не то... видите у меня в руках резак для разделки рыбы? Так вот, я отравил его трупным ядом дохлой крысы — три дня держал в этой отраве,— к тому же на конце ножа есть острый крюк, и им вполне можно вынуть кишки из твоей распоротой утробы, чтобы закусить ими стаканчик кашасы, ведь нет на свете ничего вкуснее зажаренной требухи сволочи-капрала, да еще посыпанной мукой маниоки». Все это я говорю капралу на ухо, чтобы не поднимать шума, а в руке у меня действительно разделочный нож, самый лучший, который я нашел у Лузинети и целый день точил на оселке. Правда, насчет специального крючка я приврал, потому что я ведь не из Пернамбуку, чтобы мне нравилось жрать требуху своих врагов. У меня даже не было желания пустить кровь тому капральчику, а он уже стал совсем серый, и мне пришлось закрыть ему рот рукой, чтобы он не заорал на весь свет. Бедняга только пыхтел и дрыгал ногами. Он лежал голый, без рубашки, и я приставил к его телу нож, потихоньку нажал, примериваясь, где у него ребра, и повел, повел лезвие, не прорезая кожу, только самым кончиком, пока не показалась кровь и он не понял, что от него требуется. «Слушай, сеу холера,— говорю,— если вякнешь, я из тебя тут же котлету сделаю, видишь, какое у меня оружие?» Пришлось мне с ним попотеть; как только убирал я руку с его пасти, он сразу начинал молиться. Я подождал, чуть на стул около него не сел, смотрю, как он крутится. «Кто вы, ваша милость?» «Я-то? — отвечаю.— Я дух хозяина твоего деда-раба, сукин сын!» Но он все порывается креститься и бормочет молитву, размяк, как каша. Пришлось мне его тряхнуть и поставить на ноги. Капрал был худым и маленьким, уж и не знаю, откуда такие людишки на свет божий берутся. Я ему говорю: «Отведи меня на склад, мне оттуда нужно кое-что забрать. А ты, наверное, из Баии, сеньор? Только в Баие бывают такие черные и трусливые». Он отвечает: «Во имя господа бога, я из Мурибеки». Я чуть не расхохотался — Амаро тоже был из Мурибеки, а Амаро торчит снаружи, и ему там, наверное, совсем не сладко, во всяком случае не лучше, чем тут его земляку. Стоит один в кромешной темноте, кругом совы ухают, в руках — уздечка от осла и двустволка. «Хорошо, хорошо, допустим, что вы из Мурибеки, а теперь покажите-ка мне, где у вас тут оружие хранится». Я выкрутил капральчику руку и повел его в глубь дома, так мы и подошли к шкафу. Кто же это наболтал, что в гарнизоне пулемет имеется? Никакого пулемета, только старые-престарые винтовки, которые я хватал и вешал себе на руку. Вдруг — шаги. Мне даже в голову ударило! Вошли четверо, один их них — в шляпе. Он-то и обращается ко мне: «Что здесь происходит?» «Дьявол к вам пожаловал»,— отвечаю, а сам понимаю, что надо смываться, уж слишком их много стало, да и оружие у них, может быть,— не такая старая рухлядь, что рядом стоит. Начинаю потихоньку отступать: медленно поднимаю ногу и даю капральчику в зад крепкого тумака, он летит прямо на людей, а я успеваю удрать. Именно в этот момент я и вырвался из сломанной двери, думая про себя: какого черта я полез сюда в ночной час?! За ржавыми винтовками? Чтобы получить пулю безо всякой нужды? Но я почему-то делаю не только то, что мне положено, но и то, что мне просто хочется делать. Вот какая штука. Тут я увидел Амаро, который крутился напротив двери и в заварухе нажал на оба курка, выстрелив поверх головы человека в трусах. Видно, оружие было еще у кого-то, потому что началась пальба. Я едва успел добежать до Амаро и вскочить на осла, который брыкался как сумасшедший, а Амаро удерживал его с трудом за уздечку, привязанную к стремени. Короче говоря, поднялась жуткая суматоха, из задней части казармы выскочили солдаты, столпились, давят друг друга, не переставая орут женщины. Тут я говорю: «Амаро, сматываемся, сейчас такое начнется, что подумать страшно». А он ничего не видит, возится с уздечкой, заце-

пившейся ему за ногу. У меня только и хватило времени, чтобы вскочить на осла, рубануть по узде и поскакать в сторону площади. Счастье мое, что этот осел прекрасно знал дорогу — я отпустил поводья, и он помчался сам, и неплохо помчался! Хотел бы я посмотреть на какого-нибудь другого осла, который с удовольствием слушает выстрелы и летит по дырявым мосткам, по которым и человек не всякий переберется. Да ведь животным тоже иногда бывает страшно. А я мчусь на нем, прямо как король какой, и даже не оглядываюсь. Для отступления мы выбрали лучшую дорогу, через заросли. Капрал сейчас, конечно, рассказывает, что на него напал оборотень или какая-нибудь бесприютная душа и, скорее всего, погоня за нами задержится. Кроме того, луна едва светит, кругом темнота такая, что хоть глаз выколи. Амаро едет, опустив голову, чтобы уберечься от веток, пилит и пилит себе на осле. Ну, тут можно даже зажмуриться, потому что животные дорогу домой лучше нас знают. Амаро спрашивает, захватил ли я что-нибудь с собой, я отвечаю, что хотел бы захватить того сукиного сына, который наврал, что в гарнизоне Жапаратубы есть пулемет. Говорю, что на складе в казарме были только никчемные старые винтовки и патронташи и я на них даже не посмотрел. Рассказываю, как растерялись солдаты — никто из них даже не стрельнул. Так зачем же я туда полез? Да только затем, чтобы посмотреть, есть ли там эта дьявольская игрушка — пулемет. Но Амаро, Амаро-то хорош! Чуть было весь дом не развалил своей пальбой. Когда я выскочил на крыльцо, то споткнулся и чуть было не пальнул по какой-то железяке, что торчала из земли, уже и курок взвел. Выскочил и кричу: «Амаро, я перестрелял два десятка, но там еще трое засели!» Теперь-то мне смешно: «Спорим, что ты мне поверил, Амаро?» В казарме, конечно, не было двадцати солдат, но метались они там, как крысы, я только головы и видел. И после этого вы говорите, что я жестокий человек. Да если бы я был злым, я бы прижался где-нибудь в углу и перещелкал всех, кто только был в этом бардаке, каждого бы взял на мушку, тем более что сделать это было легче легкого — все метались и носились, как дикие звери в загоне. Но я даже не прицелился ни разу.

Видишь ли, Лузинети, я бы, конечно, мог остаться у тебя и протирать штаны, сидя у окна, но всему свой черед. В жизни всегда так: иногда тебя радует гармоника-фоле, а в другой раз прямо придушил бы того музыканта. И со мной вот так же бывает. Иногда сижу, опершись на подоконник, и с удовольствием смотрю на то, как после стирки на реке ты возвращаешься домой — руки распухшие от воды и голубоватые от синьки. Иногда я просто смотрю в окно на раскинувшуюся вокруг зелень и получаю от этого наслаждение. В такие часы во мне возникает желание не покидать тебя. Но подумай сама, что станет со мной потом! Я превращусь в бездельника, буду думать только об удовольствиях! В голове навсегда засядет мысль: ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра мне делать нечего. Я знаю, что ты будешь заботиться обо мне, ты пришла домой, значит, поспел обед. Знаю, что могу сказать тебе: «Пойду прогуляюсь. Приду поздно. Приготовь поесть». Буду убивать время, потягивать кашасу, и самая большая радость в такой нашей жизни будет... ну, скажем, краб. Или два. Ты знаешь, что я очень люблю крабов, когда ты варишь их в соленом кипятке, а я сижу рядом и посасываю клешни. Вечер тянется и тянется, нескончаемо длинный вечер. А потом я нажираюсь от пуза и заваливаюсь спать. Нужна мне такая жизнь, Лузинети? Ответь, разве я не прав? Прав. Упрямица, что может быть интересного в такой тягомотине? Жратва, спанье, возня в навозе и — прощай, человек. Или по-другому: сидим с тобой, беседуем, потом нам и беседовать становится не о чем, я брожу без цели и без дела, хватаюсь то за одно, то за другое, то бичом пощелкаю в воздухе, то камешки в никуда покидаю. Не хочу! Не могу! Я вот что тебе скажу: давай-ка пододим-

ся с тобой в кангасо, станем вольными людьми. Я знаю, что кангасейрос больше нет, перебили их всех, но если бы еще они бродили по дорогам, пошла бы ты со мной? Нет, не пошла бы. Ты женщина домашняя, тебе нравится таскать в своей утробе детей, нравится, чтобы в постели у тебя лежал твой собственный муж. Ты хочешь умереть своей смертью. Я — другой. Посмотри на мою ладонь: видишь, тянется линия, пересекающая главную? Это означает, что моя смерть будет насильственной. И жестокой. Это факт, и от судьбы никуда не уйдешь. Да, может, оно и к лучшему, меньше в жизни стрелять буду. Я жду именно такой смерти, потому что не могу представить себя дряхлым, беззубым стариком с трясущимися руками. Не будет, никогда не будет старика Жетулио, есть и будет лишь Жетулио — настоящий мужчина! Не хочу быть развалиной и, пуская слюни, вспоминать: «...а вот в мое время», «...а вот когда я был молодым». Правда, я знаю стариков, которые и по сей день молодцами держатся — эти еще от прежних времен остались,— таких людей в наши дни уже нет. Раньше люди, наверное, колдовство какое знали, слово заговорное, если так долго петухами держатся.

Эх, если бы и сегодня по нашим дорогам бродили кангасейрос, ушел бы я с ними. Надел бы кожаную шляпу, украсил ее поля серебряными звездами, а кличку бы себе взял Дракон Мажалеу. Говорил бы мало, а делал много. Громко топал бы сапогами, входя в дом. На лошадь бы садился, выпятив грудь, глядя прямо перед собой, скакал бы только галопом. И вдыхал вольный воздух. Ел бы много, отрезая кусищи мяса перед самым своим носом. И стал бы знаменитейшим кангасейро всей Бразилии, наиглавнейшим их вожаком. И набрал бы себе самое большое войско, и звали бы меня не сержантом, а капитаном. Или майором. За один раз я бы выпивал по две бочки кашасы и закусывал парой козлят, а может быть, и теленком. И от свиста моего валились бы деревья, а от удара моим пистолетом по земле она содрогалась бы и с деревьев начинали падать плоды. Дракон Манжалеу! Можешь меня так называть, Лузинети. Или вот еще что я думаю. Стал бы я важной персоной — депутатом или кем-то еще в этом роде. Курил бы только сигары, а Амаро водил бы мой автомобиль, только ему я разрешал бы это. Чтобы стать депутатом, ничего особенного не требуется, кроме денег. Ты бы пошла за меня, если бы я стал депутатом, Лузинети? Стала бы гордой дамой, научилась выговаривать трудные слова. Научилась бы, Лузинети? Был бы я депутатом, заявился бы прямо в палату с этим живым сундуком и сказал: «Вот вам, сеньоры, мой подарок. И знаете, что я с этим подарком сделаю сейчас прямо на ваших глазах? Придушу его». И придушил бы, а потом отправился бы, как это делают большие сеньоры, на радиостанцию. Сам я во всем новеньком, в нагрудном кармане — белый платочек, костюм в полоску, с иголочки, ботиночки круглоносые, белые с коричневой отделкой, самые-самые модные. А вечером — играть в карты, на деньги, конечно. Как ты полагаешь, могу я быть депутатом, Лузинети? Могу! Уверяю тебя, я вполне гожусь в депутаты и был бы хорошим слугой народа. Если бы только я захотел! Ты помнишь моего шефа, Лузинети? Он теперь тоже, наверное, депутат. Ведь это шеф послал меня в Паулу-Афонсу словить ту гниду, а теперь за мной рыщут по дорогам, чтобы передать новый его приказ: «Не являться с ним в Аракажу». Не верю я в такой приказ, а ты, Лузинети? Может быть, шеф и говорил такое, но я должен сам проверить. Должен доставить арестанта, как было приказано.

Еще вчера я твердил, что должен дойти до Аракажу, а сегодня не знаю, как быть. Надоело мне все, надоело. Как можно так жить? В такие часы, когда я сижу возле тебя, Лузинети, я часто говорю себе: «Жизнь остановилась». Но жизнь, естественно, не останавливается, это всем известно. Люди в ней крутятся, мечутся, суетятся, а я сижу сложа руки. Замер, застыл, как снулая рыба в прибрежных ка-

мышах — стоит, спит, а как двинешься возле нее, вильнет хвостом и исчезнет. И я такой же. Нет, ты обрати внимание на все, что произошло, Лузинети, подумай, какие безмозглые ослы, эти солдатики из гарнизона. Я заявляюсь к ним, отбираю всякую ружейную рухлядь, щекочу ножом по ребрам черномазого капральчика и спокойненько отправляюсь восвояси. Сижу у них под носом, а они даже не чешутся! Ты как полагаешь, Лузинети, мог бы я скончаться от старости? Наверное, мог бы. Мог бы осесть здесь навсегда, и каждый год — по ребенку, и чтобы роды были в январе, так для родителей удобнее. Девок у нас не было бы, от меня рождались бы только мальчишки, будущие мужчины, и имена им я давал бы настоящие, мужские. А потом мы с сыновьями захватили бы земли поблизости и создали бы свой отряд, а я стал бы хозяином всего, что здесь есть. Каждый из моих сыновей нашел бы себе подругу, и они тоже рожали бы только мальчиков, орлов-храбрецов и командовали бы уже во всей округе. А когда наступил бы час моей смерти — к тому времени я уже был бы всем местным жителям либо дедом, либо отцом,— меня схоронили бы на вершине холма, и над моей могилой установили бы крест с распятием. И каждый, кто проходил мимо, говорил бы: «Вон тот крест стоит над покойным Жетулио Сантосом Безеррой, и если над его могилой не перекреститься, он вылезет из земли и утащит за собой». А сыновьям своим я дал бы самые замечательные имена: Жеребец Сантос Безерра, Злодей Сантос Безерра, Наглец Сантос Безерра, Разрушитель Сантос Безерра, Людоед Сантос Безерра, Яростный Сантос Безерра, Похититель Сантос Безерра, Кровопускатель Сантос Безерра, Укротитель Сантос Безерра. Всем дал бы такие гордые имена. Тебе они нравятся, Лузинети! Представь себе, в один прекрасный день Укротитель Сантос Безерра объезжает верхом свои земли и встречает стадо ослов — они загородили ему дорогу. Укротитель говорит погонщикам: «Пропустите меня, ваши ослы могут подождать, пока я проеду. Да и сами бы вы отдохнули, посидели на травке да посвистели. Знаете, я король-император всего Сержипи». А погонщик отвечает: «Ваша милость, может, и считает себя королем-императором всего Сержипи. Может быть, сеньор и думает, что он храбрее нас, пастухов. Но мы-то так не считаем! Наоборот, мы храбрее вашей милости, а потому слезайте-ка с коня и сами спокойненько посидите, пока пройдет наше стадо. А уж потом отправляйтесь дальше, и то если мы позволим». Тут Укротитель как закричит: «Вот что, сеу земляной червяк! Выслушай меня внимательно, гусеница раздавленная, жук навозный, лепешка коровья, бык окольцованный. Слушай, потому что я говорю только один раз и не повторяю своих слов, свинячье рыло! Когда я родился, на землю спустились архангелы, чтобы показать меня всему свету. Сам святой Роман возложил на меня корону. Я был таким крепким, что колыбель мою соорудили из стали и отделали ее серебром. И когда я плакал, то шли дожди и в Сержипи и в Баие. И у матери моей молоко было, как у четырех золотистых голландских коров. А теперь позволь еще сказать тебе вот что. Видишь мою руку? Так знай, этой рукой я могу опрокинуть тебе на голову холм весом в шестьсот тысяч арроб. И если я тебе легонько двину кулаком в зубы, то твой котелок отлетит за десять лиг. И если я плюну тебе в глаза, ты ослепнешь. И если я хлопну в ладоши, то все твое стадо оглохнет, а уж если я врежу ногой ослу — вожаку стада, то он вообще улетит к самой что ни на есть чертовой матери в тартарары. Учти, братец, что я тебе сказал». Сидит Укротитель на своем горячем, стройном, что жаром из ноздрей пышет, коне и ждет ответа. А тень на земле только от скакуна лежит — само солнце так боялось Укротителя, что не обжигало его своими лучами. Тут погонщик снимает с плеча винтовку и открывает огонь по Укротителю, остальные пастухи тоже начинают палить. И это был самый глупый и необдуманный поступок в их жизни. Укро-

титель ловит зубами все пули, выплевывает их на землю и говорит: «Этими пулями ваша сукинсынская милость отколола мне кусок от верхнего правого зуба мудрости, а я этот зуб глубоко уважаю и хочу, чтобы он сидел у меня во рту до самой смерти. Придется мне наказать вас за вашу глупость и дерзость!» Тут Укротитель хватает каждой рукой по ослу — за хвост — и крутит, и крутит, и крутит их в воздухе, а сам наступает на погонщиков, разит их тушами, и любой, кто осмеливается подняться с земли, получает хорошего тумака. А потом он принимается за остальных ослов и разбрасывает их по окрестным скалам далеко-далеко. Видишь, какой у нас сын, Лузинети? Всемогущий!

VII

Я сижу — нет сил. Без движения. Голову в знак траура посыпал пеплом. Сколько я прошел после того пожара? Не знаю. Знаю только, что я ходил и ходил вокруг Жапаратубы, так что протоптал тропинки даже. Ходил, задыхаясь от слез, ударяя себя в грудь, рыдая, и крик моей боли был слышен во всем Сержипи. Крик летел вперед, летел назад, поднимался на холмы, опускался в ущелья, пока не долетел до края земли, отозвался там эхом и умолк. Я кричал так, как никто и никогда не кричал еще в этом мире. Так велико мое горе. Сначала я просто не мог уйти оттуда, сидел на чудом уцелевшем табурете, согнувшись вдвое и зажав голову между колен. Я просидел так два, двадцать, пятьдесят восемь часов — кто знает. И потом я еще сидел там не знаю сколько времени, дольше, чем кто-либо сидел на табурете. Сидел, не двигаясь, упершись взглядом в землю, ничего не различая, видел только ее новые — пепельные — краски. Потом я поднялся, меня охватила ярость, и такой страшной ярости еще никто никогда не испытывал в Сержипи. Моя ярость была густой, как кровь, и тяжелой, как пятьсот мешков сахара-сырца. И она была огненно-жгучей, как костер величиной с бычье стадо. Я ударил себя в грудь кулаком — раз! два! и еще! и еще! — и удары были так сильны, что отдались громом, и с деревьев осыпалась листва. А потом я стал ходить вокруг пожарища большими шагами, и при каждом моем шаге поднималось облако пыли; оседая, пыль смешивалась на моем лице со слезами и превращалась в грязь. Я посмотрел вокруг и ничего не увидел, протер глаза и опять ничего не увидел. Как бы я хотел иметь огненный меч, чтобы изрубить в куски все, что лежало вокруг меня! Как бы я хотел вскочить на вороного коня, от которого исходил бы такой пронзительный дух, что убил бы все живое окрест. На этом коне и с этим мечом я поскакал бы к реке Котингуибе, опустил бы сталь в воду и уничтожил всех рыб. Я разрушил бы мечом берега реки, выпустил воду и затопил бы весь мир. Я снес бы с лица земли все, что на ней есть. Пусть все исчезнет. И я бы исчез.

Я напрягал зрение, но не мог ничего различить, я только чувствовал жар огромного догорающего костра, видел убывающее зарево. Я пытался, как мог, погасить горячее пепелище, а потом взял щепоть пепла — все, что осталось от Лузинети и ее дома — и осыпал себе лицо и голову. Долгое время не хотелось двигаться, так велика была моя печаль. Вот тогда-то я и издал крик, слышный по всему Сержипи, тогда-то и задрожала земля, и я очнулся. Очнувшись, я обнаружил, что стою в том же положении, в котором стрелял: прищурив глаз, готовый после выстрела перезарядить винтовку. Правая рука еще была поднята, но опустить ее я не смог — вчера, во время перестрелки она пострадала здорово... Первое, что пришло на память,— глаза Амаро. До этого я стоял у окна, выжидая момент, чтобы задержать приближавшихся солдат. К счастью, с задней сто-

роны дома подобраться к нам никто не мог — за забором начинался глубокий овраг. Вначале мне казалось, что мы легко отделаемся. Как только солдатики появятся на дороге — целься да нажимай курок, мишени они прекрасные. Мы их огня не боялись — ну, посыпятся куски штукатурки, невелика опасность. Мне даже пришла в голову мысль выставить в окно голову арестанта, но солдаты открыли беспорядочный огонь, и если бы я сделал это, его, без сомнения, продырявили бы в один момент, а мертвый — на что он нужен? Грохот от пальбы стоял жуткий, казалось, вот-вот все взлетит на воздух. Сукины дети! Похоже, что солдаты запросили из города подкрепление и хотят поймать меня, как телка, отставшего от стада. Но меня им не взять, пусть маму свою ловят... Меня не схватишь! Так вот, я стою, прижавшись к окну, с винтовкой наготове, стреляя по каждому, кто высовывался, целясь точно в ребра, как вдруг замолчала двустволка Амаро. Я кричу ему: «Что с тобой, Амаро? Патроны кончились? Так хватай винтовку любого из наших гостей, у них оружия много». Но Амаро ничего не ответил. Ничего. Мне удалось влепить пару зарядов в одного из наглецов, и он начал медленно сползать по изгороди, приваливаясь к ней всем телом, пока я не убедился, что это последний привал в его жизни. Вот тут-то я посмотрел в сторону Амаро и увидел его глаза...

Поначалу у него все шло хорошо и даже отлично, он великолепно освоил двустволку Краснорожего падре, что, надо сказать, было нелегко. Это только кажется, что орудовать ею просто, а на самом деле требуется большая сила и ловкость. Амаро первым обратил внимание на какое-то движение вокруг дома. До этого он сидел на корточках, задрав колени выше ушей, и, как всегда, протирал ствол тряпкой. Во рту у него, тоже как всегда, была травинка. Амаро поднялся и без слов пошел посмотреть, что творится на дороге, мне он только бросил: «Подожди здесь!» Смотрю, выплюнул травинку и лег у двери. Потом говорит: «Скоро эта дверь откроется, и я устрою нашим гостям веселую встречу». Ну-ну, говорю я себе, значит, опять заваривается катавасия. Поднялся, взял оружие и сбоку осторожно выглянул в окно. Так оно и есть: обложили дом полукольцом. Сукины дети в солдатских формах! Этого, что сидит прямо напротив нас, Амаро, конечно, снимет первым выстрелом. По роже видать, что парень — страшный хвастун. Ну ладно, давай поближе! «Эй, трусы,— кричат нам,— забрались под юбку к шлюхе! Скоро подохнете!» Похоже, солдаты не уверены, есть ли кто в доме,— мы до этого сидели тихо, как мыши. Я размышлял о тянучках из желтого сахара, а Лузинети искала у себя в голове насекомых. Все замерло, время исчезло, будто его не было ни до, ни после. Застыло. «Амаро, взгляни, кто-то ползет к дому — наверное, выслали разведчика». Я сжал винтовку, уложил дуло на переплет окна, чик-чак! — щелкнул затвор. Ждем. Амаро вжался в дверь, видны лишь стволы его пушки да побелевшие пальцы на прикладе. Дверь стала тихо отворяться. Амаро уже был готов ткнуть стволами в бок солдату и поинтересоваться, зачем он сюда пожаловал, как вдруг этот подонок-арестант закричал, шепелявя из-за выбитых зубов: «Берегись! За дверью человек!» Напрасно я снял с него намордник, хорошо хоть веревки не развязал! Больше этот ублюдок кричать не смог — я прыгнул к нему, дважды врезал прикладом по физиономии, прижал голову ботинком к земле и давил, давил, пока он не затих. Напоследок — на всякий случай — я еще двинул его ногой в пах. «Либо ты заткнешься, гад,— говорю,— либо объяснишь мне, почему ты не хочешь затыкаться!» Он понял, что ему лучше затихнуть. Говорю Лузинети: «Следи за ним, если он хоть пальцем шевельнет, грохни его по затылку кувшином, а если будет сопротивляться, облей керосином и подожги, пусть научится вести себя». Она села рядом, держит в руках спички — те, что зажигаются о подошву,— керосиновую лампу и огромный кувшин. «Знаешь что,— говорит мне Лузинети,— я сначала

оглушу его кувшином, а уж потом подожгу». Она решила заранее облить арестанта керосином, чтобы сэкономить время, поэтому вылила половину жидкости из лампы ему на штаны и присела рядом. Лузинети была совершенно необыкновенная женщина! Солдат, который подошел к двери, похоже, решил не менять своих намерений из-за выкрика арестанта, а может быть, он просто не расслышал его, потому что пленник наш совсем потерял голос. Солдат торкнулся в дверь. В этот момент Амаро выдвинулся откуда-то, встал прямо перед вошедшим и спустил оба курка. Я увидел вдруг, как исчезло лицо, исчезла голова — во все стороны полетели ошметки. «Слушай, Амаро, если бы ты точно так же шлепнул сборщика налогов, то лет двадцать здесь не нашлось бы охотников скрипеть пером». Матерь божья, что сделалось с человеком! Получив от Амаро заряд, солдат выкинул какое-то чудовищное антраша: сначала он сделал рывок назад, точнее, его отбросило ударом, потом развернуло, подбросило вверх, после чего он улегся, уткнувшись в землю лицом. От плечей кверху у него не осталось ничего, ну ничегошеньки! Картинка, доложу я вам! Опять я вспомнил про несуществующий пулемет и подумал, что, если бы у этих кретинов нашелся в казарме хотя бы один, я сейчас в момент закончил бы всю эту заваруху. Но пулемета в гарнизоне, как известно, не было, и мне пришлось открыть огонь из моего «смита». Отряд рассыпался, а мне казалось, что с каждой минутой он растет. Неужели я превратился в знаменитого Лампиана — чтобы схватить меня, послали столько народу! Здорово, ничего не скажешь! Главное, продержаться, пока не найдется хоть какая-то возможность спастись, а впрочем, такой возможности скорее всего не будет. Не такой здесь народец, чтобы уйти не солоно хлебавши, будут сидеть в засаде, пока не добьются своего, пока не ворвутся в дом. Но я — это я, и мы еще посмотрим, как эта стая бродяг-паразитов проникнет в мой дом. Солдаты совсем близко! Вот-вот ворвутся! Ну же, ну! «Молодец, Амаро, а я еще говорил, что у тебя мягкое сердце! Любо-дорого смотреть, как ты орудуешь своей игрушкой!» Того, кто открыл дверь первым, наверняка звали Секундино Крепкий Черепок — весь лоб был покрыт шишками, будто орехами. Секундино стрелял совсем неплохо, вертелся при этом всем телом, видно, считал себя великим воином. Да еще хлебнул пару стаканчиков для храбрости, я даже слышу, как он хвастает: «Приведу на аркане этого подонка, сержанта, привяжу к хвосту коня и потащу по дорогам в чем мать родила. А могилой ему будет пыль дорожная, он перед смертью еще пыли досыта наглотается! А прежде я еще выпотрошу его и лишу мужской гордости!» Скорее всего, именно в этом духе мерзавец трепался. Ну, так слушай меня, Секундино Черепок, это я тебя первым закопаю! Пожалуйста, являйся к нам во всей твоей красе! А уж как ловко ты прыгаешь, ну прямо будто клоун! Только знай, что никогда еще никакие прыжки не решали судьбу человека. Я всегда не выносил таких, как ты,— красивеньких клоунов. Эй, Секундино, взгляни на небеса, вспомни свою мать-корову, что тебя выродила, ибо я сейчас тебя продырявлю. Такую великолепную дыру я тебе сделаю, что ты весь через нее вылетишь, хвала господу богу нашему Иисусу Христу! Запомни, я — Дракон Манжалеу, Пожиратель Сердец! А теперь выбирай, что тебе больше по вкусу: сидеть под колючей кишабейрой на небесах или нежиться под пальмами в аду. Через окно я вижу, как Секундино дергается, как медленно открывается его рот, заполняется желтой слюной, как будто у него там гнойник вскрылся. Неожиданно он делает прыжок влево, я выбираю момент, чтобы взять его на мушку и... Прощай, Секундино Черепок из Азеведу-да-Пайшан! О тебе можно будет сказать, что ты умер в воздухе — так высоко ты подпрыгнул перед смертью. Дух испустил мгновенно, упал и больше не шевелился.

Еще гость пожаловал... Слушай, Амаро, этому ты должен влепить прямо в пузо! Посмотри на него, ну, истинно, свиной окорок, баранья

ляжка, а не живот! Толще беременной тетки! А кличут его Надутый Пузырь, Хвастун-Болтун. Всади в него пулю, Амаро, и увидишь, он растечется, как речка Ваза-Баррил, столько в нем воды! Черт возьми, этот хитер — лежит, не поднимается, видна только часть его плеча. Эй, парень, ну-ка покажи свой животик! Ангел мой! Знаешь, Лузинети, после боя мы направим им счет, пускай платят за ремонт забора, видишь, его пулями изрешетили. Заплатят как миленькие за каждую дощечку твоего забора! Все разгромили, а еще христианами себя считают! Амаро, если толстяк высунется, пали ему в пузо сразу из двух стволов. На таком расстоянии ветер не ослабит пули, и она разнесет его в клочки. И даже если он не помрет сразу же, во всей округе не найдешь доктора, чтобы он заштопал дырку в его утробе. А на вид симпатичный, с двойным подбородком и от шеи вниз — складки. Эй, Надутый Пузырь, Хвастун-Болтун! Амаро, следи за ним внимательно, он поднимается. Хорош солдат, нечего сказать, похож на кобылу жеребую, да еще весь в поту! Ты когда-нибудь таких толстых солдат видел, Амаро? Да еще и волосатик! А ручейки пота на физиономии похожи на кривые стручки жаки. И откуда он такой взялся! Следи за ним, Амаро, не торопись. Сейчас он будет проходить мимо дерева мангабейры, такой толстяк, как он, обязательно остановится в тени, снимет фуражку и оботрет лоб — у него же от едкого пота глаза болят. Хорошо бы попасть этому быку в задницу, но он, конечно, спиной к нам не обернется. Смотри, смотри, Амаро! Ну что я тебе говорил! Остановился у мангабейры, привалился к стволу. Обрати внимание на его оружие: похоже, винтовка с оптическим прицелом, новехонькая. Амаро! Бац! Так... Оставь его, Амаро, он еще покрутится немножко. А на мангабейре живут черные муравьи, те, от которых смердит; так эти насекомые растащат тушу нашего толстяка вмиг.

Амаро, если мы отсюда вырвемся, иди прямо в заросли колючек, продираться там трудно, но это нам и поможет. А там что еще за гости? Теперь уже двое. Один — Скелет, другой — Здоровяк, оба загорелые до черноты. Ты не считаешь, Амаро, что тебе дьявольски повезло? Так-то нам удобнее — встречать их по одному, по двое, все, сколько их ни есть полягут. А то, когда они скопом идут, не знаешь, попал ты или промазал. Этого, что совсем черный, ровно головешка, зовут Шико Высохший Банан. Ну и отвратная же у него рожа, как ссохшаяся банановая кожура, словно ему ее плодами женипапо натерли, ну знаешь, которыми индейцы натираются, чтобы кожа потемнела. Этого оставь мне, Амаро, он под мою пулю так и лезет. Второго — худосочного — зовут Каролино Ханжа Порченый. Во-первых, у него физиономия церковного святоши, из тех, что заупокойную читают. Такой и в постель с женщиной под псалом ляжет — боится согрешить во грехе да без молитвы отправиться в чистилище. Во-вторых, ходит он как-то боком, весь кривой, не иначе — в детстве на него порчу наслали. Короче, загоняй два новых патрона, Амаро, и пали куда попало по этому Каролино — уж он-то, наверное, раз двадцать отмолил себе прощение перед всеми святыми. Слушай, Амаро, а стволы твоей пушки не очень накаляются при стрельбе? Значит, действуем так: ты берешь себе Каролино Ханжу Порченого, а я — Высохший Банан. И будь начеку, за ними, кажется, тьма-тьмущая народу залегла. Смотри-смотри, Амаро, Каролино Порченый изогнулся весь, а вот сейчас растянулся, выпрямился. Ты точно рассчитал свой выстрел — рухнул и не дернулся. А может быть, его звали Непослушным Непоседой? Уж очень нахально он вылез вперед, не дожидаясь приказа. Ну, вот и мой Высохший Банан споткнулся и смирнехонько улегся. Навсегда. Надо думать, что перестрелка усилится. Сволочи, да сколько же их там, конца-края не видно! Да еще пороховой дым никак не рассеивается, такой воздух влажный, если бы сушь стояла, мы бы их, конечно, лучше видели. Эй, Амаро, похоже, что загон для скота позади дома тоже солдатами полон. Как ты думаешь, сходить посмотреть или оставаться на месте? Пойду!»

Вот тогда-то я и увидел остановившиеся глаза Амаро, смотревшие в никуда. Он висел, зацепившись рукавом за гвоздь. Я понял, что Амаро убит, но вначале не ощутил ничего. Я только еще раз посмотрел в его сторону и сказал Лузинети: «Попали в Амаро». И еще я сказал: «Может, мне лучше повесить это животное на сук вверх ногами, ведь из-за него убили Амаро?» Но времени у меня не было ни на что, стояла адская пальба, и я вынужден был спрятаться в доме и отстреливаться. Прошло два часа. Солдаты, похоже, опять послали за подкреплением. Четверо из них остались караулить дорогу — а может, и не четверо, а больше,— чтобы не дать мне уйти. Через полчаса к ним подойдет помощь. «Подойдет или нет?» «Наверное, подойдет»,— отвечает Лузинети. Страха она не испытывала. Я долго смотрел на мертвого Амаро. Лузинети говорит: «Ты стрелял из окна, когда я хотела закрыть ему глаза, но не смогла подойти. Придется ему так и оставаться». «Да,— отвечаю,— придется ему на тот свет с открытыми глазами отправиться». «Придется». Тут Лузинети стала вспоминать, что Амаро для меня вместо брата был. «Да,— говорю,— был мне братом родным. Потому что во всем мире у меня никого нет, только ты, Лузинети, и он. Был. Жаль мне его. Не жизнь, а дерьмо! Так и я, вроде еще живой, а от меня уже мертвечиной несет». Потом говорю: «Помолись за Амаро, Лузинети, прочти над ним что-нибудь из Святого писания. Совсем недавно он сам молился в церкви у Стального падре, он ведь все молитвы наизусть знает». «Знал,— поправляет меня Лузинети.— Слушай, Жетулио, кончал бы ты поскорей со всеми этими сволочами и уходил подальше, надо же тебе выполнить твое поручение». «Так-то оно так,— отвечаю,— но уйти я мог бы, если бы был самолетом. Или слоном. Снаружи стоит толпа солдат, и как только я высунусь, то не успею сказать «ай» — меня тут же прикончат. Кто тогда этого типа доставит в Аракажу, не ты ли?» «Если ты тут будешь отсиживаться, то тоже не доберешься до Аракажу»,— отвечает она. «Я сам все понимаю, но не знаю, как быть. И все-таки выход какой-нибудь найдется. Слушай меня, Лузинети, ты ведь видишь, что я не похож на других людей, я особый, и ничего тут не поделаешь. Я хочу рассказать тебе, о чем я думал, когда скрывался в церкви у священника. Только ты слушай меня молча, а если засмеешься, я тебя тресну. Я Жетулио Сантос Безерра, отец мой был храбрецом, и дед мой был храбрецом, и во всем сертане на много лиг вокруг нет ни одного человека храбрее меня. И если я стукну кулаком по барану, он падает мертвым... Я хочу сказать тебе о многом, только сейчас не буду. О том, что человек чувствует, он обычно не говорит — не поможет это. Я — это я, и мое имя звучит, как стих: Жетулио Сантос Безерра. Иногда я думаю: если я самый лучший, то все, что со мной приключается,— тоже самое лучшее, не как у других. Похоже, я слишком много стал думать, а это ни к чему». «Да, твое имя будто стих,— отвечает Лузинети,— в покое ты никогда не умрешь, это уж точно. Давай я уведу сама твоего арестанта?» «Да ты выгляни в окно,— говорю я ей.— Ты видишь, какая там страшная сила стоит? Я бы уж давным-давно от всего этого отделался, если бы был просто бандитом, тем более что сейчас меня уже больше никто не защитит, нет у меня больше покровителей. Но я — это я, так уж я воспитан. Пусть происходит все что угодно, но я обязан доставить в Аракажу этот мешок с костями, пусть даже мне придется тащить его на собственной спине. Я выйду победителем! Я приведу его! А потом будь что будет, и пусть власти прочесывают весь Сержипи, если захотят меня найти. Я человек свободный, и посмотрим, что они со мной сделают. Самое плохое, что может со мной произойти,— это если я умру. Но это не самое страшное. Самое страшное — быть батраком у помещика. Самое страшное — быть никем. Но когда мы отсиживались в церкви, когда беседовали с прибывшими туда сеньорами, когда Амаро стоял на хорах, наставив на них двустволку, я понимал, что я чего-то значу. Поэтому я должен доставить к месту назначения

этого типа, и никто мне помешать не может. А если кто попытается помешать, того я уничтожу». «Я знаю,— говорит Лузинети, глядя на меня в упор.— Только в толк не возьму, как это ты разом не можешь покончить со всей этой сволочью». «Я же тебе толковал,— отвечаю,— я же не самолет! Но что-нибудь придумаем, может быть, даже сегодня ночью. Луны нет, и я не светлячок — меня в темноте не заметят, ускользну, растворюсь, исчезну». «Слушай! — вдруг восклицает Лузинети.— На заднем дворе у меня лежат бомбы, которые остались от любовника моей сестры — он работал на каменоломне». «Бомбы! Какие бомбы?» «Обыкновенные бомбы, похожие на волчки. В связке пять штук, поджигаешь и бросаешь. А если их разделить, то можно бросить пять раз — почти полдюжины взрывов. После них ничего не останется, и дорогу себе расчистишь. Прекрасная взрывчатка!..»

Видишь это зарево в темноте, злодей? Видишь это голубоватого цвета сияние? То светится растение кунана, что похоже на лиану. Там ты найдешь свой ад. А где мой ад? Где мои звезды? Не знаю, куда я бреду, потому что мое место — здесь. Здесь я родился, и эта земля — моя родина. Теперь же она еще больше стала моей, потому что здесь погибли все, кого я любил. И это по твоей вине, чудак! Ты видишь сияние в лесу? Это лес мне светит, и если бы я захотел, я бы тоже мог излучать сияние. Я мог бы жениться на Принцессе Светлячков и летать, но я этого делать не буду. Лузинети взлетела в воздух вместе с бомбами, наверное, от нее ничего не осталось, среди камней и земли не найти и кусочка любимой. Ты доволен? Ну ладно, об этом после. Я бы все равно у Лузинети не остался, никогда бы не осел. Были у меня моменты слабости, когда я думал об очаге, но это только когда я забывал, кто я есть. Когда же я снова вспоминал об этом, то вспоминал о дорогах и равнинах, о пастухах в бескрайних полях, о плантациях сахарного тростника, о стаканчике кашасы и еще о круглых кактусах, которые мы здесь зовем «головой монаха». Вот об этом я и вспоминал. Все вокруг травянисто-зеленое, но не каждому дано ощутить и почувствовать это. Здесь могла бы жить моя жена. Жить одна. А я бы приезжал к ней раз в год и ложился с ней в постель, и одной ночи хватило бы мне, чтобы пошли дети на всю жизнь — такой я могучий мужчина. Она бы рожала, рожала, и каждый ребенок был бы огромным и сидел бы в ее чреве по двенадцать месяцев, и пуповина при родах была бы в несколько метров — такой уж я. Если я помочусь на землю, то в этом месте вырастут фруктовые деревья, потому что эта земля так же плодородна, как моя мать, сеньор ублюдок, сволочь, злыдень, недоносок. Правда, все эти ругательства теряют силу и смысл, когда их обращаешь к тебе. Поэтому я придумаю для тебя особые словечки, которыми люди впредь будут проклинать всех негодяев. Гнойный прыщ, плод дьявола-насильника, сучий потрох, чудище чумовое, маслом политое... Я тебе еще и не такие прозвища придумаю. Если бы Лузинети осталась жива — и не важно, был бы я жив или нет,— я всегда был бы с нею. Она не нуждалась бы в еде, она стала бы как земля, ей был бы нужен только дождь. Для Лузинети дождем был бы я.

А мои сыновья, негодяй? Где они? Гнилье ты чумное, горшок с дерьмом! Не смей мне отвечать, иначе умрешь страшной смертью, не смей!

Она была моей женой, а теперь она обратилась в луну. Ваша милость, сеньор арестант понимает, что моя супруга теперь — луна? Она стала светилом, когда взлетела в воздух вместе с солдатами. С этими теперь уже возятся дьяволы, они-то посидят под землей, пока на то будет моя воля, а уж я их оттуда не выпущу. Теперь об Амаро. Мне все равно, что скажут обо мне, увидев на моем лбу знак скорби — крест, нарисованный пеплом. Если же спросит тот, кто мне ненавистен, я из него душу выну, испепелю его взглядом. Я кричал от горя, и крик мой разнесся по всему Сержипи от реки Сан-Франсиску до

Баии, и каждый клочок земли услышал мой стон. Я оплакивал Амаро, который был мне вместо брата. Лузинети обернулась луной, а чем стал Амаро? Ничем. Он стал ничем. Он просто убит, умер, остался лежать с открытыми глазами. Малорослый Амаро был настоящим мужчиной. Он был более мужчиной, чем девятьсот тысяч людей твоей породы, висельник! Амаро умер вот с этой двустволкой в руках, которая сначала принадлежала святому отцу, потом Амаро, а теперь стала моей. Я несу ее за спиной, и ни одна чужая рука не коснется ее, а если кто попытается отобрать — найдет смерть от ее же пули. Как болит в груди, даже вздохнуть не могу. Сколько же часов я провел на пепелище — недвижимый, без всяких желаний, не в силах поднять руки, не различая вокруг себя ничего! Амаро был шофером, а теперь превратился в ничто, подумать только! А ты, арестант, будь благоразумен, да шагай вперед. Когда я произношу имя Амаро, мне хочется добавить «Да святится имя твое, господи боже наш Иисус Христос». Ты тоже об этом думай, но не говори ничего вслух. Вот смотрю тебе в лицо и вижу, что ты произносишь: «Да будет вечно святиться имя спасителя нашего». Но ты, арестант, должен молиться по-иному: «Да будет вечно святиться имя спасителя нашего Амаро, нашего доброго-предоброго господа бога Амаро».

Я спрашиваю тебя, можно ли представить себе, что я не доведу тебя до Аракажу? Нельзя. А потом? Потом неизвестно, что будет, потому что, если бы я захотел мстить, то на всем белом свете не хватило бы людей, чтобы заплатить за жизнь Амаро, за моих неродившихся сыновей, за лицо Лузинети, которая взлетела к облакам и обернулась луной. Я же остался один, один на всей земле, с крестом на лбу и со слезами из застывшей грязи. Ты, ваша милость, слишком много грешил в своей прошлой жизни, поэтому придется тебе посвятить всю оставшуюся молитвам новому святому — святому Амаро. Вглядись в те заросли, арестант, видишь, как они сияют голубым светом? Ты думаешь, это гнилушки? Нет, это души. Говорят, что огоньки — это души покойников. Прислушайся, похоже, что хрюкает кабан-каипора. А знаешь ли ты, что после насильственной смерти мертвецы превращаются в кабанов, и кабаны эти с сигарой во рту и верхом на лошади носятся по полям и лесам. Бедняга тот, кто встретится каипору и не даст закурить ему — кабаны защекочут его до смерти. Но тот огонек — не сигара каипоры, это холодный огонь, который вижу только я. Это мои звезды. Я уже на небесах, а ты, ваша милость, в чистилище, и ничто тебе не поможет. Мы пойдем с тобой дальше. Если бы я захотел, то поднял бы красно-бело-голубой стяг Святого Духа и сделал бы несколько свистков из такуары. А ты, чужак, небось и не знаешь, что такое такуара? Так знай, это наш тростник. И свистом из такуары я вызвал бы духов, настоящих мужчин, хозяев этой земли — героев, воителей, святых. И так бы говорил я с ними: «Я был сержантом, сеньоры. Я прошел путь от чистильщика сапог до сержантского чина». Духи смотрят на меня и отвечают: «Значит, ты — полицейская обезьяна? Мразь, вот что ты есть на самом деле». Нет, я больше не полицейская обезьяна. Но ответьте, что бы я делал, если не стал полицейским сержантом? Сидел бы и глядел на толпы умирающих с голоду, на тех, кто своими скелетами устилают сертаны, у кого вся еда — стаканчик кашасы, кто уходит из жизни, не узнав ее. Конечно, можно было бы согласиться, что и я, и мне подобные — никчемные люди. Можно было бы опять вернуться в армию, упросить, чтобы меня снова приняли в полицейские. Конечно, об этом позоре все узнают — у нас ведь, когда становишься полицейским или солдатом, перестаешь быть человеком, превращаешься в зверя. Я это прекрасно понимаю, отдаю себе в этом отчет, и поэтому-то своих детей я буду делать с женщиной-луной. Что я совершил до сих пор? Ничего. Я не был самим собой, я был частью кого-то другого. Но теперь я стал собой, навсегда. И никто со мной не сладит. Так что, ублюдок, я приведу тебя в самый центр Аракажу,

на ошейнике выведу тебя на главную улицу Жоана Пессоа и крикну: «Хочу стать губернатором и стану!» Кто осмелится сразиться с моим войском, которому тесно в целом Сержипи? Мое войско расположилось от Канинде на реке Сан-Франсиску до Брежу-Гранди. Если идти по берегу реки, а потом углубиться в сертаны, то наткнешься на части моей команды в Порту-да-Фолья, повстречаешь храбрецов из Проприа — они такие белолицые и белокурые, что их зовут немцами. Тут стоит Первый полк «кожаных» из пастухов. Они строятся по четыреста в ряд, а рядов не сосчитать. Сидят они на приземистых лошадках, животные эти норовисты — головами трясут, копытами оземь бьют, из ноздрей по холодку пар идет. «Кожаные» до сих пор ничего, кроме пик, не признают, в правой руке — щит; в бой бросаются, как обезумевшее стадо. Летят, не касаясь копытами травы, размахивают пиками и длинными ножами, и ничто не устоит перед их натиском. В каждом ряду стоят трубачи, а трубы у них стальные да такие тяжеленные, что двадцать местных крестьян одну не поднимут. Когда все трубачи дунут в свои трубы — противник исчезает, в воздух взлетает. А если рядом есть беременные женщины, то дети в их чреве замирают и на свет божий не появляются, вот такие это трубы. «Кожаные» — народ сильный. Когда у них есть еда, они едят кускус с молоком — этот грубый толченый маис для них лакомство. Когда еды нет, питаются корнями растений, и этого им хватает. Командует «кожаными» капитан Жеральдо по кличке В Последний Добрый Путь, стольких он уложил на своем веку. Конь его летает быстрее ветра, человека он разит насмерть за две лиги, свистом разгоняет дождевые облака и в бою уступает только мне. Это он, Жеральдо, победил святого Георгия, сбросив его с коня на траву. А святой вскочил, побежал, кричит, просит у Жеральдо пощады! А знаешь, арестант, почему его воинов зовут «кожаными»? Да потому, что у них вся одежда из бычьей кожи сделана: сверху — жибае, кожаная рубаха до колен, под ней — кожаный жилет, ноги от пояса защищены кусками недубленой кожи, потом идут наколенники, даже ступни защищены кожаными стременами. И кожа эта — красноватого, как глина, цвета и так крепка и прочна, что ничем ее не пробить, хоть ножом коли, хоть топором руби. Однажды святой Георгий спустился с небес, чтобы спасти человека, из которого капитан Жеральдо собирался выпустить кровь, потому что человечишка тот был ничтожным и всем только вред приносил. Святой и говорит капитану: «Этот человек мне поклоняется, сделайте одолжение, ваша милость, отпустите его и к тому же прочтите несколько искупительных молитв — слишком много за вами грехов накопилось». Жеральдо снимает шляпу, откидывает назад свои золотые кудри, крестится и отвечает святому, не снимая при этом ноги с глотки того самого человека: «Вы, сеньор, очень хороший святой. Вы заслуживаете поклонения, и в любом другом случае я бы уважил просьбу вашего святого лика. Но этот тип не заслуживает, чтобы вы за него хлопотали. К тому же он заставил меня гоняться за ним по этим бескрайним сертанам, пока я не догнал его и не пощекотал своей пикой. Так что, сеньор святой, уж не взыщите, но кровь этому субъекту я выпущу, причем немедленно!» И, сказавши это, капитан состроил такую страшную гримасу что стоявшее рядом дерево, осыпав листву, завяло. Святой говорит: «Ты первый человек, который так дерзко разговаривает со мной. Не нравится мне твоя манера беседовать. Так что, дорогой капитан, я возьму свое копье и выпущу тебе кишки. И тоже немедленно!» Святой Георгий пришпорил крылатого коня и во весь опор понесся навстречу капитану. Тут Жеральдо схватился за копье святого, оскалился и показал его коню такие огромные и блестящие зубы, что скакун взвился от страха. «Эй, святой! — закричал Жеральдо.— Вы уж меня извините!» И тут копье святого ударилось о кожаный наколенник Жеральдо, да так, что разломилось на двадцать три куска, вот какая крепкая была кожа! А святому ничего больше

не оставалось, как заорать: «Ты что, парень, очумел? Умом свихнулся?» «Нет, я был вполне здоров,— отвечает капитан.— А вот теперь, похоже, рехнулся». Тут он еще больше скалит зубы и вынимает стальной и тонкий нож двухметровой длины, да такой тяжелый, что два верзилы не смогли бы его нести. Размахивая сталью, он опять обращается к святому: «Вы, конечно,— святой Георгий, но пусть простит меня господь бог, если в этих колючках от святого Антония не устрою вам черт знает какую гадость. Уберется ваша милость из штата Сержипи наконец? И немедленно!» Увидев, что конь его совсем обессилел, что копье его сломано, святой развернулся и помчался прочь, а капитан Жеральдо — за ним. И так скакали они два с половиной дня по земле, по воде, по зарослям колючей макамбиры, и всем было видно, как при ударах о землю от длинного ножа капитана летели искры... Нож этот был таким острым, что в воздухе при взмахе им раздавался стон. Капитан уже почти догонял святого, но тот оглядывался, и, завидя протянутую руку Жеральдо, пришпоривал и пришпоривал своего коня. И так они мчались по дорогам и без дорог, поднимая за собой бурю из сорванных листьев и стеблей, и долго еще в воздухе носились эти листья и стебли, слышно было, как хрустят сломанные ветви. Дело кончилось тем, что святой Георгий спрятался за облако, и только тогда Жеральдо прекратил преследование. Он вернулся домой, зарезал теленка, съел его одним махом и стал ковырять в зубах обглоданным ребром. А святой Георгий пробежал почти от Порту-да-Фолья до Сирири, и с тех пор на этом месте постоянно висит облако — на тот случай, если капитан Жеральдо, устав от скуки жизни, вновь погонится за святым.

Второй полк «кожаных» вышел из города Носса-Сеньора-да-Глория и прошел через Кариру, через Фрей-Паулу до самого Сокорро. Этим войском командует майор Жакарэ из Кариры, а прозвали его так потому, что во рту у него зубов — как у крокодила-жакарэ, а пасть — еще больше! Он очень любит смеяться и утверждает, что не было у него ни отца, ни матери, а родился он в болоте прямо с оружием в руках. В одной руке, говорит, у него был крест из огромного кактуса мандакару, а в другой — серебряный серп. Этим крестом он и порешил тех людей, что были на берегу, отрубив им головы. Хотел, мол, показать, кто хозяин на этих землях. В его полку есть и лейтенанты — лучшие во всей армии. Одеты лейтенанты в черно-белые кожаные одежды, и как бы они ни пачкались, кожа никогда не становится бурой и не выгорает. Многие из них идут в бой верхом на быках, и если в схватке у кого-нибудь падает оружие, то воины вырывают рога у быков и протыкают противников этими длинными черными и изогнутыми рогами. Именно майор Жакарэ из Кариры победил двести батальонов баиянцев, которые перешли границы своего штата. Майор рубил, рубил и рубил; баиянское войско все таяло, таяло, таяло. А на месте битвы майор сажал огороды, и начинались они у Итабаианы, а кончались у Посо-Редондо. Полк идет вперед, захватывает земли, а огороды майора цветут, зеленеют, плодоносят. Его «кожаные» идут в бой с таким криком, что враг замирает, заслышав этот вой. Говорят, если посмотреть на горы Кизонго, то сначала ничего особенного не увидишь, но потом, когда земля начинает дрожать, из-за холмов вдруг появляется дым — это скачет майор Жакарэ из Кариры. Вот он спускается с гор, следом за ним скачут его рыцари, распугивая всех и вырывая с корнем деревья. А бывает и такое. В дожди река Морсего разливается, и люди следят за водой, слушают реку — когда же она успокоится? — нюхают мокрую землю, чтобы предупредить наступление страшных громадных муравьев танажурас. Короче, все заняты наводнением, и тут-то из воды появляется майор Жакарэ! В бороде у него бьются рыбы, и когда он выходит, поднимается такая высокая волна, что речушка Морсего становится шире реки Сан-Франсиску. А потом она от страха высыхает, земля опять трескается и наступает великая сушь. Но все это длится, пока майор не засмеется, а как за-

смеялся, значит, опять он ударился в леса. Успокоившись, вода вновь начинает прибывать, возвращается в свое ложе вместе с рыбками. Во время второй мировой войны хотели бразильцы отправить на фронт майора Жакарэ с его солдатами, но тут примчался к нам американец и попросил: «Не отправляйте ко мне майора с его войском, после него на земле вообще ничего живого не останется». Вот только поэтому полк майора и не попал на войну, задержался на наших землях.

Третий полк «кожаных» вышел откуда-то с берегов реки Симан-Диас, зигзагами дошел до Барракана, оттуда — в Эстансию, в Индиаробу, потом в другие места. А командует этим полком капитан Розивалдо да Силва по кличке Ягуар, потому что взрастили его ягуары. От зверей он ушел еще ребенком, они отпустили его — не могли с ним уже справиться. Да и как с ним справишься, если он в двухмесячном возрасте делал все что хотел! Однажды он очень раскапризничался, стал топать ногами да такую дыру в земле пробил, что в нее две дюжины быков провалилось. Вот какую дыру он сделал! Да при этом орудовал только ногами и ногтями, потому что у него в то время и зубов-то еще не было, а как зубы пошли, Розивалдо любой камень мог ими в порошок размолоть. Когда он малость подрос, ушел в пастухи, и надолго. Говорят, хватал быка за хвост да одним взмахом — оземь! Удары его были так сильны, что некоторые быки в землю вросли и превратились в деревья — их и сейчас еще можно видеть. А иногда он валил быка одним щелчком меж рогов. Его полк сражается в одеждах из шкур ягуаров, и сам капитан Розивалдо одет в раскрашенные ягуаровы шкуры, и к шляпе его приделана голова этого зверя, а в пасти у нее — красный цветок. Вместо оружия капитан носит под мышкой маленькую пушку, и если он метко прицелится, то от одного ее выстрела погибают сразу тысяча двести человек. Однажды случилось так, что капитан сражался против тысячи двухсот человек и, несмотря на всю его ловкость, ему не удавалось уложить в одну минуту более сорока двух противников. И тогда он воскликнул: «Настоящий воин не может сражаться в такой каше! Стройтесь в ряд, я буду встречать вас по одному!» Враги послушались, выстроились в ряд, а капитан Розивалдо моментально поднял свою пушечку, сделал лишь один выстрел и уложил на месте всех до единого. Домой он вернулся гордый и очень довольный собой, при этом еще и посвистывал, созывая на праздник победы своих друзей ягуаров. Рассказывали так же, что в день выстрела в Мараньоне выпал дождь из тех солдат, что выступили против капитана. Причем падали они тоже строем, как и сражались против Ягуара Розивалдо.

Я, Жетулио Сантос Безерра, тоже умею хорошо сражаться. Возьму трубы, созову мое войско — я тоже отважный командир. Я войду с тобой, арестант, в Аракажу и пройду по городу маршем, как на параде, и земля подо мной будет пахнуть листьями питанги, которой у нас украшают гробы. Я не оставлю на своем пути ничего живого. Так, только так поступают настоящие мужчины.

VIII

Воды в этой реке мало, меньше, чем в других, и уж гораздо меньше, чем в Сан-Франсиску, однако могу вас заверить, что река эта неплохая. Мы пришли сюда потому, что я придумал такой путь: от места, которое теперь называется Санту-Амару, мы спустимся по воде и доберемся прямехонько к нашей цели — до Барры-дос-Кокейроса, мыса, что вдается в залив прямо напротив Аракажу. Пляжи здесь действительно поросли кокосовыми пальмами, от них и идет название местечка. Засяду на берегу, буду наблюдать, что происходит в Аракажу, буду копить ярость, а в один прекрасный день притащу в город своего арестанта, проведу его по центральной улице и передам в руки шефа:

«Я доставил его вам, банда жуликов! А теперь хочу знать, в чем дело!» Никогда не думаю, что будет после, что со мной случится потом. Я устал от этого «потом».

Проклятая река — так далеко от океана, а вода в ней уже соленая, горькая, будто морская. Бесит меня это, потому что река Сержипи должна была бы справиться с морскими приливами, не допустить их в свое русло, крикнуть: «Хватит мне соли!» Но так не бывает, и поэтому вода становится все солонее и солонее, и по ней, как по океану, ходят волны, и она приобретает морской сине-бирюзовый цвет. Не нравится мне такая вода, но я люблю отдыхать взглядом на склонах прибрежных холмов, окружающих Аракажу, смотреть на рассыпанные по ним дома с огромными дверями, наблюдать, как по городу снуют машины, как по реке проплывают пароходики. Красиво! Ты плывешь на нем, а на тебя наплывает город. Иногда до меня долетают запахи крестьянских рынков, а вокруг — насколько хватает взгляда — золотые пески и петухи кокосовых пальм, что колышутся над ними.

На протяжении пяти—семи лиг, до того как принять в себя соль, река Сержипи прекрасна. Конечно, ее не сравнить с широченной Сан-Франсиску; по Сержипи ходят лодки и баркасы, которые тоже не сравнить с теми, что плавают по Сан-Франсиску. Баркасы у нас высокие, могучие, что туда только не вмещается! Напротив местечка Пенедо река Сан-Франсиску делает несколько изгибов, но это, скорее, от капризов, чем от слабости. В определенный час вода у берегов покрывается сухими тыквами — пришли купаться женщины и, чтобы не утонуть, привязывают себе под мышки высушенные тыквы. Здесь часто ловят креветок, для этого и нужен-то всего рогожный мешок да куриные потроха или любая другая тухлятина. Можно сидеть на берегу, опустив в воду мешок, а креветки сами плывут на мясной запах. Креветок здесь тьма-тьмущая, и ребятишки ловят их в таком количестве, что взрослые обжираются. Могут в этой реке встретиться и пираньи, но не часто. Эта рыба запросто перерезает зубами стальной трос, а сколько несчастий она людям приносит! Не сосчитать... Если эта рыбешка вцепилась в животное, упавшее в реку, то за первой хищницей появляются тысячи других, вода от них вокруг закипает, бурлит, рыбы все глубже вгрызаются в мясо, раздаются звуки, словно пищат птицы, и сквозь воду можно видеть, как тело животного уменьшается, уменьшается, пока не останется начисто обглоданный скелет. Вода крутит и вертит кости, тащит их по дну, и со временем скелет становится частью самой реки, превращается в холмик из ила, грязи и песка. После нападения пираньи обычно уходят, и надолго, а когда в воду сваливается следующая зазевавшаяся корова, от нее тоже остаются чистые кости.

Я сам не отсюда, но мне часто приходилось бывать в Пассажеме, поэтому я здесь в реку никогда не вхожу, делаю пару шагов, не снимая сапог, захватываю пригоршнями воду, смачиваю лицо, а потом ложусь у самой кромки и долго гляжу в желтоватую воду. Даже не верится, что это воды огромнейшей реки, потому что Сан-Франсиску — река действительно великая, огибающая по северу весь Сержипи. Здесь — весь Сержипи, вплоть до реки Реал, что течет по югу нашей земли. А потом Сан-Франсиску вырывается из Сержипи и бежит почти через всю Бразилию, орошая ее чрево и унося свои воды куда-то на край света. Пожалуй, нет в мире ничего величественнее этой реки. В лунные ночи вода ее отливает темным серебром, правда, ночи не всегда бывают лунными, но чаще Сан-Франсиску все же серебрится, и тогда кажется, что, сияя и переливаясь, вдаль тянется лента из рыбьей чешуи. Слышен малейший шорох: вот кто-то идет по болотистому берегу, вот слышно, как о борт лодки трется какая-то деревяшка, вдруг откуда-то издалека донесется голос женщины, крикнет сверчок, потом другой, и хором откликнутся лягушки. И — тишь. Молчание.

Соленая и пресная вода сталкиваются здесь, у Мариума, а до это-

го река щедро питает земли, и они становятся добрыми. Я не знаю, откуда она берет свое начало, говорят, она то исчезает, то опять набирает силу и так играет с людьми, то появляясь, то прячась, пока не столкнется с первой океанской водой. Тут она и становится величественной, но и соленой. Люди здесь никудышные, бездельники, привыкли к тому, что сунут руку в прибрежную заводь и тащат моллюска, сунут еще — морская рыбка гайямум попалась, можно напасть и на маленьких устриц, а можно и что покрупнее словить. Так и живут — жри себе морские дары от пуза! А что происходит с такими людьми потом, спросите вы? Да ничего не происходит: ведь соленые болота никогда не высыхают — их кормят морские приливы. Идешь по жиже, а под ногами всякая морская живность хрустит, даже страшно. И так день за днем. Проберешься в мангровые заросли, наловишь суруру, гаймунов, устриц, налопаешься и — спать. В Аракажу, за церковью святого Иосифа, в районе Карро-Кебрадо течет Тамандаи. Местные жители называют ее речкой, но это не речка, а мразь — выходишь из воды по уши в тине. Но если пересечь Тамандаи и выйти на противоположный берег, встретишь там толпу людей, и все с мешками да кошелками. Они ловят крохотных рачков сири, из которых тут же варят вкуснейшую похлебку. Есть среди реки и сухие островки, заросшие высокой травой, но сюда лучше не заглядывать: здесь в открытую нарушают общественную мораль... Так что народец здешний — дрянь: пьет, жрет, похабничает, у каждого толпа ребятишек, хоть строем их води, потому что все здесь дается легко. Вот почему здесь мужчины все поголовно лоботрясы и болтуны, никчемные людишки, которые о завтрашнем дне и не думают. Разве это порядок? Мне такой народ не по душе, и жизнь такая бездельно-сытая тоже не по мне — исчезает воля, сила, даже почесаться лень. Нет уж, лучше я останусь таким, какой есть.

Итак, выходит, в Аракажу изменилась ситуация. Значит, придется мне туда добираться по реке и идти только ночами. Я знаю, что в Аракажу меня ждут, и это меня беспокоит. Поджидая меня, устроят, конечно, засаду где-нибудь на подходах к городу. А я по воде доберусь до Барры-дос-Кокейроса, выясню потихоньку, каково положение, а уж оттуда пересеку залив и доставлю свой живой груз. Там есть кому меня подстраховать. Могу заверить, что пройду по вонючим болотам. Да если я захочу, то выпью эти болота, осушу их и пройду пешком! В Аракажу есть люди, которые целые дни проводят в заливе, например, тетка по имени Рита, она же Рыба. По-моему, и она, и ее братец — оба они психи! Где это видано, чтобы весь божий день плавать в бухте, пересекая ее из конца в конец? «Вполне возможно, что вашей милости, сеу арестант, тоже придется поплавать немного. Для меня такой случай был бы большим праздником, поскольку при твоих силенках до берега ты не дотянешь. А как сегодня поживает наш ротик? Видишь, как прекрасно дело сделано; даже если бы ты заплатил, тебе все равно никто бы так мастерски зубы не выдернул».

Мы выйдем на берег залива рано утром, с восходом солнца, увидим, как все вокруг окрашивается в розоватые цвета. Захотел бы я — приказал бы солнцу остановиться и не всходить! Но сегодня я не хочу ссориться со светилом, пускай себе восходит, как всегда. Если мы доберемся до Барры-дос-Кокейроса рано утром, у меня будет целый день еще на размышления и наблюдения.

«Для безопасности я мог бы привязать к твоей ноге якорь и оставить в воде — пусть раки погложут тебе икры,— говорю я арестанту,— а ты попляшешь от щекотки, пока эти зверюшки не насытятся». Но я не буду так делать — сбежится народ, начнутся «что?» да «почему?». В этом городе никто не пройдет мимо, чтобы не задать тебе кучу вопросов. Короче, мы добираемся до места на заре, зарываемся на берегу в песок и ждем. Я мог бы тут же отправиться в Аракажу, где меня, конечно, ждут, но я не пойду. И не потому, что боюсь,— таким, как я,

страх неведом. Я никогда не знал, что такое страх, не знаю и не узнаю, что это за чувство. Кого мне бояться? Кучки интриганов-ублюдков, что собрались в Аракажу? Или солдатиков-карапузов? Да они сами дрожат от страха — пороха еще не нюхали. Ты знаешь, какой я ловкий? Могу привязать одну руку к ноге, а второй стрелять и порешить всех единым махом. Однако в момент прибытия может загореться схватка, и каждый из нас не застрахован от пули, но ты, ваша милость, не беспокойся, я тебя защищу и от пули сберегу. Ты дойдешь со мной до дома шефа. Очень мне хочется посмотреть ему в глаза и сказать: «Ваше поручение выполнил. Вот он, можете делать с ним что угодно. И хотя, по-моему, этого арестанта следовало бы сурово наказать, решать — вам. Я к нему больше никакого отношения не имею». Главное для меня — заглянуть в глаза шефу, и пусть он осмелится мне заявить, что это не он отправлял меня с поручением в Паулу-Афонсу. Я ему отвечу: «А кто же тогда отправлял меня в Паулу-Афонсу? Насколько я помню, однажды вечером мы сидели в вашем доме, в этом самом зале, я пил красный вермут, а вы, сеньор, приказали мне собираться и отправляться в Паулу-Афонсу отыскать вот этого субъекта. Разве не так было дело? Разве не вы это мне говорили, разве не я это слышал?» Вполне возможно, что шеф на это ответит: «Черт побери, Жетулио! Разве ты не получал моего последнего приказа? Садись и давай разберемся во всей этой истории, грех ты мой тяжкий». Обязательно наговорит что-нибудь в этом роде. Я опять скажу: «Будто вы, шеф, не понимаете, о чем я толкую. Ответьте мне только на один вопрос: вы меня за этим типом отправляли в Паулу-Афонсу? Да или нет?» — «Ну хорошо, сеу Жетулио, допустим, отправлял. Но обстоятельства изменились». Я настаиваю: «Вспомните, шеф. В ту ночь, когда я пил у вас вермут, вы долго толковали мне, за кем и зачем мне надо топать в Паулу-Афонсу. Я тогда еще повесил свою фуражку на спинку стула и попросил у вас разрешения расстегнуть мундир. Вы мне разрешили, и ваш сын уставился на патронташи, которые я всегда надеваю прямо на голое тело. Я попросил стакан воды, ваш сын позвал служанку. Я выпил воду, а потом у меня зачесался живот, и я сидел, незаметно его почесывая, и внимательно вас слушал. Амаро тогда не было с нами, он спал в участке. А может быть, слушал, как протестанты поют свои псалмы в церкви на улице герцога Кашиаса, Амаро ведь очень любил церковные песнопения. Так вот, тех людей, которых в ту ночь вы отправили на грязное дело в старом «гудзоне», больше нет. Амаро умер. А я уже не тот человек, что был в ту ночь. Будьте же настоящим мужчиной, шеф, выполняйте свои обещания, как я выполнил свое. Получите то, что вы просили. Вот он, субъект из Паулу-Афонсу, перед вами. И не крутите ручку телефона, сеньор, не зовите сюда никого — не поможет. Я покину ваш дом через дверь, в которую вошел, и передайте мои поклоны вашим ближайшим родственникам. Большое вам за все спасибо. И если еще раз понадобятся мои услуги, обращайтесь ко мне, хоть я и не знаю, где буду теперь. Всего вам доброго! Очень приятно было встретиться! Все закончилось расчудесно! Я всегда к вашим услугам! А теперь прикажите сержанту у двери выпустить меня. Со всей твердостью заявляю вам, шеф: я уже не тот, кого посылали вы в Паулу-Афонсу. Я стал, наконец, самим собой».

Вот это все я и врежу шефу прямо в лицо, а тебя, сеньор сундук с дерьмом, оставлю у него в зале. Уйду от всех вас в огромный мир, уйду таким, какой я есть сейчас — с траурным крестом на лбу и с женой, которая обернулась луной. Буду жить в этом мире. Буду. Но уже по-другому. Вот поэтому-то я и закопался в песках Барры-дос-Кокейроса, наблюдая за Аракажу. Жду своего часа.

Честно говоря, город этот мне никогда не нравился. В давние времена, когда я только пришел из провинции, я садился в трамвай и катался, катался, катался до одурения. Потом наступило время, когда я сидел в полицейском участке, играл в кости с кем попало и болтал со

следователем Жибой — этот малый носил черные очки и прихрамывал. Вот и весь день. Иногда я приходил в дом шефа, меня кормили, и я ждал — не понадобятся ли мои услуги. Бегал в лавки за покупками для него, дрессировал его злобного кобеля, рассказывал хозяйскому сыну про козни нечистой силы. Но как только выдавалась возможность, я уходил в сертаны Сержипи и жил там один по нескольку дней — я всегда предпочитал городу просторы полей. А сейчас я вынужден скрываться, закопавшись в песок, выглядывать, высматривать, исходя злобой и размышляя о своей жизни.

Интересно, что могут делать толпы людей, заполнившие широкие городские улицы? Меня плохо понимают в Аракажу — виноват мой говор, а я не понимаю местного наречия. Закончится вся эта история — ноги моей не будет в Аракажу!

Ничего у меня за душой нет, ничегошеньки. Только двустволка и пепел на лбу. И еще — вся эта земля. Да, это моя земля, она принадлежит мне, потому что она меня родила. Открылась — и я появился на свет в облаках порохового дыма. Она всегда будет рожать таких, как я, потому что наша земля — великая роженица. Люди из Аракажу никогда не узнают, что за земля простирается за их городом, но я-то знаю, что в ней сокрыто. Я могу пробежать по всем ее холмам, долинам, через ветры, воды и овраги. В Аракажу я, как и многие другие, не смог найти себе честной работы, вот и стал хвататься за что попало, за любые грязные делишки. Жизнь я прожил большую и горькую. И пустую. Но жизнь — всегда жизнь, и если бы меня спросили: «Хочешь ли ты жить долгой жизнью неженки или выберешь короткую и яркую жизнь настоящего мужчины?» — я выбрал бы второе. Я хочу, чтобы люди меня уважали, чтобы после моей смерти они сказали: «Умер Дракон Манжалеу — тот самый, который поразил множество врагов, но никогда не совершил предательства».

Что это? Лодки с солдатами. Зачем же их так много? Видно, понимают, что меня не так-то легко схватить. Целятся, уже можно различить мушки на их винтовках. Смотри, негодяй! Смотри во все глаза! Видишь, сюда плывут только солдаты, и с ними нет ни одного сеньора в штатской форме. Это значит, что в бой идут только те, кого послали, но среди них нет ни одного из тех, кто посылал их. Учти, бестия, до того как меня прикончат, я еще семь раз прополощу тебя в прибрежной тине; протащу по болотам и командира этих солдатиков, да и всех заодно. Не разбираю их лиц, да и нет у меня никакого желания вести с ними переговоры. Сейчас нужны дела, а не слова. Ну и войско! Слабаки, а не солдаты! Смотри на них, каналья, и не двигайся, хоть я и так привязал тебя семью веревками к пальме. Следи за мной, увидишь, как сражается настоящий мужчина, увидишь то, что самому тебе совершить не дано. «Эй вы, хлюпики, подтирки правительственные! Подходите ближе! Еще ближе! Еще!»

Что происходит со мной?.. Слабеет разум... Схожу с ума? В голову лезут обрывки каких-то воспоминаний: вот у меня в руках обрез, на ногах — новые лаковые сапоги, украшенные медными гвоздями... Перед глазами проносится моя жизнь... Вымершая Ларанжейра... Мертвая луна — там теперь Лузинети... Смотри, смотри на воду, злодей! Видишь, какая толпа людей в формах лезет к нам. Плевать я на них хотел! Да хоть бы их были тысячи! Мне все нипочем. Таких, как я, здесь много, потому что наша земля родит только храбрецов. Пусть я погибну, но та земля, что когда-то родила меня, вновь выбросит меня на свет божий. Сколько бы меня ни хоронили, я буду являться вновь и вновь. Воскресать вместе со своими друзьями. Не так ли, Амаро? Посмотри, Амаро, какие белые жабы прыгают по красным кирпичам пола...

Дрожишь, изверг? Гляди — к нам плывет сама смерть. Скоро земля примет нас обоих, ибо она — наша, твоя и моя. Разве мы с тобой, арестант, не одно и то же? Забавно глядеть на солдатиков: плывут, ни

о чем не задумываясь. Все дело в том, что мыслить они не умеют, только ощущать.

Взгляни, арестант, на эту соленую воду. Она дошла сюда откуда-то из глубин Сержипи, медленно прошла через Морсего, Котингуибу, Жакаресику, Ганьяморобу, Поши, Помонгу, потом отдала часть себя Ваза-Баррилу и через Пиауи, Итамерим, Сирири и Жапаратубу дошла до нас. Взгляни и подумай: не прекрасно ли, что эта вода дошла до нас из такого далека? Что она — единое целое с нами? Все, что есть вокруг — единый мир, единое целое. В него входит и пепел на моем лице, и пыль в моих волосах, и мой кожаный ботинок, и мое ружье. Не так ли? Разве все мы, люди, не одинаково устроены?! Разве все мы — не одно и то же создание?! Хотя в данный момент, пожалуй, нет. Ибо я Жетулио Сантос Безерра, и мое имя звучит как стих и будет всегда так звучать, всегда, пока светит луна, пока обжигает солнце, пока леденит холод.

Я вижу глиняных бычков. Раскрашенных, веселых бычков. Плывет на ослике корзина, полная влажной глины. Эй, Амаро, давай лепить таких бычков! А может быть, нам лучше поставить на баркас самый большой парус и уйти в море, ведь мы с тобой старые моряки, Амаро! Кончай плеваться свинцом, Амаро! Слушай меня, друг. Слушайте меня все: я главнее всех королей-императоров! Эй, Амаро, ты помнишь, что второго февраля в Капеле большой праздник? Да ты хоть знаешь, Амаро, где она находится — Капела? А где находится Салгадо? А Ларгату? И где мы сами находимся?

Солдаты уже ступили на песок, двигаются к нам. Наверное, у каждого из них есть жена, пузатый ребятенок, в очаге — плошка с маисовой похлебкой. Солдат все больше и больше. Так же, как на нашей земле: в царстве божьем все растет и растет количество людей, а для чего?! Я жрал от голода землю, когда был маленьким. Я вгрызался в нее зубами, зарывался в нее...

В Жапаратубе, наверное, уже начинает зацветать сахарный тростник. Метелки становятся рыжими, как кудри у жителей Порта-да-Фольи, где так много белых людей с золотистыми волосами. Амаро, ты мне так и не ответил, как зовут тех, кто рождается в Мурибеке: мурибеканцы или мурибекийцы?

Как хорошо, как радостно мне было с Лузинети. Моя бедная жена, самая святая из всех святых, что вознеслась луной над морем. Нежная святая, что забросала солдат бомбами, похожими на связки бананов. Что ты там рассматриваешь землю, арестант? Рассматриваешь саму землю? Здесь тоже все вокруг становится зеленым, когда идут дожди, становится желто-бурым, когда наступает сушь. Конечно, тебе хочется зарыться в землю, может, она обнимет тебя, проглотит, и ты превратишься в дерево. А может быть, станешь в новой жизни диким конем. Нет, скорее, такие, как ты, ваша милость, в новой жизни становятся камнем.

Дождь почти прекратился, остался в воздухе влажной пылью. Дышать мне становится все труднее. Ты уже оплакал себя, арестант? Оплакал в глубине сердца, в самой глубине своей души? Ведь люди плачут не для других, а для себя, и слезы надо хранить в себе, не давая им вылиться наружу. Ты лучше покопайся в себе, арестант, загляни в самые далекие уголки своего сердца. Что ты сейчас чувствуешь? Ты ведь меня, арестант, знаешь, я никогда не плачу, но сейчас мне хочется изойти рыданием, криком, слышишь, ты? Может быть, я и зарыдаю. Но не от страха — от горечи. От того, что не умел спорить с той силой, что меня перемолола. И никогда уже не смогу. А ведь на белом свете так много хорошего, чего я не совершил,— я просто не знал, как это делается. Сейчас мир для меня кончился. Здесь, на этом клочке земли. Эй, Амаро, взгляни-ка на эту воду, на пески, вслушайся в легкие звуки кончающейся ночи и наступающего дня. Посмотри на морскую гладь. На дома Аракажу. На Императорский мост. А теперь по-

смотри на солдат, на этих простых деревенских парней, которым всунули в руки винтовки и отправили убивать нас, таких же парней, как они. Солдаты даже не понимают, что происходит, в чем суть дела, но они целятся! Уже прицелились! В заливе неподвижно стоит баркас — там сидят офицеры, господа играют в домино и треплются о жизни, пока солдатики ведут бой. Что же такое жизнь? Что такое судьба? Это ведь такая удивительная штука! Вот, Амаро, она и повернулась к нам спиной.

...Как странно, я еще жив. Как странно, что я еще живой в этом кромешном аду. Мертва моя Лузинети, занявшая место луны. Опять стреляют. Как много солдат! И я стреляю, стреляю, стреляю. Помоги мне, моя железная подруга, помогите мне, огненные трескучие язычки! Что это?.. Почему взлетел корнями вверх огромный кактус мандакару? Ведь кактусы остались в Ларанжейре...

Я умираю. Умираю? Я никогда не умру. Никогда.

...Мне слышится грустная песнь пастухов, она печальна, как похоронный плач: аэ-аэ-э-эх-о-аэ... Амаро, я никогда не умру, потому что Лузинети поймает и сплавит с луной все отправленные в меня пули.

...Я ви-жу де-ре-во, ви-жу цвет во-ды, о-на ти-хо плы-вет ми-мо, как вкус-на гру-ба-я соль вя-ле-но-го мя-са, и вновь рас-кра-шен-ный бы-чок, ах, бы-чок ты мой бы-чок гли-ня-ный, и еще кув-шин с во-дой, в нем жизнь, но я — э-то я, тот са-мый, ко-то-рый вы-шел из вы-мершей Ла-ран-жей-ры.

Но я исполнил. Я выполнил то, что считал своим долгом. И вот он — Конец.

■

НГУЕН БИНЬ

Белая бабочка, шелк золотой...

Перевод с вьетнамского и вступление ИЛЬИ ФОНЯКОВА

В городе вьетнамских текстильщиков Намдине, центре провинции Ханамминь, местные писатели с любовью и гордостью рассказывали мне о своем земляке-поэте. «Прошло два десятилетия с тех пор, как его не стало, за эти годы его стихи ни разу не переиздавались, но люди помнили о Нгуен Бине, повторяли его строки. И когда, наконец, появилось долгожданное «Избранное», это был для всех нас настоящий праздник. Тиража в девяносто тысяч оказалось недостаточно, на юге срочно допечатали еще тридцать тысяч, но и после этого книгу достать невозможно»,— говорил молодой поэт Ву Куок Ай, один из составителей вышедшей книги, неустанный собиратель сведений о жизни и творчестве Нгуен Биня. «Это был поэт истинно сельской души, искренний и нежный,— продолжал Ву Куок Ай.— Может быть, чем-то он напоминает вашего Есенина». И прочитал двустишие:

Что душа моя, друг? Не цветок ли родимых полей,
Встречным ветром прижатый сегодня к рубашке твоей?

(Перевод мой.— И. Ф.)

Это был памятный и знаменательный разговор. Во Вьетнаме сейчас — после VI съезда КПВ — идет своя перестройка. Здесь ее называют «обновлением». Разумеется, у нее своя специфика, вызванная особенностями страны, ее историей, экономикой, культурой. Но есть и черты удивительно знакомые, напоминающие то, что происходит у нас. Одна из таких черт — если говорить о сфере культурной жизни — это возвращение читателю целого ряда прозаиков, поэтов, драматургов, в течение долгого времени по тем или иным причинам не печатавшихся. Вышел трехтомник известного прозаика Ву Чонг Фунга (1912—1939), снова звучат сильные своей исповедальной открытостью стихи поэта Хан Мак Ть. (1912—1940):

Реки, горы — все заснуло,
Лишь один я не знаю сна.
Луч в окошко протянула
На подушку мою луна.
Да звенит цикада где-то,
Опадают цветы, шурша,
И до самого рассвета
Исповедуется душа

(Перевод мой.— И. Ф.)

Но пожалуй, самым заметным явлением этого ряда стало — «возвращение Нгуен Биня».

Он прожил недолгую жизнь: родился в 1918 (по другим источникам — в 1919) году, умер в январе шестьдесят шестого, не достигнув, таким образом, и пятидесятилетнего рубежа. Однако литературный «стаж» его к этому времени насчитывал около сорока лет. Едва научившись буквам, юный сын учителя Нгуен Бинь Тхюйет (таково его полное имя), стал читать и слагать стихи. «Литературный словарь» (Ханой, 1984) указывает, что печататься Нгуен Бинь начал с тринадцати лет, земляки поэта утверждают, что это произошло значительно раньше. Для Вьетнама в этом нет ничего удивительного. Многие в этой стране начинают сочинять стихи в раннем детстве, и, надо сказать, отношение к детскому стихотворчеству самое серьезное: и сейчас солидные газеты время от времени печатают

подборки юных поэтов. Однако стихи Нгуен Биня уже в те годы выделялись не только среди стихов его сверстников. Молодому поэту не было и двадцати, когда его сборник «Моя душа» был отмечен премией одной из тогдашних влиятельных литературных групп. Широкую известность получила книга «Неверный шаг» (1940).

Начиная с 1945 года Нгуен Бинь жил в южной части страны, участвовал в войне с колонизаторами, публиковал — зачастую кустарным способом — зовущие к борьбе стихи и публицистику. Вот названия некоторых его произведений тех лет: «Старик точит меч», «Волнуется море трав», «Радуюсь рождению Партии». «Нет ничего удивительного,— пишет известный вьетнамский писатель То Хоай в предисловии к «Избранному» поэта,— что Нгуен Бинь с друзьями участвовали в революции, а сам он потом стал участником Сопротивления на Юге. Ведь это было воплощением надежд и мечтаний...»

После подписания Женевских соглашений (1954) поэт снова на Севере, активно участвует в литературной жизни. В эти годы появляются его поэмы «Пишу жене на Юг», «Бьют барабаны в весенней ночи», «Глядя на реющий флаг», книги стихов «Наша с тобой верность», «Звездная ночь». Создает он и пьесы в жанре народного музыкального театра «тео».

Как же случилось, что поэт, который «создал немало произведений, воспевавших традиции непримиримой борьбы, обогащавший прекрасные традиции национальной культуры, воспевавший строительство социализма на Севере», автор популярнейшей патриотической песни «Батальон 307», был вынужден в расцвете сил покинуть столицу, поселиться в Намдине, работать внештатным сотрудником провинциального отдела культуры и информации? При жизни он еще печатался, после смерти наступила двадцатилетняя полоса молчания. Литературные справочники и энциклопедии поясняют скупо: редактируя журнал «Чам Хоа» («Сто цветов»), Нгуен Бинь опубликовал «ряд произведений — в том числе и своих собственных,— отмеченных неясностью идейных позиций». Или: «допустил идейные колебания, написал ряд слабых (упадочнических) стихов». Впрочем, нужны ли особые подробности нам, помнящим, как годами не издавались не только Есенин, с которым сравнивают Нгуен Биня знакомые с нашей поэзией вьетнамцы, но и Багрицкий, и даже Блок? А параллель с Есениным, видимо, и впрямь возникает не случайно — со всеми, конечно, необходимыми поправками на время и национальную специфику. Достаточно прочесть, например, такое стихотворение Нгуен Биня, как «Возвращение в родную деревню», чтобы убедиться в несомненной родственности некоторых мотивов. И подивиться: куда как далеко от села Константинова на Рязанщине до деревни Тхьенвинь уезда Вубан в Северном Вьетнаме — а какие схожие, поистине общечеловеческие чувства внушают они родившимся здесь поэтам... «Творчество Нгуен Биня,— говорится в «Литературном словаре»,— было тесно связано с национальной поэзией и фольклором (в частности, народными песенными стихами «ка зао») и поэтому пользовалось популярностью. В центре его поэтического мира была вьетнамская деревня, крестьянский быт, родная природа».

В этом, конечно, и особая трудность перевода поэзии Нгуен Биня на русский язык. В его стихах немало образов, с полуслова понятных вьетнамцу и требующих пространных пояснений для иноязычного читателя. Можно провести, скажем, такую параллель: любому русскому человеку не надо пояснять, кто такой Иванушка-дурачок и почему он пользуется такой любовью и симпатией, несмотря на столь нелестное, казалось бы, прозвище. Точно так же любой вьетнамец знает, что мост «О», про который говорится в стихотворении «Звездная ночь» — это Вороний (или Сорочий) мост, который единожды в год образуют над небесной рекой (Млечным Путем), слетевшись со всего света, вороны или сороки. Именно на этом мосту позволяется раз в год встретиться легендарной паре разлученных влюбленных — небесной Ткачихе и земному Пастуху. Так же хорошо всякому вьетнамцу известна сказочная Страна Бабочек, каждый знает, кто такая Тхи Кинь — героиня пьесы в жанре «тео», упоминаемой в стихотворении «Возвращение в родную деревню». Нетрудно, пожалуй, догадаться, что «Небесный Черпак» — это созвездие Большой Медведицы. А вот особый способ повязывать женский головной платок — «вороньим клювом» — надо хоть раз увидеть, чтобы по достоинству оценить красоту и точность этого образа в программном для Нгуен Биня стихотворении «Сельская душа».

И еще одна трудность перевода: вьетнамский язык необычайно емкий. Слова односложны, в строку, состоящую из шести или восьми слогов, умещается порой столько информации, что просто голову теряешь: как передать все это? Переводчик-буквалист потерпит здесь неизбежный крах. Приходится искать иных путей, жертвовать иногда подробностями во имя целого. И все же хочется верить, что и наш читатель почувствует: не зря любят Нгуен Биня его соотечественники. Знакомство с его стихами существенно расширяет наши представления о вьетнамской поэзии XX века.

Тени на вокзале

Здесь начинаются разлуки —
Как будто струны рвутся вдруг.
Другие помнят лица, руки,
Мне — тени видятся вокруг.

Здесь двух подружек, двух девчонок —
Две тени, слившихся в одно,
И разлучиться обреченных —
Когда-то видел я давно.

Здесь двух друзей я видел тени:
Тень — на платформе, тень — в окне.
Их бесприютность и смятенье
Передались тогда и мне.

Здесь как-то видел я влюбленных,
И, как сегодня, помнит глаз
Две тени, трепетно склоненных
Одна к другой — в последний раз.

Здесь мужа видел я с женою —
Теней бесшумные шаги —
И тихий шепот под луною:
«Родная, мать побереги!»

Здесь мать, что сына проводила,
Я видел раз — она ждала
Бог весть чего, и так уныла
Тень неподвижная была.

Здесь одинокого бродягу
Однажды я увидел вдруг,
Чья тень была подобна флагу
Всех одиночеств, всех разлук.

Не вижу пестроты вокзальной,
Цветных платков, цветных огней,
Ты для меня — всегда печальный,
Вокзал, прибежище теней...

Ханой, 1937 год

Сказка

Дорогая, послушай: в далекие дни
В Царстве Бабочек был среди юношей спор.
Но не титулом «чанг» вдохновлялись они —
Их принцессы-невесты притягивал взор.

А была та принцесса прекрасна, как ты,
И нашелся жених—Золотой Мотылек,
И король, в умиленье от юной четы,
Потакал им во всем, баловал их как мог.

Как-то раз новобрачные в грушевый сад
Полетели, забыв обо всем на земле,
И, кружась, потеряли дорогу назад —
И присели на ветку в густеющей мгле.

А кругом — всё цветы, и у них лепестки
Так белы и нежны, словно кожа твоя.
Но рыдает принцесса от горькой тоски:
«Больше нам не вернуться в родные края!»

И прекрасная фея возникла тогда,
Молодая хозяйка цветущих садов.
«Заблудились? — сказала она.— Не беда!
У меня и ночлег вам, и ужин готов.

Царство Бабочек ваше и впрямь далеко.
Сладки яства, подушки мягки у меня.
Здесь вы будете спать безмятежно, легко
И дождетесь рождения нового дня».

А наутро по саду прошел ветерок,
И опять засиял небосвод голубой,
И проснулись они в предназначенный срок:
Этот юноша — мной, а принцесса — тобой!

1938 год

Соседка

Тихо живу. Дни проходят за днями.
Рядом — соседки ухоженный двор.
Два одиночества, а между нами —
Низкий, вьюнком перевитый забор.

Глянет соседка, а слова не скажет.
Только все чаще я вижу во сне:
Белая бабочка крыльями машет,
С той стороны прилетая ко мне.

Бабочка белая, как там соседка?
И почему, расскажи мне, она
Вечно грустит, улыбается редко?
Чем озабочена? Или больна?

Шелк золотистый под окнами сушит,
Смотрит безмолвно в небесную даль...
Белая бабочка, кто же нарушит
Эту задумчивость, эту печаль?

И почему так на сердце тревожно,
Если подолгу не вижу ее?
Может, влюблен я? Но нет, невозможно:
Сердце давно охладело мое.

Столько невзгод у меня за плечами,
Столько потерь на дороге крутой —
Но почему же мне снятся ночами
Белая бабочка, шелк золотой?

И невзначай про себя отмечаю:
Снова соседку я несколько дней
Что-то не вижу... Неужто скучаю?
Видно, по молодости, не по ней...

Дождь зарядил и кончаться не хочет.
Стук его снова до света не молк,
Льет он и льет — и без устали мочит
Шелк золотистый, пленительный шелк.

Что же хозяйка о нем позабыла?
Стало тревожно и грустно вдвойне.
Долгая, темная ночь наступила.
Бабочка не прилетела ко мне.

Сам не пойму, что со мною такое?
Может, любовь меня снова нашла?
«Где же соседка?» — не знаю покоя.
«Ночью,— сказали,— она умерла»..

Слез не сдержал я, сраженный ответом.
Слышишь, душа молодая, прости!
Если еще ты на свете на этом —
Бабочкой белой в мой сон прилети...

1940 год

Сельская душа

Ты вернулась, нарядная, из городка.
У плотины тебя повстречал я на тропке:
Брючки — шелк, яркий бархат платка
И на кофточке новой — блестящие кнопки.
Где ж твой пояс, кистями касавшийся ног?
Где с разрезами длинное сельское платье?
Где повязанный «клювом вороньим» платок?
Так хотел и не мог в ту минуту сказать я.

Как боюсь я тебя потерять!
Как ты сердце мне разбередила!
Стань такой, умоляю, скорее опять,
Как на праздник, бывало, ты в храм приходила!

Нежно пахнет лимон, расцветая вокруг.
Все мы — сельского корня, для нас это свято.
Я печален сегодня, как если бы вдруг
Сад весенний лишился на миг аромата...

1936 год

Перевозчица

Всем дарит радости весна,
Лишь перевозчица грустна:
В любви — прошло тому три года —
Призналась юноше она.

А он уехал. Нет и нет!
Как на воде, растаял след.
Три года девушка страдала:
Немил в разлуке белый свет.

И мы грустили вместе с ней.
Но может быть, еще грустней
То, что любовь тускнеет, меркнет
В неумолимом беге дней.

Выходишь замуж? В добрый час!
Но мы вздохнем еще не раз:
Ты на кого ж теперь покинешь
И лодку, и причал, и нас?

Моя лира

Шелковые струны порвались
На моей многострадальной лире.
Кто же мне поможет в этом мире,
Чтобы снова песни полились?
Я сижу, не зажигая света,
Слушаю, как дождь стучит в окно,
И все время чудится, что где-то
Кружится, поет веретено.

Это ты, соседка, шелк прядешь.
Неспроста у дома шелковица.
Что ж ко мне ты в гости не придешь,
Чтобы новым шелком поделиться?
«Приходи! — шепчу чуть слышно я.—
Шелк твой крепкий, тонкий, золотистый.
То-то звонкой, трепетной и чистой
Станет песня новая моя!»

Ревность

Я хочу, чтобы ты, дорогая,
Улыбалась лишь мне одному,
Чтобы взор твой, других избегая,
Устремлялся к лицу моему;

Чтобы ты целовать не посмела
И цветов лепестки по весне,
Чтобы ты обнимать не посмела
И подушку в предутреннем сне;

Чтобы запах духов твоих тонкий
Вкруг тебя далеко не порхал,
И прохожий, бредущий в сторонке,
Ненароком его не вдыхал;

Чтобы в сон твой невинный и детский,
С неизменной рукой под щекой,
Не вошел бы ни парень соседский,
Ни какой-нибудь франт городской,

И в твой след на песке золотистом
Мог ступать лишь один только я,
И рубашка дыханием чистым
Увлажнялась бы только моя.

Вижу в мире тебя лишь одну я,
Вновь и вновь повторяю, любя:
Ты весь мир для меня, я ревную
Ко всему в этом мире тебя!..

Возвращение в родную деревню

Десять лет миновало — я возвратился!
Вдоль по улице чуть не бегом пустился,
Словно в детстве далеком, спеша на праздник,
За подол отцовской рубахи схватился.

А на склонах гор— цветные узоры,
Лишь один угрюмо глядит в просторы
Старый форт, заброшенный и замшелый...
Я вернулся — и улыбаются горы!

Все мне тут знакомо и незнакомо:
В переулках рассыпанная солома,
Ароматного риса запах забытый,
«Храм учености» — стареньких крыш изломы.

От плодов тяжелеют и гнутся ветки,
Старый пруд в нежной ряске лежит, как в сетке.
Здесь в колодце каменном трепетало
Отраженье милой моей соседки!

Словно дым и пламя здесь прошумели...
Неужели я здешний на самом деле?
Даже небо, кажется, изменилось!
Чей ты, дом? Неужели мой? Неужели?

В лица встречных вглядываюсь многократно,
И смеяться ли, плакать ли — непонятно.
Столько новых людей подросло в деревне!
Столько прежних сгинуло безвозвратно!

И родители наши умерли тоже.
И семья у сестренки, что всех моложе.
А давно ли украдкой красила губы,
Чтобы стать на старших подруг похожей?

Много было утрат — но не плачь напрасно!
Ведь прекрасное —навсегда прекрасно.
И сестра улыбается, молодеет,
Вновь по-девичьи смотрит светло и ясно.

Легкий дождь промчался в задорной пляске
По воде пруда, по зеленой ряске.
Льнут к сестренке четверо ребятишек,
И сестренкин голос исполнен ласки.

Праздник «тэт» на родине — как забуду?
С давних пор он дорог сельскому люду.
Свежий рис зеленеет, цветет шиповник,
Желто-красные бабочки пляшут всюду.

Снова флагам раздвоенным в небе виться,
Снова людям радоваться, веселиться.
Будет звать барабан на спектакли «тео»,
Над судьбой Тхи Кинь будут слезы литься...

Я иду в желто-алом солнечном свете.
От цветов переулок в лиловом цвете.
И до самой околицы, до колодца
Провожают меня сестренка и дети.

Вновь сказал «прощай» родному порогу.
Склоны гор приближаются понемногу.
Добрым духом родины я проникся—
Значит, самое время опять в дорогу...

Ханой, 1957 год

Звездная ночь

Звезды зажглись — и легла широка,
В небе молочная лента-река.
Где же он, мост называемый «О»?
Взглядом ищу — и не вижу его.

Там, на мосту,— говорит наш народ —
Встретиться могут единожды в год
Нежный супруг с неутешной женой,
С дочерью Неба — мужчина земной.

Вот предрассветная меркнет звезда...
Так ты сквозь слезы глядела, когда
Я уплывал на большом корабле
С Юга на Север в предутренней мгле.

Видит Небесный Черпак с высоты:
За параллелью Семнадцатой ты.
Только ведь звезды нам светят — одни:
Верить и ждать помогают они.

Февраль 1957 года

Месяц март

1

Еще плодами «вай» не лакомишься ты,
Кукушки в роще не проснулись,
Но «гао» ярко-алые цветы
Навстречу лету жадно потянулись.

2

Куртку теплую спрячу я с этого дня.
Настежь окна раскрыты, распахнута дверь.
До свидания, радость сидеть у огня!
Опадают цветы —с кем дружить мне теперь?

Намдинь, март 1960 года

Укоряю себя

Столько всюду несделанных дел!
Торопился куда-то, летел —
И в заботе о хлебе насущном,
Может, главного не разглядел.
То в бесплодных раздумьях сидел,
То ругал свой житейский удел...
Вот еще — сам себя укоряю! —
Календарный листочек слетел...

Намдинь, весна 1960 года

УМБЕРТО ЭКО

Имя розы

РОМАН

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

День третий

Третьего дня
ОТ УТРЕНИ ДО ЧАСА ПЕРВОГО,

где обнаруживается кровавая простыня в келье пропавшего Беренгара— и это все

Вот я пишу эти строки и снова испытываю мрачную, невыносимую усталость, которая была во мне той ночью, вернее тем утром. Что тратить слова? После службы Аббат, объявив общую тревогу, послал большинство монахов прочесывать все помещения аббатства. Результатов не было.

Перед хвалитными обшаривавший келью Беренгара монах наткнулся на белую ткань, пропитанную кровью. Простыню понесли к Аббату, который уверился в тягчайших своих предчувствиях. Тут же присутствовал Хорхе, который, будучи извещен о находке, переспросил: «Неужели кровь?» — так, будто это казалось ему совершенно неправдоподобным. Алинард, услышав о том же, покачал головой и заявил: «Нет, нет, третья труба несет смерть от вод».

Вильгельм осмотрел простыню и сказал: «Теперь все ясно».

«Так где же Беренгар?» — спросили у него.

«Не знаю»,— ответил он. Я увидел, как Имарос завел очи горе и прошептал на ухо Петру Сант'Альбанскому: «И все англичане такие».

Перед первым часом, когда солнце уже встало, были снаряжены служки обследовать склон горы под всею окружностью стен. Они обшарили все, вернулись к третьему часу и ничего не нашли.

Вильгельм сказал мне, что все возможное предпринято. Оставалось просто выжидать. И отбыл на кузню, где немедля погрузился в оживленнейшую беседу с мастером-стекольщиком Николаем.

Я же ушел в церковь, выбрал там место недалеко от центрального входа и сел. Служилась месса. Я уснул самым богобоязненным образом и проспал долго, поскольку у нас, юношей, потребность в сне значительно превосходит потребность старых людей, которые уже немало проспали в своей жизни и вскорости должны предаться вечному сну.

Третьего дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг

(...)

Продолжение. Начало см. в № 8.

Третьего дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Адсон выслушивает признания Сальватора (которые двумя словами не перескажешь), отчего и погружается в тревожащие раздумья

Завтракая в кухне, я увидел Сальватора. С поваром явно состоялось замирение. Сальватор весело уписывал пухлый пирог. Ел он так, будто до этого не ел никогда: не роняя ни единой крохи и при каждом глотке как бы вознося истовые благодарения Господу за неслыханную удачу.

Он подмигнул и сказал на своем диком наречии, что отъедается за всю жизнь, прожитую впроголодь. Я стал расспрашивать. И услышал повесть о страшном детстве в каком-то богом забытом селении, где воздух был нечист, дожди шли постоянно и поля превращались в болота; вся округа дышала гнилостными миазмами. Я узнал, что там по нескольку месяцев стояла и не сходила вода, и плуг не оставлял борозды, и посеяв меру семян — собирали четверик, а посеяв четверик — не собирали ничего. Даже у господ той земли лица были бескровные, как у бедняков, хотя, по словам Сальватора, бедняки все-таки умирали чаще, возможно, потому, хихикнул он, что их было больше... Четверик стоил пятнадцать денег, мера — шестьдесят денег, проповедники пророчили скончание времен, однако родители и деды Сальватора помнили, что так бывало и прежде, и привыкли думать, что скончание времен ожидается всегда. И вот когда в селении поели всех дохлых птиц и всю живую нечисть, какую удалось поймать, пошли слухи, что кое-кто выкапывает мертвецов. Сальватор, как некий гистрион, со множеством ужимок показал мне, чем занимались эти «гадостники», как они на следующий после похорон день когтями рыли кладбищенскую землю. «Гам!» — и зубы, щелкнув, впивались в пирог с бараниной, а по лицу бежала судорога отвращения, как будто он кусал труп. Хуже всех, продолжал Сальватор, были те, кто не удовлетворялся пищей, добываемой из освященной земли. Они по примеру лихих разбойников уходили в леса, сбивались в отряды и поджидали путника. «В-ж-жик!» — показывал Сальватор: нож к горлу и — «Гам!» А наихудшие из худших подманивали детей, посулив яйцо или яблоко, и ели их нежное мясо, но — серьезнейшим образом уточнил Сальватор — предварительно сварив. Он рассказал о каком-то человеке, пришедшем в селение продавать вареное мясо, и довольно дешево, и народ не верил своему счастью, пока священник не объявил, что это человечина. Озверелая толпа растерзала торговца. Но в ту же ночь кто-то выкопал убитого из могилы и съел людоеда. Когда люди о том дознались — казнили и его.

И не только это рассказывал Сальватор. Осыпая меня обрубками слов и вынуждая припоминать все, что я знал из провансальского языка и итальянских диалектов, он поведал историю своего исхода из отчего селения и скитаний по свету. Его рассказ прозвучал для меня отголоском множества других, слышанных дома или в путешествии. И впоследствии я слышал немало таких же. Так что сейчас, по прошествии многих лет, я не уверен — не приписал ли Сальватору приключений и преступлений, совершенных совсем другими людьми, жившими как до него, так и после него. Ныне в моей усталой памяти все рассказы переплавились в единую повесть. К тому привел неустанный труд воображения — сила, которая, сочетая идею горы с идеей золота, способна породить идею золотой горы.

В дороге я часто слышал от Вильгельма слово «простецы», которым некоторые его собратья звали не только мирской народ, но и народ неученый. Это определение мне всегда представлялось чересчур обобщенным, потому что в итальянских городах я встречал торговых и ремесленных людей, которые, не будучи клириками, не были однако же и неучеными, хотя выказывали свои познания посредством народ-

ного языка. В то же время многие тираны, управлявшие полуостровом, были невежественны и в богословии, и в медицине, и в логике, и в латыни, но все же не были ни простецами, ни простофилями. Поэтому я осмеливаюсь полагать, что мой учитель, говоря о простецах, чрезмерно упрощал понятие. Тем не менее Сальватор был сущий простец, селянин из края, терзаемого многие века и недоеданием, и произволом господ. Он был простец, но не тупица. Он смог вообразить, что существует некий иной мир. Этот мир тогда представлялся ему в виде волшебной страны Куканы, где на деревьях, источающих мед, спеют круглые сыры и пахучие колбасы.

В погоне за своей надеждой и отказываясь признать, что весь мир юдоль стенаний, где, как меня учили, даже и неправда ниспослана провидением с особым умыслом: чтоб соблюдалось равновесие начал, пусть даже разум наш и протестует против этого умысла,— Сальватор обошел многие земли от родного Монферрато до Лигурии и выше, через Прованс, до владений короля Франции.

Сальватор ходил по свету, попрошайничая, приворовывая, прикидываясь увечным, прирабатывая у разных хозяев и снова убегая от хозяев в леса и на большаки. Его память была населена толпами бродяг-вагантов, которые в последующие годы, как я заметил, стали еще многочисленнее на дорогах Европы. Лжемонахи, шарлатаны, мошенники, жулики, нищие и побирухи, прокаженные и убогие, странники, калики, сказители, безродное священство, бродячие студенты, плуты, обиралы (...). Зверская рожа Сальватора засияла чудесным светом — это он рассказывал, как, бродя с ворами и бандитами, впервые услышал странствующего проповедника-францисканца. Францисканская «потаенная», по выражению Сальватора, проповедь открыла ему, что его нищая скитальческая жизнь — не тяжкий крест, а радостный подвиг самоотречения. С тех пор он переходил из секты в секту, вливался в разные объединения кающихся. В какие, он не умел рассказать, только коверкал имена и безудержно путал все теории. Я разобрал, однако, что он побывал и у патаренов и у вальденцев, и, по-видимому, у катаров, арнольдистов и гумилиатов и кочевал из отряда в отряд в убеждении, что бродяжничество — особая миссия и что ныне ради Господа он исполняет то, что прежде исполнял ради собственной утробы.

Что же с ним происходило и когда? Как я понял, лет тридцать назад он пришел в обитель тосканских миноритов и надел рясу Св. Франциска, хотя обеты не принес. Там-то, вероятно, он и набрался своей убогой латыни, которую затем перемешивал с говорами всех краев, где он мыкался, безродный бедолага, и с говорами любых товарищей по скитаниям, начиная моими соотечественниками-наемниками и кончая далматскими богомилами. По его словам, он предавался покаянию (всепокайтеся, вдохновенно шепнул он мне на ухо; так я во второй раз услыхал выражение, насторожившее Вильгельма). Однако, по всей видимости, даже и миноритам, при которых он состоял, имели не слишком четкое представление о границах дозволенного и недозволенного. Когда каноник ближайшего прихода запятнал себя вымогательством и другими гнусностями, в один прекрасный день братья-миноритам, одушевясь справедливым гневом, взяли приступом его дом, а самого сбросили с лестницы, так что грешник испустил дух; церковь же разграбили. За это епископ наслал на них стражников, братья разбежались, и Сальватор снова побрел по верхней Италии, на сей раз с отрядом полубратьев, то есть нищенствующих миноритов, не признающих ни порядка ни закона.

Оттуда он повлекся в окрестности Тулузы, где увидел странные вещи, опьянившие его, как издавна опьяняли сказки о великих подвигах крестоносцев. Там громадные силы пастухов и неимущих объединялись, дабы совместно пересечь море и перебить врагов истинной веры. Их прозвали пастушатами. На самом деле они, скорее всего,

мечтали оказаться подальше от распроклятой родины. Имелось два вожака, проповедовавших лжеучение: священник, за непотребства отлученный от церкви, и монах, изгнанный из братства Св. Бенедикта. Эти двое сумели так отуманить мозги толпе простофиль, что те, все побросав, рысью помчались за ними, и даже шестнадцатилетние мальчишки удирали от родителей с посохом и сумой, без денег, махнув рукой на отчие наделы, и сбивались в стада, и шли за проповедниками многотысячной толпою. Отныне они слушались не разумности и законности, а чужой силы и собственных желаний. Сгрудившись огромной кучей, наконец-то свободные, все во власти неясных мечтаний об обетованной земле, они вечно были как пьяные. Они шли по городам и селам и брали все что видели, а если кто-то из них попадался, остальные штурмовали тюрьму и освобождали товарища. Когда они ворвались в Парижскую крепость, чтобы выпустить несколько заключенных, профос Парижа пытался оказать сопротивление, и они убили профоса, сбросили его со ступеней крепости, а двери темницы выломали. Потом ушли на поле Св. Германия и изготовились к битве. Но никто не напал на них, и тогда они пошли из Парижа в Аквитанию. И убивали всех евреев, каких встречали на своем пути, и завладевали их имуществом...

«Почему именно евреев?» — спросил я. «А почему нет?»— спросил в ответ Сальватор. И добавил, что всю жизнь он слышал от проповедников, будто евреи противники христианства и владеют богатствами, которые христианам заказаны. Я спросил его: а разве богатства христиан не скапливаются десятилетиями у господ и епископов? А значит, с подлинными своими противниками пастушата не боролись? На это он ответил, что когда подлинные противники слишком сильны, следует выбирать других, послабее. Я подумал: вот за это-то простецов и зовут простецами. Только властители всегда и очень точно знают, кто их подлинные противники. Властители опасались, что пастушата пойдут отбивать их добро, и были очень рады, когда вожаки пастушат сосредоточились на мысли, будто их обездолили евреи. (...)

Во многих городах народ задолжал евреям, и никто не хотел платить долги, и все обрадовались, когда пришли пастушата и стали наказывать евреев за их разумное хозяйствование. Через некоторое время король под страхом смерти запретил пособничество пастушатам. Он собрал сильное войско, двинул его на пастушат, и многие были убиты, а иные бежали в леса, где сами погибли от лишений. В общем, все были истреблены. Королевские люди ловили по двадцать-тридцать пастушат и вешали на самых высоких деревьях, дабы вид их трупов служил вечной острасткой и впредь никто бы не осмеливался возмущать покой королевства.

Самое поразительное, что Сальватор рассказал мне свою повесть так, будто она была исполнена доблестнейших подвигов. Он и впрямь был убежден, что отряды пастушат двигались на завоевание Св. Гроба Господня — отбивать его у неверных,— и было совершенно невозможно втолковать ему, что это достославное завоевание уже имело место во времена Петра Отшельника и Св. Бернарда, при правлении Людовика Святого Французского. Как бы то ни было, к неверным Сальватор не уплыл, так как почел за благо поскорее удалиться из французских земель. Он упомянул, что прошел через Новару. Подробности этого времени в его рассказе были особенно смутны. В конце концов он добрался до Казале, где и прибился к миноритскому монастырю (именно там, как явствовало из его слов, он встретился с Ремигием). Как раз в ту пору миноритов, преследуемые папой, расставались с орденскими рясами и искали убежища в монастырях других орденов, тем спасаясь от гибели на костре,— именно так, как рассказывал Убертин. Благодаря искусности Сальватора в ручных работах (на первых порах, в эпоху одиноких скитаний, он упражнялся ради нечестивых целей, а затем, в эпоху братства во Христе — ради святых) келарь

немедленно взял его в помощники и доверенные лица. И поэтому с давних пор он проживает здесь, меньше всего отдаваясь заботам орденского служения, больше всего — заботам об устройстве погреба и кладовой. Здесь наконец он получил право есть не воруя и восхвалять Господа не опасаясь костра.

Вот какую историю поведал Сальватор между глотаньем и жеваньем, предоставив мне гадать, что из этого он выдумал, а о чем, напротив, умолчал.

Я с любопытством разглядывал Сальватора, не только дивясь его прошлому, но и сознавая, что вся его недавняя речь — превосходное сжатое изложение множества предметов и событий итальянской действительности тех лет, манящей и малопонятной.

О чем, казалось бы, свидетельствовала его повесть? О характере бессовестного человека, способного убить даже не отдавая себе отчета в чудовищности преступления. Однако хотя в ту пору все, что касалось попрания святых заповедей, было в моем сознании едино,— я уже начинал постигать определенные вещи, которые мне пытались объяснить. Например, что одно дело — убийство, совершенное толпой (толпа, охваченная особым экстатическим порывом, обычно путает диавольские законы с божиими), и совсем иное дело — самостоятельное преступление, задуманное и осуществленное хладнокровно, тайно, хитро. Я был уверен, что на последнее Сальватор не способен.

Однако мне очень хотелось прояснить кое-какие обмолвки Аббата. К тому же из ума не шли намеки на непонятного брата Дольчина. Тень его, казалось, витала над всеми разговорами, услышанными в эти два дня.

Поэтому я резко спросил: «Ты встречался с братом Дольчином?»

Сальватор повел себя чрезвычайно неожиданно. Глаза его выкатились из орбит — как будто им было еще куда выпучиваться,— и он стал судорожно креститься себя и все вокруг, сыпля обрывками фраз на языке, из которого теперь уж точно я не мог разобрать ни слова. Я понял только, что он от чего-то отрекается. До той минуты он как будто был ко мне расположен доверительно, я бы сказал — даже дружелюбно. Теперь он глядел с неподдельной ненавистью. И под каким-то предлогом немедленно ушел.

Это было уже чересчур. Что за таинственный монах, одно имя которого нагоняет на людей такой ужас? Я чувствовал, что больше не в силах бороться с любопытством, завладевшим мною. И внезапно мой мозг пронизала великолепная мысль. Убертин! Вот кто первый назвал это имя. Сам назвал, в тот первый вечер, когда мы с ним повстречались. Он, конечно же, знает все явные и тайные деяния братьев, полубратьев и прочих исчадий недавней смутной эпохи. Где же искать Убертина в это время? Ну разумеется, в церкви, за молитвой! Туда я и отправился, пользуясь несколькими часами неожиданного отпуска.

Но в церкви Убертина не было, и до самого вечера я не мог нигде его найти. Так я до вечера и сгорал от любопытства, в то время как вокруг происходили события, о коих непременно следует рассказать.

Третьего дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где Вильгельм рассказывает Адсону
о великом еретическом течении,
о пользе простецов для церковного дела,
о своих сомнениях
относительно умопостижности законов бытия
и походя упоминает,
что расшифровал некромантские записи Венанция

Я застал Вильгельма на кузне, где они с Николаем перебирали разложенные на лавке маленькие стеклянные кружочки и колесики —

видимо, это были заранее заготовленные частицы витража, которые затем вставляются в витражный каркас. Несколько стекляшек они уже отшлифовали особыми инструментами, доводя до нужной толщины, и Вильгельм теперь выбирал самые удачные, поднося их по очереди к глазам. В то же время Николай следил и за работниками, которые ковали металлическую вилку, чтобы впоследствии насадить на нее подобранные стекла.

Вильгельм был раздражен и что-то ворчал себе под нос. Дело в том, что лучшее из найденных им стекол было изумрудного цвета, а по его словам, хотелось все-таки видеть перед глазами пергамент, а не болото. Николай ушел к работникам. Пока Вильгельм рылся в стекляшках, я пересказал ему беседу с Сальватором.

«Да, много повидал человек,— проронил он в ответ.— Наверно, и у дольчиниан потерся. Да. Здешняя обитель и вправду микрокосм. Не хватает только папских послов с Михаилом. Завтра мы будем в полном составе».

«Учитель,— сказал на это я.— Я уже ничего не понимаю».

«Чего ты не понимаешь, Адсон?»

«Во-первых, чем различаются еретики. Но об этом я спрошу потом. Еще сильнее меня заботит сам по себе вопрос о различиях и сходствах. Говоря с Убертином, вы убеждали его, что все едины — святые и еретики. В то же время, говоря с Аббатом, вы старались убедить его, что есть разница между еретиком и еретиком, между еретиком и правоверным. То есть Убертина вы упрекали в том, что он разграничивает вещи сходные, а Аббата — что он сближает вещи различные».

Вильгельм на некоторое время оставил стекла в покое. «Милый Адсон,— сказал он,— в таком случае следует прежде всего оговорить дистинкции, желательно используя терминологию парижской школы. Утверждается, что люди обладают сходной субстанциальной формой, не так ли?»

«Конечно,— отвечал я, гордясь накопленными познаниями,— люди суть животные, однако же разумны, и их свойство — способность смеяться».

«Вот именно. Однако Фома с Бонавентурой не похожи. Фома тучен, в то время как Бонавентура тощ, и даже может получиться так, что Угуччон зол, а Франциск добродушен, Альдемар флегматичен, а Агилульф желчен. Так или нет?»

«Разумеется, все это так».

«А это доказывает, что между самыми различными людьми наличествуют сходства во всем, что касается субстанции, и различия во всем, что касается акциденций, то есть поверхностных размежеваний».

«Несомненно, и это так».

«Следовательно, когда я говорю Убертину, что сама человеческая натура во множественности своих проявлений предрасположена как любить добро, так и любить зло,— я стремлюсь убедить Убертина в единообразии человеческой природы. Когда же я вслед за тем говорю Аббату, что катар не то же самое, что вальденец, я настаиваю на различении их акциденций, внешних признаков. А настаиваю я на этом из-за того, что нередко, не разобравшись, вальденца сжигают, приписывая ему акциденции катара, и наоборот. Между тем, когда человек сгорает, раньше всего сгорает его индивидуальная субстанция, и при этом аннулируется то, что прежде составляло конкретный акт существования — очевидно, благой по своей идее, хотя бы на взгляд Господа Бога, который для чего-то потворствовал сему существованию. Как тебе кажется — достаточная причина настаивать на разграничении понятий?»

«О да, учитель,— пылко отвечал я.— Теперь я понял, отчего вы так говорили, и восхищаюсь вашей замечательнейшей философией!»

«Она не моя,— ответил Вильгельм,— и даже не знаю, насколько

она замечательная. Но самое главное, что до тебя дошло. Перейдем ко второму вопросу».

«Второй вопрос,— начал я,— что моя голова никуда не годится. Я не в состоянии различать по акцидентальным признакам вальденцев, катаров, бедных лионцев, гумилиатов, бегинов, бедных францисканцев, ломбардцев, иоахимитов, патаренов, апостоликов, бедных ломбардцев, арнольдистов, вильгельмиан, братьев Свободного Духа и люциферианы (...). В то же время я не понимаю: ведь, когда говорят о еретиках, говорят обо всех разом?»

«Конечно. Это одна из причин укрепления ереси. И одна из причин ее ослабления».

«Опять не понимаю»,— сказал я.

«Господи, как это трудно. Ну ладно (...). Ты хотя бы поймешь, до чего я не уверен в любой истине — даже в той, в которую верю».

«Вы больший мистик, чем Убертин!» — пошутил я.

«Возможно. Но я, как ты можешь убедиться, изучаю природу. И в том расследовании, которое мы сейчас ведем, я тоже пытаюсь понять не кто хорош и кто плох, а кто вчера вечером был в скриптории, кто взял глазные стекла, кто оставил на снегу след тела, волокущего другое тело, и где Беренгар. Все это суть факты. Потом я попробую их увязать, если это вообще возможно, поскольку всегда крайне сложно сказать, какое последствие из какой причины проистекает, так как достаточно вмешательства какого-нибудь ангела, чтобы все совершенно перепуталось. И поэтому нечего удивляться, что невозможно доказать, будто один предмет — причина другого предмета. Но все равно надо непрерывно пробовать. Что я и делаю».

«Тяжелая у вас жизнь»,— сказал я.

«Но я отыскал Гнедка»,— ответил Вильгельм.

«Значит, есть в мире система!» — объявил я, ликуя.

«Значит, есть немножко системы в этой бедной голове»,— ответил Вильгельм.

В эту минуту возвратился Николай, торжественно неся почти готовую вилку.

«А как только эта штука окажется на этом бедном носу,— сказал Вильгельм,— системы в этой бедной голове станет еще больше».

Явился послушник сказать, что Аббат намерен побеседовать с Вильгельмом и ждет его в саду. Учитель поневоле отложил свои стекла, и мы заторопились к месту встречи. Выйдя из кузни, Вильгельм хлопнул себя по лбу, как будто неожиданно вспомнил что-то забытое.

«Кстати,— сказал он.— Я разобрал каббалистические знаки Венанция».

«Как, все? Когда?»

«Когда ты спал. И не знаю, что ты имеешь в виду, говоря „все". Я разобрал то, что проявилось при нагреве — ну, то, что ты перерисовал. А греческие письмена я смогу прочесть не раньше, чем когда будут сделаны новые стекла».

«И что? Там говорится о тайне предела Африки?»

«Да. Подобрать ключ очень легко. В распоряжении Венанция было двенадцать знаков Зодиака и еще восемь знаков обозначающих пять планет, два светила и Землю. Итого двадцать знаков. Ровно столько, сколько требуется для передачи латинского алфавита, учитывая, что два звука — первый в unum в первый в velut — записываются здесь одной и той же буквой. Так. Порядок букв нам известен. Какой порядок тайных знаков мог бы ему соответствовать? Я подумал о порядке следования небес. Предположил, что зодиакальный квадрант установлен на самой дальней орбите. Значит, Земля, Луна, Меркурий, Венера, Солнце и прочие. А затем — последовательно — зодиакальные знаки в традиционном порядке, как они перечислены и у Исидора Севильского: начиная от Тельца, от дня весеннего равноденствия, кон-

чая Рыбами. Так вот, если употребить этот ключ, письмена Венанция обретают смысл».

И он показал мне пергамент, на котором крупными буквами полатыни было переписано разобранное: Secretum finis Africae manus supra idolum age primum et septimum de quatuor.

«Понятно?» — спросил он.

«„Тайна предела Африки открывается рукой над идолом чрез первый и седьмой в четырех..." — повторил я, качая головой.— Совершенно непонятно».

«Естественно. Во-первых, невредно бы знать, что Венанций имел в виду под idolum. Идол? Образ? Рисунок? И что это за четверо, среди которых есть первый и седьмой? И что с ними надо делать? Трясти? Тянуть? Толкать?»

«Значит, мы снова ничего не знаем. То есть не сдвинулись с места»,— сказал я в великом унынии. Вильгельм остановился и посмотрел на меня довольно-таки неласково.

«Милое дитя,— сказал он.— Перед тобой бедный францисканец, который, не имея ничего, кроме скромнейших познаний и скудных крох догадливости, коими снабжен по бесконечной милости Господней, сумел за несколько часов разобрать тайнопись, составленную человеком именно для того, чтобы никогда и никто эту тайнопись не разгадал... И ты, жалкий неграмотный балбес, смеешь заявлять, что мы не сдвинулись с места?»

Я неуклюже извинялся. Я задел самолюбие учителя — а между тем мне было отлично известно, как гордится он быстротой и безупречностью своих дедукций. Вильгельм проделал действительно неслыханную работу, и не его вина, что хитрющий Венанций не только упрятал обнаруженные сведения за значками странной зодиакальной азбуки, но и представил их в виде невразумительной загадки.

«Неважно, неважно, не извиняйся,— оборвал меня Вильгельм.— В сущности ты прав. Мы пока что знаем слишком мало. Пошли».

Третьего дня
ВЕЧЕРНЯ.

где имеет место новая беседа с Аббатом,
Вильгельм высказывает хитроумные догадки,
как проникнуть в тайну лабиринта,
и дело решается самым рациональным способом.
Затем предлагается отведать сыра под одеялом

Аббат ждал нас с мрачным, озабоченным видом. В руке он держал письмо.

«Я получил это только что от Конкского аббата,— сказал он.— Здесь сообщается имя того, кому Иоанн доверил командование французскими солдатами и ответственность за охрану делегации. Это не военный, это не придворный, и этот человек сам входит в делегацию как полноправный член».

«Дивное соцветие всевозможных достоинств,— отвечал Вильгельм с беспокойством.— Кто же это?»

«Бернард Ги, или Бернардо Гвидони, как вам больше нравится».

Вильгельм испустил какой-то возглас на родном языке. Я его не понял, как не понял и Аббат, но, наверное, это было лучше для нас, так как я вполне готов поверить, что восклицание было не совсем пристойным.

«Это не радует,— тут же добавил он.— Бернард много лет отличался в Тулузе как молот еретиков. Он написал книгу Practica officii inquisitionis heretice pravitatis[1], предназначенную тем, кто гото-

[1] «Практика должностного расследования еретических уклонов» *(лат.)*.

вится преследовать и уничтожать вальденцев, бегинов, бедных братьев, полубратьев и дольчиниан».

«Я знаю. Знаю этот труд, перл учености».

«Перл учености,— повторил Вильгельм.— Он предан Иоанну, который в течение многих лет неоднократно поручал ему дела во Фландрии и тут, в верхней Италии. Будучи назначен епископом галисийским, он ни разу не показался в своей епархии, а продолжал исполнять инквизиторские обязанности. Затем, кажется, он был все-таки отправлен епископом в Лодев. Но Иоанн, по-моему, возвратил его к прежним обязанностям и послал сюда, в Северную Италию. Так почему именно Бернард? И почему с правом командовать солдатами?»

«Объяснение имеется,— сказал на это Аббат.— И подтверждает все те опасения, которые я высказал вчера. Вы безусловно сознаете — хотя и не хотите согласиться со мною,— что тезисы о бедности Христа и церкви, выдвинутые Перуджийским капитулом, несмотря на обильные теологические обоснования, по существу — те же самые тезисы, которые гораздо менее осторожно и, главное, менее богобоязненно выдвигаются бесчисленными еретическими движениями. Ничего не стоит доказать, что теория Михаила Цезенского (усвоенная, кстати, и императором) — та же теория, что у Убертина или Ангела Кларенского. И вплоть до этого момента мнения двух делегаций совпадут. Однако Ги способен добиться большего. И он знает, как этого добиваться. Он постарается доказать, что перуджийские положения — те же самые, что у полубратьев и лжеапостолов. Вы согласны с этим?»

«С тем, что это так, или с тем, что Бернард Ги скажет, что это так?»

«Скажем, с тем, что я говорю, что он так скажет»,— процедил Аббат.

«Согласен, что так и будет. Но это предусмотрено. Я хочу сказать, что и прежде предполагалось, что дойдет до такого утверждения — независимо от участия Бернарда. Ну, допустим, Бернард поведет дискуссию ловчее, чем эти новоиспеченные куриалы. Допустим, с ним нужно будет спорить более изобретательно, чем с теми...»

«Да,— сказал Аббат.— Но при этом мы сталкиваемся с затруднением, о котором я говорил вчера. Если к завтрашнему дню не отыщется виновник двух, а возможно — и трех убийств, я буду вынужден уступить Бернарду охрану общественной безопасности в аббатстве. От Бернарда — лица, облеченного (заметьте, с нашего безмолвного согласия) столь вескими полномочиями, я не имею права скрывать, что в обители происходили и продолжают происходить некие необъяснимые беспорядки. В противном случае, то есть если бы он обнаружил их сам, столкнувшись (Господи упаси нас и помилуй!) с фактом нового нераскрытого преступления, он имел бы все основания кричать „измена!"».

«Это правда,— мрачно пробормотал Вильгельм.— Делать нечего. Придется быть начеку и караулить Бернарда, пока он будет караулить неведомого преступника. Может, это и к лучшему. Бернард займется таинственным убийцей и не сможет столь ретиво заниматься теологической борьбой».

«Бернард займется таинственным убийцей, и это нанесет, позвольте заявить, чувствительнейший урон моей репутации. Из-за подобной грязной истории я буду вынужден впервые ограничить собственную власть в своих стенах. Это будет неслыханный случай не только в истории нашей обители, но и в истории всего клюнийского ордена... Я пойду на все что угодно, чтобы избежать этого. И первое, что придется сделать — это отказать в гостеприимстве обоим посольствам».

«Я буду пылко упрашивать ваше высокопреподобие хорошенько обдумать это далеко идущее решение,— сказал Вильгельм.— Вам было вручено послание императора, который благоволит предписать вам...»

«Я помню, что связывает меня с императором,— перебил его Аббат.— И знаю, что вы тоже помните. И знаете, что у меня, увы, пути к отступлению нет. Но все это крайне неприятно. Где Беренгар, что с ним стряслось, чем вы заняты?»

«Я всего лишь монах, который много лет назад провел несколько удачных инквизиционных следствий. Вам должно быть известно, что не всякое дело раскрывают за два дня. Да и вы сами чем мне помогли? Дали доступ в библиотеку? Дали мне право задавать людям любые вопросы, ссылаясь на вашу санкцию?»

«Не вижу связи между убийствами и библиотекой»,— отрезал Аббат.

«Адельм был миниатюристом, Венанций переводчиком, Беренгар — помощник библиотекаря»,— терпеливо пояснил Вильгельм.

«В этом смысле все шестьдесят монахов связаны с библиотекой. Так же как все они связаны с церковью. Почему вы не занимаетесь церковью? Вот что, брат Вильгельм. Вы ведете следствие по моему распоряжению и в границах, установленных мной. Что касается всего прочего, то в этих стенах над всем прочим единственный и неограниченный хозяин — я. После Господа Бога, разумеется, и благодаря бесконечной его милости. Это придется запомнить и Бернарду. С другой стороны,— добавил он более примирительно,— нигде не сказано, что Бернард едет сюда исключительно ради драки. Конкский аббат мне пишет, что Бернард следует через наше аббатство проездом на юг. В то же время, по словам аббата, кардинал Поджеттский Бертран получил от папы распоряжение выехать из Болоньи и явиться сюда, чтобы возглавить папскую делегацию. Возможно, Бернард намерен заехать сюда, чтобы увидеться с кардиналом».

«Тогда это, при более широком рассмотрении, еще хуже. Бертран тоже известен как молот еретиков, но в центральной Италии. Встреча двух главных фигур антиеретической борьбы может знаменовать начало ее широчайшего наступления по всей стране с целью полного разгрома всего францисканского движения...»

«А вот об этом мы немедленно известим императора,— сказал Аббат.— Подобные вещи в одну минуту не делаются. Мы не будем дремать. Прощайте».

Вильгельм хранил молчание, пока Аббат не скрылся из виду. Потом сказал мне: «Прежде всего, Адсон, не следует поддаваться спешке. Нельзя быстро решить вопросы, в которых имеет значение такое множество мелких частных наблюдений. Я иду в мастерскую, потому что пока не готовы мои стекла, я лишен не только возможности прочесть записи Венанция, но и возможности, скажем, сегодня ночью посетить библиотеку. Ты тем временем сходи узнай, не обнаружилось ли что-нибудь касательно Беренгара».

Но тут мы увидели бегущего навстречу Николая Моримондского. Он нес самые скверные новости. Обтачивая лучшее из отобранных Вильгельмом стекол (на которое тот возлагал основные надежды), Николай, оказывается, его сломал. А другое, пригодное для замены, лопнуло при попытке вставить его в оправу.

Теперь Николай сокрушенно указывал на небо. Наступил уже час вечерни, и спускалась темнота. В тот день больше не было надежды продолжить работу. Еще один потерянный день, угрюмо заключил Вильгельм, преодолевая (как он мне позднее сознался) желание придушить незадачливого стекольщика, который, надо отдать ему должное, был и так достаточно удручен.

Оставив Николая с его угрызениями, мы пошли узнавать, что известно о Беренгаре. Разумеется, никто ничего не обнаружил.

Похоже, мы были в тупике. Не зная, что теперь делать, мы бессмысленно кружили по церковному двору. Но скоро я заметил, что

Вильгельм впадает в состояние задумчивости, зрачки его замирают — притом что он, кажется, ничего перед собой не видит. В начале прогулки он нашарил в складках рясы несколько травок из тех, которые собирал на прошлой неделе, и теперь тихо пожевывал стебельки, как будто черпая в них источник какого-то плавного возбуждения. Вид у него был отсутствующий. Но время от времени глаза вспыхивали, как если бы опустелое сознание озарялось неожиданно яркой мыслью. И тут же он снова впадал в свое странное деятельное оцепенение. Вдруг я расслышал, как он бормочет: «Конечно, можно бы...»

«Что?» — спросил я.

«Я ищу способ ориентировки в лабиринте... Это было бы довольно сложно соорудить... зато действенно... В конце концов, выход находится в восточной башне. Это известно. Теперь предположим, что в нашем распоряжении машина, позволяющая в любой момент определить направление на север. Что это даст?»

«Достаточно будет пойти направо, и мы придем в восточную башню. Или, если пойти в противоположную сторону, попадем в южную. Но даже если предположить, что такая магическая машина существует, лабиринт есть лабиринт. И как только мы направимся на восток — тут же упремся в стену. Прямой путь будет нам перекрыт. А если повернем в сторону — снова собьемся с дороги...» — отвечал я.

«Да, но машина, о которой я говорю, будет указывать на север в любом случае. Как бы мы ни меняли направление. Мы всегда будем знать, куда поворачивать».

«О, это было бы дивно! Но где взять такую машину? Она должна уметь распознавать север и юг в темноте, в закрытом помещении, не сообщаясь с солнцем и звездами... Не думаю, чтобы даже ваш хитроумный Бэкон мог построить такую машину!» — со смехом ответил я.

«Вот и ошибаешься,— сказал Вильгельм.— Ибо машина подобного рода уже сделана и кораблеводители ею уже пользуются. Она не сверяется ни со звездами, ни с солнцем, а использует силу одного замечательного камня. Того самого, который мы видели в лечебнице у Северина. Он притягивает железо. Это свойство было изучено Бэконом и еще одним ученым, пикардийским магом Петром из Махарикурии. И описаны многие возможные употребления этого свойства».

«А вы можете соорудить такую машину?»

«Соорудить ее не так уж сложно. Этот камень используется для устройства самых разных редкостей. Например, двигателя, работающего вечно, без вмешательства какой бы то ни было внешней силы. Но самое простейшее изобретение описано одним арабом, Байлеком аль-Кубаяки. Возьми котелок с водою и помести в него плавучую пробку. Пробку проткни железной спицей. Затем поднеси магнитный камень к поверхности воды и делай круги до тех пор, покуда спица не позаимствует свойства камня. Когда это случится, спица исполнит то же, что исполнил бы и камень, если был бы свободен обращаться на своей опоре. Она потянется острием к северу. И сколько бы ты ни вращал котелок, все равно эта спица будет глядеть на север. Незачем добавлять, что если на края котелка ты нанесешь, относительно севера, знаки остальных стран света — австр, аквилон и прочие — ты будешь всегда знать, в какую сторону идти, чтобы попасть в восточную или в любую иную башню библиотеки».

«Сколь дивное изобретение! — воскликнул я.— Отчего же спица всегда поворачивается к северу? Камень, как я видел, притягивает железо, и можно предположить, что очень большая масса железа притягивает к себе камень... Но из этого следует... из этого следует, что в стороне полярной звезды, на крайней оконечности земного шара, имеются богатейшие запасы железа!»

«Действительно, кое-кем высказывалась и такая догадка. Хотя если говорить совсем точно, спица наводится не на звезду мореплавателей, а на место встречи небесных меридианов. То есть, как было некогда сказано, «сей камень метит в свое подобье на небе». Сиречь полюса магнита усваивают определенное наклонение не от земных, а от небесных полюсов. Что в свою очередь превосходный образчик движения, возбужденного на расстоянии, а не через прямую материальную причинность. Этим вопросом сейчас занимается мой друг Иоанн Яндунский. В те часы, когда император не требует от него немедленно устроить так, чтоб Авиньон провалился сквозь землю».

«Тогда идемте к Северину, за камнем, и возьмем котелок, воду, пробку...» — возбужденно заговорил я.

«Тише, тише,— сказал Вильгельм.— Не знаю уж почему, но я ни разу не видел, чтоб машина, самая замечательная в философской теории, так же замечательно действовала в своем механическом воплощении. А крестьянская мотыга, никакими философами не описанная, работает как надо... Боюсь, что бегать по лабиринту с фонарем в одной руке и с котелком воды в другой... Погоди, у меня новая идея. Машина будет показывать на север и если вносить ее в лабиринт, и если не вносить. Верно или нет?»

«Верно. Но вне лабиринта она не нужна. Есть солнце, звезды...»

«Понятно, понятно. Но если машина работает и внутри и вне лабиринта, может быть, наши мозги тоже?»

«Мозги? Конечно. Они работают и вне лабиринта... Именно вне лабиринта! Нам прекрасно известно, какую наружную форму имеет Храмина! Но стоит попасть внутрь — и мы перестаем что-либо понимать!»

«Совершенно верно. Теперь выбрось вообще из головы эту машину. Я стал думать о машине, но постепенно перешел к размышлениям о закономерностях природы и закономерностях нашего разума. И дошел до следующего. Мы должны, находясь снаружи, понять, как устроена Храмина изнутри».

«Как это?»

«Дай подумать. Это должно быть не очень сложно».

«А тот метод, о котором вы вчера рассказывали? С угольными крестиками?»

«Нет,— сказал Вильгельм.— Чем больше я о нем думаю, тем меньше в него верю. Наверное, я не совсем точно вспомнил правило. А может быть, для прогулки по лабиринтам нужна надежная Ариадна, которая будет ждать за дверью, держа хвостик путеводной нити. Но вообще таких длинных нитей не бывает. А если б они и были, этим бы доказывалось только (в сказках часто доказывается истина), что из лабиринтов выбираются исключительно при помощи извне. Значит, внутри действуют те же законы, что снаружи. Поэтому, Адсон, обратимся к законам математики. Аверроэс утверждал: только в математике вещи, известные нам непосредственно, отождествляются с вещами, известными лишь абстрактно».

«Видите! Значит, вы признаете универсальные понятия».

«Математические понятия суть представления, созданные нашим интеллектом для постоянного употребления вместо реальных. Может быть, дело в том, что эти понятия — врожденные, а может — в том, что математика изобретена раньше остальных наук. Библиотека тоже создана человеческим интеллектом, мыслившим в математических категориях, так как без математики лабиринт не построишь. Теперь остается сопоставить наши собственные математические представления с представлениями строителей библиотеки. Каковое сопоставление приведет нас к научным выводам, понеже математика есть наука определения определений... И в любом случае прекрати втягивать меня в метафизический диспут. Что за черт тебя сегодня укусил? Лучше найди, раз уж у тебя хорошее зрение, какой-ни-

будь пергамент, дощечку... На чем пишут. И чем писать... Ах, у тебя все при себе! Умница Адсон! Пойдем погуляем вокруг Храмины, пока еще можно хоть что-то разглядеть».

Мы довольно долго кружили у Храмины. И как могли вглядывались в восточную, южную и западную башни и в соединявшие их стены. Что касается прочих помещений — они выходили на обрыв, но, согласно законам симметрии, не должны были отличаться от тех, которые мы видели.

А то, что мы видели, подытожил Вильгельм (тогда как я все в точности заносил на свою дощечку), сводилось к следующему. В каждой стене было по два окошка, в каждой башне по пять.

«Теперь будем думать,— сказал учитель.— Каждая из виденных нами комнат была с одним окном».

«Кроме семиугольных»,— сказал я.

«Это понятно. Семиугольные — центральные в каждой башне».

«И кроме тех, которые и не семиугольные и окон не имеют».

«Их пока не бери во внимание. Прежде всего отыщем правило, потом попробуем оправдать исключения. Итак, вдоль внешней стороны Храмины мы имеем... В каждой башне по пять комнат и в каждой из соединительных стен по две комнаты. Все они с окнами. Но если из комнаты с окном двигаться к середине Храмины, попадешь снова в комнату с окном. Следовательно, речь пойдет об окнах во внутренний двор. Какую форму, Адсон, имеет тот колодец, который можно видеть из кухни и из скриптория?»

«Восьмиугольную»,— сказал я.

«Превосходно. И в скриптории по каждой стороне восьмиугольника прорублено, если не ошибаюсь, по два окна. Это означает, что в лабиринте вдоль каждой грани восьмиугольника устроены две комнаты. Правильно?»

«Да. Но как нам быть с этими странными безоконными комнатами?»

«Их должно быть, по-моему, восемь. И вот почему. В середине каждой башни есть семиугольная комната. Пятью стенами она сообщается с пятью комнатами наружной стороны башни. А с чем сообщаются остальные две стены? За ними что-то должно быть. Но это не комнаты, расположенные по внешней стороне соединительных стен: в таком случае они были бы с окнами. И это не комнаты, выходящие внутрь колодца. По той же причине. Вдобавок, они получились бы ужасно вытянутыми. Так что... надо попробовать нарисовать расположение комнат этой библиотеки как бы глядя сверху... Должно выйти, что при входе в каждую башню есть еще две комнаты, граничащие с центральной семиугольной — и они же граничащие с теми двумя, которые выходят во внутренний двор».

Я попробовал начертить то, что описывал мой учитель, и закричал в полном восторге: «Да, теперь все понятно! Ну-ка посчитаем! В библиотеке пятьдесят шесть комнат, из них четыре семиугольных и пятьдесят две более или менее квадратных, причем из них четыре безоконных, двадцать восемь выходящих наружу и шестнадцать выходящих внутрь Храмины!»

«В каждой из четырех башен пять четырехугольных комнат и одна семиугольная... Библиотека устроена согласно небесной гармонии. К этим цифрам можно подверстать немало изобретательнейших толкований».

«О счастливейшее открытие! — воскликнул я.— Но почему же в библиотеке так трудно ориентироваться?»

«Потому что есть нечто неподвластное математическому расчету. Это расположение дверных проемов. Одни комнаты ведут в несколько последующих, другие только в одну последующую. И возникает вопрос: нет ли таких комнат, которые вообще никуда не ведут? Если ты учтешь эту особенность и притом отсутствие освещения

и возможности определяться по наклону солнца... да еще если прибавишь привидения и зеркала... ты поймешь, что лабиринт способен сбить с толку любого, кто в него вступает. А пуще всего — тех, кто заранее взбудоражен собственной дерзостью. С другой стороны, вспомни, до чего мы сами дошли вчера, когда не могли выбраться из лабиринта. Высшая степень смятения, основанная на высшей степени упорядоченности. По мне, самый изящный на свете расчет! Строители этой библиотеки — гениальные мастера!»

«Так как же в ней ориентироваться?»

«Теперь это уже нетрудно. Пользуясь тем планом, который ты нарисовал — надо надеяться, он худо ли, бедно ли соответствует расположению библиотеки,— мы, как только окажемся в первой семиугольной комнате, сразу пойдем в какую-нибудь из безоконных. Оттуда, двигаясь все время направо, минуем три или четыре комнаты — и окажемся уже в новой башне, причем это будет несомненно северная башня. Потом мы опять пойдем в безоконную комнату, и левой стеной она будет граничить с семиугольной, а если повернуть направо, можно будет, повторив точно такой же отрезок пути, добраться до следующей башни... и так вплоть до возвращения к исходной точке...»

«Да. Это при условии, что из любой комнаты можно беспрепятственно пройти в соседнюю».

«Вот именно. Это невозможно. На этот-то случай ты и рисуешь свой план. Мы пометим на нем все глухие переборки, чтобы видеть, в какую сторону уклонились. Это будет совсем несложно».

«Но у нас точно выйдет?» — переспросил я, чувствуя беспокойство из-за того, что на словах все выглядело слишком легко.

«Точно,— отвечал Вильгельм.— „Все зане основания природных правил дадены в линиях, углах, фигурах. Аще инаково не узнать, что от чего",— прочитал он наизусть.— Это слова одного из величайших оксфордских мудрецов. Но, к сожалению, нам „дадено" еще не все. Отныне мы знаем, что делать, чтоб не заблудиться. Но теперь нам предстоит узнать, существует ли правило, определяющее размещение книг по комнатам. В этом смысле стихи Апокалипсиса почти ничего не говорят. Отчасти потому, что они то и дело повторяются в совершенно разных комнатах...»

«В то время как книга апостола содержит гораздо больше пятидесяти шести стихов!»

«Вне всякого сомнения. Значит, годятся только некоторые стихи. Странно. Получается, что их понадобилось меньше пятидесяти... а тридцать.... или двадцать... А-ах, клянусь бородой Мерлина!»

«Чьей?»

«Неважно. Это один колдун из моих мест... Они же взяли ровно столько стихов, сколько букв в латинском алфавите! Ну конечно! Слова не имеют значения. Важны только первые буквы. Выходит, каждая комната обозначена буквой алфавита, а все вместе они образуют какой-то текст, а какой — мы обязаны дознаться».

«Наподобие фигурных стихотворений в форме креста или рыбы!»

«Более или менее. Хотя, по всей вероятности, ты прав. Когда строилась библиотека, именно такие стихотворения были в моде».

«Но откуда начинать читать?»

«С тех дщиц, которые больше прочих... С семиугольной комнаты в башне, где вход... Или же... Да нет, разумеется — с красных надписей!»

«Но их столько!»

«Значит, столько и текстов. Или слов. Ну, теперь ты наилучшим образом и как можно крупнее перерисуй свой план. Когда придем в библиотеку, станешь отмечать стилосом, легонечко, все пройденные комнаты. А также усовершенствуешь план: укажешь расположение дверей, глухих стен и, разумеется, окон. А кроме того — повсю-

ду проставишь начальные буквы стихов и особо выделишь, как делают миниатюристы — например, укрупненным шрифтом — красные буквы».

«Да как же это вышло,— спросил я, охваченный восхищением,— что вы разгадали тайну библиотеки, находясь снаружи? Тогда как изнутри ничего разгадать не удалось?»

«Так и Господу известно все в этом мире, ибо все зачато в его помышлении, то есть извне, еще до акта творения. А нам законы мира невнятны, ибо мы обитаем внутри него и нашли его уже сотворенным».

«Значит, чтобы познавать вещи, надо рассматривать их извне!»

«Рукотворные вещи — да. Мы воспроизводим в нашем сознании работу творца. Но не природные вещи, ибо они не суть творения наших рук и разума».

«Но для библиотеки это правило годится, да?»

«Да,— сказал Вильгельм.— Но только для библиотеки. Теперь пойдем отдохнем. Я не способен ничего делать до завтрашнего утра, когда — надо надеяться — все-таки добуду зрительные стекла. Поэтому предпочитаю раньше лечь и раньше подняться. Кроме того, мне нужно подумать».

«А ужин?»

«Ах да, ужин... А время ужина кончилось. Все монахи уже на повечерии... Но кухня, наверное, еще не заперта. Поди поищи, не осталось ли чего».

«Украсть?»

«Попросить. У Сальватора. Он же теперь твой приятель».

«Но тогда украдет он!»

«А ты что, сторож своему брату?» — ответил Вильгельм подобно Каину. Но я догадался, что он шутит, а на самом деле желает сказать, что Господь милостив и благ. С тем я и пошел разыскивать Сальватора, которого обнаружил на конюшне.

«Какой красивый,— начал я, кивнув на Гнедка и таким образом завязывая беседу.— Хорошо бы на нем прокатиться».

«Не моги. Аббатов. Притом на то дело не один кровный жереб. Иной також годен. Зри овамо, третий в конях».

Это он хотел мне указать третьего справа коня.

«На что же годен этот „третий в конях"?» — спросил я, посмеиваясь над его дурацкой латынью.

И Сальватор открыл мне странные вещи. Он утверждал, что может заставить любого коня, даже самую дряхлую, ледащую скотину, скакать так же скоро, как скачет Гнедок. Надо подмешать коню к овсу одну травку — называется сатирион,— предварительно хорошенько размолов. А потом натереть бабки оленьим жиром. Затем надо сесть на коня и прежде чем пускать — поворотить его мордой к востоку и трижды шепнуть в ухо заклятие: «Гаспар, Мельхиор, Мелисард». Конь рванет во весь опор и за час одолеет путь, на который Гнедку потребно восемь часов. А если еще иметь ожерелье из зубов волка, которого сам конь забил копытами на скаку, и надеть ожерелье на коня — он весь свой век не будет знать устали.

Я спросил Сальватора, испытал ли он эти средства. Он отвечал, подозрительно озираясь и дыша мне прямо в ухо (пахло от него очень дурно), что испытать эти средства непросто, потому что с некоторых пор сатирион выращивают только у епископов и их дружков-рыцарей. И те и другие вовсю укрепляются отменным зельем... Я решил прервать эти речи и сказал Сальватору, что сегодня учитель намерен читать кое-какие книги в келье и хотел бы поесть у себя.

«Мигом,— ответил тот.— Сыр вам под одеялом».

«Как-как?»

«Просто. Надо сыр, чтоб не стар и не кисл. Его ломтями. Квадраты или как любишь. Туда жир, масло, свинье сало. Чтоб печи в печи. Вокруг — хлебцы. Вовнутрь суй еще козий сыр. Да для сласти — что дашь — сахар, корицу. Спекши мигом брать, жевать с огня».

«Что ж, пусть будет сыр под одеялом»,— сказал я на это. Сальватор удалился в направлении кухонь, велев мне дожидаться. Вернулся он через полчаса, неся блюдо, укрытое салфеткой. Пахло приятно.

«Тебе»,— сказал он, протягивая блюдо и фонарь, доверху заправленный маслом.

«Это зачем?» — спросил я.

«Мне что,— отвечал он с сонным видом.— А вдруг твоему магистру идти нынче, где темно».

Сальватор безусловно знал больше, чем можно было заподозрить. Я не стал разбираться, что еще ему известно, и понес Вильгельму провизию. Мы закусили. Потом я ушел в свою келью. По крайней мере так предполагалось. Но я хотел все же повидать Убертина и поэтому тихонько возвратился в церковь.

Третьего дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,

где Убертин рассказывает Адсону историю брата Дольчина,
другие подобные истории
Адсон припоминает и читает самостоятельно,
а после этого встречается с девицей
прекрасною и грозною,
как выстроенное к битве войско

Убертин действительно был перед статуей Богоматери. Я тихо опустился рядом и ненадолго прикинулся (да, признаю со стыдом!) — прикинулся погруженным в молитву. Потом посмел заговорить.

«Святой отец,— начал я.— Хочу просить у вас истины и совета».

Убертин поглядел на меня, взял за руку и поднялся, приглашая сесть рядом с ним на лавку. Он тесно обнял меня, и его дыхание коснулось моей щеки.

«Возлюбленный сын,— сказал он.— Все, что этот бедный старый грешник может сделать для твоей души, будет с радостью исполнено. Что тебя смущает? Томления, да? — допытывался он сам как будто в томлении.— Томления плоти, да?»

«Нет,— покраснев, отвечал я.— Скорее томление ума, стремящегося познать слишком многое».

«Это дурно. Все познал Господь. Нам же вместно лишь поклоняться его познанию».

«Но нам вместно также различать добро от зла и постигать человеческие страсти. Я пока что послушник, но стану иноком и священнослужителем, и я должен видеть зло и знать, под каким видом оно бывает, чтоб распознавать его и учить других распознавать его».

«Это правда, мой мальчик. Так о чем ты хочешь узнать?»

«О плевелах ереси, отец,— решительно ответил я и тут же выпалил:— Я слышал что-то о дурном человеке, совратившем прочих. О брате Дольчине».

Убертин застыл в молчании. Потом сказал: «Верно. Мы с братом Вильгельмом позавчера упоминали при тебе о нем. Но это скверная история. О ней говорить тяжко. Она показывает... Хотя ради этого ее, наверно, и следует узнать — чтоб извлечь полезный урок... Так вот, она показывает, как из жажды покаяния и из намерения очистить мир могут выйти кровопролитие и человекоубийство...»

Он уселся удобнее, чуть ослабив хватку на моих плечах, но продолжая обнимать рукой за шею, как бы для того, чтобы приобщить не то своей мудрости, не то своей горячности.

«Все началось задолго до брата Дольчина,— сказал он.— Более шестидесяти лет тому. Я был ребенком. Это было в Парме. Появился проповедник, некий Герард Сегалелли. Он призывал к нищенской жизни и кричал на улицах „всепокайтеся!" Этим возгласом он, неученый человек, пытался возвестить: „Покайтесь и сотворите дела достойные покаяния, ибо близится Царствие Небесное!" И он звал своих учеников стать наподобие апостолов и хотел, чтобы его секта носила имя ордена апостолов и чтоб его люди ходили по свету как нищие попрошайки, питаясь только милостыней».

«Как полубратья,— сказал я.— Но разве не такова заповедь Господа Бога нашего и вашего Франциска?»

«Да,— признал Убертин не вполне уверенным голосом и вздохнул.— Но Герард был склонен преувеличивать... Он и его люди обвинялись в том, что отрицали права священства, отрицали отправление литургии, исповедь, праздно бродяжничали».

«Но в этом обвинялись и францисканцы-спиритуалы. А разве теперь не сами братья-миноритьі отрицают права папы?»

«Папы. Но не всего священства. Мы сами священники. Знаешь, мальчик, нелегко разобраться в этих вещах. Грань, отделяющая добро от зла, так зыбка... Кое в чем Герард ошибся — и запятнал себя ересью... Пожелал вступить в орден миноритов, но наши братья его не приняли. С этого времени он сидел во францисканской церкви и смотрел на изображения апостолов в сандалиях и широких плащах, наброшенных на плечи. По их подобию и он отрастил волосы и бороду, надел сандалии и подпоясался вервием, как миноритьі. Ибо, заметь, все основатели новых конгрегаций всегда берут что-нибудь из опыта ордена блаженного Франциска...»

«Но все это было вполне праведно...»

«Да. Но кое в чем он ошибался. Он стал носить длинную белую тунику, а поверх нее — белую же широкую мантию, длинную бороду, отпущенные волосы. Очень скоро простецы окружили его ореолом святости. Он продал свой домишко и, встав на камень перед дворцом, откуда в старые времена подеста говорил гражданам, он не роздал деньги, не оделил бедняков, а кликнул чернь, игравшую на соборной площади, и стал разбрасывать из мешка деньги, вырученные от продажи его имущества, крича „Бери кто хочет!" И мошенники взяли деньги и пошли проигрывать их в кости, и промотали их, и хулили вечносущего Владыку, а тот, кто дал им, все слышал и не стыдился».

«Но Франциск тоже роздал все, что имел. И я слышал от Вильгельма, что Франциск проповедовал воронам и ястребам, не говоря о прокаженных — то есть самым подонкам, которых народ, почитавший себя добродетельным, отвергал».

«Да. Но кое в чем Герард ошибся. Франциск никогда не имел трений со святой церковью. И в Евангелии не сказано: „Продай все что имеешь и раздай бездельникам". Герард давал, а взамен ничего не получил. Это оттого, что давал он дурным людям. И начал он дурно, и жил дурно, и кончил дурно, потому что его община была запрещена папой Григорием X...»

«Должно быть,— сказал я,— это был не такой дальновидный папа, как тот, который утвердил устав Св. Франциска...»

«Да. Но кое в чем Герард ошибся. В то время как Франциск отлично понимал, что делает. И в конце концов, мой мальчик, эти свинопасы и скотники, заделавшиеся ни с того ни с сего лжеапостолами, просто хотели жить приятно и без работы подаяниями тех, в ком миноритьі большим трудом и собственным добрым примером воспитали благотворительность! Но не только в этом дело,— тут же прибавил он.— Дело в том, что стремясь уподобиться апостолам, которые были еще иудеями, Герард Сегалелли подверг себя обрезанию, а сие противоречит посланию Павла к Галатам. Тебе должно быть известно, что многие святые люди предсказывали: Антихрист явится из

племени обрезанных... Но еще худшее затеял Герард, когда созвал простецов и сказал: „Войдемте со мной в виноградник!" Они же поняли плотски то, что он понимал духовно, и вошли с ним в чужой виноградник, считая, что это его собственный, и ели чужой виноград...»

«Ну, уж не миноритам убиваться о чужом добре»,— нагло вставил я.

Убертин сурово посмотрел на меня. «Минориты хотят жить в бедности, но они никогда не требовали этого от других. Нельзя безнаказанно посягать на имущество добрых христиан, иначе добрые христиане посчитают тебя разбойником. Это и случилось с Герардом. О нем говорили даже... Но тут не берусь судить, правда ли это — имей в виду, я только доверяюсь сведениям брата Салимбене, знавшего их всех... Говорили, что желая испытать волю и воздержность, он спал с женщинами, не вступая в половую связь. Но когда ученики пытались повторить его подвиги — исход бывал совсем другой... Ох, об этих вещах не следует рассказывать юному. Женщина — сосуд диавола... Герард продолжал кричать „всепокайтеся", а в это время один из его учеников, Гвидон Путаджи, решил захватить главенство в общине, и разъезжал с большой свитою, с лошадьми и слугами, и давал в городах блестящие обеды — в точности как кардиналы римской церкви. Дошло до форменной схватки за главенство в секте, и начались позорные дела. Многие люди все же текли к Герарду, и не только из сел, но и из городов, люди, записанные в цехи... А Герард велел им обнажаться и в наготе служить нагому Христу. И посылал их по миру с проповедью, а себе велел сделать другое одеяние, тоже белое, без рукавов, из грубого холста. И в нем больше походил на шута, чем на духовное лицо. Домов эти люди не имели. Время от времени они подымались на амвоны церквей, прерывая богослужение набожных христиан, и сгоняли с амвонов священников, а однажды усадили какого-то мальчика на епископский трон в церкви Св. Орсо в Равенне. И звали себя последователями Иоахима Флорского...»

«Но францисканцы тоже,— воскликнул я.— И Герард из Борго Сан Доннино, и вы сами...»

«Успокойся, мальчик. Иоахим Флорский был великий пророк и первым понял, что Франциск несет обновление христианской церкви. А лжеапостолы, ссылаясь на его учение, желали оправдать свои безумства. Сегалелли водил с собой некую апостольшу, не то Трипию, не то Рипию... Она утверждала, что обладает пророческим даром. Водил женщину, понимаешь?»

«Но отче,— возразил было я,— вы же сами говорили позавчера о святости Клары Монтефалькской и Ангелы из Фолиньо...»

«Те были святые! Они жили в смирении, признавая права церкви и не заикаясь ни о каких пророчествах! А лжеапостолы, наоборот, допускали своих женщин проповедовать по городам, как делали и прочие еретики. И уже сами не разбирали холостяков от женатых, и ни один обет не почитался за ненарушимый. Коротко говоря... Не хочу донимать тебя этими тоскливыми рассказами, к тому же ты все равно не поймешь некоторых тонкостей... Епископ Пармский Обиццо решил в конце концов заковать Герарда в цепи. Но тут произошла странная вещь. По ней можешь видеть, до чего слаба человеческая натура и как упорны плевелы ереси. Дело в том, что епископ освободил Герарда и стал сажать к себе за стол, и смеялся его выходкам, держа его как бы за шута...»

«Но почему?»

«Не знаю... Хотя, к сожалению, догадываюсь. Епископ был из дворян и презирал горожан — купцов и ремесленников. Наверное, его тешило, что Герард всякий раз, проповедуя бедность, обрушивался на тех, и начав попрошайничеством, кончал разбоем... Но в конце

концов вмешался папа, епископу пришлось проявить должную суровость. Герард пошел на костер как нераскаянный еретик. Это было в начале нашего столетия».

«А какое отношение все это имеет к Дольчину?»

«Имеет. И являет пример того, как ересь живет и после уничтожения ее носителей, еретиков. Этот Дольчин был ублюдком одного священника Новарской епархии. Это в здешних краях, в Италии, немного на север отсюда. Кое-кто утверждал, что он родился в другом месте, не то в долине Оссолы, не то в Романье. Но это не так уж важно. Он рос способным юношей и обучался словесности. Однако обокрал своего воспитателя, который много с ним занимался, и бежал на восток, в Тридент. Там он взялся проповедовать учение Герарда, в самом еретическом виде, заявляя, будто он единственный сущий апостол Господа, и что в любви все должно быть общим, и что можно без всякого различия ложиться со всеми женщинами, за что никого нельзя обвинить в любодеянии. Даже если ляжешь с сестрою, с дочерью...»

«Он вправду так говорил или его в этом обвиняли? Я слышал, что в подобном обвиняли и спиритуалов, и монахов из Монтефалько...»

«De hoc satis [1],— резко оборвал меня Убертин.— То были уже не монахи. То были еретики. И погубленные именно Дольчином. Кроме того... Слушай дальше. Достаточно узнать, что было дальше, дабы увериться в его гнусности. Как он прознал об учении лжеапостолов — мне неизвестно. Вероятно, еще отроком побывал в Парме и слушал там Герарда. Но известно, что он держал связь с болонскими еретиками после смерти Сегалелли. Совершенно точно известно, что проповедовать он начал в Триденте. Там он соблазнил одну девицу из богатой и знатной семьи, Маргариту, либо она соблазнила его, как соблазнила Элоиза Абеляра. Потому что, запомни, именно чрез посредничество женщины внедряется диавол в сердце человека! Тогда епископ Тридентский изгнал из своей епархии Дольчина с его подругой, но у него уже было больше тысячи последователей. И с ними он вышел в долгий путь, чтоб добраться до родных краев. По дороге к ним присоединялись и новые обольщенные, соблазнившиеся его речами, и к ним же, надо думать, примыкали еретики-вальденцы, жившие в тех горах, через которые он шел. А может, он так и рассчитывал — соединиться с вальденцами этих северных краев. Добравшись до Новары, Дольчин нашел там обстановку чрезвычайно благоприятную для своего мятежа. Дело в том, что вассалы, правившие страной Каттинара от имени епископа Верчелли, были изгнаны из собственных владений. И они встретили разбойников Дольчина как самую желанную помощь».

«А что эти вассалы сделали епископу?»

«Не знаю. И меня это не интересует. Но, как видишь, ересь охотно братается с бунтом против законных властей. Часто случается, что еретик сначала прославляет мадонну Бедность, а потом сам не умеет справиться с соблазнами власти, войны, насилия. Шла какая-то борьба между правящими семьями в городе Верчелли. Лжеапостолы воспользовались этим. А семьи, в свою очередь, воспользовались беспорядком, учиненным лжеапостолами. Господа феодалы вербовали наемников, чтобы грабить горожан, а горожане искали защиты у епископа Новары».

«Запутанная история. А за кого был Дольчин?»

«Не знаю. Сам за себя. Он ввязывался во все склоки и везде находил случай проповедать войну против чужого добра. Во имя бедности, разумеется. Дольчин со своими людьми, которых к тому времени стало уже три тысячи, разбил лагерь на одной горе близ Новары. На так называемом Лысом Утесе. И поставил там укрепления

[1] Об этом довольно *(лат.)*.

и палатки, и правил оравой мужчин и женщин, которые жили скопом в самом бессовестном блуде... Оттуда он рассылал письма единомышленникам, оттуда изрекал еретическое учение. (...) Утвердившись на Лысом Утесе, он стал громить долинные деревушки, грабил все подчистую, чтобы добыть провиант. Велась самая настоящая война против соседствующих сел».

«И все села были против него?»

«Неизвестно. Может быть, кто-то его и поддерживал. Я ведь уже сказал, что он ввязывался в запутаннейшие раздоры жителей той местности. Тем временем пришла зима 1305 года — одна из самых свирепых за последние несколько десятилетий — и в округе наступил ужасный голод. Дольчин распространил третье письмо к собратьям, и многие стекались к нему, но скоро жизнь на горе стала невыносимой и лишения были таковы, что пришлось есть лошадей, других живых тварей и пареное сено. И многие померли».

«Но с кем они воевали?»

«Епископ Верчелли обратился за помощью к Клименту V, и тот снарядил крестовый поход на еретиков. Он объявил всякому, кто примет в нем участие, полное отпущение грехов. Он обратился к графу Савойскому, к ломбардским инквизиторам, к архиепископу Милана. Многие выступили на помощь жителям Верчелли — и новарцы, и савояры, и провансальцы, и французы. Во главе похода стал епископ Верчелли. Передовые отряды обоих войск то и дело налетали друг на друга, но укрепления Дольчина были неприступны, и, кроме того, нечестивцы получали основательную поддержку».

«Откуда?»

«Думаю, от других нечестивцев. От тех, кому на руку был этот рассадник беспокойства... В конце 1305 года ересиарх был вынужден увести людей с Лысого Утеса, бросив там раненых и больных, неспособных идти, и перешел в область Триверо, и укрепился там на вершине, которая раньше именовалась Цубелло, а с той поры ее стали звать Рубелло или Ребелло, потому что она стала оплотом бунтарей (rebelli). Не в моих силах рассказать тебе все, что там происходило. Происходили ужасные кровопролития. Но в конце концов бунтарей принудили сдаться. Дольчин и его люди были схвачены и получили по заслугам. Их сожгли».

«И красавицу Маргариту?»

Убертин посмотрел мне в лицо. «Ага, ты запомнил, что она была красавицей? Да, говорят, она была очень хороша. И многие знатные люди в тех краях хотели взять ее в жены, чтобы спасти от костра. Но она не пожелала, умерла нераскаянной со своим нераскаянным любовником. И да послужит все это тебе уроком. Остерегайся блудодеицы Вавилонской, даже когда она принимает облик самого восхитительного создания».

«А теперь объясните мне, отец. Я слышал, что монастырский келарь, а также, вероятно, и Сальватор встречались с Дольчином и как-то споспешествовали ему...»

«Замолчи. И не повторяй непроверенных мнений. Я узнал келаря в монастыре миноритов. Это действительно было после событий, связанных с историей Дольчина. Да, это было тогда. Тогда многие спиритуалы (покуда мы не приняли решения просить укрытия в братстве Св. Бенедикта), покинув свои монастыри, переживали трудное время. И я не знаю, где был Ремигий до того как мы встретились. Знаю только, что он всегда был хорошим монахом, по крайней мере с точки зрения благонадежности. Что же до прочего... Увы, плоть так слаба...»

«Что вы хотите сказать?»

«Тебе такие вещи знать не следует. Хотя впрочем... Раз уж мы об этом заговорили и раз уж ты учишься отличать доброе от дурного...— он поколебался и продолжал,— я могу рассказать, о чем тут шепчут-

ся... в этом аббатстве. Что келарь не в силах устоять перед некоторыми соблазнами. Но все это сплетни. Ты должен приучить себя о подобных вещах даже не думать».

Он снова привлек меня к себе, тесно обнял и указал на статую Богоматери. «Ты должен приучить себя к непорочной любви. Вот та, чья женственность — высшего порядка. Поэтому о ней можно сказать, что она прекрасна, как возлюбленная Песни Песней. В ее особе,— и лицо Убертина озарилось каким-то внутренним ликованием, так же точно как вчера лицо Аббата, когда он говорил о самоцветах и золоте своей сокровищницы,— в ее особе дивная красота тела в точности воплощает ее небесное благолепие. И сего ради ваятель представил ее в полном телесном роскошестве, каким только может быть одарена женщина».

Он указал на маленькие груди Приснодевы, высоко и туго затянутые корсажем, завязками которого играли ручонки Младенца. «Видишь? Те же сосцы пригожи, что выпирают не сильно, полны, в меру упруги, но не колышутся дерзко, а возвышаются еле, воздеты однако не сжаты... Что ты ощущаешь при созерцании этого?»

Я покраснел до ушей, так как ощущал некий сокровенный жар и не мог найти себе места. Убертин, должно быть, заподозрил что-то или догадался по красноте моего лица, поскольку тут же добавил: «Однако научись точно отличать жар сверхчеловеческой любви от обольщения чувств. Это нелегко даже и святым».

«Каковы же признаки благой любви?» — спросил я.

«Что такое любовь? На всем свете ни человек, ни дьявол, ни какая-нибудь иная вещь не внушает мне столько подозрений, сколько любовь, ибо она проникает в душу глубже, нежели прочие чувства. Ничто на свете так не занимает, так не сковывает сердце, как любовь. Поэтому если не иметь в душе оружия укрощающего любовь — эта душа беззащитна и нет ей никакого спасения. И я убежден: если б не Маргаритин соблазн, Дольчин не заслужил бы проклятия, и если б не разнузданное и не распутное житье на Лысом Утесе — многие люди устояли бы перед Дольчиновой мятежной проповедью. И запомни, что я говорю это не только о дурной любви. Ее, разумеется, следует всемерно избегать как дьяволова обольщения... Но я говорю это с великим страхом также и о любви благой, рождающейся меж Богом и человеком, меж ближним и ближним. Часто случается, что двое или трое, мужчины или женщины, любят друг друга самым сердечным образом и питают невиданную взаимную привязанность, и желают вечно жить в близости. Одни желают, другие в ответ жаждут... Признаюсь тебе, что описанное чувство испытывал и я к таким величайшим женщинам, как Ангела и Клара. Так вот: даже это чувство в определенном смысле было предосудительно хотя все и вершилось исключительно в воображении и во имя Господне... Дело в том, что даже самая духовная любовь, если не умеешь противостоять и отдаешься ей с жаром, ведет к падению, к потере всяческого понятия... Ах, у любви столько сложностей. Сперва она размягчает душу... Потом изъязвляет... Однако душа, ввергнутая в горячку, в пламя божественной любви, в пещь огненную, где ей вконец истлеть и истончиться и превратиться в известь, счастлива даже и этой пыткой, даже и этим кровавым мучением...»

«Это и есть благая любовь?»

Убертин погладил меня по голове и я, заглянув ему в лицо, увидел слезы. Наверное, его растрогал мой вопрос. «Да, это бесконечная благая любовь,— и убрал руку с моих плеч.— Но как же трудно,— продолжал он,— как же трудно отличить ее от той, другой... Когда душу рвут демоны соблазна и ты как человек, повешенный за шею, с заломленными руками и завязанными глазами, повешенный на виселице и все-таки живой, без надежды на помощь, без надежды на поддержку, без надежды на спасение, брошенный в пустоте...»

Теперь лицо его было залито не только слезами, но и ручьями пота. «Ну, уходи,— отрывисто сказал он.— Ты узнал все, что хотел узнать. Тут сонм ангелов, там зев ада. Иди. Благословен Господь». Он снова простерся пред Богоматерью, и до меня донеслись подавленные рыдания. Он молился.

Я не ушел из церкви. Речи Убертина возжгли в душе моей и в чреслах какой-то свирепый огонь. Я ощутил невыразимое волнение. Возможно, по этой причине, и восставая сам не знаю против чего, я отважился в полном одиночестве проникнуть в библиотеку.

Я не могу объяснить, зачем шел туда. Хотелось в одиночку разведать это заклятое место. Я был опьянен мыслью, что смогу совершить подвиг сам, без помощи учителя. Я шел туда так же, как Дольчин в свое время шел на вершину Лысого Утеса.

У меня был при себе фонарь (для чего я захватил его? Может статься, план вылазки заранее, тайно, вызрел в моем уме?). По оссарию я бежал, крепко зажмурившись, и единым духом домчался до второго этажа Храмины, до скриптория.

Видимо, рок распоряжался этим вечером, ибо, пробираясь между столами, я и разглядеть ничего не успел, как уже бросилась в глаза раскрытая на чьем-то столе рукопись. Я сразу заметил заглавие: «Гистория мниха Дульцина, ересиарха». По-моему, это был стол Петра Сант-Альбанского, о котором я и раньше слышал, что он трудится над составлением монументальной истории ересей. После того, что произошло в аббатстве впоследствии, он, конечно, не смог завершить свой труд. Но не будем забегать вперед... Таким образом было вполне естественно, что на столе оказалась именно эта рукопись. Там были и другие тома на сходные темы, например о патаренах и флагеллантах. Однако я воспринял все это как сверхъестественное знамение, непонятно только какого рода — небесное либо же дьявольское, и приник к листам, жадно впитывая их содержание. Рассказ был недлинный. Первая часть повторяла со множеством мелких подробностей, ныне мною уже позабытых, то же, что рассказал Убертин. Описывались и многие преступления дольчиниан в ходе войны и обороны крепости, и последняя битва, жесточайшая из всего, что только можно себе вообразить. Но я нашел и такие вещи, о коих Убертин не стал мне рассказывать. И эти вещи были засвидетельствованы человеком, который явно видел все своими глазами и чье воображение ко времени записи еще не успело успокоиться.

Итак, я прочел, как в марте 1307 года, в святую субботу, Дольчина, его Маргариту и Лонгина, наконец-то захваченных солдатами, привезли в город Биеллу и передали епископу, ожидавшему папских распоряжений. Папа, получив эти новости, немедленно поставил в известность французского короля Филиппа. Он писал: «У нас сообщения самые великолепные, чреватые восторгом и ликованием. Зловоннейший демон, отродье Велиала и мерзкое чудовище ересиарх Дольчин ценой огромной опасности, лишений, битв и постоянных усилий наконец-то и со своими приспешниками схвачен и находится в наших острогах заслугами многоуважаемого нашего брата Раньера, епископа града Верчелли, и он пойман в канун святой вечери Господней и многая толпа с ним бывшая, зараженная еретической проказою, перебита в тот же самый день».

Папа не имел жалости к преступникам и поручил епископу предать их смерти. Поэтому в июле того же года, в первый день месяца, еретики поступили в руки светской власти. На всех колокольнях города заливались колокола; обреченных поместили на повозку, там же находились палачи, вокруг — стражники, и так волоклись по площадям города, и на каждой площади раскаленными

щипцами разрывали им члены. Маргариту сожгли первой на глазах Дольчина, который должен был смотреть, как ее жгут. У него не изменилась ни одна черта лица, точно так же как он не дрогнул под пытками каленым железом.

И так продолжали двигаться по городу — а палачи всякий раз накаляли свои орудия в котлах, полных пылающих угольев. Дольчин вынес все мучения и не проронил ни звука, только когда ему отнимали нос — сотрясся всем телом, а когда рвали щипцами детородный орган, он испустил глубокий вздох, похожий на мычание. Его последние слова были непримиримы. Он заявил, что воскреснет в третий день. После этого он был сожжен, а пепел развеяли по ветру.

Я закрыл рукопись непослушными, трясущимися руками. Дольчин был во многом виноват, я знал это, но казнь, которой его подвергли, была слишком ужасна. И на костре он выказал... что? Твердость мученика или закоснелость проклятой души?

(...)

Я до того был близок к наваждению, что на лестнице, подымаясь в библиотеку, вдруг осознал, что уста мои шевелятся, шепча те слова об экстатическом восторге, которые я некогда читал у Св. Гильдегарды: «Сие слагается пламя из дивного свечения, из внутреннего сияния и из огненного пылания. Однако дивное свечение палит, пока не ослепнешь, а огненное пылание жжет, пока не сгоришь».

Вставали в памяти и убертиновы речи о кровавом горении любви, и это видение сливалось с образом Дольчина на его костре, а образ Дольчина с образом красавицы Маргариты. И опять мною овладело то же беспокойство, которое было в церкви.

Я запретил себе думать обо всем этом и полный решимости вступил в библиотеку-лабиринт.

Я впервые входил в библиотеку один. Бегающие по полу продолговатые тени от фонаря казались такими же страшными, как вчерашние призраки. Больше всего я боялся наткнуться на какое-нибудь новое зеркало. Ибо такова уж магия зеркал: даже когда знаешь, что это только зеркала — они все равно пугают.

В то же время я не пытался понять, где я, куда мне идти, я не боялся той комнаты, в которой курится дурман и родятся видения. Я был как в лихорадке и шел, не зная, куда мне надо. При этом, как оказалось, далеко от входа я не ушел, так как через некоторое время, завершив круг, снова увидел перед собой семиугольную комнату с лестницей. В ней на одном из столов я заметил кучу книг, которых, по-видимому, вчера не было. Я догадался, что это тома, собранные Малахией в скриптории, но еще не расставленные по местам. Я не понимал, далеко ли нахожусь от комнаты с воскурениями, но голова моя кружилась и тяжелела — надо думать, все-таки от дурманных ароматов, хотя может статься, что дело было в тех чувствах и мыслях, коими я был переполнен. Я стал листать богато иллюстрированную книгу, изготовленную, по миниатюрам судя, где-нибудь в монастырях самого крайнего севера Европы.

И сразу же был потрясен, увидев на первой странице, в начале, перед текстом Евангелия от апостола Марка, изображение льва. Это несомненно был лев. Хотя львов во плоти и крови я не видал никогда. Но миниатюрист, конечно, в точности воспроизвел его телосложение, вдохновясь созерцанием местных львов, поскольку Иберния [1], как мы знаем, населена чудовищными животными. И я воочию убедился, что оный зверь (это сообщает и Физиолог) собрал в себе все самое жуткое и в то же время все самое величественное.

[1] Ирландия.

Поэтому его изображение наводило на мысли и о враге рода человеческого, и в то же время о Господе нашем Иисусе Христе. И я не мог догадаться, какой символический ключ следует применять к этой миниатюре, и весь трясся,— отчасти со страху, отчасти из-за ветра, проникавшего через амбразуры стен.

У льва вся пасть была усеяна острейшими клыками, а голова одета в броню, как головы змей. Огромное тулово опиралось на четыре свирепые когтистые лапы, и кудлатое руно походило на иные драгоценные ковры, которые я видал позднее, привезенные с Востока, в изумрудных и алых чешуях, и сквозь чешуи проглядывали рыжие, как чумной бубон, мощные, ужасные сопряжения костей. Рыжим был и хвост, вившийся по всему телу вплоть до головы, возле которой последняя извилина венчалась бело-черным пуком шерсти.

От этого льва я пришел в такой ужас и так часто озирался по сторонам, будто ожидая, что подобное существо внезапно бросится из темноты, что не сразу решился заглянуть на другие страницы. Новая открывшаяся миниатюра предваряла собою Евангелие от Матфея. Тут изображался уже не зверь, а человек. Не могу сказать отчего, но вид его устрашил меня еще больше, нежели львиный. У него была голова мужчины, но дальше — вниз от шеи — он был закован в некое подобие плотной ризы, покрывавшей тело до самых пяток, и этот покров, или же этот панцирь, был осыпан твердыми каменьями алой и желтой воды. Голова, загадочно посаженная над башней из рубинов и топазов, представилась мне вдруг (вот к каким богохульствам привел меня страх!) головой того таинственного убийцы, по чьим неуловимым следам мы пытались идти. Позднее я догадался, отчего так накрепко связались в моем сознании и зверь и закованный — с лабиринтом. Дело в том, что оба они, подобно всем остальным фигурам в этой рукописи, вырисовывались из густейшего узора, из тысячи переплетенных лабиринтов, в коих линии цвета оникса и смарагда, нити цвета хризопраза и ленты цвета берилла, струясь и перевиваясь, наводили на воспоминание о путанице переходов и коридоров, среди которой я находился. Глаз плутал по странице, метался по сияющим тропам, как метался я по библиотеке, путаясь в хитром расположении комнат. И увидев на пергаменте картину собственных злоключений, я снова затрепетал в тревожном предчувствии и сказал себе, что каждый из тут собранных манускриптов, должно быть, содержит таинственные намеки о моей судьбе, причем именно в этот день, час и минуту. «De te fabula narratur» [1]— сказал я сам к себе, не решаясь гадать — имеются ли на этих листах и предсказания грядущих событий моей жизни.

Я обратился к следующей книге. Она, судя по всему, была испанской работы. Ее краски поражали резкостью, алый цвет отдавал кровью, пламенем. Это было откровение апостола, и опять, как накануне, распахнулся лист с изображением жены одетой в солнце. Но рукопись была другая, и по-другому выглядела жена. Здесь художник больше позаботился о пышности ее облика. Я сравнивал лицо, груди, округленные бедра с очертаниями статуи Богоматери, которую рассматривал с Убертином. Фигура у нее была совсем другая. Но и эта жена показалась мне весьма красивой. Я сказал себе, что не следует сосредоточиваться на подобных предметах, и перевернул несколько страниц. Там была еще одна женщина — на сей раз блудница Вавилонская. Ее вид был не так уж привлекателен. Но я подумал: вот ведь и она тоже женщина, как та, первая, однако эта — сосуд всех пороков, а та — вместилище всех добродетелей. Впрочем, фигуры у обеих были чрезвычайно женственны, и в какую-то минуту я перестал понимать, что же их различает. Я снова испытывал огромное внутреннее возбуждение. Образ Приснодевы сливался в моем сознании с образом прекрасной Маргариты.

[1] О тебе речь *(лат.)*.

«Я погиб!»— сказал я себе. Или: «Я безумный». И понял, что долее в библиотеке оставаться нельзя.

К счастью, лестница была недалеко. Я бросился вниз, рискуя сломать шею и загасить фонарь. Вот широкие своды скриптория; но и там я не стал задерживаться и скатился по ступеням еще ниже — в трапезную.

И остановился перевести дух. Через окна просачивался лунный свет той сияющей дивной ночи. Здесь я даже мог бы обойтись без фонаря, столь необходимого в закоулках и переходах библиотеки. Однако я не стал его гасить. С ним было как-то надежнее. Но дыхание все не успокаивалось. Я решил попить воды — заглушить тревогу. Кухня была напротив. Я пересек трапезную и медленно приоткрыл створку двери, выходившей во вторую половину нижней части Храмины.

И в этот миг мой страх не только не прошел, а безмерно возрос. Ибо я моментально понял, что на кухне кто-то есть. В самом дальнем углу, у хлебной печи. Прежде всего я увидел, что там мерцает фонарь, и сейчас же в ужасе дунул на собственный. Вероятно, испугался не только я, но и тот, другой (или другие): их светильник тоже погас. Однако свет полнолуния так ярко освещал залу, что я отчетливо видел возле печи, на полу, не то какую-то тень, не то две неподвижные тени.

Похолодев, я не смел шевельнуться. Послышалось шуршание, я вроде бы уловил сдавленный женский голос. Потом от непонятного пятна, черневшего на полу перед печкой, отделилась темная приземистая тень и побежала к наружной двери, которая оказалась не заперта. Выскользнула и захлопнула дверь за собой.

Теперь оставался только я, замерший на пороге трапезной и кухни, и что-то неясное у печи. Что-то неясное и, как бы это назвать? — поскуливающее. Из темной кучи неслся тихий писк, что-то вроде полузадушенных рыданий, равномерные всхлипывания насмерть перепуганного существа.

Ничто так не подбадривает струсившего, как трусость другого человека. Но не внезапно обретенная смелость повела меня навстречу этому созданию, а что-то иное. Какой-то хмельной восторг, похожий на тот, который овладевал мною во время видений. В кухне витали непонятные запахи, вроде тех дурманных трав, что были в библиотеке. Во всяком случае, на мои перевозбужденные чувства эти запахи оказали точно такое же действие. Я опьянялся терпким духом траганта, квасцов и кремотартара, которые служат поварам для ароматизации вин. К тому же, как я узнал впоследствии, на кухне тогда выстаивалось вересковое пиво. В их стороне, на севере полуострова, это пиво ценилось очень высоко. Варили его по обычаю, завезенному с моей родины: вереск, болотный мирт и розмарин, растущий на лесных озерах. Эти-то испарения, пронзая мои ноздри, доходили до мозга и туманили его.

И поэтому, хотя рациональный инстинкт убеждал меня вскричать «Изыди!» и бежать не оглядываясь от попискивающей груды (поскольку, вне всякого сомнения, это был суккуб, подосланный ко мне нечистым), но что-то в моей vis appetitiva [1] толкало и толкало меня вперед. Какая-то тяга к сверхъестественному.

И я стал все ближе подступать к странной тени и постепенно в зыбком ночном свете, проходившем сквозь огромные окна, увидел, что это женщина. Трясясь и прижимая рукой к груди какой-то узел, она с плачем отползала к устью хлебной печи.

Господь Бог наш, Пресвятая Матерь Божия и все святые угодники, ныне укрепите меня в решимости рассказать, что случилось в

[1] Вожделеющей части души *(лат.)*.

дальнейшем. Стыдливость вкупе с достоинством моего нынешнего сана (в бытности теперь монахом-старцем нашего милого Мелькского монастыря, сего оплота мира, прибежища задумчивости) должны бы понудить меня к благонамереннейшему умолчанию. Мне следовало бы ограничиться сообщением, что совершилось кое-что предосудительное, чего описание тут неуместно,— и не смущать ни себя, ни читателя.

Но я обязался рассказывать о тех давешних делах всю правду. А правда неделима, ее величие — в ее полноте, и нельзя расчленять правду ради нашей пользы или из-за нашего стыда.

Трудность еще и в ином. Следует рассказать все события не так, как я вижу и представляю их себе сейчас (хотя я и вижу и представляю их с неумолимой живостью; угрызения ли совести тому причиной, навеки закрепившие в моем сознании все обстоятельства и все помышления тех минут? Или, напротив, недостаточность угрызений? Но и сейчас, надрывая душу, я ворошу и ворошу в памяти подробности моего грехопадения). Нет, я должен рассказывать в точности то, что видел и представлял себе тогда, в тот вечер. И я способен сделать это с величайшей точностью, потому что стоит закрыть глаза — и передо мной снова воскресает не только все, что я делал, но и все, что я думал в каждую отдельную секунду. Остается только переписать насвежо, не изменяя ни слова, очень давнюю запись. Так и обязан я поступить, и да хранит меня Св. Михаил Архангел, ибо ради воспитания грядущих читателей и бичевания собственной слабости я намерен поведать, какими путями попадает юноша в силки лукавого, даже когда они и явны и вполне заметны. И пускай тот, кто снова в них попадется, сумеет побороть зло.

Итак, это была женщина. Что я говорю! Девица. Имевши до оных пор (как и, благодарение Господу, с оных пор поныне) мало опыта в обращении с созданиями их пола, я не могу судить, сколько ей было от роду. Знаю только, что она была юна, может быть, шестнадцати, может, восемнадцати весен, но, возможно, и двадцати. Меня сразу изумило жизнеподобие дьявольского призрака... Нет, она не была видением! В любом случае я почувствовал, что это valde bona [1]. Может быть, потому, что она трепетала как воробушек, и всхлипывала, и страшилась меня.

И тогда, зная, что долг доброго христианина велит в любых обстоятельствах помогать ближнему, я очень ласково заговорил с нею на самой лучшей латыни и постарался убедить, что меня не следует бояться, потому что я — друг, ну во всяком случае не враг, никак не враг, которого она опасается.

Очевидно, заметив мой благодушный вид, она перестала плакать и даже пододвинулась ближе. Я догадался, что моя латынь ей непонятна, и непроизвольно перешел на родной немецкий. Но она испугалась еще сильнее, не знаю уж чего — то ли резкости звуков, непривычной для обитателей того края, то ли самой немецкой речи, напомнившей ей что-то давнее, связанное с моими соотечественниками-солдатами. Я успокоил ее улыбкой и убедился, что язык движений и глаз гораздо понятнее языка слов. Она снова утихла. И даже улыбнулась и произнесла несколько фраз.

Я почти не понимал, что она толкует. В любом случае ее наречие сильно отличалось от того местного языка, которому я пытался научиться, живя в Пизе. Но по голосу чувствовал, что говорит она что-то ласковое. Я даже вроде бы уловил слова: «Ты молодой... красивый...» Не часто приводится послушнику, с раннего детства живущему в монастырских стенах, слышать о собственной миловидности. Напротив, нас постоянно остерегают, что телесные совершенства бренны и их следует презирать. Однако хитрости врага неис-

[1] Хорошо весьма *(лат.)*.

числимы — ибо должен признаться, что похвала моей внешности, сколь обманчива ни была, медом влилась в мои уши и бесконечно меня обрадовала. Тем более что девица, хваля меня, протянула руку и подушечками пальцев дотронулась до моей щеки, в то время еще по-детски гладкой.

Я почувствовал будто удар... И все же упорно не замечал, как греховное помышление укореняется в моем сердце. Вот до чего силен нечистый, когда берется искушать нас и губить в нашей душе ростки добропорядочности.

Что я чувствовал? Что видел? Помню только, что в первое мгновение чувства не имели и не могли иметь словесного соответствия, так как ни язык, ни ум не умели именовать ощущения подобного свойства. Я был в немоте — а затем в памяти всплыли другие сокровенные слова, услышанные в другие времена, в других местах и произносившиеся явно с другими намерениями,— но несмотря на все это они дивно сочетались с моим упоением в те минуты, как будто были созданы и составлены именно для меня, для моего счастья. Слова эти долго вылеживались в тайных норах памяти — а ныне, оставив свои укрытия, бились у меня в немом рту, и я уж не вспоминал, что в Писании, а также у святых эти слова предназначались выражать более сиятельные понятия. Да и существовала ли на самом деле разница между восторгами, описанными у святых, и теми, которые испытывал мой растревоженный дух? Я утратил бдительность, понятие о границах, что свидетельствует, очевидно, о погружении в самые глубины собственного существа.

Внезапно девица предстала предо мною той самой — черной, но прекрасной — возлюбленной Песни Песней. На ней было заношенное платьишко из грубой ткани, не слишком благопристойно расходившееся на груди. На шее бусы из цветных камешков, я думаю — самые дешевые. Но голова гордо возвышалась на шее, белой, как столп из слоновой кости, очи были светлы, как озерки Есевонские, нос — как башня Ливанская, волосы на голове ее, как пурпур. Да, кудри ее показались мне будто бы стадом коз, зубы — стадом овечек, выходящих из купальни, выходящих стройными парами, и ни одна не опережает подругу. «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!— сорвалось с моих уст.— Волосы твои как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, как лента алая губы твои, половинки гранатового яблока — твои ланиты под кудрями твоими. Шея твоя как столп Давидов, тысяча щитов висит на нем». И я спрашивал себя в ужасе и в восхищении, кто же эта стоящая передо мною, блистающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная, как выстроенное к битве войско.

Тогда она подошла еще ближе, швырнула в угол темный узел, который до того прижимала к себе, и снова подняла руку, чтобы меня погладить, и снова повторила уже слышанные мною слова. И пока я не мог решить, бежать ли прочь или броситься к ней навстречу, и кровь гремела в моих висках, как трубы Навиновых армий, повалившие стены Иерихонские, и пока я жаждал коснуться ее и страшился этого, она улыбнулась, будто в великой радости, тихо что-то простонала, как нежная козочка, и взялась за тесемки возле шеи, державшие ее платье, и распустила их, и платье соскользнуло вдоль тела, как туника, и она стала передо мною как Ева перед Адамом в Эдемском саду. «Те сосцы пригожи, что выпирают не сильно... Что возвышаются еле...» — шептал я фразу, услышанную от Убертина, ибо перси ее походили на двойни молодой серны, пасущиеся в лилиях, и живот — на круглую чашу, в которой не истощается ароматное вино, чрево же — на ворох пшеницы, обставленный лилиями.

«О зведочка моя, девица,— рвалось из моей груди,— о запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный ис-

точник!»— и желая ли того, нет ли, я оказался сплетен с нею и ощущал ее жар и обонял терпкий запах неизвестных мне мастей. Вспомнились слова: «Дети, против безрассудной любови — ничего не может человек!» и я осознал, что теперь уже неважно — в дьяволовой я западне или в божией благодати, и что теперь я бессилен остановить то, что движет мною, и — «Слабею,— восклицал я,— слабею, и знаю причину, знаю, но не берегусь!» Потому что сладость розы исходила от ее уст, и прекрасны были ступни ее в сандалиях, и ноги ее были как колонны, и как колонны округления ее бедр — дело рук искусного художника. «Любовь моя, ты, дочь наслаждений! Царь пленился твоими косами»,— шептал я про себя, я был окружен ее объятием, и вдвоем мы падали на непокрытый кухонный пол, и неизвестно, ее ли стараниями или собственными, я избавился от послушнической рясы, и мы не стыдились ни себя ни друг друга, и cuncta erant bona[1].

И она лобызала лобзанием уст своих, и ласки ее были лучше вина, и благовонны ее ароматы, и прелестна шея ее в жемчугах, и ланиты ее под подвесками, как прекрасна ты, возлюбленная моя, как прекрасна! и очи твои голубиные,— говорил я,— покажи мне лицо свое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое восхитительно, ты свела меня с ума, любовь моя, сестра, ты свела меня с ума одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей, сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, запах от дыхания твоего как от яблок, груди твои как грозди, твои груди как кисти винограда, нёбо твое как чудесное вино; вино течет прямо к любви моей, капли его у меня на устах, на зубах. Садовый источник, нард и шафран, аир и корица, мирра и алой. Я вкушаю соты и мед, напьюсь вина и молока. Кто же была, кто же была та единственная, она, голубка, блиставшая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная, как полки со знаменами?

О Господи Боже мой! Если душа восхищена от тебя, тогда наивысшее благо — любить, что видишь (разве не так?), наивысшее счастье — иметь, что имеешь. Тогда будешь пить благодать из собственного источника (разве не так сказано?), тогда причастишься истинной жизни, которую после этой бренной земной предстоит нам провождать рядом с ангелами, в вечном грядущем... Вот как я мыслил. И понимал, что внезапно все пророчества сбываются. Наконец сбываются, так как девица переполняла меня неописуемыми наслаждениями и мое тело как будто бы превратилось в огромное око, и я видел вперед и назад, ясно видел все окружающие вещи. И я постиг: из того, что называется любовь, происходят и единение и нежность и добро и поцелуй и объятие. Я уже слыхал подобное, но думал, что говорят о другом. И лишь на некую долю секунды, когда радость моя почти что подходила к зениту, я ужаснулся — а не нахожусь ли этой ночью во власти полуденного беса, из тех, которые, когда спросишь их на пределе блаженства: «Кто ты?» — показываются в своем настоящем обличии и коварно похищают душу, а телесную оболочку губят. Но тут же я сам себе ответил: если что и от лукавого, это мои колебания, ибо самое верное, самое доброе, самое святое на свете — это то, что я сейчас ощущаю, и сладость этого все возрастает и возрастает от мига к мигу. Как водяная капля, попав в вино, растворяется и принимает и цвет и вкус вина, как раскаленное на огне железо само превращается в огонь, утрачивая первоначальную форму, как воздух, пронизанный солнечным светом, сам становится светом и сиянием, и это уже не пронизанный солнечным светом воздух, а сам солнечный свет, так и я умирал в дивном благорастворении, и всего-то сил оставалось пробормотать

[1] И все было хорошо весьма *(лат.)*.

слова псалма: «Грудь моя как вино неоткрытое; она готова прорваться, подобно новым мехам», и сразу же ударил ослепительный свет, и в нем высветился сапфир, сверкающий ярким и нежным огнем, и тот ослепительный свет влился в этот яркий огонь, и этот ярчайший огонь засиял сверканием сапфира, и это огненное сверкание и этот нежнейший свет слились и вспыхнули и запылали и озарили все.

Когда я почти бездыханный опускался на тело, с коим соединился и сросся, на последнем выдохе жизни,— я узнал, что пламя родится от дивного свечения, от внутреннего сияния и от огненного пылания, причем дивное свечение палило меня, пока не ослеп, а огненное пылание жгло, пока не сгорел дотла. Потом я увидел пропасть, а за нею — другие пропасти, куда был из нее путь.

(...)

Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я открыл глаза. Ночной свет был гораздо тусклее: вероятно, луна скрылась в облаках. Я протянул руку в сторону — и не нашел телесного тепла. Я повернул голову. Девицы не было.

Исчезновение предмета, возбудившего мою страсть и утолившего мою жажду, внезапно и резко дало мне почувствовать и бренность страсти, и предосудительность жажды. Omne animal triste post coitum. [1] Теперь я понимал, что совершил грех. Однако и ныне, по прошествии многих лет, по-прежнему горько оплакивая свое падение, я все-таки не могу забыть, что в тот вечер познал великое счастье. И я оскорбил бы Всевышнего, сотворившего все сущее в доброте и в благолепии, когда бы не допускал, что и в том деянии двоих грешников было нечто по природе своей благолепное и доброе. Хотя, может статься, это моя нынешняя старость обманчиво представляет как красивое и доброе все, что было в моей далекой юности. А следовало бы, вероятно, целиком обратиться не к прошлому, а к будущему — к неотступно приближающейся смерти. Но тогда, в юности, я не думал о смерти, а бурно и чистосердечно плакал о совершенном грехе.

Я поднялся, дрожа. Я слишком долго пробыл на ледяном камне кухонного пола и промерз до костей. Трясясь, как в лихорадке, я натянул рясу. И вдруг увидел в углу сверток, который девица, убегая, не захватила. Я нагнулся, чтобы рассмотреть. Это был неуклюжий узел, похоже — из кухонной тряпки. Я развязал его и в первую минуту не понял, что внутри: отчасти из-за слабого освещения, отчасти из-за необычной формы предмета. Постепенно я разглядел. В сгустках крови и в обрывках беловатого и вялого мяса предо мной лежало уже безжизненное, но все еще трепещущее, еще бьющееся студенистым утробным содроганием, оплетенное свинцовыми прожилками — сердце, довольно больших размеров.

Темная пелена заволокла все перед глазами, горькая слюна волною наполнила рот. Я вскрикнул последним криком — и упал, как падает мертвец.

Третьего дня
НОЧЬ,

где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мироздании, пока не натыкается на труп мужчины

Я очнулся оттого, что кто-то плескал мне в лицо водой. Это был брат Вильгельм. Он хлопотал около меня с фонарем, подсовывая мне под голову мягкую тряпку.

«Что случилось, Адсон,— спросил он, когда я открыл глаза,— чтобы лазить по ночам за требухой на кухню?»

[1] Всякая тварь грустна после соития *(лат.)*.

Оказывается, он среди ночи проснулся и стал искать меня, не знаю уж зачем, а не найдя, заподозрил, что я из фанфаронства надумал пойти один в библиотеку. Огибая Храмину со стороны кухни, он заметил, как таинственная тень шмыгнула из кухонной двери к огородам. Это была, очевидно, та самая девица: заслышав шаги, она оставила меня и кинулась восвояси. Он погнался за беглой тенью, пытаясь понять, кто это. Но тень добежала до каменной ограды, слилась с нею и исчезла — как растворилась. Оставшись ни с чем, Вильгельм стал обследовать местность, заглянул и на кухню, где обнаружил меня, на полу, без чувств.

Цепенея от ужаса, я указал ему на сверток — плод нового преступления. Тут он захохотал: «Адсон, ну как же у человека может быть такое сердце? Это коровье или бычачье. Вчера здесь резали скотину... Скажи лучше, откуда ты его взял?»

Тогда я, изнемогая от раскаяния и к тому же объятый величайшим страхом, разрыдался и кинулся к Вильгельму, умоляя исповедать меня и отпустить мне грехи. После этого я рассказал ему все, ничего не утаив.

Брат Вильгельм выслушал мою повесть с серьезным, но не чересчур суровым видом. Когда я кончил, он пристально поглядел мне в лицо и сказал: «Адсон, ты, конечно, согрешил, и согрешил дважды. Против заповеди, обязывающей не любодействовать, и против своего послушнического долга. Однако тебя оправдывает то обстоятельство, что в подобных условиях соблазнился бы и святой пустынник. Женщина — орудие совращения, о чем неоднократно говорится в Писании. О женщине Екклесиаст говорит, что речи ее жгут как огонь. Притчи гласят, что жена уловляет дорогую душу мужчины и что много сильных убиты ею. И у того же Екклесиаста сказано, что горче смерти женщина, потому что она — сеть и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Другие говорят, что она сосуд диавола. Обдумывая все это, дорогой Адсон, я никак не могу поверить, что Господь при сотворении мира сознательно поселил в нем такое растленное создание, не снабдив хотя бы какими-нибудь добрыми качествами. И меня поневоле мучает вопрос, что же в таком случае заставило его уважать и даже отличать женщину, и зачем ей были дарованы по крайней мере три великих преимущества. Во-первых, мужчина сотворен в нашем скорбном мире, и из грязи. А женщина уже после этого — в раю и из благороднейшего человеческого материала. И ведь не из ноги, не из каких-либо внутренностей Адама Бог ее сотворил, а взял часть ближайшую к сердцу — ребро. Во-вторых, Господь, так как он всемогущ, мог бы найти способ воплотиться непосредственно в мужчину, а вместо этого предпочел прийти из чрева женщины. И, наконец, третье: по наступлении царствия небесного не мужчина воссядет на престол, а женщина, ни разу не грешившая. Ну, а если сам Господь столько занимался и Евой и ее женским потомством, так ли уж удивительно, что и нас привлекают достоинства и добродетели этого пола? Вот что я тебе скажу, Адсон. Впредь проделывать подобное ты, конечно, не должен. Однако ничего чудовищного в том, что ты один раз поддался искушению, тоже нет. Да и если монах хотя бы раз в жизни сам испытает плотскую любовь — с тем, чтобы, когда придет час, понятливо и снисходительно выслушать грешника, ищущего у него опоры и совета... Словом, дорогой Адсон, к подобному казусу не следует стремиться, но если уж он произошел — слишком сокрушаться тоже не стоит. Посему ступай с Богом и не будем больше об этом говорить. Кстати, дабы не сосредоточиваться на вещах, которые лучше всего немедленно выбросить из головы... если сумеешь...— и тут мне показалось, что голос его пресекся, словно от некоего тайного воспоминания,— давай обсудим лучше, каков смысл всего происшедшего этой ночью. Что это была за девушка и с кем она тут встречалась?»

«Этого я не знаю, и мужчину, бывшего с нею, не разглядел»,— ответил я.

«Так. Но можно вычислить, кто это был. У нас достаточно данных. Прежде всего, мужчина этот стар и уродлив, из тех, с которыми девушки по доброй воле не идут, особенно такие красивые, как ты описываешь. Хотя мне и кажется, милый мой волчонок, что тебе любая пища сошла бы за лакомство».

«Почему стар и уродлив?»

«Потому что девушка пошла с ним не по любви, а за куль потрохов. Это несомненно здешняя деревенская девушка, которая, возможно, не впервые отдается похотливому монаху — а в награду уносит что-нибудь съестное для себя и своего семейства».

«Продажная женщина!» — произнес я в ужасе.

«Голодная девочка, Адсон. И, наверное, есть голодные братишки и сестренки. Надо думать, при возможности она отдавалась бы не из выгоды, а из любви. Как сегодня. Ведь, судя по твоему рассказу, она увидела твою молодость и красоту, и задаром, вернее за твою любовь отдала тебе то, что другому отдала бы лишь в обмен на бычачье сердце и обрезки легкого. И ощутила такую гордость, бескорыстно даруя себя, что когда убегала — не стала брать добычу. Вот почему я прихожу к выводу, что тот, другой, с кем она тебя сравнивала, не блещет ни молодостью, ни красотой».

Признаюсь, что несмотря на мое живейшее раскаяние, этот довод преисполнил меня сладостным самодовольством. Но я молчал и продолжал слушать учителя.

«Этот уродливый старикан должен иметь дела вне стен монастыря... собственные отношения с крестьянами... Он должен знать, как попасть на монастырское подворье и выйти с него, минуя ворота. Кроме того, он знает, что на кухне есть свежий ливер (а наутро скорее всего решили бы, что в незапертую дверь пробралась собака и украла его). При этом он судит по-хозяйски, заботится, чтобы из кухни не уходили более ценные припасы. Иначе он дал бы девочке филе или какую-нибудь другую хорошую часть. Ну, а теперь, как видишь, облик нашего незнакомца обрисовался достаточно четко, и все его качества, по-ученому выражаясь — акциденции, соответствуют вполне определенной субстанции, имя коей я без колебаний назову: Ремигий Варагинский. Здешний келарь. Если же я паче чаяния ошибаюсь, тогда — непонятный для нас Сальватор. Который к тому же из этих краев, а значит, без труда разговаривает с местными и знает, как добиться от девушки, чтоб выполнила все, что он захочет. Она бы и выполнила, если бы не явился ты».

«Сомнений нет, все именно так,— согласился я.— Но какое это теперь имеет значение?»

«Никакого. И огромное,— ответил Вильгельм.— Все это может быть абсолютно не связано с преступлениями, которые мы расследуем. А может быть и связано. Если келарь действительно из дольчиниан, одно объясняет другое — и наоборот. Теперь нам доподлинно известно, что аббатство по ночам живет тайной деятельной жизнью. И вполне вероятно, что келарь или Сальватор, раз уж они так запросто шатаются по монастырю в темноте, знают гораздо больше, нежели намерены рассказывать».

«Значит, они и не расскажут».

«Не расскажут, пока мы смотрим сквозь пальцы на их проделки. Однако как только нам что-либо от них по-настоящему понадобится, мы сумеем заставить их говорить. Словом, отныне они у нас в руках, и Сальватор и келарь, и да простит мне Господь эту военную хитрость, раз уж он прощает другим людям столько всяких грехов»,— и при этих словах он так лукаво взглянул мне в глаза, что у меня язык не повернулся высказать ему свое мнение относительно правосудности подобной стратегии.

«А сейчас надо бы поспать. Через час полунощница... Однако, по-моему, дорогой Адсон, ты еще взвинчен, поглощен своим преступлением. Чтоб успокоить нервы, час-другой в церкви — незаменимое дело. Я, конечно, отпустил тебе грехи, но никогда нельзя знать точно. Поди испроси подтверждения у Господа...» — с этими словами он довольно ощутительно съездил меня по затылку, не то в знак отеческого и дружеского расположения, не то для снисходительной острастки. А можно было расценить это и так, как я, каюсь, расценил в ту минуту — что это жест добродушной зависти. Я ведь знал, как этот человек охоч до новых необычных впечатлений.

Мы отправились в церковь как обычно — подземным ходом. Я шагал как можно шире и старался не глядеть по сторонам, потому что все эти черепа слишком явно напоминали мне, что и сам я прах, и что весьма безрассудна моя плотская гордыня, взыгравшая в ту ночь.

Поднявшись в церковь, мы увидели перед главным алтарем какую-то фигуру. Я подумал, что это по-прежнему Убертин. Но оказалось, что это Алинард, сперва нас не узнавший. Он сказал, что ему плохо спится и поэтому он решил провести ночь в церкви, молясь за пропавшего юношу (чье имя он тоже позабыл). Он молился о его душе, если тот умер, и о плоти, если тот жив и находится где-нибудь в скорби и одиночестве.

«Слишком много мертвецов,— сказал Алинард,— много мертвецов. Но все это предсказано в книге апостола. С первой трубой падет град, со второй — третья часть морей сделается кровью... Третья же труба предвещает, что очень большая звезда, горящая подобно светильнику, падет на третью часть рек и на источники вод. И говорю вам, что для того пропал третий наш брат. Вострепещите и о четвертом, ибо скоро будет поражена третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд — и наступит почти полная тьма».

Когда мы выходили из трансепта, Вильгельм бормотал про себя: а нет ли в словах старика какого-либо полезного смысла?

«Однако,— вмешался я,— в таком случае придется предположить, что некий дьявольский ум, взявши Апокалипсис за указку, подстроил все три смертных случая (если считать, что Беренгар тоже распрощался с жизнью). А между тем нами установлено, что смерть Адельма произошла от его собственных действий».

«Да,— отвечал Вильгельм.— Но тот же самый дьявольский... или попросту больной... ум мог бы воспользоваться гибелью Адельма и подстроить еще две смерти так, чтобы образовался символический ряд. В этом случае Беренгар должен покоиться в реке либо в источнике. Но в стенах аббатства ни реки, ни источника нет, по крайней мере таких, в которых можно утонуть... либо быть утопленным...»

«Тут только баня»,— пробормотал я без всякой задней мысли.

«Адсон! — вскричал Вильгельм.— А ты знаешь, что это идея? Баня!»

«Но там уже смотрели...»

«Я видел, как они смотрели. Сегодня, когда был объявлен розыск, служки приоткрыли дверь купальни и заглянули туда, но обшаривать помещение не стали, потому что не думали, что следует искать что-то далеко запрятанное. Ожидалось, что труп расположен где-нибудь самым театральным образом, как труп Венация в бочке с кровью... Пойдем посмотрим в купальне. Хотя темно... Но, кажется, наш фонарь еще усердно светит».

Так мы и сделали. Купальни находились за больницей. Открыть дверь не стоило труда. Разделенные широкими плотными занавесями, там стояли ванны, не помню сколько. Монахам они служили для мытья по тем дням, по которым это предписывалось правилом, а Северину — для лечебных надобностей, ибо ничто не успокаивает тело и дух лучше, чем ванна. В углу была печь для подогрева воды. На

поду печи мы заметили свежую золу, а перед печью валялся большой перевернутый котел. Воду здесь брали в другом углу — там прямо из стены била струйка.

Мы заглянули в ванны. Те, что ближе к двери, были пусты. Только в последней, задернутой плотной занавесью, была вода. Рядом темнела куча сложенной одежды. На первый взгляд, в тусклом свете нашего фонаря, поверхность воды казалась спокойной. Но, повернув луч света внутрь ванны, мы увидели на дне ее безжизненное голое тело. Мы осторожно извлекли мертвого. Это был Беренгар. Вот у этого, сказал Вильгельм, действительно лицо утопленника. Он весь раздулся, белое безволосое разбухшее тело казалось женским — если бы не бесстыдно повисший вялый уд. Я зарделся, потом ощутил дрожь. И осенил себя крестным знамением, в то время как Вильгельм благословлял труп.

День четвертый

Четвертого дня
ХВАЛИТНЫ,

где Вильгельм и Северин осматривают тело Беренгара,
и язык оказывается черным,
что необычно для утопленника;
потом идет диспут об опаснейших ядах
и рассказ о давней пропаже

Не стану тратить время и описывать, как известили Аббата, как весь монастырь был на ногах до канонического часа, как звучали повсюду крики ужаса, как отчаяние и страх читались на лице каждого монаха, как новость облетела всех поселян в той долине и служки крестились и бормотали заклятия. Не знаю, состоялась ли в этот день положенная первая служба и кто на ней присутствовал. Я отправился за Вильгельмом и Северином, которые приказали завернуть тело Беренгара и перенести его на большой стол в лечебнице.

Выпроводив Аббата и монахов, травщик и мой учитель долго осматривали труп с невозмутимостью, присущей людям медицины.

«Утонул,— сказал Северин.— Вне всякого сомнения. Лицо раздутое, живот напряженный».

«Притом утонул сам собою,— дополнил Вильгельм.— В противном случае вокруг ванны обнаружились бы брызги воды. Однако все было чисто и прибрано, как будто Беренгар сам нагрел себе воду, сам наполнил ванну и улегся в нее по собственной воле».

«Это меня не удивляет,— отвечал Северин.— Беренгар страдал судорогами, и я сам неоднократно говорил ему, что теплые ванны прекрасно унимают волнения тела и души. Он много раз обращался ко мне за позволением принять ванну. Возможно, и сегодня ночью ему стало нехорошо, и он захотел...»

«Прошлой ночью,— перебил его Вильгельм.— Ибо, как ты можешь видеть, это тело находилось в воде не менее суток».

«Да, наверное, прошлой ночью»,— согласился Северин. Вильгельм вкратце описал ему события позавчерашней ночи, не упоминая, что мы без спросу побывали в библиотеке, и опустив многие другие обстоятельства. Он просто рассказал, что мы преследовали таинственного незнакомца, унесшего у нас книгу. Северин, должно быть, понял, что Вильгельм открывает ему только часть правды, но не стал задавать вопросов. Он лишь заметил, что если таинственный похититель и вправду Беренгар — для него было вполне естественно после нервной встряски прибегнуть к успокоительной ванне. Беренгар, добавил лекарь, был очень чувствительного сложения. Неприятности и волнения обычно приводили к приступам, он весь дрожал, обливался хо-

лодным потом, выкатывал глаза и валился на землю, изрыгая беловатую пену.

«Тем не менее,— сказал Вильгельм,— сначала он должен был побывать где-то в другом месте. Потому что в купальнях нет и следа унесенной им книги».

«Да,— с некоторой гордостью подтвердил я.— Я посмотрел и под кучей его одежды, там, у ванны. Все перетряс, но не нашел. Вещь не маленькая. В купальне ее нет, это точно».

«Молодец,— улыбнулся мне Вильгельм.— Значит, он заходил еще куда-то, а затем, то ли действительно пытаясь унять возбуждение, то ли чтоб скрыться от нашей погони, пробрался в купальни и залез в воду. Северин, как ты думаешь, мог с ним от болезни случиться такой сильный приступ, чтобы потерять сознание и утонуть?»

«Все возможно,— неуверенно сказал Северин.— С другой стороны, за эти полтора суток вода вокруг ванны могла и высохнуть. Может быть, все-таки он сопротивлялся? Почему исключается вероятность насильственной смерти?»

«Исключается,— сказал Вильгельм.— Где это видано, чтобы жертва, прежде чем ее утопят, самостоятельно разделась?» Северин пожал плечами в знак, что этот аргумент его не убеждает. Молча, задумчиво разглядывал он ладонь мертвеца и наконец сказал:

«Странное дело».

«Что?»

«Вчера, осматривая труп Венанция, когда всю кровь смыли, я заметил одну вещь, но не придал ей значения. Подушечки двух пальцев на правой руке Венанция имели темный цвет, как будто от какого-то коричневого красителя. Это выглядело точно так же, как сейчас — видишь? — у Беренгара. Кроме того, здесь еще незначительные следы на третьем пальце... Вчера я подумал, что Венанций измазал руки чернилами в скриптории». (...)

Вильгельм надолго застыл, размышляя. Потом попросил Северина открыть мертвецу рот и обследовать язык. Северин, явно заинтересовавшись, взял тонкую лопаточку — свой медицинский инструмент,— заглянул в рот трупа и в изумлении вскричал: «Язык черного цвета!»

«Понятно,— промычал Вильгельм.— Он взял яд пальцами, положил в рот и проглотил. Значит, исключаются все перечисленные тобою яды, впитывающиеся через кожу. Но от этого нам не легче. Теперь исходим из того, что и он и Венанций действовали добровольно, разумно и погибли не от рассеянности, не от беспечности... Оба они что-то брали руками и сами подносили ко рту. Видимо, сознавая, что делают...»

«Еду? Питье?»

«Может быть. А может быть... Кто знает? Музыкальный инструмент... Вроде флейты...»

«Абсурд»,— сказал Северин.

«Ну конечно, абсурд. Однако нельзя пренебрегать ни одной гипотезой, сколь бы нелепой она ни была... Теперь попытаемся распознать отравляющее вещество. Скажи-ка... В случае если бы кто-нибудь не хуже тебя сведущий в ядах пробрался в эту комнату и воспользовался твоими порошками, мог бы он состряпать отраву, оставляющую именно такие следы на пальцах и языке? И поражающую организм через полость рта?»

«Мог бы,— кивнул Северин.— Только кто? И вдобавок, даже если принять эту версию,— каким образом он принудил наших бедных собратьев проглотить яд?»

Честно говоря, я тоже не мог себе представить, с чего бы вдруг Венанций или Беренгар дали себя уговорить и приняли от кого-либо подозрительную пищу или питье. Но Вильгельма этот вопрос, видимо, не волновал. «Это попробуем объяснить после,— сказал он.— А пока постарайся припомнить что-нибудь такое, что до сих пор тебе в голо-

ву не приходило... Ну, не знаю... К примеру — что кто-то особенно настойчиво расспрашивал тебя о травах, что кто-то вхож к тебе в лабораторию...»

«Погоди,— сказал Северин.— Довольно давно, то есть несколько лет назад, у меня хранилось весьма ядовитое снадобье. Его оставил один собрат, отбывавший в дальние края. Он сам не знал, из чего сварено это зелье... Разумеется, из трав, но из каких именно — неизвестно. Это была липкая желтоватая мазь. Он предупредил, что касаться ее ни в коем случае нельзя, так как самое ничтожное ее количество, попав на губы, очень быстро убивает человека. Собрат сказал, что малейшие дозы этого вещества вызывают в первые же полчаса чувство сильного изнеможения, а затем — паралич всех членов и, как следствие, смерть. С собой он такую опасную смесь брать боялся и доверил мне. Я долго хранил ее на полке — все собирался исследовать. Но однажды над нашей долиной разразился ураган. Один из моих помощников, послушник, оставил не запертой дверь лечебницы, и бурный ветер разгромил всю эту комнату, в которой мы сейчас находимся... Были разбиты все банки, все зелья разлиты по полу, все травы и порошки рассыпаны. Я целый день потратил, чтоб расставить все на места, а помощников допускал только подбирать черепки и мести пол. Расставив все, я обнаружил, что пропала одна посудина — вот эта самая, о которой я рассказываю. Сначала я заподозрил неладное, но потом убедил себя, что она, должно быть, разбилась и была выметена вместе с мусором. Я приказал хорошенько вымыть пол и протереть все полки...»

«А перед ураганом склянка была на месте?»

«Да... вернее, не знаю. Сейчас, когда я пробую восстановить события... Она была за горшками, далеко упрятана, и я не каждый день смотрел...»

«Как, на твой взгляд... Можно ли допустить, что она была украдена задолго до урагана, а ты об этом не знал?»

«Теперь, рассуждая вместе с тобой, я могу сказать — несомненно».

«И могло ли быть так, что этот твой послушник взял склянку, а потом, воспользовавшись случаем, нарочно не запер дверь, чтобы ураган переколотил все твое хозяйство?»

Северин, по виду судя, очень разволновался. «Конечно, могло! Да я вот и думал... Размышляя обо всем этом, я поражался, что ураган — какой бы он ни был сильный — разбросал и испортил столько вещей. Я вполне имел основания утверждать, что кто-то под прикрытием урагана разгромил мою лабораторию Наделал больше вреда, чем самая сильная буря».

«Как зовут послушника?»

«Августин. Но он погиб в прошлом году, упал с мостков, когда помогал другим монахам и служкам чистить лепнину на фасаде церкви... А с другой стороны, опять же если припомнить... Он клялся и божился, что дверь открытой не оставлял. Я же в ярости объявил его виновником всей истории... А может быть, он был действительно ни при чем...»

«Тогда возникает третье лицо. Некто, надо думать, гораздо более опытный, чем этот маленький послушник, и прознавший о твоей отраве. Кому ты о ней рассказывал?»

«Точно вспомнить сейчас не могу. Аббату, естественно. Я обращался к нему за разрешением содержать особо опасное вещество. И еще кому-то. Кажется, именно в библиотеке, когда мне понадобились гербарии, чтобы выяснить кое-что относительно этого яда...»

«Но ты ведь говорил, что держишь все нужные книги при мастерской?»

«Да, довольно много,— отвечал Северин, указывая на угол комнаты, где находились полки с десятками томов.— Но тогда мне понадо-

бились такие справочники, которых я здесь держать не могу. Даже чтобы просмотреть их в библиотеке, мне пришлось сражаться с Малахией, тот послал меня к Аббату за разрешением...— тут он понизил голос, как будто желал скрыть сообщаемое даже от меня.— Знаешь, в каком-то тайнике библиотеки хранятся труды по некромантии, черной магии, рецепты дьявольских зелий... Мне принесли несколько таких книг — поскольку я смог обосновать свой запрос — и я искал в них описание этого яда и его свойств. Но безрезультатно».

«Значит, ты рассказал Малахии».

«Конечно. Ему-то я прежде всего рассказал. А также слышал, надо полагать, и этот вот, Беренгар, состоявший при Малахии в помощниках. Но не спеши с выводами. Я плохо помню. Может быть, разговор слышали и другие монахи. Знаешь, в скриптории бывает очень людно...»

«Пока что я никого не подозреваю. Я только пытаюсь понять, что же могло случиться. Как бы то ни было, по твоим словам, яд пропал очень давно. Это не часто бывает, чтобы яд похищали настолько заблаговременно, а в дело пускали через столько лет. Это означало бы, что злодейский умысел зародился еще тогда, и все эти годы в тени вызревало коварное преступление...»

Северин перекрестился. На лице его был написан ужас. «Господи спаси нас всех и помилуй!» — воскликнул он.

Других комментариев не было. Мы укрыли тело Беренгара и оставили на столе, чтобы его приготовили к погребению.

Четвертого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,

где Вильгельм вынуждает сперва Сальватора,
а затем келаря припомнить прошлое,
Северин находит украденные очки,
Николай приносит еще одни
и шестиглазый Вильгельм удаляется
разбирать выписки Венанция

В дверях мы столкнулись с Малахией. Он был явно недоволен, увидев нас, и повернулся уходить. Но Северин окликнул его из комнаты: «Ты ко мне? По поводу...» И тут же смолк, взглянув на нас. Малахия неуловимым жестом велел ему подождать, пока мы выйдем. Мы двинулись наружу, Малахия вовнутрь, и все трое поравнялись в дверном проеме. Вдруг Малахия обратился к нам, хотя мы его ни о чем не спрашивали.

«Мне нужен брат травщик... У меня... У меня голова заболела».

«Это от спертого воздуха библиотеки,— ответил Вильгельм тоном самого заботливого сочувствия.— Попробуйте окуривания...»

Малахия шевельнул ртом, как будто собравшись что-то еще сказать, но передумал, наклонил голову и прошел в комнату, а мы удалились.

«Чего ему надо от Северина?» — спросил я.

«Адсон,— раздраженно ответил учитель,— привыкай думать своей головой». И заговорил о другом: «Нужно срочно кой-кого допросить. Надеюсь по крайней мере,— добавил он, шаря взглядом по подворью,— что они еще живы. Да, кстати. С этой минуты обращаем внимание на то, что едим и пьем. Бери пищу всегда с общего блюда. Пей только из той посуды, из которой уже пили другие. После Беренгара здесь мы с тобой знаем больше всех. Не считая, само собой, убийцы».

«Но кого же сейчас допрашивать?»

«Адсон,— сказал на это Вильгельм,— ты, надо полагать, заметил, что в этом монастыре самое интересное происходит по ночам. По ночам умирают, по ночам ходят в скрипторий, по ночам водят женщин

из поселка... Существует аббатство дневное и аббатство ночное. И ночное, как это ни прискорбно, намного интереснее. Следовательно, и каждый, кто тут разгуливает ночью, для нас весьма интересен. В частности, например, тот монах, которого ты застал вчера с девицей. Возможно, история с девицей не имеет отношения к истории с ядом. А возможно, имеет самое прямое отношение. В любом случае я убежден, что вчерашний мужчина — именно тот человек, которому недурно известна ночная жизнь этого святого места. А вот и он — зверь на ловца».

Он указал на Сальватора, который как раз в этот миг заметил нас. Он явственно замедлил шаг, колеблясь и раздумывая, как бы нас обогнуть, чтоб не встретиться. Это продолжалось несколько мгновений. Затем, убедившись, что увернуться не удастся, он снова ускорил шаг и двинулся прямо на нас. На лице его появилась широчайшая улыбка, и он самым сладким голосом гнусавил «благословите!» Но мой учитель даже рта ему не дал раскрыть и заговорил сам, причем очень резко.

«Знаешь, что завтра явится инквизиция?» — спросил он.

Сальватора это сообщение, по-видимому, не обрадовало. Севшим голосом он спросил в ответ: «А мне?»

«А тебе советую выкладывать всю правду сейчас, пока тебя слушаю я, твой друг и такой же минорит, каким был когда-то ты. Не дожидаться, пока за тебя возьмутся те, кто приедет завтра. Как они расспрашивают — ты хорошо знаешь».

Захваченный так врасплох, Сальватор, казалось, прекратил всякое сопротивление. Он подобострастно взглянул на Вильгельма, явно готовый ответить на любые вопросы.

«Ночью в кухне была женщина. Кто был с ней?»

«Ой, женщина продажная подобно товару, никакого нет в ней проку, сеет смуту, свару...»

«Я не спрашиваю, порядочная ли она девушка. Я спрашиваю, кто был с ней!»

«Женщины преподлые хитрые созданья... Днем и ночью думают, как надуть мужчину...»

Вильгельм сгреб его за грудь: «Кто с ней был, ты или келарь?»

Сальватор понял, что дальше вилять невозможно. И начал запутанный рассказ, из которого мы с трудом разобрали, что он, выслуживаясь перед келарем, поставлял ему деревенских девушек, приводил их по ночам в монастырь через лазы в крепостной стене, указать которые не захотел. Однако клялся с пеной у рта, что действовал совершенно бескорыстно. И не скрывал смехотворного огорчения из-за того, что никак ему не удавалось урвать что-нибудь и для себя. К примеру, чтоб девицы, удовольствовав келаря, не отказали бы и ему, Сальватору... Излагая все это, он противно, сально подхихикивал и подмигивал, как будто желая показать, что это — разговор настоящих мужчин, приверженных одним и тем же мелким шалостям. Он нагло косился на меня, а я не мог его приструнить, потому что сознавал, что повязан с ним общей тайной, что я — его сообщник, такой же грешник.

Вильгельм решил идти напролом. «А с Ремигием ты познакомился до того как попал к Дольчину или после?» — перебил он Сальватора. И тот рухнул на колени, в слезах умоляя не губить его и спасти от инквизиции. Вильгельм торжественно поклялся никому не рассказывать о том, что сейчас услышит, и Сальватор без колебаний выложил нам всю подноготную отца келаря. Они узнали друг друга на Лысом Утесе, вместе состояли в банде Дольчина, вместе бежали оттуда и укрылись в Казальском монастыре, вместе перебрались к клюнийцам. Из шепелявого рта Сальватора лезли мольбы о прощении. Было ясно, что от него ничего больше не добьешься. Вильгельм решил, что имеет смысл

немедленно заняться Ремигием, и отпустил Сальватора, который поспешил укрыться в церкви.

Келаря мы нашли на другом конце подворья, перед закромами. Он рядился с какими-то поселянами. Посмотрев на нас с опаской, он сделал вид, будто очень занят. Но Вильгельм настоял на том, чтоб Ремигий бросил все дела и отошел с нами побеседовать. До сих пор мы почти не сталкивались с этим человеком: он был обходителен, мы были вежливы — этим все исчерпывалось. Но на сей раз Вильгельм обратился к нему как к своему собрату, питомцу одного с ним ордена. Келаря, похоже, эта перемена тона еще больше насторожила. Во всяком случае, он с первых же слов проявил крайнюю сдержанность.

«Должность, наверное, часто вынуждает тебя бодрствовать и хлопотать по аббатству в те часы, когда другие спят?» — спросил Вильгельм.

«Как когда,— отвечал Ремигий.— Бывает, что накапливается много мелких дел и я вынужден жертвовать часочком-другим сна».

«Не приходилось ли тебе при этом случайно замечать что-нибудь такое, что позволило бы установить, кто из монахов, не имея на то позволения, появляется ночью в кухне, скриптории и библиотеке?»

«Если бы я что-то подобное заметил, я доложил бы Аббату».

«Это верно,— согласился Вильгельм и внезапно переменил разговор: — Деревня в долине небогатая, верно?»

«Не знаю как ответить,— сказал Ремигий.— Там живут монастырские крестьяне. Они целиком зависят от аббатства и в урожайные годы разделяют наше благополучие. К примеру, в Иоаннов день намедни они получили двенадцать модиев солода, коня, семерых волов, буйвола, четырех нетелей, пятерых бычков, двадцать овец, пятнадцать свиней, пятьдесят куриц и семнадцать ульев. Кроме того, двадцать копченых поросят, двадцать семь кругов сала, полмеры меду, три меры мыла, рыбацкий невод...»

«Хорошо, хорошо,— перебил его Вильгельм.— Все это, как ты понимаешь, мало о чем говорит. Я не знаю, что за деревня, сколько в ней крестьян пользуется пребендой и каковы земельные наделы у остальных...»

«Ах, насчет этого,— сказал Ремигий.— Средняя семья у них владеет участком до пятидесяти долей земли».

«А доля — это сколько?»

«Разумеется, четыре квадратных линии».

«Что такое квадратная линия?»

«Тридцать шесть квадратных шагов в каждой квадратной линии. Или, если угодно — восемьсот линейных линий образуют пьемонтскую милю. Достаточно сказать, что каждая семья, владеющая участком на северном склоне, может каждый год иметь со своих олив до получетверти масла».

«Полчетверти?»

«Да. В четверти пять ведер. В ведре восемь гарнцев».

«Все ясно,— обескураженно сказал Вильгельм.— В каждой деревне свои мерки. Вот, скажем, вино вы меряете на бутыли?»

«Или на кувшины. Шесть кувшинов — чан, восемь чанов — бочонок. А можно мерить и так: в чане шесть пинт, в каждой по две чары».

«Теперь все ясно»,— ответил Вильгельм и усмехнулся.

«Ты еще что-то хотел узнать?» — в голосе Ремигия звучал, по-моему, явный вызов.

«Хотел. Я не случайно спрашиваю о довольствии здешних крестьян. Сегодня утром в библиотеке я размышлял над „Проповедями для женского пола" Умберта Романского, и в частности над главой „О неимущих поселянках". Там сказано, что они сильнее других подвержены плотским грехам, по причине бедственного состояния, и среди прочего подробно изложено, что „грешат они тяжко, любодей-

ствуя с мирянами, весьма тяжко, отдаваясь клирикам, причастным святых тайн, и смертно, смертно грешат, сходясь с иноками, умершими для мира". Тебе лучше моего известно, что в таких богоспасаемых местах, каковы монастыри, искушения беса полуденного имеются всегда. Вот я и предполагаю, что ты, часто сносясь с жителями местных деревень, не мог бы не заметить, если бы кто-либо из монахов, Господи упаси и помилуй, стал склонять поселянок к грехопадению».

Хотя мой учитель выговорил эти слова самым равнодушным голосом, читающий, вероятно, уже догадался, какое впечатление они произвели на бедного келаря. Не могу определенно утверждать, что он побледнел, но я настолько был уверен, что он побледнеет, что он и вправду показался мне побледневшим.

«О подобных вещах я если бы и узнал — сразу же сообщил бы Аббату,— нерешительно отвечал он.— И все-таки, сознавая, что любое сведение полезно для твоего разыскания, я не умолчу ни о чем из того, что вижу по ночам... В ту ночь, когда погиб Адельм, я шел по нашему подворью... это все из-за курятника... понимаешь, возникли слухи, будто кто-то из холопов по ночам ворует куриц... Так вот, той ночью я шел и неожиданно увидел — увидел издалека, так что клясться ни в чем не стану — Беренгара, который возвращался в почивальню откуда-то из-за угла хора. Он шел вроде бы от Храмины. Я ничему не удивился, так как братия давно злословила о Беренгаре. Ты, наверно, уже слышал...»

«Я ничего не слышал, рассказывай».

«Ну... как бы это выразить... Беренгара подозревали в неких склонностях... предосудительных для монаха...»

«Ты намекаешь, что у него были связи с деревенскими девушками? Я тебя как раз расспрашивал...»

Келарь смешался и закашлялся, а затем возразил с мерзкой ухмылкой: «Да нет... Еще более непозволительные страсти...»

«А что, монах, который плотски услаждается с крепостными поселянками, утоляет позволительную страсть?»

«Я этого не говорил. Но ты сам только что отметил, что существует иерархия преступлений, как существует иерархия добродетелей. Плоти свойственны искушения, так сказать, природные... И противоприродные...»

«То есть ты хочешь сказать, что Беренгар испытывал плотское тяготение к лицам одного с ним пола?»

«Я хочу сказать, что так о нем говорили... Все, что я тебе сообщил, это доказательство моей искренности и доброй воли».

«За это я благодарен. И согласен с тобой, что содомия — тягчайший из плотских грехов... Которые, впрочем, я не любитель расследовать...»

«Да это мелочи, мелочи, даже если подтвердится»,— философски произнес келарь.

«Мелочи, Ремигий. Все мы не без греха. И я никогда не стану искать соломинку в глазу ближнего — слишком опасаюсь, что в моем-то глазу целое бревно. Но я буду благодарен, если о любых замеченных бревнах впредь ты станешь докладывать мне. Таким манером мы сможем опереться на крепкую, надежную древесину — а соломинки пускай летают себе по воздуху... Сколько, ты говоришь, в одной линии?»

«Тридцать шесть квадратных шагов. Впредь не беспокойся. За любыми точными сведениями обращайся ко мне. Считай, что обрел верного друга».

«Так я и думал о тебе,— спокойно продолжил Вильгельм.— Убертин сказал, что некогда ты принадлежал к моему ордену. Я ни за что не выдал бы прежнего собрата, особенно в такую пору, когда ожидается прибытие папской делегации, возглавляемой великим ин-

квизитором, который прославился тем, что сжег множество дольчиниан. Так ты говоришь, что в линии тридцать шесть шагов?»

Кем-кем, а дураком келарь не был. Он понял, что игра в кошки-мышки себя исчерпала — тем более что, по всему судя, мышкой выходил он.

«Брат Вильгельм,— сказал келарь.— Вижу, тебе известно больше, чем я предполагал. Не выдавай меня, и я тебя не подведу. Все это верно: я — бедный раб своего тела, бессильный перед соблазнами плоти. По словам Сальватора, не то ты, не то твой парень застукали их вчера на кухне. Ты много странствовал, Вильгельм, и знаешь, что даже авиньонские кардиналы — не образчики добродетели. Я понимаю, что не моими мелкими и презренными грешками ты сейчас озабочен. Но вижу также, что ты кое-что разузнал и о моих делах. У меня странная судьба. Такая же судьба выпала многим нашим братьям-миноритам. Когда-то давно я уверовал в святую Бедность и покинул общину, дабы предаться бродячей жизни. Я поверил в проповедь Дольчина — как поверили многие окружавшие меня... Я необразованный человек. Я рукоположен, но едва помню мессу. В богословии не смыслю. И даже, наверное, неспособен всей душою служить идее... Смотри: когда-то я пытался бороться против господ, сейчас я им прислуживаю. И подчиняюсь воле господина этой земли, помыкая себе подобными... Бороться или стать предателем — невелик выбор у нас, простецов...»

«Иногда простецы понимают больше, нежели ученые»,— сказал Вильгельм.

«Возможно,— ответил келарь, пожимая плечами.— Но я не могу понять даже ради чего я делал то, что делал тогда. Видишь ли, в случае с Сальватором все вполне объяснимо. Он из крепостных, его детство — убожество, голодный мор... Дольчин для него олицетворял борьбу, уничтожение власти господ... Но у меня-то все было иначе! Мои родители — горожане, голода я не видел! Для меня это было вроде... не знаю как сказать... Что-то похожее на громадный праздник, на карнавал. У Дольчина на горах, пока мы не начали есть мясо товарищей, погибших в схватке... Пока от голода не перемерло столько, что стало уже и не съесть, и мы сбрасывали трупы с откосов Ребелло на потраву стервятникам и волкам... А может быть, даже и тогда... мы дышали воздухом... как бы сказать? Свободы. До тех пор я не ведал, что такое свобода. Проповедники сказали: „Истина даст вам свободу". И мы превратились в свободных и считали, что это и есть истина. Считали, что все, что мы делаем — справедливо...»

«И там вы привыкли... свободно соединяться с женщинами?» — вырвалось у меня, сам не знаю как. Дело в том, что с ночи я не мог отделаться от рассказов Убертина, и от того, что я прочел в скриптории, и от того, что случилось впоследствии. Вильгельм покосился на меня с интересом — наверное, не ожидал, что я окажусь таким наглецом и бесстыдником. А келарь оглядел меня, как диковинное животное.

«На Ребелло,— сказал он наконец,— были люди, которые все детство ночевали вдесятером и даже еще большими семьями в крошечных комнатушках в несколько локтей. Братья с сестрами, отцы с дочерьми. Что же нового могло для них открыться там, на горе? Они просто совершали теперь по свободному выбору то же, что ранее — по необходимости. И потом... Ночами, когда каждый миг ждешь вражеского нападения и, лежа на земле, все крепче прижимаешься к товарищу и делишь с ним тепло... Вы говорите — еретик. Вы, затворники, чья жизнь начинается в замке и оканчивается в монастыре, думаете, что еретик — это мировоззрение, внушенное дьяволом. А это просто способ существовать. И это... И это было... что-то необыкновенное! Никаких господ. И Бог, как нам внушали, был за

нас. Я не утверждаю, Вильгельм, что мы были правы. Ты и видишь сейчас меня тут потому, что я довольно быстро покинул тех... Но я никогда не мог понять ваши ученые разговоры о бедности Христа, о необходимости, о собственности, о владении... Говорят тебе, это был буйный карнавал, а на карнавалах все всегда вверх тормашками. Но затем приходит старость. И не делает нас мудрее, а делает жаднее. И теперь вот я — старый обжора... Еретика ты пошлешь на костер. А обжору?»

«Хватит, Ремигий,— прервал Вильгельм.— Я не спрашиваю, что было тогда. Я спрашиваю о том, что сейчас. Помоги мне, и я, конечно, не стану искать твоей гибели. Не могу и не хочу тебя судить. Но ты должен рассказать, что делается в аббатстве — все, что знаешь. Слишком уж много ты тут гуляешь по ночам, чтобы оставаться в стороне. Кто убил Венанция?»

«Клянусь, не знаю. Знаю только, когда и где он умер».

«Когда? Где?»

«Сейчас расскажу. Той ночью, через час после повечерия, я пришел в кухню...»

«Откуда, зачем?»

«С огородов. У меня есть ключ. Кузнец сделал мне его много лет назад. Дверь кухни, выходящая на огороды — единственная дверь Храмины, которая изнутри не закладывается. Что же касается причины... Она не имеет значения. Ты сам сказал, что не станешь преследовать за слабости плоти,— и он смущенно усмехнулся.— Однако не хочу, чтоб ты думал, будто я непрерывно блудодействую. В тот вечер я просто шел за какой-нибудь убоиной, чтобы подарить девушке. Сальватор должен был привести девушку на двор...»

«Через какой вход?»

«Да в стенах монастыря, кроме главных ворот, полно всяких лазов. И Аббат их знает, и я знаю... Но в тот вечер девушку я отправил обратно, я все отменил именно из-за того, что увидел на кухне и о чем сейчас расскажу. Поэтому-то я и хотел, чтоб она пришла вчера вечером. Если бы вы вчера появились чуть позже, застали бы вместо Сальватора — меня. Это Сальватор предупредил меня, что в Храмине люди, и я вернулся в свою келью...»

«Вернемся лучше к ночи с воскресенья на понедельник».

«Хорошо. Я вошел в кухню и увидел на полу Венанция. Мертвого».

«В кухне?»

«Да, возле кадки. Он, наверное, только-только спустился из скриптория».

«Никаких следов борьбы?»

«Никаких. То есть... Рядом с телом валялась разбитая чашка и на полу была разбрызгана вода».

«Откуда ты знаешь, что это была вода?»

«Не знаю. Я решил, что это вода. Что это еще могло быть?»

Как Вильгельм пояснил мне впоследствии, чашка могла означать две различных вещи. Либо кто-то прямо в кухне заставил Венанция выпить смертоносную жидкость, либо несчастный уже был отравлен (только где? когда?) и спустился к кадке, чтобы водой утолить внезапно возникшую жажду, чтоб избавиться от спазма, от боли, выжигавшей ему внутренности пламенем охватившей язык (который, несомненно, так же почернел, как язык Беренгара).

Как бы то ни было, больше ничего от келаря добиться не удалось. Увидев труп и остолбенев, Ремигий стал соображать, что ему делать, и пришел к выводу, что делать не следует ничего. Бежать за помощью — означало открыть, что он в ночные часы разгуливает по Храмине. Усопшему собрату это все равно бы не помогло. Поэтому Ремигий решил оставить все как есть и дожидаться, пока кто

нибудь утром, отперев двери кухни, не обнаружит труп. Он бросился останавливать Сальватора, который уже помогал девушке пробираться через лаз. А потом оба — и он и сообщник — ушли спать, если, конечно, можно назвать сном ту беспокойную дремоту, в которой они промаялись до полунощницы. Утром, когда скотники вбежали к Аббату с горестным известием, Ремигий был уверен, что труп найден именно там, где он его оставил. Узрев же его в бочке крови, он оледенел от ужаса. Кто вынес мертвеца из кухни? Об этом Ремигий не имел ни малейшего представления.

«Единственный, кто имеет право находиться когда угодно в Храмине — Малахия»,— сказал Вильгельм.

На это келарь отвечал с большой горячностью: «Нет! Малахия исключается! То есть я не думаю... В любом случае не мне свидетельствовать против Малахии...»

«Успокойся, чем бы ты ни был обязан Малахии. Он что-то о тебе знает?»

«Да,— покраснев, сказал келарь.— И всегда вел себя как порядочный человек. На твоем месте я последил бы за Бенцием. У него были непонятные связи с Беренгаром и Венанцием. Но больше я ничего не видел, клянусь. Если буду что-нибудь знать — обязательно расскажу».

«Ладно, на этот раз хватит. Я обращусь к тебе, когда понадобится». Келарь с явным облегчением отошел к своим амбарам и принялся распекать холопов, которые тем временем перекидали невесть сколько мешков семян.

В эту минуту появился Северин. В руке он держал вильгельмовы стекла — те самые, украденные позавчера ночью. «Это было в рясе Беренгара,— сказал он.— Я их видел прежде у тебя на носу, когда ты читал в библиотеке. Это твои, правда?»

«Слава всемогущему Господу! — радостно возопил Вильгельм.— Двойная удача! У меня снова читальные стекла, и к тому же я твердо знаю, что именно Беренгар украл их у меня позавчера в скриптории!»

Не успели смолкнуть эти возгласы, как подбежал Николай Моримондский, еще более сияющий, чем Вильгельм. В руке у него была пара готовых, посаженных на оправу читальных стекол.

«Вильгельм,— восклицал он,— я сам их сделал, стекла готовы, надеюсь, они тебе подойдут!» Тут он увидел, что у Вильгельма на носу другая пара стекол, и застыл с открытым ртом.

Вильгельм, не желая его расстраивать, снял старые стекла и примерил новые. «Да эти лучше,— сказал он.— Значит, старые я оставлю про запас, а носить буду твои». Потом он повернулся ко мне: «Адсон, теперь я отправляюсь в свою келью и буду читать известный тебе документ. Наконец-то! Подожди меня где хочешь. И спасибо, спасибо всем вам, дорогие мои собратья».

Пробил третий час, и я отправился в хор читать с прочими монахами гимн, псалмы, стихиры и Kyrie. Все молились за упокой души усопшего Беренгара. Я благодарил Господа за то, что он послал нам даже не одну, а две пары читальных стекол.

От великого умиротворения, позабывши все безобразия, какие привелось и видеть и слышать, я заснул и пробудился только когда служба окончилась. Я вдруг сообразил, что этой ночью не спал ни минуты и вдобавок — подумал я смущенно — истратил очень много телесных сил. С этой мыслью я покинул церковь, удалился на вольный воздух, но мысли все не отрывались от некоего воспоминания — от воспоминания о той девице, что была со мною ночью.

Чтобы отвлечься, я быстрым шагом пересек монастырское подворье. Легонько кружилась голова. Застывшими руками я бил в ладоши. От холода ноги сами собой приплясывали. Дремота ушла еще не окончательно, но в то же время я ощущал себя бодрым и полным жизни. Я не мог понять, что же со мной происходило.

Четвертого дня
ЧАС ТРЕТИЙ,

где Адсон исходит любовными мучениями, потом является Вильгельм со своею запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной

(...) В сказанном расположении духа я дожидался учителя, а тем временем непроизвольно (ноги несли меня сами), как выяснилось, несколько раз обежал аббатство и очутился на том же месте, где мы расстались двумя часами ранее. Там я и увидел наконец Вильгельма, и то, что он сообщил, моментально извлекло меня из задумчивости и снова обратило мои мысли к сумрачным тайнам аббатства.

Вильгельм, похоже, был очень доволен. В руке у него была записка Венанция, наконец-то прочитанная. Мы отправились в его келью, подальше от любопытных ушей, и он перевел мне ее слово в слово. Вслед за строчкой, записанной зодиакальным алфавитом (Secretum finis Africae manus supra idolum age primum et septimum de quatuor), по-гречески было написано следующее:

Ужасный яд дает очищение...
Лучшее оружие против врагов...

Показывай низких и уродливых людей, из недостатков извлекай удовольствие... Не должны умирать... Не в домах царей и властителей, а в сельских хижинах... после обильной пищи и возлияний... приземистые тела, безобразные лица...

Лишают девства, ложатся с блудницами, не злоумышляя, не опасаясь...
Другая истина. Другой образ истины.
Досточтимые фиги.
Бесстыдный камень катится по равнине... на глазах...
Надо обманывать и изумлять обманом, описывать вещи обратно предполагаемому, говорить одно, а подразумевать иное.
Им цикады будут петь сидя на земле.

И все. На мой взгляд, маловато, если не сказать — ничтожно. Это очень походило на бред сумасшедшего, что я и высказал Вильгельму.

«Может статься... Конечно, в моем переводе сумасшествия поприбавилось. Я ведь знаю греческий довольно приблизительно. Кроме того, даже если допустить, что Венанций слабоумен, или что слабоумен сам автор книги, это все равно не объясняет, почему столько людей (не все же они безумны?) тратят столько сил. Одни, чтобы упрятать эту книгу, другие, чтобы до нее добраться».

«А точно ли это выписки из той таинственной книги?»

«Это точно выписки, сделанные Венанцием. Взгляни и можешь убедиться: это не похоже на старинный пергамент. И скорее всего выписки сделаны по ходу чтения книги. Иначе при чем тут греческий язык? Я уверен, что Венанций списывал в сокращенном виде некоторые места сочинения, добытого из предела Африки. Он перенес его в скрипторий и стал читать, отмечая для себя все, что казалось ему важным. Потом что-то случилось. То ли он плохо себя почувствовал, то ли услышал чьи-то шаги. Тогда он укрыл книгу вместе с выписками у себя под столом, вероятно, предполагая вернуться следующей ночью... Как бы то ни было, этот листок — единственное, что нам поможет узнать содержание той таинственной книги, а содержание книги — единственное, что поможет найти убийцу. Потому что в каждом убийстве, совершенном ради обладания предметом, именно этот предмет всегда сообщает... пусть немного, но сообщает о личности убийцы. Если убили за пригоршню золота — значит, пре-

ступник жадный человек. Если убили за книгу — значит, убийца готов любой ценой скрывать заключенные в ней тайны. Следовательно, надо выяснить, что написано в книге, которой у нас нет».

«И вы способны по нескольким строчкам восстановить содержание книги?»

«Милейший Адсон, эти строчки похожи на отрывки сакрального текста, смысл которого гораздо шире, чем буквальное содержание. Прочитав эту запись сразу после разговора с келарем, я был поражен некоторыми схождениями. Тут тоже говорится о простецах и крестьянах как о носителях другой истины, отличной от истины мудрецов. Келарь обмолвился, что существует тайное союзничество между ним и Малахией. А что если Малахия прячет какие-то еретические документы, доверенные ему Ремигием? Это значило бы, что Венанций читал и переписывал секретное воззвание, касающееся сообщества грубых и простых людей, восстающих против всего и вся. Вот только...»

«Что только?»

«Две вещи свидетельствуют против этой версии. Во-первых, Венанция, судя по всему, подобные материи совершенно не интересовали. Он был переводчик греческих текстов, а не глашатай еретических учений... А во-вторых, высказывания насчет фиг, камня и цикад с этой гипотезой не согласуются».

«Тогда, может быть, это загадки со скрытым смыслом? — допытывался я.— Или у вас имеются другие предположения?»

«Имеются. Но пока что смутные. Когда я читал этот листок, меня не покидало чувство, будто я что-то подобное где-то уже читал. Мне даже вспоминались фразы, почти совпадающие с некоторыми из этих. Но я читал их в другом месте... У меня ощущение, будто здесь говорится о чем-то, о чем уже говорилось в последние дни... Но я не могу вспомнить. Надо подумать. Наверное, надо почитать другие книги».

«Как? Чтоб узнать, что сказано в книге, вам нужно читать другие книги?»

«Иногда это помогает. Книги часто рассказывают о других книгах. Иногда невинная книга — это как семя, из которого вдруг вырастает книга опасная. Или наоборот — это сладкий побег от горчайшего корневища. Разве, читая Альберта, ты не можешь представить себе, что говорилось у Фомы? А читая Фому — представить себе, о чем писал Аверроэс?»

«Точно, точно!» — с восхищением отозвался я. До этой минуты я был совершенно уверен, что во всякой книге говорится о своем, либо о божественном, либо о мирском, но — всегда о своем и всегда о том, что находится вне книг. А теперь благодаря Вильгельму я увидел, что нередко одни книги говорят о других книгах, а иногда они как будто говорят между собой. В свете этих размышлений библиотека показалась мне еще более устрашающей. В ее недрах долгие годы и века стоял таинственный шепот, тек едва уловимый разговор пергаментов, жизнь, скрытая от глаз, в этом приюте могуществ, неподвластных человеческому разумению, в этой сокровищнице, где тайны, взлелеянные многими умами, спокойно пережили всех — и тех, кто их открыл, и тех, кто повторял вслед за открывателями.

«Но раз так,— сказал я,— какой смысл прятать книги? Если по тем, что позволены, легко восстановить те, что запретны?»

«Применительно к столетиям — это лишено всякого смысла. Применительно к годам и дням — кое-какой смысл есть. Видишь же, как они сумели нас запутать».

«Значит, библиотеки не распространяют истину, а замедляют ее продвижение?» — изумленно спросил я.

«Не всегда и не обязательно. Но в данном случае — да».

Четвертого дня
ЧАС ШЕСТЫЙ,

где Адсон отправляется за трюфелями,
а возвращается с миноритами,
и те держат с Вильгельмом и Убертином совет,
на котором много неутешительного говорится
об Иоанне XXII

(...) Воздух этого утра был светло-серый и даже белый, как молоко, и горизонта не было видно, хотя некоторые ущелья просматривались до дна. Но все эти воспоминания, любезнейший читатель, слишком слабо связаны с ходом расследования, которое нас занимает. Поэтому не стану описывать, как продвигался сбор подземных грибов. Лучше расскажу о появлении делегации братьев-миноритов, которую я заметил раньше всех и бросился в монастырь предупредить Вильгельма.

Учитель выждал, пока новоприбывшие вступят на монастырский двор и к ним, по заведенному правилу, обратится с приветствием Аббат. Потом и сам подошел к гостям, и настал черед братских объятий и радостных восклицаний.

Час трапезы уже миновал, но путникам накрыли особый стол. Аббат имел деликатность оставить их с Вильгельмом наедине, чтобы они, не обинуясь бенедиктинским правилом молчания, могли спокойно есть и в то же время толковать о своих делах, тем более что эта беседа, да простит меня Всевышний за дерзостное сравнение, более всего напоминала военный совет, и вдобавок спешный, поскольку с минуты на минуту мог нагрянуть враг, то есть авиньонская делегация.

Нечего и говорить, что прежде всего францисканцы кинулись к Убертину и приветствовали его с радостью, изумлением и бесконечной почтительностью — сообразно и долгому его отсутствию, и грозившим ему опасностям, и величию духа этого борца, который всю жизнь упорно вел свою бесконечную битву.

О членах посольства в отдельности я расскажу чуть позже, описывая всеобщий сход, состоявшийся на следующий день. Тогда же я и двух слов ни с кем не сказал, и рассмотреть никого толком не успел, настолько был захвачен совещанием троих главнейших: Вильгельма, Убертина и Михаила Цезенского.

Михаил с первого взгляда показался мне необычным человеком. Во всем, что касалось дела Св. Франциска, он был горяч до дрожи; у него появлялись движения, строй речи Убертина, охваченного мистическим экстазом; в делах земных, природных он был крайне прост, полон жизни — истый романец, ценитель хорошего стола и друг своих друзей; и он же становился хитроумен и уклончив, превращался то в осторожную и лукавую лисицу, то в тупого сонного крота, как только затрагивались вопросы отношений с властями. Он был способен и на уморительные шутки, и на яростные ссоры, и на красноречивые умолчания; и он всегда прятал глаза, чтобы не отвечать на прямой вопрос собеседника, и напускной рассеянностью, беспечностью маскировал отказ от ответа.

На предыдущих листах я уже сообщал кое-что о нем, но тогда это было с чужих слов, вдобавок со слов людей, которые большей частью сами говорили понаслышке. Теперь же, видя его воочию, я лучше понимал и многие противоречия его поведения, и внезапные повороты политики, которыми в последние годы немало раз он озадачивал друзей и соратников. Министр-генерал ордена миноритов, он по идее являлся наследником Св. Франциска, фактически — наследником его преемников. В святости и справедливости ему приходилось состязаться с таким предшественником, как Бонавентура из Баньореджо. Он должен был обеспечить полное уважение к уставу ордена — и в то же время как-то поддерживать его благосостояние,

могущество и силу. Он обязан был прислушиваться ко всему, что говорят при дворах и в городских магистратах, так как именно оттуда орден получал, пускай под видом милостыни, взносы и пожертвования — залог его дальнейшего безбедного и даже богатого существования. В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно, чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден, и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в скопление еретических банд. Он был обязан нравиться папе, императору, братьям бедной жизни, Св. Франциску, который, конечно же, с небес наблюдал за его поведением, и всем честным христианам, наблюдавшим за ним с земли. Когда Иоанн осудил спиритуалов как еретиков, Михаил без колебаний выдал ему пятерых самых заядлых братьев-провансальцев, предоставив понтифику сжечь этих людей. Однако позднее, осознав (чему не в малой степени способствовала деятельность Убертина), что многие члены ордена сочувствуют поборникам евангельской бедности, он повернул дело так, что спустя четыре года Перуджийский капитул принял требования сожженных. Разумеется, всячески стараясь при этом увязать нововведения, которые могли оказаться и еретическими, с утвержденной доктриной и обычаями ордена, и желательно в таком виде, чтобы все, что желательно ордену, было бы желательно также и папе. Но силясь договориться с папой, без чьего согласия все равно действовать было нельзя, Михаил хотел все-таки сохранить милости императора и имперских теологов. За два года до того дня, когда я его увидел, на генеральном капитуле в Лионе он потребовал от своих собратьев, чтобы имя папы упоминалось всегда смиренно и уважительно (и это через несколько месяцев после того как папа, выступая против миноритов, поносил их «гавканье, блудни и безумства»). А сейчас, несмотря на это, Михаил охотно поддерживал беседу, в которой имя папы склонялось без малейшего оттенка уважения.

Обо всем остальном я уже рассказывал. Иоанн требовал его в Авиньон. Он же и хотел ехать и не хотел. Предполагалось, что завтрашняя встреча определит условия и гарантии путешествия, которое не должно было выглядеть ни походом на поклон, ни (Господи упаси!) наглым вызовом. Вероятно, Михаилу не приводилось прежде лично встречаться с Иоанном, по крайней мере в пребывание того папой. В любом случае понятие о личности папы у него, как всем казалось, было не вполне ясное. И теперь друзья спешили изобразить ему самыми черными красками фигуру этого святокупца.

«Одно ты должен твердо запомнить,— говорил ему Вильгельм,— никаким его словам ни на минуту нельзя верить. Свои клятвы он соблюдает буквально и нарушает по существу». (...)

«Когда его избирали,— вступил Убертин,— он, добиваясь избрания, обещал кардиналу Орсини, что перенесет папский престол в Рим, и клялся на святых мощах, что если не сдержит слова — не ездить ему вовек ни на лошадях, ни на мулах. И до чего же додумалась эта хитрая бестия? Получив все-таки свою тиару в Лионе (против воли короля, требовавшего проводить церемонию в Авиньоне), он добирался из Лиона в Авиньон на лодке!»

Все братья захохотали. Папа был обманщик, это точно, но известного остроумия у него было не отнять.

«Совести у него нет,— продолжал Вильгельм.— Разве Хьюго не рассказывал, как он даже не скрывает своего безверия? Разве ты, Убертин, не передавал братьям, какие слова услышал от него Орсини в первый же день его вселения в Авиньон?»

«А как же,— сказал Убертин.— Он заявил, что под небесами Франции живется преприятно, и он не понимает, с какой стати должен бросать все и ехать в такой убогий, разрушенный город, как Рим. И раз уж папа, подобно апостолу Петру, наделен властью вя-

зать и решить, он намеревается этой властью воспользоваться и остаться там, где он есть и где ему очень хорошо. А когда Орсини заикнулся было, что долг его все же — править с Ватиканского холма, он просто заткнул ему рот, и этим дело кончилось. Но история с обетом имела продолжение. Сойдя с ладьи, он должен был, согласно правилу, оседлать белую кобылу и въехать на ней в резиденцию со свитой кардиналов на черных жеребцах. Такова традиция. А он взял и отправился в епископский дворец пешком. И, по слухам, с этих пор действительно ни разу не садился на лошадь. И от такого человека ты, Михаил, ждешь гарантий своей безопасности?»

Михаил надолго задумался. Потом ответил: «Его соображения насчет местожительства я могу понять. И вмешиваться не собираюсь. Но только он не должен вмешиваться в наши соображения о бедности и в наше истолкование образа жизни Христова».

«Не будь ребенком, Михаил,— возразил Вильгельм.— Ваши... наши соображения о бедности выставляют в крайне неприглядном виде его собственную доктрину. Осознай же наконец, что за многие столетия ни разу не восходило на папский престол более скаредное существо. Блудницы Вавилонские, которых недавно громил наш Убертин, развратные папы, которых поносят твои соплеменники-сочинители, к примеру этот Алигьери,— все они были тихие, кротчайшие овечки в сравнении с Иоанном. Это же сорока-воровка, еврейский ростовщик, в Авиньоне заключается больше сделок, чем во Флоренции!» (...)

«Теперь ты понимаешь,— спросил Убертин,— зачем он издал все эти буллы против бедности? А знаешь, что он подбил доминиканцев, назло нашему ордену, ваять фигуры Христа в царской короне, в пурпурной с золотом тунике и в богатейших сандалиях? А в Авиньоне показывают распятия, где Христос прибит к кресту одной только рукою, а другой держится за кошель, привешенный у него на поясе. Все это ради доказательства, что Он благословляет употребление денег в обиходе святой церкви...

«Ах, бесстыдник! — вскричал Михаил.— Да это же прямое богохульство!» (...)

Один из францисканцев до этих пор не проронил ни слова, поскольку был всецело занят смакованьем отличнейших блюд, поданных гостям по приказанию Аббата. Он вполуха следил за беседой, время от времени саркастически хмыкая по поводу негодного понтифика или одобрительно мыча — по поводу гневных тирад сотрапезников. Более же всего он заботился об очищении своего подбородка от мясного сока и кусочков, которые время от времени вываливались из его беззубого, но прожорливого рта. К соседям он обращался единственно затем, чтобы похвалить какое-нибудь кушанье. Позже я узнал, что это был владыка Иероним, тот самый епископ Каффы, которого Убертин недавно объявил умершим. Должен сказать, что слухи о его смерти, случившейся будто бы за два года до того, ходили среди верующих христиан упорно и сыздавна. И позднее я их тоже слыхал. На самом же деле умер он через несколько месяцев после описываемой встречи, и я до сих пор убежден, что он скончался от великого бешенства, нашедшего на него следующим утром во время богословского диспута, от какового бешенства он вскорости и лопнул, так как был немощен телом и желчен характером.

На этом месте он впервые вмешался в общий разговор и проговорил с набитым ртом: «А знаете ли вы, что этот нечестивец создал целую систему taxae sacrae poenitentiariae [1], и зарабатывает на грехах верующих немалые капиталы? Если священнослужитель совершает плотский грех с монахиней или с родственницей или просто с посторонней женщиной (ибо случается и такое!), он может быть прощен только после того, как уплатит семьдесят семь золотых лир и

[1] Расценок на священное покаяние *(лат.)*.

двенадцать сольдов. За содомию платить приходится более двух сотен лир, но если она совершена только над мальчиками или над животными, но не над женщинами, взыскание сокращается до ста лир. Если монахиня отдавалась нескольким мужчинам как единовременно, так и поочередно, как вне стен монастыря, так и внутри оных, а ныне желает стать аббатисой, пускай платит сто тридцать одну золотую лиру и пятнадцать сольдов».

«Ну уж, владыко Иероним,— не выдержал Убертин,— вам известно, до чего я не люблю папу, но в данном случае придется защитить его! Это все клевета, пущенная кем-то из авиньонцев, и подобного уложения я никогда не видел».

«Нет, это правда,— упрямо твердил Иероним.— Я тоже не видел, но это правда».

Убертин покачал головой, и все умолкли. Я понял, что владыку Иеронима, как правило, никто всерьез не принимает — не зря же Вильгельм накануне охарактеризовал его как кретина. Тем временем Вильгельм пытался связать прерванную беседу: «Правда это или выдумка, в любом случае само появление подобных сплетен свидетельствует о том, каков моральный климат в Авиньоне, где всякий, и притеснитель и притесняемый, сознает, что жизнь его протекает на торговых рядах, а не при дворе наместника Христова. Когда Иоанн взошел на свой престол, считалось, что у него состояние в семьдесят тысяч золотых флоринов, а к нынешнему моменту, судя по всему, он нахапал больше десяти миллионов».

«Это так,— подтвердил Убертин.— Михаил, Михаил, не знаешь ты, какого стыда навидался я в Авиньоне!»

«Постараемся быть честными,— сказал Михаил.— Признáем, что наши также совершали ошибки. Мне сообщали, что францисканцы с оружием брали доминиканские монастыри и раздевали братьев-противников, тем приводя их к бедной жизни. Зная это, я и не решился перечить Иоанну во времена провансальского дела. Я хочу прийти с ним к разумному соглашению. Я не требую, чтоб он смирил свою гордыню. Пусть только не усмиряет нашу тягу к смирению. Я не собираюсь говорить о деньгах. Я только попрошу его дозволить здравое толкование Священного Писания. И в этом же духе нам следует завтра держаться с его легатами. В конце концов они богословски образованные люди. И не все же такие выжиги, как Иоанн. А после того как умные люди выскажутся в поддержку разумного толкования, он уже не сможет...»

(...) Миноритy уговаривались, кому и как следует выступать на следующий день. Одного за другим разбирали они противников. Всех встревожило сообщение Вильгельма о прибытии Бернарда Ги, и еще больше — известие о том, что авиньонское посольство будет возглавлять кардинал Бертран из Поджетто. Два инквизитора — это, можно сказать, было уже некоторое излишество. Это означало, что против миноритов собираются выдвинуть обвинение в ереси.

«Тем хуже,— сказал Вильгельм.— А мы обвиним их самих».

«Нет, нет,— забеспокоился Михаил.— Прежде всего осторожность. Ни в коем случае не повредить идее будущего соглашения».

«Насколько я могу судить,— сказал Вильгельм,— и невзирая на все труды, затраченные мною на подготовку этой встречи... тебе, Михаил, они известны... Словом, я совершенно не верю, что авиньонцы едут сюда за положительным решением. Иоанну ты нужен в Авиньоне один и без гарантий. По-моему, единственный положительный момент встречи — что ты, надо надеяться, сам в этом убедишься. Хуже было бы угодить туда без предварительного опыта».

«Значит, ты истратил столько сил и времени на дело, которое считаешь бесполезным?» — с горечью спросил Михаил.

«Меня просили об этом и ты и император,— ответил Вильгельм.— И в конце концов никогда не бесполезно лучше знать врага».

В это время нам объявили, что в монастырь входит второе посольство. Миноpиты встали из-за стола и двинулись навстречу людям Иоанна.

Четвертого дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ

где появляются кардинал Поджеттский, Бернард Ги и другие авиньонцы, а потом всякий делает что хочет

Люди давно знакомые друг с другом и люди знавшие друг друга только понаслышке — все здоровались во дворе с видом сугубой благожелательности. Возле Аббата стоял кардинал Бертран Поджеттский. Во всем его облике была привычная властность. Он держался так, будто он — второй понтифик, и оделял всех, а миноритов в особенности, самыми сердечными улыбками, оповещая каждого, что полон самых радужных предчувствий насчет завтрашней встречи, и особенно упирая на пожелания мира и блага (он намеренно употреблял это дорогое душе любого францисканца словосочетание), привезенные им от Иоанна XXII.

«Хвалю, хвалю»,— обратился он ко мне, когда Вильгельм оказал мне честь представить как своего писца и ученика. Затем он спросил, видал ли я Болонью, и похвалил красоту этого города, изысканность яств и превосходнейший университет, советуя ехать туда. Все лучше, добавил он, чем возвращаться к моим соотечественникам-немцам, которые причиняют столько огорчений нашему доброму папе. Потом он поднес к моим губам для поцелуя свой перстень, а сам поверх моей головы уже с улыбкой обращался к кому-то другому.

Да и мое внимание уже обратилось на другую особу, о которой я немало успел услышать в последние дни: на Бернарда Ги, как называли его французы, или Бернардо Гвидони, иначе Бернарда Гвидо — как выговаривали в других местах.

Это был доминиканец лет семидесяти, тщедушный, однако прямой как палка. Меня поразили его глаза: серые, ледяные, как будто лишенные выражения. Потом я увидел, что они могут мерцать загадочным неприятным огнем, могут надежно скрывать мысли и страсти, а могут — но только умышленно — выдавать их.

В общем обмене приветствиями Бернард почти не участвовал и не выказывал сердечности и радушия, как другие, а ограничивался соблюдением приличий. Здороваясь с Убертином, с которым они были знакомы, он кивнул вполне учтиво, однако глянул так, что у меня по спине пошли мурашки. Увидев Михаила Цезенского, довольно двусмысленно улыбнулся и тусклым голосом проговорил: «Давно ждем вас в Авиньон» В его словах я не уловил ни нетерпения, ни насмешки, ни злобы — вообще никакого выражения. Потом ему представили Вильгельма. Узнав, кто это, он повел себя вежливо но враждебно. И дело не в том, что на лице его непреднамеренно отразились затаенные чувства — я уверен, что такого вообще не могло быть (хотя не уверен в другом: что у него вообще могли быть чувства). Нет, он безусловно хотел и старался показать Вильгельму свою враждебность. Вильгельм же на его открытую вражду ответил самой широкой, доброжелательной улыбкой и заявил: «Давно мечтал поглядеть на человека, чьи деяния послужили мне примером и уроком и склонили к важным решениям, некоторые из коих переменили всю мою жизнь». Высказывание самое хвалебное и даже льстивое — на усмотрение тех, кому неизвестно (а между тем Бернарду это было известно очень хорошо), что одним из самых важных, переменивших жизнь Вильгельма решений был отказ от инквизиторской службы. Так что встреча этой пары оставила меня в убеждении, что если Вильгельм получил бы наибольшее удовольствие, увидев Бернарда в каком-нибудь каземате под императорским дворцом, для Бернарда не меньшим наслаж-

дением явилось бы зрелище немедленной и желательно жестокой кончины Вильгельма. А так как Бернард имел в подчинении немалое число вооруженных людей, я вздрогнул и серьезно испугался за жизнь учителя.

Судя по всему, Бернард уже успел узнать от Аббата о преступлениях, совершившихся в монастыре. Сделав вид, будто не замечает, каким ядом пропитано приветствие Вильгельма, он заговорил: «По-видимому, на этих днях я по просьбе здешнего аббата и во исполнение долга, взятого на себя при заключении условий настоящей встречи, буду вынужден разбираться в довольно неприятной истории, которая, по моему убеждению, сильно попахивает дьявольщиной. Вам я говорю об этом потому, что знаю: в некие времена мы с вами пребывали на более близких позициях, и вы плечом к плечу со мною и с подобными мне сражались на участке, где шла битва бойцов армии добра с бойцами армии зла».

«Было дело,— безмятежно отозвался Вильгельм.— А потом я перешел на другую сторону».

Бернард достойно выдержал удар. «Вам есть что сказать об этих преступлениях?»

«Нет, к сожалению,— задушевно ответил Вильгельм.— Я ведь не так, как вы, искушен в преступлениях».

Чем кто занимался в дальнейшем, я не знаю. Вильгельм снова посовещался с Михаилом и Убертином а потом пошел в скрипторий. Там он попросил Малахию подобрать ему для занятий несколько книг. Малахия покосился как-то странно, но отказать не посмел. Удивительное дело, но за книгами не пришлось подниматься в библиотеку. Все они, как оказалось, уже были сложены на столике Венанция. Учитель с головой ушел в чтение, и я понял, что беспокоить его не следует.

Я спустился в кухню. Там я застал Бернарда Ги. Видимо, он изучал внутреннее расположение аббатства и в этих целях рыскал повсюду. Я слышал, как он опрашивает поваров и прочих служек, изъясняясь — с большим или меньшим успехом — на местном наречии (тут я припомнил, что он работал инквизитором в Северной Италии). По-моему, он задавал вопросы об урожаях, об организации работ в монастыре. Однако даже при самом невинном разговоре он сверлил собеседника таким пронзительным взглядом, так неожиданно сбивал его с толку новым вопросом, что жертва неминуемо бледнела и путалась. Я понял, что он таким манером — своими особыми приемами — проводит следствие, ловко используя то бесценное оружие, которым располагает и пользуется на следствии каждый инквизитор: чужую запуганность. Ибо любой допрашиваемый, как правило, страшится, что его подозревают, и поэтому говорит следователю именно то, что может навлечь подозрения на другого человека.

До самого вечера, в какой бы части монастыря я ни оказывался, всюду был и Бернард со своими расспросами: и на мельнице, и во дворе собора. Но при этом ни разу он не обратился за сведениями к кому-либо из монахов, а все больше к мирским братьям или крестьянам. Полная противоположность тому, как действовал Вильгельм.

Четвертого дня
ВЕЧЕРНЯ,

где Алинард сообщает,
кажется, важнейшие сведения,
а Вильгельм демонстрирует свой метод
продвижения к проблематичной истине
через последовательность заведомых ошибок

Спустя несколько часов Вильгельм вышел из скриптория в самом веселом расположении духа. Дожидаясь вечери, в монастырском

дворе мы набрели на Алинарда. Помня просьбу старика, я еще накануне запасся в кухне горсточкой бобов и теперь преподнес их ему. Он с благодарностями запихал бобы в беззубый слюнявый рот.

«Ну, видел, юноша? — сказал он мне.— И третий труп находился там, где предуказано книгой. Теперь жди четвертой трубы!»

Я спросил, как он догадался, что ключ к цепи преступлений надо искать в книге откровения. Он удивленно выпучил глаза: «В книге Иоанна ключ ко всему! — И добавил, наморщившись от обиды: — Я знал, я давно предсказывал... Это ведь я, знаешь, присоветовал Аббату... тогдашнему Аббату... собрать как можно больше толкований к Апокалипсису. Я должен был стать библиотекарем... Но другой добился, чтоб его направили в Силос. И там он собрал самые лучшие рукописи и приехал с великолепной добычей... О, он знал, где искать... Знал наречие неверных... И за это ему поручили библиотеку, ему, а не мне... Но Бог наказал его. До времени отправил в страну теней... Ха, ха»,— злобно захихикал старик, который до тех пор, пребывая в тихой старческой расслабленности, казался мне таким же благостным, как невинный младенец.

«Кто это? О ком вы говорите?» — спросил Вильгельм.

Старик тупо глядел на него. «О ком я говорил? Не помню... Это было давно. Но Господь карает, Господь изничтожает, Господь помрачает память... Там, в библиотеке, многое делалось от гордыни... Особенно после того как ею завладели иностранцы. Но Господь карает и сейчас...»

Ничего нового вытянуть из него не удавалось. Мы оставили старика в тихом обиженном полубреду. Вильгельм, судя по всему, сильно заинтересовался этим разговором. Он бормотал себе под нос: «К Алинарду стоит прислушаться. Всякий раз в его словах бывает что-то интересное».

(...) «Так что же,— осмелился спросить я,— вы еще далеки от решения?»

«Я очень близок к решению,— ответил Вильгельм.— Только не знаю, к которому».

«Значит, при решении вопросов вы не приходите к единственному верному ответу?»

«Адсон,— сказал Вильгельм,— если бы я к нему приходил, я давно бы уже преподавал богословие в Париже».

«В Париже всегда находят правильный ответ?»

«Никогда,— сказал Вильгельм.— Но крепко держатся за свои ошибки».

«А вы,— настаивал я с юношеским упрямством,— разве не совершаете ошибок?»

«Сплошь и рядом,— отвечал он.— Однако стараюсь, чтоб их было сразу несколько, иначе становишься рабом одной-единственной».

Тут у меня возникло ощущение, что Вильгельма вообще не интересует истина, которая всегда состоит в единственном тождестве между предметом и понятием. Он же хотел развлекаться, воображая столько возможностей, сколько возможно.

Осознавши это, я, со стыдом признаюсь, разуверился в учителе и поймал себя на мысли: «Хорошо хоть инквизиция вовремя подоспела!» Ибо мною овладела жажда истины — та же, которой одушевлялся Бернард Ги.

В таком-то провинном расположении духа, смущаясь сильнее, нежели Иуда вечером святого четверга, я вошел с Вильгельмом в трапезную и приступил к ужину.

Четвертого дня
ПОВЕЧЕРИЕ,

где Сальватор повествует о любовной ворожбе

Ужин в честь делегации был великолепен. Аббат, по-видимому, превосходно разбирался и в слабостях человеческой породы и в обычаях папского двора (коим не чужды, должен заметить, оказались и минориты брата Михаила). Из крови свежезаколотых свиней, говорил нам повар, предполагалось наделать кровяных колбасок к праздничному столу. Но из-за злополучной гибели Венанция всю свиную кровь пришлось вылить, а новых свиней заколоть не успели. К тому же, по-моему, в эти дни ни у кого не лежала душа к убиению божьих тварей. Однако имелось жаркое из дикой птицы, вымоченной в местном красном вине, поросенок, нашпигованный крольчатиной, хлебцы Св. Клары, рис со здешними миндальными орехами (это еще называется «белым завтраком»), запеканка с огуречной травой, фаршированные оливы, жареный сыр, баранина с острым перечным соусом, белая фасоль и изысканнейшие сласти: пироги Св. Бернарда, пирожные Св. Николая, пончики Св. Люции, а также вина и травяные настойки, которые размягчили даже Бернарда Ги, прежде такого сурового: лимонная настойка, ореховая, настой от подагры и настой горечавки. Все это выглядело бы апофеозом обжорства, когда бы каждый отправляемый в рот кусок не сопровождался богоугодным чтением.

От ужина все поднялись в самом радостном настроении. Многие, оправдываясь легким недомоганием, заявили, что повечерия им не выстоять. Аббат никого не принуждал. Ведь не для всех и те преимущества, и те повинности, коими уснащена жизнь монаха, посвященного в наш орден.

Все вышли, а я задержался, чтобы из любопытства заглянуть в кухню, которую готовили запирать на ночь. И увидел Сальватора, крадущегося, как кот, вдоль огородов, с каким-то тюком под мышкой. Желая узнать, в чем дело, я за ним погнался и окликнул. Он сначала юлил, а потом ответил на расспросы, что в таинственном узле (который извивался, как будто внутри было что-то живое) он несет василиска.

«Бойся василиска! Се царь гадов, полный страшных ядов. Оными плюется! И хуже плевков. Пустит вонь, злостно так — убьет наповал! Брысь, брысь! Отрава! На горбу белый крап, башка петуха, передом стояч, задом ползуч, како всякий змий. Мрет от ласки...»

«Как от ласки?»

«Так! Ласка — невеликий зверь, премилый, ростом малым-мало выше мыши. Мышь от нее в страхе. И змея и жаба. Как укусят ласку — та бежит, где укроп и чина. Их грызет. И снова воевать. Есть кто верит — родится-де из глаза. А другие верят, что сие неверно».

Я спросил, на что ему василиск. Он отвечал, что это его забота. Но меня разобрало любопытство, и я поспешил довести до его сведения, что в подобной обстановке, при стольких неразгаданных убийствах, любая странность в поведении монахов — и моя забота, и что я обязательно обо всем доложу Вильгельму. Тогда Сальватор стал просить меня этого не делать и развязал свой сверток. Там оказался кот черной масти. Затем Сальватор притянул меня поближе и с похабной улыбочкой зашептал прямо в ухо, что ему-де обидно видеть, как один келарь да я, тот — благодаря своим запасам, а я — благодаря молодости и красоте, пользуемся любовью деревенских девушек, а ему, некрасивому и бедному, ничего не достается. И что ему известно, как любовной ворожбою покорить любую женщину. Для этого надо убить черного кота и вырвать у него глаза, и вложить эти глаза в яйца от черной курицы, два глаза — в два яйца (тут он вытащил и предъявил мне куриные яйца, взятые, по его утверждению, именно от черных куриц). Потом яйца должны отлежаться и хорошенько протухнуть под кучей конского навоза (и Сальватор уже приготовил себе такую кучку

в уголку огорода, где никто никогда не бывает). И из яиц народятся, из каждого яйца, по дьяволенку, и оба станут служить, доставляя согласно его желанию любые услады, какие бывают в мире. Но есть одна незадача,— сказал Сальватор,— к величайшему сожалению. Чтобы удалась ворожба, необходимо заставить ту женщину, чьей любви добиваешься, плюнуть на каждое яйцо перед погружением его в навоз. В этом вся сложность,— озабоченно говорил он,— потому что в ночь колдовства под рукой каким-то образом должна оказаться требуемая женщина и исполнить свое дело, не подозревая, для чего это понадобилось.

Тут я почувствовал, как огненное пламя захлестывает мои щеки, опаляет внутренности, горит во всем теле, и еле слышным голосом спросил, приведет ли он сегодня ту же девушку, что приводил вчера. Он же, насмехаясь и глумясь надо мною, ответил, что, по всему судя, у меня жестокая течка (я возразил, я объяснил ему, что спрашиваю из чистого любопытства), а потом добавил, что в деревне полно отличных девушек и что он приведет себе другую, еще красивее, чем та, которая нравится мне. Я, конечно, заподозрил, что он лжет, чтоб от меня избавиться. Но с другой стороны — что я мог поделать? Выслеживать его всю ночь, в то время как Вильгельму я был нужен для совершенно других дел? А если даже речь и шла о ней — мог ли я пытаться увидеть ту, к которой толкало меня вожделение, в то время как рассудок говорил обратное? Ту, которую я не должен был видеть никогда, даже если мечтал только о том, чтобы всегда видеть ее? Нет, нет. Разумеется, нет. И я постарался убедить себя в том, что Сальватор не лжет — хотя бы насчет другой женщины. Или, наоборот, в том, что он вообще лжет, и что все его колдовство — выдумки темной суеверной бестолочи, и что у него ничего не получится.

Я резко с ним обошелся, выругал его и добавил, что сегодня ночью сидел бы он лучше в келье, потому что во дворе шныряют лучники. Но он ответил, что знает все ходы и выходы гораздо лучше, чем эти лучники, и что в таком тумане никто ничего не увидит. Вот так-то, заявил он, сейчас я дам деру, и даже ты меня больше не увидишь, даже если я от тебя в двух шагах буду забавляться с той девчонкой, по которой ты сохнешь. Он выразился иными, еще более грубыми словами. Но смысл был именно этот. Я удалился в великом гневе, поскольку не подобало мне, дворянину и послушнику, тягаться в ругани с подобной сволочью.

Я нашел Вильгельма, и мы приступили к исполнению замысла. То есть во время повечерия, в церкви, устроились таким образом, чтобы сразу же по окончании службы выступить в наше второе (а для меня уже третье) путешествие по нутру библиотеки.

Четвертого дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,

где снова имеет место посещение Храмины
и обнаруживается предел Африки,
но войти туда не удается,
так как неизвестно,
что такое первый и седьмой в четырех,
а в конце концов Адсон переживает новый приступ —
на сей раз высоконаучный — своей любовной болезни

Обход библиотеки стоил нам многих часов упорного труда. На словах процесс сверки плана выглядел очень легким. На деле же в каждой из комнат требовалось при тусклом свете фонаря прочитать надпись, пометить на плане проходы и глухие стены, записать первую букву, а затем догадаться, как несмотря на всю путаницу проемов и переходов попадают в соседнюю комнату. Долгое, трудное и утомительное дело.

Было очень холодно. Ночь была безветренная. Поэтому не слышались те тоненькие шорохи и свисты, которые пугали нас в предыдущее посещение. Зато сегодня воздух, ползший в щели, был сырым, ледяным. Мы захватили шерстяные рукавицы, чтобы, когда будем брать книги, руки не коченели. Но это были особые рукавицы, употребляемые теми, кто пишет зимой — с дырами для кончиков пальцев. То и дело приходилось греть руки у фонаря или за пазухой или бить в ладоши, приплясывая и дрожа от холода.

Поэтому работать непрерывно мы не могли. Часто останавливались, рассматривали, что на полках, и так как сегодня Вильгельм — со своими новыми стеклами на носу — имел возможность читать сколько пожелает, он хватал книгу за книгой и при каждом новом названии испускал восторженный возглас: либо оттого, что видит знакомую книгу, либо оттого, что видит книгу, которую давно искал, либо, наконец, оттого, что видит книгу, о которой никогда ничего не слышал. От возбуждения и любопытства он почти не владел собой. Вообще с каждой книгой он встречался как с неким сказочным животным, жителем неведомой земли. Не успев перелистать одну рукопись, он уже гнал меня осматривать следующую:

«Посмотри, что там, на той полке!»

И я в ответ, разбирая титлы и переставляя том за томом: «„История англов" Беды... Беды же „О храмовоздвижении"... „О военных лагерях", „О временах и счислении времян и круге Дионисия", „Орфография", „О счете слогов", „Житие Св. Кутберта", „Метрика"...»

«Ясно. Все труды Достопочтенного... А сюда погляди! „О риторической когнации...", „Различение риторических выражений..." Так... Одни грамматики! Присциан, Гонорат, Донат, Максим, Викторин, Метрорий, Евтихий, Сервий, Фока, Аспер... Странно. Сперва я думал, что тут должны быть только англичане... Посмотрим пониже...» (...)

«Вергилий».

«Не может быть! Вергилий что? „Георгики"?»

«Нет. Какие-то „Извлечения"... Сроду не слыхал...»

«Да это же не Марон! Это Вергилий Тулузский, ритор, шестой век после рождества Господа нашего Иисуса Христа. Считался великим знатоком».

«Тут сказано, что среди искусств различаются: поэма, ретория, грамма, лепория, диалекта, геометрия... Какой это у него язык?»

«Латынь, но латынь собственного изобретения — она казалась ему гораздо красивее настоящей. Вот смотри. Он пишет, что астрономия изучает следующие знаки зодиака: мон, ман, тонт, пирон, дамет, перфеллея, белгалик, маргалет, лютамирон, таминон и рафалут».

«Он сумасшедший?»

«Не знаю. Он не с моих островов. Слушай дальше. Он утверждает, что существует двенадцать научных наименований пламени: огнин, зарин, варин (так как превращает сырое в вареное), кипятин, жарин (от слова жар), трескотин (от треска поленьев), алин (от алого цвета), дымон, палин (от глагола палить), оживин (зане мертвецов, членов коснувшись, оживляет), кремнин (ибо из кремня добывается, хотя из кремня неверно сказано, из искры берется), и еще — энеон, от Энея бога в пламени живуща, одушевляюща сей элемент».

«Но так никто не говорит!»

«К счастью. Однако было время, когда, чтобы забыть об ужасах мира, грамматики брались за труднейшие вопросы. Я слышал, что в те времена однажды риторы Габунд и Теренций пятнадцать дней и пятнадцать ночей дискутировали о звательном падеже к „я" и в конце концов подрались».

«И тут то же самое. Послушайте,— у меня в руках была книга, дивно иллюстрированная растительными орнаментами, из завитков которых выглядывали обезьяны и змеи.— Послушайте, что за слова:

кантамен, колламен, гонгеламен, стемиамен, плазмамен, сонерус, албореус, гаудифлуус, главкикомус...»

«Мои острова,— повторил с нежностью Вильгельм.— Не будь слишком строг к этим монахам из далекой Иберии. Может быть, даже и самим существованием этого аббатства, и тем, что сейчас мы можем рассуждать о Священной Римской империи — всем этим мы обязаны им. В ту пору остальная Европа была превращена в груду развалин. В один прекрасный день пришлось объявить недействительными все крещения, проведенные некоторыми галльскими священниками. Оказалось, что те крестили in nomine patris et filiae [1], и не оттого, что исповедовали новую ересь и считали Христа женщиной, а оттого, что почти не умели говорить по-латыни».

«Они говорили, как Сальватор?»

«Примерно. Пираты с крайнего Севера доплывали по рекам до самого Рима и грабили его. Язычество разваливалось, христианство не успело его сменить. И среди всего этого одни только монахи Иберии в своих монастырях писали и читали, читали и писали. И рисовали. А потом бросались в лодчонки, скроенные из звериных шкур, и плыли к этим вот землям и заново обращали их в христианство, как будто имели дело с неверными. Ты ведь был в Боббио? Его основал Св. Колумбан — один из таких монахов. Так что прости им их дикую латынь. К тому времени в Европе настоящей латыни уже не осталось. Они были великие люди. Св. Брандан доплыл до Счастливых островов и обогнул побережье ада, где видел Иуду, прикованного к утесу. А в один прекрасный день он пристал к острову и высадился, а остров оказался морским чудовищем. Разумеется, все они были сумасшедшие...»— повторил он с удовольствием.

«Как они рисовали! Трудно поверить глазам... Какие краски!»

«В краю, где природные краски тусклы... Немножко голубого и очень много зеленого... Но сейчас не время распространяться о жизни иберийских монахов. Я хочу понять другое. А именно: почему их тут поместили с англами и с грамматиками других стран. Посмотри по плану, где мы находимся?»

«В западной башне. Я записал все первые буквы. Итак, выйдя из темной комнаты, попадаешь в семиугольную залу, а оттуда только один проход — во внешнюю комнату башни. Эта комната помечена красной буквой H. Потом идем из комнаты в комнату и описываем круг. Потом возвращаемся в темную комнату, то есть безоконную... Погодите-ка... Буквы складываются... Так и есть! Вы были правы! HIBERNI!»

«Нет, HIBERNIA, если из темной комнаты снова повернуть в семиугольную, которая, как и три остальные центральные комнаты башен, помечена стихом на A — Apocalypsis. Иберния! Поэтому здесь и собраны все книги сочинителей из крайней Тулэ, а также других грамматиков и риторов. Видимо, основатели библиотеки считали, что любой грамматик должен стоять рядом с иберийскими, даже если он из Тулузы. Так они рассуждали. Видишь? Мы начинаем что-то понимать».

«Но комнаты восточной башни, из которой мы входим в лабиринт, составляют собой FONS... Что это значит?»

«Прочти повнимательнее, что там получается, если прибавить и буквы следующих комнат».

«FONS ADAEU...»

«Нет, FONS ADAE[2]. U — буква второй темной восточной комнаты, это я запомнил. Она, должно быть, входит в какую-нибудь другую последовательность. А что там было в FONS ADAE — то есть в земном раю? Помнишь, в самом сердце которого располагается комната с алтарем, обращенным к восходу солнца?»

«Там было множество библий. И толкований библейских текстов. И прочих божественных книг...»

[1] Во имя отца и дщери *(лат.)*.

[2] Источник Адама *(лат.)*.

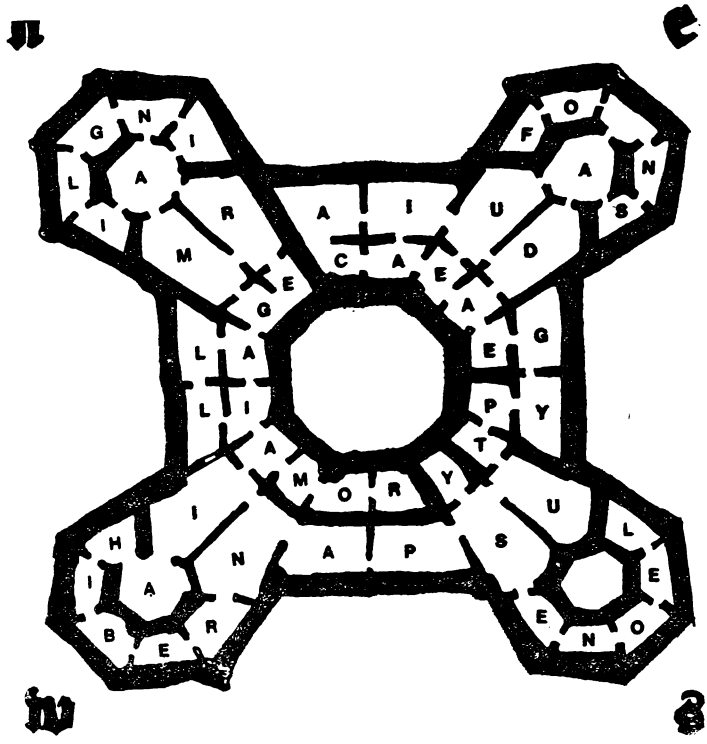
«Итак, ты видишь? Слово Божие размещено в земном раю. А рай этот, как принято считать, находится далеко на востоке... А здесь, на западе, Иберния...»

«Значит, внутреннее расположение библиотеки повторяет расположение стран света?»

«Возможно. Книги здесь размещены в зависимости от тех стран, откуда привезены, или где родились их авторы, или, наконец, как в данном случае,— в зависимости от стран, где эти авторы должны были бы родиться. Библиотекари подразумевали, что Вергилий-грамматик рожден в Тулузе по ошибке, а должен был бы родиться на западных островах. И исправляли ошибки природы».

Мы снова отправились в путь и прошли по анфиладе комнат, заставленных великолепными Апокалипсисами. Одна из этих комнат была та самая, в которой в прошлый раз меня охватили видения. И сейчас мы снова, еще издалека, заметили в этой комнате кадильницу. Вильгельм зажал ноздри пальцами, бегом бросился туда и загасил ее, поплевав на фитиль. Тем не менее мы постарались проскочить эту комнату как можно быстрее. Но все-таки я успел заметить на столе великолепный многоцветный Апокалипсис с женою, одетой в солнце, и со зверем багряным. Мы прочли наименование этой анфилады, начав с самой последней комнаты, вывеска в которой была красной и начиналась с Y. Читая все задом наперед, мы получили слово YSPANIA. Последняя буква — А — была та же самая, которой завершалось слово HIBERNIA. Из этого Вильгельм заключил, что имеются и такие комнаты, в которых собраны книги смешанного содержания.

В любом случае цепь комнат, называвшаяся «Испания», была, повидимому, отведена под тома Апокалипсиса, сплошь редкостной красоты. Вильгельм определил, что все они испанской работы. Осмотрев полки, мы убедились, что эта библиотека владеет, вероятно, самым обширным во всем христианском мире собранием рукописных экземпляров книги Апостола, а также несметным количеством толкований к этой книге. Там стояли огромнейшие тома толкований к Апокалипсису Беата Лиебанского, и текст везде был примерно одинаков, но



удивительным разнообразием отличались иллюстрации. Вильгельм, перебирая их, узнавал руку тех, кого считал величайшими рисовальщиками Астурийского королевства — Магия, Факунда и прочих. Обмениваясь разными мыслями и соображениями, мы подошли вплотную к комнатам южной башни. Я вспомнил, что прошлое наше путешествие закончилось именно здесь. Мы смело двинулись из безоконной комнаты S (YSPANIA) в следующую, обозначенную буквой E, а оттуда дальше и дальше, огибая по периметру всю башню, пока не уперлись в последнюю комнату, тупиковую, в которой висела красная доска с изречением, начинавшимся на L. Прочтя все в обратном порядке, мы получили LEONES. Львы.

«Львы... Юг... Если судить по странам света, мы в Африке. В краю львов. Здесь и собраны сочинения неверных». (...)

«На рисунках — единороги, львы. Сочинители — арабы и прочие мавры,— отвечал я.— Несомненно, это та самая Африка, о которой говорили монахи».

«Несомненно это она. А так как это Африка, должны обнаружиться и поэты-африканцы, на которых ссылался Пацифик Тиволийский».

Так и было. Снова обогнув башню и добравшись до комнаты L, мы наткнулись на шкап, набитый книгами Флора, Фронтона, Апулея, Марциана Капеллы и Фульгенция.

«Значит, вот тут, судя по намекам Беренгара, скрывается разгадка некоей тайны»,— сказал я.

«Почти что тут. Он употребил выражение „предел Африки", и именно из-за этого выражения Малахия на него взъелся. Предел... Наверное, предел — это самая последняя комната. Либо...— и вдруг он вскрикнул не своим голосом: — Клянусь семью церквами Клонмакнойза! И ты не заметил?»

«Чего?»

«Пошли обратно, в ту залу S, из которой мы сюда попали!»

Мы вернулись в первую, темную, вытянутую комнату, в которой была вывеска «Super thronos viginti quatuor». Из нее вело четыре прохода. Первый — в комнату Y, выходящую во внутренний двор. Другой вел в комнату P, которая составляла часть тянувшейся по внешней стене цепи «Испания». Третий уводил в башню, в комнату E, из которой мы только что вышли. Следующая стена была глухая, а за ней открывался проход во вторую темную комнату, обозначенную U.

Вдруг я понял, что мы в той самой зале, где установлено зеркало. Только оно, к счастью, находилось справа от входа и сразу не бросилось мне в глаза. Иначе я бы опять перепугался, как и в прошлый раз.

Я все внимательнее всматривался в план, оглядывался по сторонам, и постепенно до меня дошло, в чем необычность этой темной комнаты. Как и в других темных комнатах всех трех других башен, в ней должен был находиться проход в центральную семиугольную залу. Если же отсюда прохода не было, значит, проход туда должен был быть из второй темной комнаты, помеченной буквой U. Однако ничего подобного! Из комнаты U открывался путь в комнату T, выходившую во внутренний восьмиугольный колодец, и обратно — в комнату S, в которой было зеркало. Все три остальные стены комнаты U были плотно заставлены книжными шкапами. Осмотрев и ощупав стены, мы убедились в той же странности, на которую указывала карта. По всем законам как логики, так и неуклонно соблюдаемой в Храмине симметрии в середине этой башни, как и в середине трех остальных, должна была иметься центральная семиугольная комната. Но ее не было.

«Ее нет»,— сказал я.

«Не то чтобы нет... Если бы ее вовсе не было, остальные комнаты башни вышли бы гораздо просторнее. А они примерно тех же раз-

меров, что и в других башнях... Нет, она есть. Но в нее нельзя попасть».

«Замурована?»

«Возможно. Вот тебе и предел Африки. Именно этим местом так интересовались эти любознательные молодые люди. Которые погибли. Комната замурована. Но нигде не сказано, что в нее не существует хода. Более того, я уверен, что он есть, и что Венанций разыскал этот ход, или получил указание от Адельма... А тот от Беренгара... Перечитаем, что пишет Венанций».

Он вытащил из рясы записку Венанция и прочел вслух: «„Открывается поверх идола чрез первый и седьмой в четырех".— Еще раз осмотрелся вокруг и снова вскрикнул: — Ну конечно! Идол — это образ, то есть зеркало! Венанций, должно быть, думал по-гречески. А в этом языке гораздо явственнее, чем в нашем, ощущается связь между образом и отражением. Eidolon — это зеркало, отражающее наши искаженные образы, которые мы сами позавчерашней ночью приняли за призраков! Но какая такая четверка должна отыскаться „поверх идола"? Что-то на отражающей поверхности? Тогда надо, наверное, смотреть с какой-то определенной точки и стараться увидеть нечто такое, что отражается в зеркале и дает возможность исполнить то, к чему призывает записка Венанция».

Мы заглядывали в зеркало со всех сторон. Никакого толку. Кроме наших собственных фигур, в зеркале зыбко отражались, кривясь и расплываясь, стены комнаты, едва-едва освещенные слабосильным фонарем.

«Коли так,— рассуждал Вильгельм,— „поверх идола" может означать что-то там, на оборотной поверхности зеркала... Но в этом случае необходимо туда попасть. Разумеется, за зеркалом скрыта дверь».

Высотою зеркало было больше среднего человеческого роста. К стене оно крепилось массивной дубовой рамой. Мы трясли его и так и эдак. Старались подлезть пальцами под обшивку, ногтями расшатывали раму, ковыряли стену. Но зеркало держалось так прочно, как будто составляло собою часть стены — как некий неколебимый камень среди других камней.

«Если не за зеркалом, может быть, над зеркалом?» — пробормотал Вильгельм.

Он вытянул вверх руку и, став на цыпочки, ощупал верхний край рамы. Ничего, кроме пыли.

«С другой стороны,— меланхолически размышлял он вслух,— если даже там и есть какая-то комната... Все равно той книги, которую ищем мы и которую искали все эти люди до нас, в комнате уже нет... Ее оттуда вынесли. Сперва Венанций, а потом Беренгар. А куда — неизвестно».

«Может быть, Беренгар отнес ее на место?»

«Нет. Той ночью в библиотеке были мы. Мы ему помешали. Все указывает на то, что он вынес книгу из Храмины. Но очень скоро он умер. Той же ночью, в купальне. На утренней службе его уже не было. Значит, он умер до наступления утра. Ладно, хватит. По крайней мере мы выяснили, где находится этот самый предел Африки. Теперь мы располагаем почти всеми необходимыми данными для составления подробного плана библиотеки. Заметь, что очень многие тайны этого лабиринта мы сумели раскрыть. Я бы сказал, почти все. Кроме одной. Думаю, что и в ее отношении полезнее всего мне будет снова перечитать записи Венанция. Осматривать тут больше нечего. Ты ведь видел, что тайну лабиринта мы легче разгадали извне, нежели изнутри. Сейчас, здесь, перед этими кривыми отражениями, мы ни до чего путного не додумаемся. Вдобавок и фонарь слабеет. Так что пошли. Только бы успеть отметить на плане все, что нам понадобится впоследствии».

Мы прошли по остальным комнатам библиотеки, на ходу продолжая совершенствовать карту. Нам попадались комнаты, целиком

отведенные под математику и астрономию, комнаты, заполненные арамейскими книгами, в которых ни я, ни он не могли понять ни слова, и другие, с такими книгами, на таких языках, которых мы даже назвать не смогли бы. Вероятно, это были книги откуда-нибудь из Индии. Так мы миновали две слитых последовательности IUDAEA и AEGYPTUS. В общем, чтобы не утомлять читателя хроникой нашей разведки, скажу только, что позднее, когда мы вычертили и заполнили окончательную карту, стало ясно, что библиотека действительно построена и оборудована по образу нашего земноводного шара. На севере располагались «Англия» и «Германия», которая западными границами прилегала к «Галлии», из «Галлии», с крайнего запада, можно было попасть в «Иберию», а с крайнего юга — в «Рим» (ROMA), сокровищницу латинских классиков, и в Испанию. Дальше на юг лежали страна Львов (LEONES) и Египет (AEGYPTUS), за которым на востоке простирались Иудея (IUDAEA) и Земной рай (FONS ADAE). От востока до севера в стене, связующей башни, располагалась ACAIA [1]— прекрасная синекдоха, по словам Вильгельма, изобретенная для обозначения Греции. И на самом деле, в этих четырех комнатах в дивном изобилии были собраны труды поэтов и философов языческой древности. (...)

Когда мы с Вильгельмом шествовали сквозь покоренный нами лабиринт, на какие-то минуты я забыл о наваждении — о моей любви. Но, как увидит читатель, в самом скором времени я снова встретился с нею. Только теперь уже (о горе мне, горе!) — при совершенно иных обстоятельствах.

Четвертого дня
НОЧЬ,

где Сальватор жалчайшим образом
попадается Бернарду Ги,
девушка, любимая Адсоном,
захвачена как ведьма,
и все засыпают еще более несчастными
и перепуганными, чем проснулись

И точно: не успели мы спуститься из скриптория в трапезную, как послышался шум. Слабые отблески света запрыгали в проеме кухонной двери. Вильгельм мгновенно задул фонарь. Лепясь по стенам, мы осторожно подобрались к двери, ведущей в кухню. И увидели, что шум идет с улицы, а дверь на улицу открыта. Потом и голоса и огни стали удаляться. Кто-то с силой захлопнул двери. Такая суматоха обещала только недоброе. Мы торопливо пересекли оссарий, выскочили из подземелья в пустую церковь и, воспользовавшись южным выходом, оказались на улице. В противоположной оконечности двора неярко мерцали факелы.

Мы подошли. В общей сумятице наше появление не привлекло внимания. Мы затерялись среди тех, кто бежал к месту происшествия из спален и странноприимных палат. И нам открылось печальнейшее зрелище. Несколько лучников крепко держали Сальватора, побелевшего как белки его глаз, и какую-то плачущую женщину. Сердце мое сжалось. Это была она, та самая девица, о которой я все время думал. Увидев меня, она меня узнала и послала мне умоляющий, полный отчаяния взгляд. Не помня себя, я рванулся к ней, чтоб освободить из рук лучников, но Вильгельм схватил меня за плечо и выругал хотя вполголоса, но свирепо. Монахи и гости монастыря толпами сбегались со всех сторон.

Пришел Аббат, пришел Бернард Ги, которому капитан лучников кратко доложил о случившемся. Вот что, собственно, произошло.

По распоряжению инквизитора лучники патрулировали ночью

[1] **Ахея** *(греч.).*

внутри монастырской изгороди, особое внимание обращая на ровную площадь от въездных ворот до паперти, а также прочесывая огороды и все подступы к Храмине. Почему именно там их расставили, спросил я себя, и сам себе ответил: не иначе как Бернард прослышал от холопов и поваров о каких-то ночных заварушках в Храмине. Вряд ли ему с полной определенностью могли донести, кто да что. Но явно намекнули, что от крепостной стены к кухне и обратно кто-то протаптывает тропки. К тому же и безмозглый Сальватор, как он мне выложил все свои дурацкие намерения — с таким же успехом мог разболтать их в кухне или в хлеву какому-нибудь бедолаге, который, потеряв самообладание во время допроса, швырнул Бернарду этот кус. Значит, лучники знали, за чем охотятся. Поэтому они, несмотря на темноту и густой туман, сумели изловить Сальватора вместе с женщиной у самой кухонной двери, где те копошились, пытаясь открыть.

«Женщина в таком святом месте! И с монахом! — сурово обратился Бернард к Аббату.— О высокочтимый господин мой,— продолжил он,— когда бы дело было только в нарушении обета чистоты, наказание этого человека подлежало бы исключительно вашей юрисдикции. Но поскольку не установлено, в какой мере действия этих двух злоумышленников могли угрожать благополучию иных лиц, гостящих в монастыре, требуется прежде всего разобраться, что у них за секреты. Эй, ты, я к тебе обращаюсь,— и он рванул из рук Сальватора объемистый узел, который тот тщетно пытался схоронить на груди.— Что там у тебя?»

Я отлично знал, что там у него. Ножик, черный кот (как только узел распустили, этот кот со страшным мяуканьем бросился наутек) и два раздавленных яйца, превратившихся в клейкую размазню, с виду напоминавшую не то сгустки крови, не то желтую желчь — в общем, некую мерзостную нечистоту. Сальватор собирался проникнуть в кухню, убить там кота и вырвать ему глаза. Непонятно чего ради девушка покорно шла за ним... Ради чего — выяснилось очень скоро. Лучники обыскали ее, злорадно гогоча и приговаривая что-то похабное, и нашли на ней зарезанного куренка, еще неощипанного. Злосчастная судьба подстроила так, что даже ночью, когда все кошки серы, было явственно видно, что петушок черной окраски, как и убежавший кот. Я понял, что большего не требовалось, чтоб зазвать эту голодную девочку, которая прошедшей ночью и так уже лишилась (из любви ко мне!) своего драгоценного бычачьего сердца.

«Так, так! — вскричал Бернард голосом, не предвещающим ничего хорошего.— Черный кот и черный петух! Знакомый набор! — и тут, увидев в толпе Вильгельма, обратился прямо к нему:— А вам он разве не знаком, брат Вильгельм? Разве не вы были инквизитором в Килкенни, три года назад, когда судили девку за связь с бесом, являвшимся в обличье черного кота?»

Мой учитель молчал — как мне представилось, из трусости. Я дергал его за рукав, тряс, шептал в отчаянии: «Ну объясните же, что это ей для еды!»

Учитель стряхнул с себя мои руки и вежливо ответил Бернарду: «Полагаю, что мой устаревший опыт не повлияет на ваши выводы».

«О да! — с улыбкой торжества отвечал Бернард.— Имеются свидетельства и посолиднее! Стефан Бурбонский описывает в своем трактате о семи дарах Святого Духа, как Св. Доминик, проповедовавший в Фанжо, клеймя еретиков, предупредил некоторых бывших там женщин, что сейчас покажет им, кому они услужали ранее. И внезапно выпрыгнул промежду всех ужасающий кот величиною с большую собаку, с огромными горящими глазами и с кровоточивым языком, свисавшим до пупа, с коротким твердым хвостом, так задранным, что на ходу тварь эта показывала всю свою заднюю мерзость, зловонную, как никакая другая (так же как зловонны и те анальные

части, к которым многие адепты Сатаны, из коих не последние — рыцари-храмовники, прикладываются устами во время своих радений). Покружив около тех женщин не менее часу, кот запрыгнул на канат, идущий к колоколу, и вскарабкался на колокол, оставив в церкви свои вонючие извержения. И разве не кот столь превозносим катарами, что Алан Лилльский полагает даже, будто имя они свое взяли от имени catus в честь этого зверя, которого лобызали в промежность, считая за воплощение Люцифера? Не свидетельствует ли о том же гадостном обычае и Вильгельм Овернский в своем труде „О законах"? Не заверяет ли Альберт Великий, что каждый кот может оказаться бесом? (...) Что дальше ходить! Сам святейший наш папа сказал о вреде котов и петухов и описал все их козни, проклиная их, в своем постановлении Super illius specula, которое советую вам всем перечитать, если оно, конечно, найдется в вашей богатейшей библиотеке, и хорошенько подумать...»

«У нас есть, есть»,— горячо заверил Аббат, не помнивший себя от волнения.

«Ну и отлично,— подвел итог Бернард.— Теперь, по-моему, случай этот ясен. Совращенный монах, ведьма и какой-то их дьявольский обряд, к счастью, не успевший осуществиться... Ну, а кто был намечен жертвой? Это мы, безусловно, скоро узнаем. Чтоб узнать это поскорее, я пожертвую несколькими часами сна. Надеюсь, ваше высокопреподобие соблаговолит предоставить мне место, куда отвести этого человека...»

«У нас есть темницы в подвале кузни,— сказал Аббат.— К счастью, они редко используются и вот уже много лет пустуют».

«К счастью или к несчастью»,— отрезал Бернард. Он приказал лучникам узнать дорогу и препроводить двух пленников в две разные темницы. Мужчину привязать покрепче к какому-нибудь кольцу в стене, так, чтобы он, Бернард, сойдя туда в скором времени, мог бы допросить его, глядя ему прямо в лицо. Что же до девки, сказал он, с ней все понятно, и не стоит сейчас возиться, ее допрашивать. Ее еще подвергнут надлежащим испытаниям прежде чем сожгут как ведьму. Так как она ведьма — чтобы заставить ее говорить, нужно поработать. С монахом же дело другое. Его еще можно привести к раскаянию. И он сверлил взглядом трясущегося Сальватора, как будто внушая ему, что не все возможности потеряны. Пусть только расскажет правду. А также, добавил Бернард, назовет своих сообщников.

Обоих уволокли. Он безмолвно висел на руках стражников, будто был без сознания. А она плакала, билась и скулила, как животное, которое гонят под нож. Но ни один человек — ни Бернард, ни латники, ни даже я,— не понимал, что она там выкрикивает на своем деревенском наречии. Хотя она и владела речью, но для нас была все равно что немая. Одни слова дают людям власть, другие делают их еще беззащитней. Именно таковы темные речи простецов, которых Господь не допустил к науке высказывать свои мысли универсальным языком образованности и власти.

Снова я безотчетно рванулся за нею, снова Вильгельм, мрачный как туча, удержал меня. «Остановись, дурень,— сказал он.— Девчонка пропала. Горелое мясо».

Когда я окаменело глядел, как ее уводили, а в голове вихрем проносились самые противоречивые мысли, кто-то тронул меня за плечо. Непонятно каким образом, но я, еще не обернувшись, уже знал, что это Убертин.

«Смотришь на ведьму?» — сказал он. Я вздрогнул, хотя был уверен, что о моих делах он знать не может и заговорил со мной только оттого, что сумел уловить, благодаря своей чудовищной чуткости к человеческим страстям, напряженность моего взгляда.

«Нет,— забормотал я.— Я не смотрю... То есть, может быть, и смотрю, но она не ведьма... Мы ведь не знаем. Может, она не виновата».

«Ты смотришь потому, что она красивая. Ведь правда, красивая? — допытывался он с необыкновенным жаром, стискивая и стискивая мою руку.— Если ты смотришь на нее потому, что она красивая, и смущен ею — а я уверен, что ты ею смущен, потому что грехи, в которых она подозревается, еще усиливают в твоих глазах ее притягательность,— если ты смотришь на нее и испытываешь желание, это именно и доказывает, что она ведьма. Берегись, мой сын! Красота тела целиком ограничивается кожей. Если бы люди увидели, что находится под кожей (как это произошло с Беотийской рысью),— они бы содрогнулись от вида женского тела. Все это очарование на самом деле состоит из слизи и крови, животной мокроты и желчи. Если вспомнить, что содержится в ноздрях, глотке и кишках — поймешь, что тело набито нечистотами. А ведь слизи или помета ты не захочешь коснуться даже пальцем. Откуда же берется желание сжать в объятиях мешок, наполненный навозом?»

Я ощутил рвотные позывы. Я не хотел больше слушать эти слова. Тут пришел на помощь учитель, который все слышал. Он резко шагнул к Убертину, схватил его руку и оторвал от моей.

«Хватит, Убертин,— сказал он.— Девушка скоро пойдет под пытку, потом на костер. И превратится именно в то, что ты описываешь: в слизь, кровь, желчь и животную мокроту. Но это произойдет стараниями наших с тобой ближних. Именно они извлекут из-под человеческой кожи то, что Господь позаботился этой кожею прикрыть и украсить. Вдобавок с точки зрения первоматерии ты ничем не лучше той девчонки. И оставь мальчика в покое».

Убертин огорченно потупился. «Наверно, я согрешил,— пробормотал он.— Конечно, я согрешил. Чего еще ждать от грешника?»

Толпа стала расходиться, продолжая обсуждать виденное. Вильгельм ненадолго подошел к Михаилу и другим миноритам, которые желали услышать его соображения.

«Теперь в руках Бернарда доказательства. Хотя пока и сомнительные. В монастыре орудуют колдуны и творят те же самые заклятия, какие творили заговорщики в Авиньоне, пытаясь извести папу... Конечно, в судебном смысле это еще не улика против нас. В таком виде это не может повредить завтрашней встрече. Но сейчас он постарается вырвать у этого несчастного новые показания. Которые, по моему глубокому убеждению, пустит в ход не сразу. Он их прибережет, чтобы воспользоваться в дальнейшем. И потом внезапно развалить всю дискуссию, когда она начнет принимать нежелательный для него оборот».

«Может он добиться, чтобы тот как-то свидетельствовал против нас?»

Вильгельм ответил не сразу. «Будем надеяться, нет»,— неуверенно проговорил он. Я же мысленно сказал себе, что если Сальватор выложит Бернарду все то, что рассказывал нам, касательно своего с келарем прошлого, и если хоть как-то заикнется о связи их обоих с Убертином, находившимся в то время в бегах,— положение для миноритов создастся крайне затруднительное.

«В любом случае подождем их действий,— ровным голосом продолжал Вильгельм.— С другой стороны, повторяю тебе, Михаил, что все решено заранее. Но ты хочешь попробовать».

«Хочу,— сказал Михаил.— И уповаю на помощь Господню. Святой Франциск заступится за всех нас».

«Аминь»,— поддержали остальные.

«О! Разве не говорили тебе,— насмешливо отозвался Вильгельм,— что святой Франциск, скорее всего, находится в совершенно другом

месте и там дожидается Страшного Суда, и никогда не видится с Господом Богом?»

«Будь проклят этот еретик Иоанн,— бормотал владыка Иероним, когда все расходились спать.— Теперь он уже и святых заступников нас лишает. Что же нас тогда ждет, грешников несчастных?»

День пятый

Пятого дня
ЧАС ПЕРВЫЙ,
где разворачивается братская дискуссия о бедности Христа

С сердцем, отягощенным множеством печальных дум о событиях этой ночи, поднялся я утром пятого дня, когда уже отзвонили к первому часу и Вильгельм, грубо тряхнув меня за плечи, известил, что совместное заседание вот-вот начнется. Я выглянул в окошко своей кельи и ничего не увидел. Вчерашний туман превратился в плотную, цвета молока, пелену, целиком укрывшую монастырский двор.

Я вышел из дому, и аббатство предстало передо мной таким, каким прежде я не видал его ни разу. Только несколько крупнейших построек — церковь, Храмина, капитулярная зала — вырисовывались из туманной завесы, хотя и совсем неясно, как тени среди теней. Остальные строения можно было различить только с нескольких шагов. Казалось, что контуры вещей и животных внезапно проявляются из не-существования. Люди же выплывали из-за млечного полога постепенно, сперва серые, как призраки, потом — все более и более узнаваемые.

Для меня, рожденного в северных краях, эта стихия была не в новинку, и, возможно, в иное время она напомнила бы мне, во всей их сладости, знакомые с детства поля и родной замок. Но не так было в это утро. Состояние воздуха казалось печально сродни состоянию моей души, и горечь, с которой я пробудился, все нарастала и нарастала по мере того как я брел к капитулярной зале.

Вдруг в нескольких шагах от входа я заметил Бернарда Ги, прощавшегося с каким-то человеком, которого спервоначалу я не узнал. Потом тот двинулся в мою сторону и, почти столкнувшись с ним, я понял, что это Малахия. Он скользил в тумане и тревожно озирался, как преступник, боящийся, что его поймают. Но я уже говорил, что лицо этого человека и раньше — может быть, с детства — имело такое выражение, будто он скрывает или хотел бы скрыть некую ужасную тайну.

Он не заметил меня, прошел мимо и растворился в тумане. Я же, охваченный любопытством, подкрался ближе к Бернарду и увидел, что он на ходу просматривает какие-то документы — возможно, только что полученные от Малахии. Дойдя до порога капитулярной залы, он жестом подозвал капитана лучников, караулившего неподалеку, и что-то ему шепнул. Потом вошел. Я вошел за ним.

(...)Войдя, я сразу же увидел членов обеих делегаций в полном сборе. Они размещались друг напротив друга на скамьях, составленных полуокружностью. Образовалось два крыла, примыкавших к большому столу, где восседали Аббат и кардинал Бертран.

Вильгельм, при котором я имел право состоять как писец, усадил меня на миноритской стороне. Тут же были и Михаил с его людьми и францисканцы от авиньонского двора. Так было устроено нарочно — чтобы встреча выглядела не побоищем французов с итальянцами, а ученым диспутом между защитниками францисканской точки зрения и критиками этой точки зрения. При этом объединяла

одних с другими, разумеется, чистая католическая верность папскому престолу.

(...) Заседание открыл Аббон. Он счел нужным освежить в памяти собравшихся недавние события. Он напомнил, что в год Господен 1322 генеральный капитул братьев-миноритов, собравшийся в Перудже под председательством Михаила Цезенского, постановил, по зрелом и усердном размышлении, что Христос, дабы составить пример совершенной жизни, и апостолы, дабы сообразоваться с учением Христа, никогда и ни под каким видом не имели в собственности никаких вещей.(...) В этот же самый год понтифик издал известнейшую ныне буллу Cum inter nonnullos, в коей эти положения Перуджийского капитула решительно опровергались.

Тут, вежливо прерывая Аббата, выступил кардинал Бертран и заявил, что притом необходимо учесть, что в дело замешался, с явным намерением усложнить положение и раздражить понтифика, в 1324 году император Людовик Баварский со своей Саксенгаузенской декларацией, в которой, при отсутствии сколь бы то ни было убедительных мотивировок, принимал сторону перуджийцев. К тому же необъяснимо, добавил Бертран с тончайшей улыбкой, с какой стати вдруг император так ратует за бедность, если сам вовсе ее не придерживается. Он позволил себе открыто выступить против его святейшества папы, назвавши того «врагом мира» и заявив, будто тот всецело поглощен устройством распрей и раздоров. В конце концов он выставил его святейшество папу еретиком, более того — ересиархом...

«Не вполне так»,— попытался смягчить его слова Аббон.

«По существу — именно так»,— сухо ответил Бертран. И добавил, что именно необходимостью дать отпор безответственной выходке императора обусловлена выпущенная его святейшеством папой декреталия Quia quorundam, и что именно после этого он был вынужден настоятельно потребовать, чтобы Михаил Цезенский явился в Авиньон собственной персоной для разбирательства дела. Михаил же прислал письмо с извинениями, сообщая, что болен (в чем никто не позволил бы себе усомниться), и направил вместо себя брата Иоанна Фиданцу и брата Гумилия Кустодия Перуджийского. Однако по чистой случайности, продолжал кардинал, через перуджийских гвельфов до сведения папы дошло, что, вовсе и не думая болеть, брат Михаил налаживает связи с Людовиком Баварским.

Но все это не имеет значения. Что было — то было, а ныне брат Михаил, по виду судя, пребывает в здравом и цветущем состоянии, а следовательно, в самое ближайшее время может явиться в Авиньон. Впрочем, не исключается, что даже и полезно,— отметил кардинал,— заблаговременно взвесить (чем мы ныне занимаемся) в собрании благоразумнейших мужей, избранных обеими сторонами, что же именно Михаил собирается высказать папе при встрече, учитывая, что всеобщей задачей было и остается не обострять сложившееся положение вещей, а по-братски уладить то недопонимание, которому не место меж любящим родителем и почтительнейшими его чадами и которое с момента зарождения и до сих пор питалось и питается исключительно некоторыми неуместными вмешательствами неких властительствующих особ (неважно, императоры ли они, или князья мира), не имеющих ни малейшего права вмешиваться в дела святой матери церкви.

Тут снова взял слово Аббон и сказал, что он, хотя и будучи прелатом церкви и одним из старшин того ордена, которому, как известно, церковь немалым обязана (на эти слова и правое и левое крылья откликнулись смиренно-почтительным шопотом),— но он все же не разделяет мнения, будто император должен быть совершенно чужд заботам святой церкви — в силу ряда причин, на которых подробнее остановится впоследствии в своем выступлении брат Вильгельм из Баскервиля. В то же время, подчеркнул Аббон, представляется оп-

равданным решение провести ныне первый круг переговоров между папскими посланниками и теми представителями сыновей святого Франциска, которые самим своим участием в настоящей встрече проявляют себя как преданные сыновья и святейшего отца — папы. Исходя из этого он и предоставляет брату Михаилу или тому, кто будет говорить от его имени, изложить, какие же тезисы он собирается защищать в Авиньоне.

Михаил ответил, что поскольку, к величайшей неожиданности и величайшей радости всего ордена, в этой зале находится Убертин Казальский, от которого сам понтифик с 1323 г. ожидает фундаментального доклада по вопросу о бедности, не подлежит сомнению, что именно Убертин гораздо лучше, чем кто бы то ни было, при его общепризнанной ясности ума, образованности и пламенном благочестии, сумеет подытожить основные положения, которыми ныне и впредь определяется позиция францисканского ордена.

Встал Убертин, и не успел он начать свою речь, как я уже понял, отчего его всегда так восторженно принимали и как проповедника и как придворного. Выразительные движения, убедительный голос, обольстительная улыбка, четкий и последовательный ход рассуждений — все это приковывало к нему внимание слушателей, не ослабевавшее до тех пор, пока не оканчивалось выступление. Прежде всего он провел высокоученейший разбор тех оснований, на которых держалась перуджийская теория. Он сказал, что в первую очередь требуется учесть, что Христос и его апостолы находились в двойственном положении, ибо являлись, с одной стороны, первосвященниками церкви Нового Завета и в этом своем качестве обладали властью раздаяния и разделения благ по нуждам бедных и по нуждам служителей церкви, для чего владели имуществом, на что указывается в четвертой главе Деяний святых апостолов, и относительно этого никто не сомневается. Но в то же время Христос и апостолы, с другой стороны, могут быть рассмотрены как частные особы, столпы вероисповедного совершенства и совершенные пренебрегатели мира. В этом случае необходимо разграничивать два вида владения. Первый из них — гражданский и мирской, обозначаемый в имперском законодательстве термином in bonis nostris[1], поскольку нашим может считаться то добро, которое за нами охраняется государством и которого лишившись, мы имеем право требовать в возврат. Посему следует различать — защищает ли некто в гражданском и мирском смысле свою собственную вещь, которую грозят у него отнять, и взывает ли в этом случае к государственной справедливости (так вот, что касается этого — утверждение, будто Христос и апостолы владели вещами в подобном, первом смысле, есть еретическое высказывание, ибо нам говорит в V своей главе Матфей, что если кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и то же самое мы видим в VI главе от Луки. В данных словах Христос отстраняет от себя всякое владение и власть и побуждает своих апостолов к тому же; смотри также у Матфея в главе XXIV[2], где Петр говорит Христу: вот, мы оставили все и последовали за Тобою). Но совсем иное дело — иметь имущество во временном пользовании, что случается благодаря совокупному братскому волеизъявлению, и в этом понимании Христос и его люди предстают владельцами имущества по естественному праву, каковое право принято еще называть jus poli, то есть небесное право, основанное на законах природы, исходящих не из людских предустановлений, а из здравого смысла, в противоположность jus fori[3], подразумевающему владение, основанное на общественной договоренности. Когда-то давно, еще до первоначального распределения благ, и они и власть не принадлежа-

[1] В нашем добре *(лат.)*.
[2] Неточность: в главе XIX.
[3] Общественному праву *(лат.)*.

ли никому, так же как ныне те вещи, которые не подлежат ничьему владению и доступны для всякого. В определенном смысле вещи являлись совокупным достоянием всех людей. И только после познания греха наши прародители стали разделять вещи как собственность, и тогда образовалось мирское имущество в том виде, в котором оно существует и сегодня. Однако Христос и апостолы владели вещами в первоначальном, небесном смысле, и в этом смысле они владели своими одеждами, хлебами и рыбами; как говорит Павел в первом послании к Тимофею, «имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Поэтому Христос и его люди не владели вещами, а временно ими пользовались, а значит, ни в малейшей степени не нарушалась их абсолютная бедность. Что признано в частности папой Николаем II в декреталии Exiit qui seminat.

После этих слов поднялся с другого конца ряда доктор теологии из Парижа Иоанн д'Анно и заявил, что умозаключения Убертина представляются ему противоречащими как здравому смыслу, так и здравому толкованию Священного Писания, ибо очевидно, что в отношении благ, расходуемых при пользовании, как к примеру хлебы и рыбы, невозможно говорить о временном их использовании, а только об окончательном употреблении; и что всем, чем сообща пользовались основатели первобытной церкви,— как явствует из второй и третьей главы Деяний, всем этим они владели исходя из того же отношения к собственности, которого они придерживались и до обращения; и что апостолы и после сошествия Святого Духа продолжали владеть земельными поместьями в Иудее; и что обет жизни без собственности не распространяется на те вещи, которые для жизни естественно необходимы; и что когда Петр заявляет, будто оставил все, он не имеет в виду материальную собственность; и что Адам имел и власть и вещественное имущество (...).

После этой речи вскочил в запальчивости брат Иероним, епископ Каффский. Борода его тряслась от яростного гнева, хотя выступление, судя по всему, замышлялось как примирительное. Он начал с рассуждения, которое показалось мне не вполне ясным. «Все, что я намерен выложить святому отцу, вкупе с собою самим, говорящим все это, я не побоюсь отныне препоручить его компетенции, поскольку действительно считаю Иоанна наместником Христовым и за это свое убеждение я пострадал, томясь в плену у сарацин. Поэтому начну с примера, приводимого одним великим доктором насчет диспута, который завязался однажды среди неких монахов, на предмет: кто был отцом Мельхиседека. О чем аббат Копес, будучи спрошен, стукнул себя по голове и сказал: „Горе тебе, Копес, за то что всегда доискиваешься того, что Господь заказывает тебе искать, и не ищешь того, что он приказывает". Так вот, из этого примера явственно вытекает, что не следует сомневаться в том, что Христос и Пресвятая Дева не имели никакой собственности, ни раздельной, ни совокупной, и это настолько несомненно, что даже несомненнее того, что Христос был в одно и то же время и богом и человеком, хотя для меня и несомненно, что всякий отрицающий первую очевидность станет затем отрицать и вторую!»

Каффа победоносно оглядел залу. А Вильгельм возвел очи к небу. Подозреваю, что силлогизм Иеронима показался ему небезупречным, и я не стал бы спорить с этой оценкой. (...) «К тому же,— послышалось в этот миг из уст Иеронима,— на сей счет у меня имеется еще один довод, разящий, как меч...»

«Святой Франциск, защити своих бедных детей»,— безнадежно проговорил Вильгельм.

«Вот этот довод,— продолжал Иероним.— Жители Востока и Греции, лучше нас изучившие творения святых отцов, твердо стоят на том, что Христос был беден. А если уж эти еретики, эти раскольники столь явственно утверждают столь явственную истину, мы что

же — хотим перещеголять их в ереси и раскольничестве, отрицая эту истину? Да жители Востока, когда бы услыхали, как некоторые из нас проповедуют против этой истины — тут же побили бы камнями!»

«Что ты несешь,— выкрикнул авиньонец, епископ Альбореа.— Почему тогда они не побивают доминиканцев, проповедующих против этого?»

«Доминиканцев? Да потому что ни одного доминиканца в тех краях я не видел!»

Альбореа, полиловев от злобы, заявил, что этот брат Иероним пробыл в Греции от силы пятнадцать лет, а вот он живет там чуть ли не с детства. Иероним отвечал, что этот доминиканец Альбореа, возможно, и заезжал в Грецию, но ради того чтобы роскошествовать в епископских дворцах, а он, францисканец, пробыл там не пятнадцать, а ровнехонько двадцать два года и проповедовал в Константинополе, перед самим императором. Тогда Альбореа, исчерпавший все доводы, вознамерился пересечь пространство, отделявшее его от миноритских скамей, выражая громким голосом и в таких словах, которые я не отважусь ныне привести, решительное намерение выщипать бороду Каффскому епископу, в мужественности которого он сомневается и которого, следуя логике возмездия, желает наказать, употребив эту самую бороду наподобие розги. (...)

«А что, нет лучших аргументов,— спросил я у учителя в то время как Альбореа тянулся к бороде епископа Каффского, а прочие его удерживали,— чтобы доказать или опровергнуть бедность Христа?»

«Но ведь ее с равным успехом можно и доказать и опровергнуть, милый мой Адсон,— отвечал Вильгельм,— поскольку совершенно невозможно установить из текстов евангелий, считал ли Христос своей собственностью, и если считал, то в какой степени, ту тунику, которую носил на себе, а износив — вероятно, выбрасывал. К тому же, если угодно, Фома Аквинский рассуждает о собственности решительнее, нежели мы, минориты. Мы говорим: ничем не владеем и всем пользуемся. Он же говорит: считайте, что владеете всем. Но только ради того, что если кому-нибудь понадобится то, чем вы владеете, вы дадите это ему — и не по вашему благоусмотрению, а по обязанности. Однако вопрос не в том, был ли Христос беден, а в том, должна ли бедной быть церковь. А бедность применительно к церкви не означает — владеть ли ей каким-либо дворцом или нет. Вопрос в другом: вправе ли она диктовать свою волю земным владыкам?»

«Так вот почему,— сказал я,— император так поддерживает рассуждения миноритов о бедности?»

«Ну конечно. Минориты участвуют в императорской игре против папы. Но для Марсилия и для меня игра, которая ведется,— двойная. И мы хотели бы, чтобы императорская игра способствовала нашей и послужила бы нашей идее человечного правления».

«А вы скажете это, когда будете выступать?»

«С одной стороны, если бы я сказал это, я исполнил бы задание, полученное мною: выразить мнение имперских богословов. С другой стороны, сказавши это, я провалю задание, поскольку смысл его — облегчить проведение второй, авиньонской, встречи. А я не думаю, чтобы Иоанн пожелал, чтоб я явился в Авиньон говорить о подобных вещах».

«И что теперь?»

«И теперь то, что я во власти двух противонаправленных стремлений, подобно ослу, не знающему, который из двух мешков сена предпочесть... Дело в том, что перемены еще не назрели. Марсилий уповает на какие-то мгновенные метаморфозы... А между тем Людовик ничем не лучше своих предшественников, хотя в данный момент он — единственная наша опора в борьбе с такими ничтожествами,

как Иоанн. Наверное, мне придется говорить. Если только эта парочка сейчас друг друга не придушит. В любом случае ты, Адсон, давай пиши. Пусть сохранится хоть какой-то след того, что сейчас происходит».

«А Михаил?»

«Боюсь, он напрасно теряет время. Кардиналу отлично известно, что папа не заинтересован в примирении. Бернард Ги знает, что его задача — сорвать эту встречу. А Михаил знает, что поедет в Авиньон на любых условиях, так как не может допустить, чтобы орден потерял последнюю связь с папой. И рискнет жизнью».

Пока мы беседовали — не знаю, правда, как нам удавалось расслышать друг друга — диспут достиг кульминации. Вмешались лучники, повинуясь приказу Бернарда Ги, и выстроились посредине залы, препятствуя двум шеренгам прийти в решающее соприкосновение. Но нападающие и обороняющиеся, находясь по разные стороны крепостной стены, осыпали друг друга попреками и ругательствами, которые я смогу привести лишь выборочно и без всякой надежды установить в отдельных случаях авторство, ибо необходимо учитывать, что все эти выступления произносились не по очереди — как протекала бы подобная дискуссия у меня на родине,— а по южному обыкновению: таким образом, что каждое высказывание накатывалось на предыдущее, как волны бушующего моря.

«В Евангелии сказано, что Христос имел кошелек!»

«Уймись ты со своим кошельком, который вы малюете даже на распятиях! Ты что думаешь — по какой причине Господь Бог, будучи в Иерусалиме, каждый вечер возвращался в Вифанию?»

«Если Господь Бог предпочитал ночевать в Вифании, это его дело! Ты что, будешь указывать, где ему ночевать?»

«Нет, я не буду указывать, старый козел! Но имей в виду: Господь Бог возвращался в Вифанию потому, что у него не было денег заплатить за гостиницу в Иерусалиме!»

«Сам ты козел, Бонаграция! А чем, по-твоему, питался Господь Бог в Иерусалиме?»

«Ты что, считаешь, что если лошадь берет от хозяина корм, чтоб не умереть с голоду,— этот корм ее имущество?»

«Ага! Ты сравнил Христа с лошадью!»

«Нет, это ты сравнил Христа с продажными прелатами, которые кишат у вас при дворе, как в навозной куче!»

«Вот как? А сколько раз папская курия впутывалась в судебные процессы, чтобы вызволить ваше собственное добро?»

«Церковное добро, а не наше собственное! Мы им только пользуемся!»

«Пользуетесь, чтобы объедаться, чтобы обставлять ваши роскошные храмы золотыми статуями! Ах, лицемеры, вместилища беззаконий, гробы повапленные, клоаки разврата! Вам прекрасно известно, что милосердие, а вовсе не бедность — главный принцип праведной жизни!»

«Это сказал ваш прожора Фома Аквинский!»

«Ты, кощун! Думай что мелешь! Тот, кого ты назвал прожорой — канонизованный святой, почитаемый римской церковью!»

«Фу-ты, ну-ты! Канонизованный святой! Да Иоанн его канонизовал, чтоб насолить францисканцам! Ваш папа не имеет права назначать святых, потому что сам он еретик! И вообще ересиарх!»

«Эту песенку мы не впервые слышим! Поете под дудку баварского чучела, повторяете то же, что он тявкал в Саксенгаузене с подсказки вашего Убертина!»

«Выбирай выражения, ты, свинья, отродье Вавилонской курвы и всех прочих шлюх! Всем известно, что в тот год Убертин был не при императоре, а как раз в вашем Авиньоне, на службе у кардинала Орсини, и папа даже посылал его с поручением в Арагон!»

«Знаем, знаем, как он терся со своим обетом бедности у стола кардинала! Точно так же как теперь околачивается в самом богатом аббатстве на полуострове! Убертин, а если тебя там не было, скажи, кто подсунул Людовику твои писания?»

«Что я, виноват, если Людовик использовал мои писания? Конечно, твои он не использует, поскольку ты неграмотный!»

«Кто, я неграмотный? А ваш Франциск был грамотный, что разговаривал только с курицами?»

«Святотатство!»

«Это ты святотатствовал, полубратский потаскун!»

«Никогда я не был потаскуном, и ты это знаешь!»

«А кем ты был со своими полубратьями, когда залезал в кровать Клары Монтефалькской?»

«Разрази и убей тебя Господь! Я в те времена был инквизитором, а Клара уже и тогда вся благоухала святостью!»

«Клара-то благоухала, да ты не к тем запахам принюхивался, когда читал утреню монашенкам!»

«Говори, говори, гнев Господен все равно тебя постигнет, как постигнет и твоего хозяина, пригревшего двух отъявленных еретиков — осттота Экгарта и английского чернокнижника, которого вы зовете Бранусертоном!»

«Достопочтенные братья, достопочтенные братья!» — взывали кардинал Бертран и Аббат.

Пятого дня
ЧАС ТРЕТИЙ.

где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти

Спор разгорался еще сильнее, когда один из послушников, карауливших за порогом, вошел в двери, добрался до противоположного конца залы, пригибаясь, как человек, бегущий через поле в грозу, приблизился к Вильгельму и прошептал ему на ухо, что Северину необходимо срочно с ним поговорить. Мы вышли в сени, забитые любопытными монахами, которые жадно вслушивались в голоса за дверью, надеясь сквозь крик и шум разобрать, что же происходит в зале. В первых рядах находился Имарос Александрийский, встретивший нас своей обычной ухмылкой, полной снисхождения к ничтожеству бедного рода людского. «Несомненно, с тех пор, как появились нищенские ордены, христианский дух изрядно возвеличился»,— сказал он.

Вильгельм довольно грубо отодвинул его с дороги и направился к Северину, поджидавшему в углу. Тот был очень встревожен и не хотел ни о чем говорить в толпе, но сумятица происходила такая, что найти тихое место было совершенно невозможно. Мы собрались выйти на улицу но тут на пороге капитулярной залы показался Михаил Цезенский и стал делать Вильгельму знаки, чтобы тот шел обратно, так как скандал, по всей видимости, утихает и можно продолжать обсуждение.

Вильгельм, разрываясь между двумя новыми мешками сена, велел Северину говорить здесь, только тихо. И Северин перешел на шопот, стараясь, чтоб никто его не услышал.

«Беренгар действительно побывал в больнице прежде чем укрыться в банях»,— сказал он.

«Откуда ты знаешь?»

Тут кое-кто из монахов пододвинулся поближе. Наше перешептывание явно привлекало интерес. Северин еще более понизил голос, непрерывно озираясь по сторонам.

«Ты мне говорил тогда, что у этого человека... кое-что имелось при себе... Ну так вот, я нашел нечто у себя в лаборатории... Среди прочих книг. Неожиданно. Это чужая книга. Очень странная книга».

«Должно быть, та самая,— торжествующе сказал Вильгельм.— Скорее неси сюда».

«Я не могу,— отвечал Северин.— Потом объясню. Я обнаружил... По-моему, я обнаружил нечто любопытное... Пойдем со мной. Я сам покажу тебе книгу. Очень осторожно...» — и внезапно умолк. Мы подняли глаза и заметили, что, по своему обыкновению бесшумно и совершенно внезапно, рядом с нами возник Хорхе. Он вытягивал вперед руки, как будто, непривычный к этому помещению, не мог понять, куда идет. Обыкновенный человек безусловно не разобрал бы шопота Северина, но я уже имел случай убедиться, что слух у Хорхе, как и вообще у слепцов, был исключительно обострен.

Тем не менее вид у старца был такой, словно он ничего не слыхал. И двигался он в направлении совершенно противоположном нашему. Натолкнувшись на одного из монахов, он о чем-то его попросил. Тот, почтительно взявши Хорхе под руку, повел к выходу. Тут на пороге зала снова появился Михаил и снова стал звать Вильгельма, и моему учителю пришлось принять спешное решение.

«Вот о чем я тебя попрошу,— сказал он Северину.— Как можно скорее вернись откуда пришел. Запрешься и будешь ждать меня. А ты,— обратился он ко мне,— иди за Хорхе. Даже если он что-то унюхал, не думаю, чтобы он сразу же потребовал вести себя в лечебницу. В любом случае — доложишь мне, куда он направился».

Он сделал шаг в сторону залы и в этот миг заметил (как заметил и я), что Имарос, расталкивая всех, пробивается через толпу, стараясь догнать уходящего Хорхе. И тут Вильгельм допустил ужасную неосторожность. Ибо самым громким голосом, из одного конца сеней в другой, он прокричал Северину, стоявшему уже на пороге выхода: «Запомни! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта... Эти записи вернулись на старое место!»

Я, уже успевший отойти на порядочное расстояние вдогонку Хорхе, в тот же миг увидел, что у косяка наружной двери замер келарь, который, услыхав последние слова Вильгельма, переводит полный ужаса взор с моего учителя на травщика и обратно, а лицо его искажено страхом. Он впился взглядом в выходящего Северина, а потом тронулся с места и пошел прямо за ним. Я тоже выбежал из сеней, так как боялся упустить из виду Хорхе, который уходил от меня все дальше и почти что растаял в тумане. Но и эти двое — травщик с келарем,— удалявшиеся в противоположном направлении, могли в любой момент нырнуть за белую завесу и исчезнуть. Я спешно соображал, что же делать. Приказано мне было следить за слепцом. Но этот приказ основывался на опасении, что слепец потащится к больнице. Между тем направление, избранное им и его провожатым, было иным. Они пересекали внутренний дворик, чтобы попасть не то в церковь, не то в Храмину. А вот келарь, напротив того, явно решил преследовать травщика. Вильгельма же в первую очередь волновало то, что могло произойти в лаборатории. Взвесив все это, я понял, что надо идти за этими двумя. В то же время хотелось бы знать, куда подался Имарос. Хотя у него, разумеется, могли быть и свои дела, совершенно не связанные с нашими.

Я последовал за келарем на разумном расстоянии — так, чтобы не потерять его из виду. Он же стал замедлять шаги, видимо, чувствуя, что за ним кто-то следит. Он никак не мог видеть, что тень, наступающая ему на пятки, это я. Точно так же как и я не мог видеть, что тень, которой я наступаю на пятки — это он. Но подобно тому как я не сомневался относительного него, он не сомневался относительно меня.

Отвлекая внимание на себя, я тем самым не подпускал его слишком близко к Северину. Поэтому, когда здание лечебницы наконец показалось из тумана, дверь была уже заперта изнутри. Северин, слава небесам, благополучно добрался до места. Келарь еще раз оглянулся и посмотрел в мою сторону — я тут же замер в полной неподвижности, словно садовое дерево,— а затем, по-видимому, он принял какое-то решение, повернулся и ушел в сторону кухни. Я поразмыслил и счел свою работу выполненной. Северин был человек благоразумный, способный поберечься без моей помощи и явно не расположенный отпирать кому попало. Так что делать здесь мне было нечего. Вдобавок я сгорал от любопытства, желая узнать, что происходит в капитулярной зале. Поэтому я решил, что могу возвращаться к своему протоколу. Возможно, я поступил неправильно. Надо было мне остаться возле дома в карауле, и мы бы избежали стольких последовавших несчастий! Но это я знаю сейчас, а тогда не знал.

Подымаясь в сени, я почти что налетел на Бенция, который, хихикнув, обратился ко мне голосом сообщника: «Северин нашел кое-что оставшееся от Беренгара, правда?»

«Ты-то почем знаешь?» — невежливо ответил я, держа себя с ним как с равным, отчасти от злости, отчасти из-за того, что моложавое его лицо от хитрой гримасы сделалось совсем мальчишеским.

«А я не дурак,— ответил Бенций.— Северин бежит о чем-то докладывать Вильгельму. Ты его прикрываешь от преследователей...»

«Сильно ты суешь свой нос в наши дела и в дела Северина»,— раздраженно выпалил я.

«Конечно, сую! Я с позавчерашнего дня глаз не спускаю ни с бань, ни с лечебницы. Если бы я только мог — давно бы туда пролез. Глаз бы отдал, чтоб узнать, что там Беренгар откопал в библиотеке».

«Ты слишком много хочешь знать! Не имеешь никакого права!»

«Я учащийся и имею все права. На знания. Я прибыл с другого конца света именно для того, чтобы познать здешнюю библиотеку. А библиотека остается неприступной, как будто в ней прячут что-то дурное. А я...»

«Дай пройти»,— резко оборвал я его.

«Пожалуйста, проходи. Ты ведь сказал все, что мне было нужно».

«Я?»

«Можно сказать и умолчанием».

«Не советую соваться в больницу»,— сказал я.

«Не буду, не буду, успокойся. Но снаружи глядеть на больницу не запрещено».

Я не стал слушать дальше и вернулся в залу. Этот любопытный мальчишка, по-моему, не представлял опасности. Я пробрался вплотную к Вильгельму и кратко известил его о состоянии дел. Он одобрительно кивнул и дал мне знак замолчать. Волнение в зале тем временем улеглось. Посланники обеих сторон обменивались поцелуем примирения. Альбореа восхищался верой миноритов. Иероним превозносил милосердие братьев-проповедников. И те и другие выражали искреннюю надежду на торжество единой церкви, уже не раздираемой внутриутробными противоречиями. Одни говорили о силе, другие об умеренности, все уповали на праведность и призывали к благоразумию. В жизни не видал, чтобы столько народу, и так чистосердечно, старалось прославить богословские и основные добродетели.

Тем временем Бертран Поджетто уже приглашал Вильгельма выступить и изложить точку зрения имперских богословов. Вильгельм поднялся без особого желания. С одной стороны, он явно понимал, что диспут не имеет никакого практического смысла. С другой стороны, он торопился освободиться, поскольку таинственная книга те-

перь интересовала его даже сильнее, чем исход встречи. Но от исполнения долга, разумеется, уклониться не мог.

Итак, он взял слово. Прежде всего последовало множество «эхов» и «охов». Возможно, их было даже больше, чем обычно, и больше, чем требовалось. С их помощью он давал понять, что абсолютно не уверен в том, что собирается высказать. Он начал с заверения, что выступления предыдущих ораторов показались ему чрезвычайно интересными. И что, с другой стороны, то, что было названо «доктриной имперских богословов», на самом деле не более чем ряд разрозненных суждений, вовсе не претендующих сойти за какую-то истину веры.

Так вот, сказал он. Учитывая то величайшее благоволение, которое проявил Господь, когда создал народ сыновей своих и возлюбил их всех без всякого различия, начиная с тех листов книги Бытия, где еще нет помину ни о священнослужителях, ни о царях, и исходя также из того, что Господь доверил Адаму и его потомкам управление всеми делами этой земли, с условием соблюдать божеские установления, имеются основания подозревать, что Господу не совершенно чужда идея о том, что над своими земными делами сам народ должен выступать законодателем и первой действенной причиной закона. Под народом, продолжал Вильгельм, целесообразно было бы понимать совокупность всех граждан. Однако поскольку гражданами считаются также дети, тупоумные, преступники и женщины, наверное, следовало бы выработать некое разумное определение понятия «народ», включив в него лучшую часть граждан, хотя он сам в данную минуту не считает возможным устанавливать, кто именно должен входить в эту лучшую часть, а кто нет.

Он покашлял и извинился за это перед собравшимися, отметив, что влажность атмосферы сегодня, кажется, слишком велика для его здоровья, и продолжил в форме догадки, что, вероятно, в качестве способа, которым этот народ сумеет выражать свою совокупную волю, может быть предложен созыв всеобщей избираемой ассамблеи. Он пояснил далее, что ему представлялось бы разумным, если бы подобная ассамблея обсуждала, изменяла и — по необходимости — приостанавливала действие законов, ибо когда законодательной властью пользуется только один человек, он способен употреблять ее во зло, по неведению или по дурному умыслу. И добавил, что незачем напоминать собравшимся, сколько примеров подобного злоупотребления содержит история самых недавних лет. Тут я обратил внимание на то, что присутствующие, слегка смутившиеся от его предыдущих рассуждений, к этим последним словам дружно и сообща присоединились, поскольку тут каждый был волен думать о ком ему угодно и каждый считал чрезвычайно дурным того, о ком он думал.

Прекрасно, рассуждал далее Вильгельм. Ну, а если один человек плохо управляет законами, не лучше ли справятся с этим многие, трудясь сообща? Разумеется, подчеркнул он, это касается законов мирских определяющих порядок в гражданском мире. Бог предупредил, чтоб Адам не вкушал от древа познания добра и зла, и это был божий закон. Но в то же время он сам позволил Адаму, более того, уполномочил его раздавать имена вещам в гражданском мире. И в этом отношении — в мирском отношении — предоставил полную свободу своему подданному. Да, именно так, несмотря на то что некоторые наши современники утверждают, будто имена суть производные от вещей. Однако книга Бытия на сей счет гласит достаточно ясно: Господь подвел к человеку всех тварей, чтоб узнать, какое имя тот им даст, и как наименовал человек какую живущую тварь, таково ей и именоваться во веки веков. И хотя не подлежит никакому сомнению, что первый из человеков подошел к делу с сугубой ответственностью и, называя на своем эдемском языке всякую вещь и всякое животное, руководствовался природой называемого, все-таки ничем

не отменяется то обстоятельство, что, занимаясь этим, он пользовался некой верховной властью: решать, которое из многих имен, по его усмотрению, лучше всего соответствует природе называемого предмета. Ибо и в самом деле ныне установлено, что имена, которыми пользуются разные люди для описания одних и тех же понятий, различны (хотя понятия, то есть знаки вещей, неизменны и едины для всех). И слово nomen (имя) бесспорно происходит от nomos, то есть по-гречески «закон», как раз потому, что nomina создаются группами людей ad placitum, то есть по свободному совместному решению.

Собравшиеся не смели ни единым словом оспорить это ученейшее доказательство. А из этого следует, заключил Вильгельм, что верховное управление делами нашей земли, то есть делами отдельных городов и государств, ничего общего не имеет с охраною и проповедью слова божия, которой должны неустанно заниматься церковные власти (...).

Каким-то внутренним чутьем я ощутил, что сейчас будет взрыв и страсти и языки забурлят еще яростнее, чем прежде. Но этого не случилось. Вошел капитан лучников и что-то прошептал на ухо Бернарду. Тот резко встал и движением руки остановил прения.

«Братья,— сказал он.— Возможно, эта полезная дискуссия еще будет нами возобновлена. Однако сейчас происшествие несказанной тяжести вынуждает нас оставить любые занятия — с соизволения Аббата, разумеется. Могу сказать Аббату, что я, сам не желая этого, по-видимому, опередил его намерения, между тем как он надеялся своими силами найти виновника тех многих злодеяний, которые имели место в обители в прошедшие дни. Виновник теперь мною задержан. Но, увы, его взяли слишком поздно. И еще один раз... случилось нечто...» — и он неопределенно махнул рукой в сторону выхода. Затем быстрым шагом пересек залу и вышел наружу. За ним бросились остальные. Вильгельм — в первом ряду, я — рядом с ним.

Учитель посмотрел на меня и сказал: «Боюсь, что это с Северином».

Пятого дня

ЧАС ШЕСТЫЙ,

где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел

Торопливо, тревожно шли мы через монастырское подворье. Начальник лучников вел нас прямо к больнице, и по мере приближения становилось заметно, сквозь серую густоту воздуха, шевеление каких-то теней. Это были монахи и служки, сбегавшиеся на шум, и лучники, загораживавшие двери и не пускавшие войти.

«Эти солдаты были посланы мною за человеком, который должен был пролить свет на все ваши тайны»,— сказал Бернард.

«За братом травщиком?» — переспросил ошеломленный Аббат.

«Нет. Сейчас увидите»,— сказал Бернард, проталкиваясь внутрь.

Мы вошли в лабораторию Северина, и печальное зрелище открылось нашему взору. Злополучный травщик мертвый лежал в луже крови с расколотым черепом. Вокруг него вся лаборатория, казалось, была разворочена бурей: склянки, бутыли, книги, листы валялись повсюду в ужасном смятении и беспорядке. На полу рядом с телом мы увидели небесный глобус размером не менее как с две человечьих головы. Он был из тонко выделанного металла, увенчан золотым крестом и насажен на короткую треногу фигурной ковки. Я вспомнил, что в прошлые разы этот глобус стоял на столике слева от входа.

В другом конце комнаты лучники держали схваченного келаря, который вырывался из их рук, крича о своей непричастности. Вопли его усилились при виде Аббата.

«Ваша милость,— кричал он,— обстоятельства против меня! Но я вошел, когда Северин был уже убит! Меня захватили, когда я просто стоял и смотрел на этот разбой!»

Капитан лучников приблизился к Бернарду и с его разрешения отчитался перед ним и перед всеми. Лучники, по его словам, получили приказ обнаружить келаря и задержать его и с тех пор более двух часов искали его, но не могли найти. Я сообразил, что, очевидно, имелось в виду распоряжение, отданное Бернардом перед тем как войти в капитулярную залу. Солдаты, чужаки в этом месте, по всей вероятности, вели розыски в самых отдаленных углах аббатства, но им и в голову не приходило, что келарь, не подозревая об угрожающих ему бедах, находится вместе с другими монахами в нартексе капитулярной залы. Висевший повсюду туман еще усложнил их охоту. В любом случае из доклада капитана вытекало, что когда Ремигий на моих глазах устремился в сторону кухни, кто-то увидел его и немедленно известил стражников, которые явились за ним в Храмину. Но в это время Ремигий уже успел покинуть Храмину, и совсем недавно, о чем свидетельствовал бывший на кухне Хорхе, заявивший, что только что с ним разговаривал. Лучники стали прочесывать местность по направлению к огородам и там натолкнулись в тумане на некий призрак. Это был дряхлый Алинард, который совсем было заблудился и сбился с пути. От Алинарда-то они и узнали, что келарь минуту назад вошел за дверь лечебницы. Лучники поспешили туда. Дверь была открыта. Войдя, они увидели убитого Северина и рядом — келаря, который судорожно рылся на полках, сбрасывая на землю все, что попадало под руку, как будто разыскивал некую определенную вещь. Легко догадаться, как было дело,— заключил капитан. Ремигий проник в дом, набросился на травщика, умертвил его, а затем стал искать то, ради чего ему потребовалось убивать.

Один из лучников поднял с земли небесный глобус и подал Бернарду. Изящное переплетение медных и серебряных обручей, удерживаемое на более жестком каркасе из бронзовых колец, было схвачено, как за рукоятку, за стержень треноги и со всего размаху обрушено на череп жертвы, с такою силой, что после удара на одной стороне глобуса тонкие металлические обручи вогнулись и порвались. На то, что именно этой стороной глобуса была расколота голова Северина, указывали следы крови и даже налипшие клочья волос и отвратительные слизистые сгустки мозгового вещества.

Вильгельм наклонился над Севериным, чтобы констатировать смерть. Глаза несчастного, залитые ручьями крови, струившейся из пробитой головы, застыли, выкатившись из орбит, и я тут же подумал — не запечатлелся ли в этих оцепенелых зеницах (как бывает, судя по рассказам, в некоторых случаях) образ убийцы — последнее, что успел увидеть покойник перед кончиной. Но Вильгельма интересовали не глаза, а руки. Я увидел, как он потянулся к ладоням убитого — проверить, нет ли на подушечках пальцев черных пятен, хотя в данном случае причина смерти была безусловно иная. Но руки Северина были обтянуты кожаными рукавицами, теми самыми, которыми он иногда пользовался и при мне — когда работал с опасными травами, ящерицами, неизученными насекомыми.

Тем временем Бернард Ги заговорил с келарем: «Ремигий из Варагины твое имя, не так ли? Я посылал за тобой людей для твоего задержания на основании других улик и чтоб проверить другие подозрения. Сейчас я вижу, что действовал правильно, хотя, каюсь, и чересчур медленно. Ваше высокопреподобие,— обратился он к Аббату,— я готов объявить себя почти что прямым виновником этого последнего несчастья, поскольку с самого утра имел в виду, что этого человека необходимо привлечь к ответственности на основании признаний второго злоумышленника, захваченного сегодня ночью. Но, как вы, я полагаю, имели возможность убедиться, утром я был занят

исполнением иных обязанностей, а люди мои смогли сделать только то, что смогли...»

В то время как он произносил все это звонким, зычным голосом, чтобы слышали все собравшиеся (а в комнату успело набиться множество народа; люди проникали сюда под любыми предлогами, глазели на разбросанные и покореженные вещи, тыкали пальцами в сторону трупа и вполголоса обсуждали ужасное преступление), я увидел лицо Малахии, безмолвного среди говорливой толпы и мрачно озиравшего место происшествия. Увидел его и келарь — как раз когда его выволакивали из комнаты. В этот миг он рванулся, выскользнул из цепких рук стражников, бросился к собрату, ухватил того за рясу и стал что-то отрывочно и отчаянно втолковывать ему, прижавшись лицом почти что к самому его лицу, покуда лучники снова не скрутили его. Но даже и когда его снова скрутили и, грубо толкая, потащили к выходу, он снова повернулся к Малахии и выкрикнул последние слова: «Клянись, и я клянусь!»

Малахия ответил не сразу. Он как будто подыскивал подходящие слова. Потом, когда упиравшегося келаря вытащили почти за порог, вдогонку сказал: «Я не сделаю ничего во вред тебе».

Мы с Вильгельмом, глядя на этих двоих, пытались понять, что означает их разговор. Внимательно наблюдал за этой сценой и Бернард, хотя он, похоже, вовсе не был озадачен; напротив, он улыбнулся Малахии, как будто одобряя его ответ и скрепляя возникшее между ними какое-то мрачное сообщничество. Затем он уведомил всех, что сразу после трапезы в капитулярной зале состоится первое заседание трибунала для публичного разбирательства дела. И вышел, приказав отвести келаря в кузню, но содержать отдельно от Сальватора и не позволять им говорить друг с другом.

И тут мы услышали у себя за спиной голос Бенция. «Я вошел сразу вслед за вами,— прошептал он еле слышно,— когда в комнате еще почти никого не было. Не было и Малахии».

«Он, наверно, позднее пришел»,— сказал Вильгельм.

«Нет,— возразил Бенций с уверенностью.— Нет. Я стоял у двери и видел всех, кто входил. Говорю вам, Малахия попал сюда... Еще до...»

«До чего?»

«До келаря. Голову на отсечение не дам, но я убежден, что он выжидал за этой занавесью и вышел только когда собралось много народу»,— и он кивнул на широкий полог, загораживавший лежанку, на которой у Северина обычно отдыхали те, кто перенес лечебную процедуру.

«Ты хочешь сказать, что это он убил Северина, а когда вошел келарь — спрятался за полог?»

«Или, может быть, сразу спрятался за полог и наблюдал все, что здесь происходило. Зачем бы иначе келарь просил его не вредить ему? И обещал, что взамен он тоже не будет вредить?»

«Да, возможно, и так,— проговорил Вильгельм.— Как бы то ни было, в этой комнате находится некая книга. Я не сомневаюсь, что она до сих пор находится здесь, так как и у келаря и у Малахии руки пустые».

Из моего рассказа Вильгельм знал, что Бенций знает. Кроме того, сейчас он нуждался в помощи. Сказав это, он подошел к Аббату, который в другом конце комнаты печально оглядывал останки Северина, и попросил сделать так, чтобы все вышли, потому что нужно тщательно осмотреть место происшествия. Аббат выполнил его просьбу и сам тоже удалился, напоследок бросив на Вильгельма полный укоризны взгляд, как будто попрекая его, что он каждый раз является слишком поздно. Малахия всячески пытался остаться в комнате, приводя какие-то причины, на мой взгляд довольно неосновательные, но Вильгельм указал ему, что тут не библиотека и, кажется, здесь

особыми правами он не пользуется. Произнося все это, Вильгельм был учтив, но непреклонен и сполна отыгрался за тот день, когда Малахия не подпустил его осмотреть стол Венанция.

Когда нас осталось в комнате трое, Вильгельм смахнул с одного стола устилавшие его черепки и листы и велел мне постепенно, по очереди передавать ему книги из собрания Северина. Совсем маленькое собрание по сравнению с богатствами лабиринта, но все же оно состояло из десятков томов различной величины, которые раньше в достойном порядке помещались на полках, а ныне были разбросаны по полу вперемешку с другими вещами, раскрытые, развернутые келарем в его лихорадочных поисках, а некоторые даже и разорванные. Можно было подумать, что он искал не книгу, а что-то заложенное между листами книги. Многие книги были распотрошены и с дикой яростью выдраны из переплета. Поднять, сложить каждую, моментально определить ее характер и поместить в одну из стопок, выраставших на столе,— это была довольно большая работа, особенно в условиях спешки, так как Аббат предоставил нам совсем мало времени, поскольку вскорости должны были явиться монахи, чтоб подобрать истерзанное тело Северина и подготовить его к погребению. Вдобавок требовалось осмотреть всю комнату, заглянуть под все столы, поискать под всеми полками и шкапами, не укрылось ли что-нибудь от наших глаз при первом поверхностном осмотре. Вильгельм не захотел, чтобы Бенций помогал мне в этом, и дозволил ему только стоять на страже возле двери. Невзирая на запреты Аббата, многие пытались проникнуть в помещение: служки, ошарашенные новостью, монахи, оплакивающие собрата, послушники, вносившие чистую ветошь, вретище и тазы с водою — все необходимое для омовения и облачения тела...

Поэтому приходилось поворачиваться. Я хватал книгу за книгой и подносил к Вильгельму, который обследовал их по очереди и раскладывал на столе. Потом мы увидели, что дело движется медленно, и стали действовать каждый отдельно. То есть я нагибался за книгой, собирал ее по листам, если она развалилась, читал название, клал на стол. Часто попадались не книги, а разрозненные листы.

«„De plantis libri tres", проклятие, опять не то»,— шипел от злости Вильгельм, швыряя книгу за книгой.

«Thesaurus herbarum»,— подавал голос я. Вильгельм раздраженно отзывался: «Оставь! Мы ищем греческую книгу».

«Эту?» — спросил я, развертывая перед его глазами том, испещренный замысловатыми закорючками. Он в ответ: «Нет, эта по-арабски, болван! Прав был Бэкон, когда сказал, что первая обязанность ученого — знать языки!»

«По-арабски и вы не знаете»,— огрызнулся я, уязвленный, на что Вильгельм рявкнул: «Но я хотя бы понимаю, когда написано по-арабски!» И я покраснел, услышав, как Бенций хихикает у меня за спиной.

Книг было много, еще больше отдельных записей, свитков с чертежами небесного свода, списков загадочных трав, составленных скорее всего рукой покойного на разрозненных листах пергамента. Мы возились долго, обшарили все углы лечебницы. В конце концов Вильгельм даже взялся, с поразительным хладнокровием, за труп, перевернул его и поглядел, нет ли чего снизу, а также обыскал одежду мертвеца. Без толку.

«Это невозможно,— сказал Вильгельм.— Северин закрылся здесь с книгой. Келарь вышел без книги...»

«А в одежде он ее не спрятал?»

«Нет. Я видел эту книгу позавчера под столом Венанция. Она довольно большая. Незаметно ее не вынесешь».

«Как выглядел переплет?»

«Не знаю. Она лежала открытая. И смотрел я на нее всего несколько секунд. Заметил только, что она по-гречески. Больше ничего не помню. Ну, продолжим. Келарь ее не выносил. Малахия — тоже не думаю».

«Безусловно нет,— вступил в разговор Бенций.— Когда келарь тряс его за грудь, было видно, что у него под нарамником ничего нет».

«Хорошо. То есть плохо. Если книги нет в комнате, из этого следует, что еще какой-то человек, кроме Малахии и келаря, побывал здесь до нас».

«То есть этот третий и убил Северина?»

«Слишком много действующих лиц»,— сказал Вильгельм.

«С другой стороны,— сказал я,— кто мог знать, что эта книга тут?»

«Хорхе, например. Если он слышал наш разговор».

«Да,— сказал я.— Но Хорхе не смог бы убить такого крепкого мужчину, как Северин, и таким жутким способом».

«Разумеется, нет. К тому же ты видел, что он ушел по направлению к Храмине. А лучники, со своей стороны, говорили с ним на кухне как раз перед тем, как был захвачен келарь. Безусловно он не мог успеть побывать тут, а потом вернуться на кухню. Ибо надо еще принять в расчет, что хотя он свободно передвигается по аббатству, все же он ходит держась за стены и никак не мог податься напрямик через огороды, да еще бегом...»

«Дайте-ка я подумаю своей головой,— сказал я, поскольку с некоторых пор осмелел и завел привычку поправлять рассуждения учителя.— Итак, Хорхе исключается. Шатался тут неподалеку еще и Алинард. Но и он еле держится на ногах. Естественно, он тоже не мог бы одолеть Северина. Теперь келарь. Келаря застали здесь. Однако с минуты его выхода из кухни до минуты его поимки времени, на мой взгляд, прошло слишком мало. Он вряд ли бы успел уговорить Северина, войти, напасть на того, прикончить и, наконец, устроить тут весь этот содом. А вот Малахия имел возможность опередить всех. Допустим, Хорхе, подслушав ваши слова в сенях, отправляется в скрипторий и извещает Малахию, что книга из библиотеки находится в руках Северина. Малахия идет сюда, убеждает Северина открыть и убивает его... Но непонятно зачем. Кроме того, если ему нужна была книга, он узнал бы ее с первого взгляда, не переворачивая все вверх дном. Ведь он же библиотекарь! Так. Кто остается?»

«Бенций»,— сказал Вильгельм.

Бенций изо всех сил запротестовал, мотая головой: «Нет, брат Вильгельм. Вы знаете, что я сгорал от любопытства. Если бы у меня была возможность тайно пробраться сюда и вынести эту книгу — я бы сейчас находился не здесь с вами, а далеко отсюда. Вместе со своим сокровищем».

«Почти что убедительно,— усмехнулся Вильгельм.— Однако ведь и ты не знаешь, как выглядит книга. Может быть, ты убил, а сейчас пытаешься разыскать ее».

Бенций покраснел как рак. «Я не убийца»,— снова пролепетал он.

«Все не убийцы, пока не совершают первое преступление,— философски отвечал Вильгельм.— В любом случае книги нет, и это убедительно доказывает одно: что здесь ты ее не оставил. В то же время мне кажется логичным и тот довод, что если бы ты добрался до нее раньше, ты удрал бы вместе с нею, когда сбежался народ».

Он подошел к бездыханному телу и склонился над ним. По-моему, только сейчас он впервые осознал, что у него погиб друг. «Бедный Северин,— сказал он.— Я ведь подозревал и тебя с твоими ядами. А ты сам боялся быть отравленным — иначе не надел бы эти рукавицы. Боялся смерти от земного яда, а принял ее от небесного свода...— Он взял планетный глобус в руки и принялся внимательно осматривать его.— Хотелось бы знать, почему они употребили именно этот предмет...»

«Он был под рукой...»

«Да, под рукой... Но под рукой были и другие вещи: горшки, садовые инструменты. А это такой дивный образец работы по металлу. Точнейший с точки зрения астрономии. А теперь он поломан и... О, силы небесные!» — внезапно вскричал он.

«Что такое?»

«Поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд так, что затмилась третья часть их...» — прочитал он наизусть.

Я хорошо знал этот текст, даже слишком хорошо. Откровение Иоанна. «Четвертая труба!» — воскликнул я.

«Совершенно верно. Сперва град, потом кровь, потом вода, а сейчас звезды... Раз так, надо все пересмотреть. Убийца действовал не случайно, а по заранее обдуманному плану. Но можно ли вообразить настолько изощренный ум? Который убивает лишь в тех случаях, когда может выполнить предначертания Апокалипсиса?»

«Что же будет с пятой трубой? — спросил я, цепенея от ужаса. И попытался вспомнить.— „И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны..." Что, кто-то потонет в колодце?»

«Пятая труба много чего обещает,— ответил Вильгельм.— Из кладезя выйдет дым, как из большой печи... Потом из дыма выйдет саранча и будет мучить людей своим жалом, подобным жалу земных скорпионов. По виду саранча будет подобна коням, на головах у которых золотые венцы, а зубы у ней, как у львов... Так что наш убийца располагает немалым выбором средств для иллюстрации священного текста. Но не будем поддаваться панике. Лучше попробуем вспомнить, что именно сказал Северин, когда объявил нам, что книга нашлась».

«Вы велели принести ее, а он сказал, что не может».

«Точно. Так. И в это время нас прервали. А по какой причине он не мог? Любая книга поддается переноске. И зачем он надел рукавицы? Боялся, что в переплете книги может быть что-то наподобие яда, убившего Беренгара и Венанция? Какое-то тайное оружие? Отравленное лезвие?»

«Змея!» — предположил я.

«Скажи еще — кит! Да ну, все это вздор. Яд, как мы видели, действует через рот. К тому же Северин не сказал, что не может принести книгу. Он сказал, что предпочел бы показать мне ее здесь. И надел рукавицы... В любом случае — мы теперь знаем, что эту книгу не берут голыми руками. И ты тоже, Бенций, имей это в виду, если найдешь ее, как надеешься. А сейчас, раз уж ты так услужлив, можешь мне помочь. Ступай в скрипторий и присматривай за Малахией. Не спускай с него глаз».

«Будет сделано!» — ответствовал Бенций и удалился, как нам показалось, очень обрадованный полученным заданием.

Мы не могли дольше держать двери запертыми. Комната наполнилась народом. Час трапезы только что миновал; по всей видимости, Бернард приступил к сбору своих людей для заседания в капитуле.

«Здесь больше делать нечего»,— сказал Вильгельм.

Новая идея пронизала мой мозг. «А не мог ли убийца,— сказал я,— выкинуть книгу в окно, чтобы потом пройти на задворки больницы и подобрать ее?» Вильгельм с сомнением посмотрел на окна лаборатории, судя по виду — герметично закрытые. «Ладно, проверим»,— сказал он.

Мы вышли и осмотрели всю заднюю стену дома, почти вплотную соприкасавшуюся с крепостной стеной, но все же отстоявшую от нее, отчего на задах образовывался узкий проход. Вильгельм ступал очень медленно, так как на этом пространстве снег, выпавший в предыдущие дни, был совершенно нетронут. Каждый наш шаг пробивал заледенелую, но хрупкую снежную корку, оставляя глубокие вмятины.

Значит, если бы кто-нибудь прошел там до нас, следы остались бы столь же заметные. Следовательно, никто не проходил.

Пришлось распрощаться и с больницей, и с моей малоудачной гипотезой, и, проходя вдоль огородов, я спросил Вильгельма, действительно ли он доверяет Бенцию. «Не вполне,— ответил он.— Но в любом случае мы не сказали ему ничего такого, чего бы он и без нас не знал. И вдобавок постарались сделать так, чтобы он боялся этой книги. Кроме того, отправляя его смотреть за Малахией, мы подразумеваем, что и за ним самим будет смотреть Малахия, который, несомненно, сейчас ищет эту книгу собственными силами».

«А келарь что искал?»

«Скоро узнаем. Безусловно, ему было что-то очень нужно, причем немедленно. Это что-то должно было его спасти от ужасной опасности... Это что-то известное Малахии... Иначе необъяснимо, почему Ремигий бросился к нему с такими отчаянными мольбами».

«Как бы то ни было, книга исчезла».

«И это самое невероятное,— сказал Вильгельм. Мы уже подходили вплотную к капитулу.— Если она там была,— продолжил он,— а Северин сказал, что она там была, значит... Одно из двух: либо ее вынесли, либо она все еще там».

«А поскольку ее там нет, значит, ее вынесли»,— заключил я.

«Нигде не сказано, что этот же силлогизм нельзя построить на обратном малом термине. То есть так: поскольку все указывает на то, что книгу никто не выносил...»

«Значит, она все еще там. Да, но ее там нет».

«Минуточку. Мы утверждаем, что ее нет, на основании того, что мы ее не нашли. Но может быть, мы ее не нашли на основании того, что не увидели, а она там была...»

«Но мы везде посмотрели!»

«Смотрели. Но не видели. Или видели, но не увидели... Скажи, Адсон, как, по-твоему, Северин описывал эту книгу? Какими словами он пользовался?»

«Он сказал, что нашел чужую книгу на греческом языке».

«Нет! Я вспомнил. Он сказал — странную книгу. Северин был ученый человек. А ученому греческая книга не может показаться странной. Даже если этот ученый греческим не владеет. Он хотя бы распознает алфавит. Ученый и арабскую книгу странной не назовет, даже если не знает арабского...— и вдруг он замер с открытым ртом.— Стой! Что делала арабская книга у него в лаборатории?»

«Но ведь арабскую книгу он не назвал бы странной?»

«Да. В этом вопрос. Если он назвал книгу странной, значит, в ней было что-то необычное. Хотя бы на его взгляд — на взгляд травщика, а не библиотекаря... В библиотеках иногда старинные рукописи переплетают по нескольку в один том. К примеру, собирают воедино забавные и любопытные тексты: один по-гречески, другой по-арамейски...»

«...и третий по-арабски!» — взвыл я, пронзенный внезапной догадкой.

Вильгельм свирепо ухватил меня за шиворот, выволок из нартекса и погнал обратно к лечебнице. «Скотина тевтонская, лопух, невежда, ты посмотрел только на первый лист, а в середину не заглянул!»

«Но учитель,— тяжело дыша, отбивался я,— это ведь вы сами посмотрели на показанный мною лист и сказали, что там по-арабски, а не по-гречески!»

«Да, Адсон, ты прав! Это я скотина! Бежим, живей, живей!»

Добежав до лаборатории, мы с трудом протиснулись внутрь, потому что как раз в это время послушники выносили тело. Другие любопытные слонялись по комнате. Вильгельм бросился к столу, перебрал все тома, разыскивая тот, заветный. Он швырял их один за

другим на землю под недоуменными взглядами послушников, а потом стал подбирать и снова класть на стол, листая каждый не менее двух раз. Увы, увы, арабской рукописи уже не было! Я смутно вспомнил общий вид ее переплета, не толстого, довольно истрепанного, с легкой металлической окантовкой.

«Кто входил после того как мы вышли?» — спросил Вильгельм у какого-то монаха. Тот пожал плечами. Было ясно, что заходили все — и никто.

Мы обсудили возможные варианты. Малахия? Правдоподобно. Он знал, что ищет. Наверное, он выследил нас, увидел, как мы выходим с пустыми руками, вернулся и действовал наверняка. Бенций? Я вспомнил, что во время перепалки насчет арабской книги он хихикал. Тогда я подумал, что он смеется над моим невежеством. А он, наверно, смеялся над недогадливостью Вильгельма. Он ведь хорошо знал, во скольких обличиях может предстать старая рукопись. Он, вероятно, сразу обратил внимание на то, о чем не подумали мы с Вильгельмом. Хотя обязаны были подумать. А именно — на то, что если Северин не знал арабского, значит, незачем ему было держать при себе книгу, которую он не мог прочесть... А может быть, все-таки не Малахия и не Бенций, а кто-то третий?

Вильгельм был унижен до крайности. Я пытался утешить его, говоря, что в течение трех дней он гонялся за греческим текстом и потому естественно, что при столь поспешном осмотре он отбрасывал все книги, которые с первого взгляда казались не греческими. Но он отвечал, что несомненно я прав и человеку свойственно ошибаться, однако бывают такие представители рода человеческого, у которых ошибок значительно больше, чем у других, и их принято называть умственно неполноценными, и он принадлежит к этому разряду, и он просит только объяснить ему, зачем надо было столько лет учиться в Париже и в Оксфорде, чтобы в конце концов оказаться неподготовленным к тому, что старинные рукописи обычно переплетают по нескольку, о чем знают самые желторотые послушники, любые послушники, кроме таких идиотов, как я, и парочка идиотов вроде нас с ним могла бы иметь большой успех на ярмарках, и именно этим нам следовало заняться с самого начала, а не расследовать убийства, в особенности когда наши противники — люди гораздо более развитого ума.

«И все-таки нечего терзаться — заключил он свой монолог.— Если книгу взял Малахия, он уже, наверно, определил ее на место, в библиотеку, и мы ее отыщем — осталось только выяснить, как попадают в предел Африки. Если же ее взял Бенций — он, должно быть, понимает, что рано или поздно я додумаюсь до того же, до чего додумался он, и вернусь в лабораторию... иначе он не орудовал бы с такой поспешностью. А значит, он спрятался. Делать нечего. Единственное место, куда он прятаться ни в коем случае не станет — это место, где мы бы его мгновенно нашли, то есть его собственная келья. Раз так, вернемся лучше в капитул и посмотрим, не скажет ли келарь во время допроса что-нибудь важное. Ибо в довершение всего я до сих пор не разобрался в кознях Бернарда. Он ведь начал искать этого человека еще до смерти Северина и по иному поводу».

Мы возвратились в капитул. Однако лучше бы нам было сразу же подняться в келью Бенция. Ибо, как обнаружилось позднее, наш юный друг был вовсе не такого высокого мнения о Вильгельме и не подозревал, что тот так быстро вернется в лабораторию. И посему, убежденный, что никто его не ищет, он спокойненько спрятал книгу прямо у себя в келье.

Но об этом я расскажу позже. Тем временем случилось столько тревожных и драматических событий, что история таинственной книги почти что забылась. А если забылась и не полностью, все же нам

пришлось отвлечься на другие дела, сопряженные с заданием, которое Вильгельм продолжал выполнять.

Пятого дня
ЧАС ДЕВЯТЫЙ,

где вершится правосудие
и создается неприятное впечатление,
что неправы все

Бернард Ги разместился во главе большого орехового стола в капитулярной зале. Рядом с ним сел один из доминиканцев, чтоб исполнять обязанности секретаря, а в стороне — два прелата в качестве судей. Келаря поставили напротив стола, между двумя стражниками (...).

Наконец Бернард нарушил молчание. Начав с нескольких процессуальных формул, он доложил судьям, что намерен приступить к допросу обвиняемого по поводу двух преступлений, равно мерзостных, из которых одно очевидно и доказано, но не более опасно, чем второе, поскольку хотя обвиняемый был захвачен с поличным при убийстве, в это время он уже разыскивался по подозрению в еретической деятельности.

Это было произнесено. Келарь спрятал лицо в ладони, с трудом подняв руки, скрученные цепями. Бернард повел допрос.

«Кто ты?» — спросил он.

«Ремигий Варагинский. Родился пятьдесят два года назад. Подростком поступил в миноритский монастырь в Варагине».

«Как случилось, что ныне ты числишься в ордене Св. Бенедикта?»

«Много лет назад, после того как глава церкви издал буллу Sancta Romana, я убоялся заразиться ересью полубратьев... Хотя никогда не разделял их взглядов... И понял, что для моей греховной души необходимо бежать от среды, полной соблазнов. Тогда я испросил разрешения вступить в ряды членов этой обители, где в течение восьми последних лет являюсь келарем».

«Ты бежал от соблазна ереси,— процедил Бернард,— или ты бежал от следствия, посланного обнаруживать ересь и вырывать дурные ростки? А добросердечные клюнийские монахи думали, что совершают акт милосердия, принимая тебя и таких, как ты! Но мало сменить рясу! Душа сама собой не очищается от скверны еретических лжетеорий! И поэтому мы сейчас здесь обязаны проверить, что же гнездится в тайниках твоей нераскаянной души и чем ты занимался до того, как попал в это святое место».

«Душа моя невинна. Не знаю, что вы имеете в виду под еретическими лжетеориями»,— сдержанно отвечал келарь.

«Вы видите? — вскрикнул Бернард, поворачиваясь к другим судьям.— Вот так они все! Когда их арестуют, они предстают перед судом с таким видом, будто совесть их спокойна и на душе нет угрызений. И не ведают, что это — самый заметный признак их вины, потому что по-настоящему невинный человек на процессе не чувствует себя спокойно! Спросите его, знает ли он, какие причины привели к его аресту. Ты знаешь это, Ремигий?»

«Ваша милость,— отвечал келарь,— мне хотелось бы услышать это из ваших уст».

Я с удивлением отмечал, что у келаря на все ритуальные вопросы, казалось, были заготовлены столь же ритуальные ответы, как будто он заранее изучил и правила проведения допроса, и все уловки следователей. Как будто заранее готовился к подобному повороту судьбы.

«Вот, вот,— восклицал тем временем Бернард.— Типичный ответ нераскаявшегося еретика! Они юлят и петляют, как лисы, и очень

трудно их подловить, потому что их мораль дает им право лжесвидетельствовать на допросе, спасаясь от справедливого наказания. Они выдумывают замысловатые ответы и стараются запутать следователя, а ведь тот страдает уже и от одной необходимости общаться с такими презренными личностями! (...) Но тебя ждет жесткий допрос, негодяй! Скажи: ты когда-нибудь слышал о Герарде Сегалелли?»

«Я слышал о нем»,— ответил келарь и побледнел, если только могло еще сильнее побледнеть это осунувшееся, полуживое лицо.

«Ты слышал о брате Дольчине из Новары?»

«Я слышал о нем».

«Ты когда-либо встречался с ним? Беседовал с ним?»

Келарь на несколько секунд замер, как будто взвешивая, до какой степени правдивым должен быть его ответ. Потом решился и еле слышно произнес:

«Я встречался с ним. И беседовал».

«Громче! — крикнул Бернард.— Мы хотим услышать, как ты наконец выговоришь хоть одно правдивое слово! Когда вы с ним встречались?»

«Ваша милость,— отвечал келарь,— я был монахом одной новарской обители, когда в наших краях объявились люди Дольчина. Они проходили совсем близко от моего монастыря, и сначала было неизвестно, кто они такие...»

«Ты лжешь! Как мог францисканец из Варагины оказаться в новарском монастыре? Ты не был в монастыре! Ты уже тогда входил в шайку полубратьев, рыскавшую по тем краям, промышляя попрошайничеством! И тогда же ты примкнул к Дольчину!»

«Как вы можете утверждать подобное, ваша милость?» — дрожа, спросил келарь.

«Сейчас увидишь. И могу, и обязан»,— ответил Бернард и велел ввести Сальватора.

Жалко было смотреть на этого несчастного, несомненно подвергшегося в течение ночи гораздо более суровому — и отнюдь не публичному — допросу. Лицо Сальватора, как я описывал, и раньше внушало ужас. Но теперь оно еще больше стало походить на звериную морду. Следов истязаний не было видно. Но по странной безжизненности его опутанного цепями тела, с вывернутыми членами, которыми он почти не мог шевелить, по тому, как волокли его лучники за цепи, как обезьяну на веревке, легко можно было представить себе характер проведенного с ним ночного собеседования.

«Бернард пытал его»,— шепнул я Вильгельму.

«Ничего подобного,— отвечал Вильгельм.— Инквизитор никогда не пытает. Любые заботы о теле обвиняемого всегда поручаются мирским властям».

«Но это же одно и то же!» — сказал я.

«Нет, это разные вещи. Как для инквизитора — он не пятнает рук, так и для обвиняемого — он ждет прихода инквизитора, ищет в нем немедленной поддержки, защиты от мучителей... И раскрывает ему свою душу».

Я посмотрел в лицо учителю. «Вы смеетесь?» — растерянно спросил я.

«Ты полагаешь, что над такими вещами смеются?» — ответил Вильгельм.

Бернард перешел к допросу Сальватора. И перо мое бессильно воспроизвести те обрубленные — и, если можно это себе представить, еще более вавилонские — подобия слов, которые вырывались у этого жалкого человека, давно уже сломленного, а ныне доведенного до состояния бабуина. Мало что можно было понять в его лепете, и Бернард помогал ему, задавая такие вопросы, что тому оставалось отвечать только да и нет, отвечать одну правду, не надеясь ничего скрыть. Что мы услышали — читатель легко может себе представить.

Он рассказал (вернее, подтвердил, что рассказал инквизитору накануне ночью) часть той истории, которую я еще раньше восстановил из отрывочных сведений. О своих скитаниях с полубратьями, пастушатами, лжеапостолами. О том, как во времена брата Дольчина повстречался с Ремигием — одним из дольчиниан. Как вместе с ним спасся после битвы на горе Ребелло и, пройдя многие мытарства, прибился к Казальскому монастырю. К этому он добавил, что ересиарх Дольчин, чуя близкую свою поимку и погибель, вверил означенному Ремигию кое-какие грамоты, чтоб тот передал их, а куда, кому — Сальватор не знает. А Ремигий хранил те грамоты при себе и не решался передать по назначению. А когда стал жить в здешнем монастыре — он, боясь хранить документы у себя, но не желая и уничтожить, передал их на хранение местному библиотекарю, а именно Малахии, чтобы тот спрятал их где-нибудь в тайниках Храмины. (...)

Малахия вышел и стал перед судьями, стараясь не встречаться глазами с келарем.

«Малахия,— обратился к нему Бернард,— сегодня утром, ознакомившись с признаниями, полученными ночью от Сальватора, я задал вам вопрос, получали ли вы от присутствующего здесь обвиняемого грамоты...»

«Малахия! — вскричал келарь.— Ты сейчас поклялся, что не будешь вредить!»

Малахия почти не повернул головы к подсудимому, хотя тот стоял у него за спиной, а только покосился и ответил так тихо, что даже мне было почти не слышно: «Клятву я не нарушаю. Все, что могло тебе повредить, было сделано раньше. Грамоты были переданы господину Бернарду рано утром, до того как ты убил Северина».

«Но ты знаешь, ты-то знаешь, что я не убивал Северина! Ты знаешь! Потому что ты был там еще раньше!»

«Я? — переспросил Малахия.— Я вошел, когда тебя уже поймали».

«И в любом случае,— перебил Бернард,— что ты искал у Северина, Ремигий?»

Келарь обернулся и растерянно посмотрел на Вильгельма, потом на Малахию, потом снова на Бернарда: «Но я... я услышал, как утром брат Вильгельм... здесь присутствующий... просил Северина сохранить какие-то документы... а я со вчерашней ночи, с тех пор, как схватили Сальватора, думал, что эти грамоты могут выплыть...»

«Ага, значит, ты все-таки кое-что знаешь об этих грамотах!» — торжествующе выкрикнул Бернард. Келарь понял, что попался. Его зажали между двумя угрозами: обвинением в ереси и обвинением в убийстве. По-видимому, от второго обвинения он решил отбиться во что бы то ни стало и теперь вел себя бестолково и безрассудно: «О грамотах потом... Я все объясню... Расскажу, как они ко мне попали... Но сперва дайте я расскажу, как было дело сегодня. Я боялся, что эти грамоты всплывут. Боялся с тех пор как Сальватор попал в руки господина Бернарда. Вот уже много лет мысль об этих грамотах мучает меня. И когда я услышал, что Вильгельм с Севериным сговариваются о каких-то документах... Ну, не знаю... Какой-то страх овладел мной. Я подумал, что Малахия, наверно, избавился от них и передал Северину. Я решил, что их надо уничтожить. И пошел к Северину. Двери были открыты. И Северин лежал уже убитый... А я стал шарить в его вещах и искать документы... Я был вне себя от страха...»

Вильгельм прошептал мне на ухо: «Глупец несчастный. Испугался одной ловушки и полез прямо в другую».

«Предположим, ты сейчас почти не лжешь,— заговорил Бернард.— Я подчеркиваю: почти. Ты думал, что грамоты у Северина, и искал их у него. А с чего ты взял, что они у него? И зачем ты убил до него других собратьев? Может, ты думал, что эти воровские гра-

моты уже давно гуляют по аббатству? Может, в этом монастыре принято гоняться за реликвиями сожженных еретиков?»

При последних словах Аббат подскочил, как от удара. Не существовало более страшного обвинения, чем в хранении реликвий еретиков. А Бернард, похоже, очень ловко собирался приплести убийства к еретической деятельности и все вместе — к обстановке в монастыре... Из раздумий меня вывел жуткий вопль келаря, уверявшего, что он не имеет никакого отношения к предыдущим убийствам. Бернард снисходительно оборвал его: пока что рассматривается другое дело. Предъявлено обвинение в еретической деятельности, и пусть келарь не хитрит (тут голос Бернарда зазвучал совсем зловеще) и не пытается отвлечь внимание от собственных еретических происков, кивая на покойного Северина или спихивая вину на Малахию. Так что вернемся к вопросу о грамотах.

«Малахия из Гильдесгейма,— обратился он к свидетелю.— Вы вызываетесь не как обвиняемый. Сегодня утром вы дали исчерпывающий ответ на мои вопросы и пошли мне навстречу, не пытаясь ничего замалчивать. Теперь повторите при всех свои показания — и вам нечего будет опасаться».

«Повторяю то же, что сказал утром,— начал Малахия.— Вскоре после поступления в наш монастырь Ремигий взял на себя заботы о кухнях. У нас установились регулярные служебные взаимоотношения. Поскольку я как библиотекарь отвечаю за ежевечернюю подготовку Храмины к ночи, я, естественно, запираю и кухню... Не вижу причин скрывать, что мы с Ремигием по-братски сдружились. Точно так же не видел я причин подозревать его в чем-либо дурном. В ту пору он и рассказал мне, что хранит некие документы секретного содержания, доверенные ему исповедавшимся. И сказал, что эти документы не должны попасть в руки непосвященных, и что потому опасно ему держать их при себе. Поскольку я имею доступ в единственное здесь помещение, недоступное для остальных братьев, он попросил меня взять на хранение эти документы и поместить там, вдали от любопытных взглядов. И я согласился, никак не предполагая, что документы могут носить еретический характер... Не читая, я отнес их в... ну, в самый закрытый из тайников библиотеки. И с тех пор не вспоминал об этом. Не вспоминал до сегодняшнего утра, когда от господина инквизитора поступил запрос на эти документы. Тогда я пошел за ними и передал их в его руки...»

Аббат прервал его, пылая гневом: «Почему ты не поставил меня в известность? Библиотека — не склад для личной собственности монахов!» Этими словами Аббат ясно дал понять, что руководство монастыря отказывается иметь что-либо общее с этой историей.

«Ваша милость,— смущенно отвечал Малахия,— я отнесся к этому как к малозначащей вещи... Согрешил без умысла...»

«Ну разумеется, разумеется,— перебил его Бернард самым сердечным тоном.— Мы все уверены, что библиотекарь действовал исключительно из благих побуждений, и его искреннее и добровольное сотрудничество со следствием служит дополнительным доказательством в его пользу. По-братски прошу ваше высокопреподобие не ставить ему в вину эту давнюю неосторожность. Мы верим Малахии. И ждем от него лишь одного. Пускай теперь под присягой подтвердит, что документы, которые я сейчас предъявлю — те самые, которые были мне переданы сегодня утром, и они же — те самые, которые Ремигий Варагинский вручил ему много лет назад по вступлении в здешнюю обитель». И он поднял два листа пергамента, лежавшие на столе среди прочих. Малахия посмотрел на них и твердо сказал: «Клянусь всемогущим Отцом Небесным, пресвятой Богоматерью и всеми святыми, что это было и есть именно так».

«По мне, достаточно,— сказал Бернард.— Вы можете идти, Малахия из Гильдесгейма».

Когда Малахия, низко опустив голову, шел к выходу и почти поравнялся с дверью, вдруг кто-то крикнул из толпы любопытных, сгрудившихся в глубине залы: «Ты прятал его письма, а он показывал тебе ляжки послушников на кухне!» Раздались смешки. Малахия проложил себе дорогу к двери, работая локтями направо и налево. Я поклялся бы, что голос принадлежал Имаросу, хотя и был искажен до дурацкого фальцета. (...)

«Что же мне делать?» — вскричал келарь, падая на колени.

«Не простирайся как бегин! Ничего тебе не делать. Отныне я решаю, что делать, а что нет,— ответил Бернард с жуткой улыбкой.— Тебе же остается только покаяться. Если покаешься — будешь проклят и осужден. И если не покаешься — будешь проклят и осужден. В этом случае будешь осужден за ложные показания. Так что покайся, хотя бы для того чтоб не затягивать этот допрос, оскорбляющий нашу благопристойность и чувства сострадания и жалости!»

«Но в чем же мне каяться?»

«В грехах двух порядков. Сначала в том, что ты был в секте Дольчина, и разделял его еретические воззрения и разбойный обычай, и глумился вместе с ним над честью епископов и городских магистратов, и до сих пор живешь нераскаянным, исповедуя все ту же ложь и все те же бредни, даже и теперь, когда ересиарха нет в живых, а секта его распущена, хотя и не до конца выявлена и истреблена. А также в том, что, развращенный до глубины души мерзостной той сектою, ты повинен в преступлениях против Бога и человечества, совершенных тобою здесь в аббатстве ради каких-то тайных выгод, которые для меня все еще неясны, однако, по всей вероятности, и не нуждаются в особом выяснении, поскольку и без того блистательно доказывается и предварительным расследованием, и показаниями на процессе, что ересь исповедовавших и исповедующих бедность, тех, кто упорствует вопреки всем указаниям его святейшества папы и всем его буллам, не может не приводить к преступной развязке. И это должны уяснить все правоверные христиане. Вот что мне нужно — и больше ничего. Покайся».

(...) Я посмотрел на Аббата. Он был чернее тучи. Он тоже, хотя и с опозданием, понял, что попал в ловушку и что его собственный авторитет посредника рушится на глазах, коль скоро выясняется, что во вверенной ему области укоренились все пороки текущего столетия. А келарь... Он, казалось, уже не понимал, от каких обвинений есть возможность оправдаться, от каких — нет. Он уже не соображал ничего. Вопль, рвавшийся из его уст, был воплем его души. И в этот вопль он вложил долгие годы тайной сердечной муки. Прожив целый век, полный сомнений, одушевлений и разочарований, подлостей и предательств, он понял, что настал момент взглянуть в глаза неотвратимой кончине. И пред ее лицом он снова обрел веру собственной юности. Он уже не думал о том, истина в этой вере или ложь. Он как будто доказывал самому себе, что еще способен просто верить.

«Да, это правда,— вскричал он.— Я был с Дольчином, я участвовал в его преступлениях, в его разгуле, возможно, я был не в себе, возможно, вместо любви к господу нашему Христу Иисусу я испытывал только потребность в свободе и ненависть к епископам... Это верно, я грешил, но клянусь всем чем хотите — ни в одном из здешних убийств я не повинен, клянусь вам всеми святыми!»

(...) Келарь был как будто и одержим и одухотворен одновременно. Будто прорвалась плотина умолчания и притворства, и его душу захлестнуло былое. Не только слова былого; но и образы, и чувства, которыми полнилась его душа в те давние годы.

«Итак,— напирал Бернард,— ты признаешь, что вы чтили как мученика Герарда Сегалелли, отказывали в должном уважении римской церкви, утверждали, что ни папская, ни чья-либо иная власть не имеет

права предписывать вам ваш образ жизни! (...) И жгли, и грабили, и стремились завладеть имуществом добрых и честных христиан!»

«Да, мы жгли и грабили, поскольку установили для себя наивысшим законом бедность. И мы взяли себе право овладевать чужим незаконно нажитым богатством. И пытались поразить в самое сердце тот заговор стяжательства, которым опутаны все приходы, все до единого. Но никогда мы не грабили для того чтоб нажиться, никогда не убивали для того чтобы грабить, мы убивали чтоб наказывать, чтоб очищать нечистых, очищали их же кровью, может быть, нас ослепляла неуемная тяга к справедливости, ведь грешат и от избытка любви Божией, а не только от недостатка, грешат от преизбыточности совершенства, мы были истинным сообществом духовным, ниспосланным от Господа, пришедшим ради прославления последних времен, мы искали награды рая, приближая пору вашего свержения, мы одни были заступниками Христу, все прочие — отступниками, и Герард Сегалелли был среди нас божественным ростком, Planta Dei pullulans in radice fidei [1], и устав наш был взят прямо от Господа, а не от вас, суки вы поганые, проповедники лживые, пропахшие не ладаном, а серою, подлые псы, вонючие стервы, пустосвяты, прислужники Авиньонской курвы, преисподня по вас не наплачется! Наш дух был свободен, раскрепощен, раскрепостились и наши тела, и мы стали мечом Божиим, хотя нам и приходилось резать невинных — все ради того, чтобы как можно скорее перебить всех вас и таких, как вы. Мы хотели лучшего мира, покоя и благости, и счастья для всех. Мы хотели убить войну, ту войну, которую приносите в мир вы. Все войны из-за вашей скаредности! А вы теперь взялись колоть нам глаза тем, что ради справедливости и счастья мы пролили немного крови! В том и вся беда! В том, что мы слишком мало ее пролили! А надо было так, чтобы стала алой вся вода в Карнаско, вся вода в тот день в Ставелло. Наша кровь тоже там текла! Мы крови не щадили! Наша и ваша, наша и ваша, реки и реки, нечего ждать, нечего ждать, время пророчества Дольчина истекало, и мы гнали жизнь во весь опор...»

Он трясся всем телом, руки метались по одежде, как будто сбрасывая с нее кровь, призванную им же на собственную голову. «Был обыкновенный обжора, и вот надо же — очищение»,— прошептал мне Вильгельм. «Как, это и есть очищение?» — переспросил я содрогаясь. «Оно бывает и другого сорта,— сказал Вильгельм,— но в любом случае, меня оно всегда пугает».

«А что для вас страшнее всего в очищении?» — спросил я.

«Поспешность»,— ответил Вильгельм.

«Довольно, слышишь, ты! — пытался перекричать келаря Бернард.— Мы ждали покаяния, а не призыва к резне. Что ж, прекрасно. Значит, ты не только был еретиком, но и до сих пор остаешься им. Не только убивал, но и до сих пор убиваешь. Раз так, расскажи, какими способами ты убил своих братьев по монастырю. И за что?»

Келарь разом замер, дрожь его пропала, и он медленно обвел взглядом все вокруг, как будто просыпаясь после глубокого сна.

«Ну нет,— сказал он,— к этим убийствам я касательства не имею. Я сознался во всем, что делал, не заставляйте сознаваться в том, чего я не делал».

«Да есть ли хоть что-нибудь, чего бы ты не мог сделать! И ты еще лепечешь о своей невиновности! Ай да агнец, ай да образчик кротости! Что с того, что у тебя руки по локоть в крови? Ты ведь теперь исправился! Я думаю, все мы ошибались, господа, и Ремигий из Варагины — пример всех на свете добродетелей, верный сын своей церкви, недруг недругов Христовых! Он от веку почитает все те правила, которые заботливой и рачительной десницей церкви розданы нашим весям и городам! Он уважает покой предпринимательства,

[1] Божественный побег от корня веры *(лат.)*.

ремесленничества, блюдет и всегда блюл сокровища церквей! Он невиновен, господа, он ничего не совершил! Скорее в мои объятия, брат Ремигий, дай утешить тебя после той напраслины, которую возвели на тебя злые люди!» И в то время как Ремигий не сводил с него остановившихся глаз, как будто внезапно поверив в полное свое оправдание, Бернард резко изменил тон и властным голосом обратился к капитану лучников:

«Мне неприятно прибегать к тем средствам, которые церковь всегда порицала, когда ими пользовалась светская власть. Но существует закон, и закон определяет все. Он подчиняет себе и подавляет даже мои личные убеждения. Узнайте у Аббата, в каком помещении можно установить орудия пыток. Но сразу не приступайте. Пусть три дня дожидается пытки у себя в камере, скованный по рукам и ногам. Потом покажете ему орудия. Больше ничего. Только покажете. А на четвертый день — начинайте. Правосудию Божию несвойственна поспешность, что бы ни говорили лжеапостолы. У правосудия Божия в распоряжении много столетий. Так что действуйте не торопясь, постепенно. Более всего следите за тем, о чем вам не раз говорилось. Никаких серьезных увечий, никакой возможности смертного исхода. Одно из преимуществ, выпадающих на долю грешника при подобном обращении — это что смерть представляется ему желанной, долгожданной, и она не наступает прежде чем наступит покаяние. Полное, добровольное и очищающее».

Лучники наклонились и за цепи рванули келаря с пола. Однако тот уперся ногами в землю и удержался на месте, показывая, что хочет что-то сказать. Получив разрешение, он заговорил. Но слова через силу выталкивались из его рта, и речь его походила на задыхающееся бульканье пьяного, и что-то было в этом почти непристойное. Лишь постепенно в его словах снова стала чувствоваться та звериная сила, которой дышало все его давешнее признание.

«Нет, ваша милость. Только не пытка. (...) Только не такая пытка, как Дольчину. Не надо. Тебе нужен труп. Чтоб получить его, тебе нужно, чтоб я взял на себя вину за те, предыдущие трупы. А мне все равно. Я в любом случае скоро буду трупом. Поэтому получи, что тебе надо. Итак, я убил Адельма из Отранто потому, что ненавидел его за молодость и за умение беспощадно высмеивать таких уродов, как я. Старых, толстых, низкорослых и неграмотных. Я убил Венанция из Сальвемека за то, что он был слишком учен и читал такие книги, в которых я не понимал ни слова. Я убил Беренгара Арундельского из ненависти к его библиотеке. Мои-то богословские прописи записаны палкой на спинах жирных церковников. Я убил Северина Сант-Эммеранского... За что? За то, что он собирал травы. А у нас на горе Ребелло травы шли в пищу без особых рассуждений об их лечебных свойствах. На самом деле я вполне мог бы убить еще кого-нибудь, в частности нашего Аббата. За папу он или за императора — все равно он всегда был на стороне моих врагов, и я всегда ненавидел его, ненавидел за все, даже за то, что он кормил меня. Кормил меня за то, что я кормил его! Ну что, хватит с тебя? Ах, нет, ты ведь еще интересуешься, каким способом я убил всех этих людей. Ладно. Я убил их... Дай подумать... Я убил их благодаря адовым силам. Я убил их с помощью тысячи легионов ада, я умею повелевать адскими силами благодаря искусству, которому обучился у Сальватора... Чтобы кого-нибудь убрать, убивать совсем не обязательно. Дьявол все сделает за вас, если только вы сумеете с ним договориться! Сейчас я научу!(...)»

«Довольно, довольно! — завопили присутствующие крестясь и отмахиваясь.— Господи, прости, не покарай всех нас!»

Келарь смолк. Выкрикнув тысячу бесовских имен, он пал на лице свое, изблевывая из перекошенного рта беловатую пену, скрежеща сцепленными зубами. Его руки, намертво скрученные цепями, кон-

вульсивно сжимались и разжимались. Ноги подергивались, рывками били по воздуху. Почувствовав, что я охвачен ужасом, Вильгельм взялся рукой за мою голову и крепко стиснул, сдавил затылок, приводя меня в чувство. «Вот, смотри,— сказал он.— И запомни, что под пыткой или под угрозой пытки человек рассказывает не только то, что сделал, но и то, что мог или хотел бы сделать, хотя сам того не сознавал. Теперь Ремигий призывает смерть всей своей душой».

Лучники вывели келаря, все еще корчившегося в конвульсиях. Бернард сложил в стопу свои листы. Потом обвел взглядом присутствующих, которые замерли во власти страшного смятения.

«Допрос окончен. Сознавшийся подсудимый будет препровожден в Авиньон, где состоится окончательное заседание суда с соблюдением всех процессуальных норм, в духе истинности и справедливости. И только после этого законного разбирательства он будет сожжен. Вам, Аббат, этот человек уже не принадлежит. Ни вам, ни мне. Я выступал только в качестве смиренного орудия истины. Орудие же правосудия не здесь. Пастыри исполнили свой долг, теперь дело за псами, пусть отделят паршивую овцу от паствы и очистят ее огнем. Печальная эпоха, в которую этому человеку удавалось зверски злодействовать, завершена. Отныне в аббатстве настанет покой. Но в мире,— голос его возвысился; теперь он обращался прямо к членам делегаций,— в мире далеко еще нет покоя, мир раздирают ереси, они находят пристанище даже в залах императорских дворцов! Пускай же братья мои запомнят, что cingulum diaboli [1] тянется от извращенных последователей Дольчина к почтеннейшим заседателям Перуджийского капитула. (...)»

Произнося это, он смотрел на Убертина. И все члены францисканской делегации отлично поняли, на что намекает Бернард. С этой минуты встречу можно было считать проваленной. Никто бы теперь уже не осмелился выступать на диспуте, ибо всем было ясно, что отныне каждое слово будет восприниматься в свете недавних прискорбных происшествий. Если Бернард был прислан папой именно для того, чтобы не допустить примирения двух группировок — он блестяще справился с заданием.

Пятого дня
ВЕЧЕРНЯ.

где Убертину приходится бежать,
Бенций начинает почитать законы,
а Вильгельм делится некоторыми соображениями
о разных видах сладострастия,
встреченных в этот день

Когда народ неспешно покидал капитулярную залу, Михаил протиснулся поближе к Вильгельму, и тут же рядом с нами оказался Убертин. Вчетвером мы вышли на улицу. Таким образом, беседа протекала в церковном дворе, под прикрытием тумана, который и не думал рассеиваться, а, напротив, все больше густел и темнел от наступавших сумерек.

«Думаю, обстановка в пояснениях не нуждается,— сказал Вильгельм.— Бернард нас разгромил. Не спрашивайте меня, виноват ли этот балбес дольчинианин во всех преступлениях. На мой взгляд — он вообще ни при чем. Но хуже всего, что мы снова на исходной позиции. Иоанну ты, Михаил, нужен в Авиньоне один. И нынешняя встреча не дала тех гарантий, за которыми мы приехали. Наоборот, она показала, как они сумеют вывернуть и извратить каждое твое слово. Вывод из этого, по-моему, один — что ехать тебе нельзя».

Михаил тряхнул головой: «И все-таки я поеду. Не хочу раскола. Ты, Вильгельм, сегодня высказался весьма ясно и недвусмысленно и

[1] Дьявольская связь *(лат.)*.

дал понять, куда метишь. Так вот, мы метим вовсе не туда. И я прекрасно сознаю, что постановления перуджийцев использованы вами, имперскими богословами, вовсе не в том духе, в котором они замышлялись. А мне нужно только одно — чтобы папа позволил францисканскому ордену его принцип бедности. Мне нужно, чтоб до папы дошло, что только укрепив орден этим принципом, можно будет снова поглотить все еретические ответвления. Меня не интересуют ни народная ассамблея, ни человеческие права. Мое дело — не допустить, чтобы орден распался на несколько полубратских отрядов. Я еду в Авиньон. И, если потребуется, подчинюсь Иоанну во всем. Я уступлю по всем вопросам, кроме бедности».

Вмешался Убертин: «Ты понимаешь, что рискуешь жизнью?»

«Что ж,— ответил Михаил.— Лучше жизнью, чем спасением души».

(...) Михаил принял решение, и переубедить его было невозможно. К тому же требовалось срочно решить еще один вопрос, и Вильгельм перешел к нему без лишних разговоров. Дело в том, что отныне под ударом оказывался и сам Убертин. Слова, обращенные к нему Бернардом, ненависть со стороны папы, то обстоятельство, что в отличие от Михаила, который все-таки представлял собой силу, вынуждающую к переговорам, Убертин был совершенно незащищен и представлял только самого себя...

«Иоанну нужно, чтоб Михаил был при дворе, а Убертин на том свете. Привычки Бернарда мне немного известны. Не пройдет и суток — тут кстати и туман,— как Убертина найдут мертвым. А если кто-нибудь поинтересуется, кто преступник, придется засвидетельствовать новое злодейство из тех, которые случаются в этом монастыре, и всем объяснят, что это работа бесов, вызванных Ремигием при помощи черных кошек. Или козни какого-нибудь недобитого дольчинианина, до сих пор орудующего в аббатстве...»

«И что же теперь?» — спросил обеспокоенный Убертин.

«Теперь,— ответил Вильгельм,— ты пойдешь к Аббату и попросишь у него коня, провианту и письмо в какой-нибудь далекий монастырь по ту сторону Альп. Воспользуешься туманом и темнотой и уедешь немедленно».

«Но разве лучники не охраняют выход?»

«Из монастыря есть другие выходы, и Аббат их знает. Пусть кто-нибудь из слуг ждет тебя внизу за поворотом дороги с лошадью. Тебя выпустят через потайной лаз в стене и тебе останется только немного сойти лесочком. Действовать надо немедленно, пока Бернард еще не протрезвился от ликования по поводу своего триумфа. Я же обязан заняться кое-чем в другом роде. У меня было два задания, первое я провалил, хотелось бы не провалить второе. Я должен добраться до одной книги и до одного человека. Если все пройдет нормально, ты будешь уже далеко отсюда еще раньше, чем я начну тебя разыскивать. А теперь прощай».

(...) «Надо думать, за этими убийствами кроются силы еще более великие и могущественные, чем Иоанн и Людовик...» — сказал мне учитель.

«Что здесь кроется? Бесчестные монахи обворовывают и убивают друг друга!» — вскричал я в негодовании.

«Из-за запрещенной книги, Адсон, из-за запрещенной книги»,— ответствовал Вильгельм.

Монахи уже направлялись к вечере. Прошла добрая половина трапезы, когда появился и сел рядом с нами Михаил Цезенский с сообщением, что Убертин покинул пределы аббатства. И Вильгельм наконец смог перевести дух.

Отужинав, мы не стали задерживаться возле Аббата, беседовавшего с Бернардом, а быстро нагнали Бенция. Тот приветствовал нас

кривой ухмылкой, бочком продвигаясь по направлению к двери. Но Вильгельм остановил его и заставил отойти с нами в угол кухни.

«Бенций,— обратился к нему Вильгельм,— где книга?»

«Какая книга?»

«Бенций, ни ты, ни я не идиоты. Я говорю о книге, которую мы утром искали у Северина и которую я не распознал, а ты распознал сразу же и сразу же вернулся за ней».

«А почему вы думаете, что я ее взял?»

«Думаю. И ты так же думаешь. Где она?»

«Я не могу сказать».

«Бенций, если ты не скажешь, я обо всем доложу Аббату».

«Я не могу сказать именно по распоряжению Аббата,— ответил Бенций с самым смиренным видом.— Сегодня, после нашей с вами встречи, имело место событие, о котором вам следует узнать. После смерти Беренгара освободилось место помощника библиотекаря. Сегодня днем Малахия предложил мне занять этот пост. Только что, полчаса назад, Аббат утвердил мое назначение. И с завтрашнего утра, надеюсь, меня начнут приобщать к тайнам библиотеки. Я действительно взял тогда книгу и спрятал под соломенным тюфяком в своей келье, даже не заглянув в нее, поскольку понимал, что за мной следит Малахия. И вскоре после этого Малахия сделал мне вышеупомянутое предложение. Тогда я поступил, как и надлежит помощнику библиотекаря: передал книгу ему».

Я уже не мог удерживаться и встрял с негодованием в их беседу: «Ах ты, Бенций, ведь ты же еще вчера... Ведь вы же еще вчера рассказывали, как вас гложет страсть к познанию, и как вам не хочется, чтобы в библиотеке что-то утаивали, и что ученый имеет право знать...»

Бенций покраснел и не отвечал. Но Вильгельм остановил меня: «Адсон, несколько часов назад Бенций перешел в другой лагерь. Теперь он охраняет те секреты, которые прежде мечтал открыть. Охраняя их, он будет иметь достаточно времени, чтобы наслаждаться ими...»

«А как же все остальные? — сказал я.— Бенций же говорил от имени всех!»

«Вчера»,— ответил Вильгельм. И увел меня прочь, оставив Бенция одного и в замешательстве.

«Бенций,— сказал мне позднее Вильгельм,— это жертва. Жертва сладострастия, которое отличается как от сладострастия Беренгара, так и от сладострастия келаря. Подобно многим другим ученым, он сладострастно жаждет знать. Знание ради знания. И не допущенный к какой-то части знания, он жаждет завладеть именно этой частью. Сейчас он наконец завладел. Малахия понимал, с кем имеет дело, и выбрал безошибочное средство, чтобы вернуть книгу и заставить Бенция молчать. Ты спросишь, какой прок ему охранять такие запасы знаний, если он не имеет права обнаруживать их перед другими людьми. Но именно в этом смысле я и говорю о сладострастии. Этого сладострастия нет у Рогира Бэкона. Тот стремился поставить науку на службу народа Божия, ради его счастья. Следовательно, он не гнался за знанием ради знания. А у Бенция только ненасытное любопытство, гордыня ума. Он сладострастник. Он нашел способ не хуже любого другого, чтобы ему, монаху, видоизменять и удовлетворять в опосредованном виде похоть собственных чресл. Таков же, впрочем, и жар, который побуждает иных воевать за правую или за еретическую веру. Видишь, не одно плотское сладострастие бывает на свете. Сладострастник и Бернард Ги. У него — извращенный блуд карания и милования, который он отождествляет со сладострастием власти. Есть сладострастие накопительства — как у нашего святейшего, хотя уже и не римского, папы. Есть сладострастие причастности, преображения, покаяния и гибели — которое было у нашего келаря в молодо-

сти. И есть сладострастие чтения — как у Бенция. Подобно прочим видам сладострастия, в частности сладострастию Онана, изливавшего собственное семя на землю, это сладострастие совершенно бесплодно и не идет ни в какое сравнение с любовью, даже телесной...»

«Я знаю»,— выпалил я неожиданно для самого себя. К счастью, Вильгельм притворился, будто не слышит. Хотя, продолжая свое рассуждение, он в то же время отвечал и мне: «В истинной любви важнее всего благо любимого».

«А нельзя ли понять так, что Бенций печется о благе своих книг (отныне они уже его) и считает, что для них благо — находиться подальше от жадных рук?»

«Благо книги — в том, чтоб ее читали. Книга состоит из знаков, говорящих о других знаках, которые в свою очередь говорят о вещах. Вдали от читающего глаза книга являет собой скопище знаков, не порождающих понятий. А значит, она нема. Эта библиотека рождена, надо думать, для защиты собранных здесь книг. А сейчас она живет для их погребения. Через это она и сделалась рассадником непотребства. Келарь признался, что предал друзей. Так же и с Бенцием. Он тоже предал. Ох, какой тяжелый день, добрейший мой Адсон! Кровавый, смертельный день. На сегодня с меня хватит. Пойдем-ка и мы к повечерию, а потом спать».

Выходя из кухни, мы наткнулись на Имароса. Он спросил, правда ли то, о чем все шепчутся — что Малахия пригласил Бенция к себе в помощники. Нам пришлось подтвердить.

«Этот Малахия много чего хорошего успел сегодня,— сказал Имарос с обычной своей ухмылкой снисходительного презрения.— Была бы на свете справедливость — дьяволу полагалось бы пожаловать по его душу нынче ночью».

Пятого дня
ПОВЕЧЕРИЕ,

где звучит проповедь о явлении Антихриста
и Адсон открывает для себя
значение имен собственных

Вечерня в тот день прошла как-то беспорядочно, поскольку еще не окончился допрос келаря. Любопытные послушники, ускользнув из-под опеки своего наставника, вообще сбежали и облепили все окна и щели капитулярной залы, пытаясь узнать, что происходит внутри. Так что теперь, во время повечерия, предстояло всем братством как следует помолиться об упокоении души Северина. Ожидалось, что Аббат обратится к братьям. Было интересно, что он скажет. Однако по завершении уставной проповеди Св. Григория, респонсория и трех назначенных на этот день псалмов Аббат поднялся на кафедру совсем ненадолго — только чтобы объявить, что сегодня он выступать не намерен. Слишком многие несчастья обрушились на здешнюю обитель, сказал он, слишком многие для того, чтобы мог отец общины, как обычно, обращаться к сыновьям от имени того, кто имеет право осуждать и поучать. Нет. Настала минута всем и каждому, без исключения, повернуть взоры внутрь себя и свершить строгий суд над собственной совестью. Но поскольку правилом предписывается, чтобы кто-нибудь все же говорил, Аббат считает, что слово следует предоставить самому престарелому из всех. Тому, кто ближе всех к исходу жизни и, видимо, поэтому менее всех вовлечен в земные страсти, приведшие к подобному засилию зла. По счету старшинства исполнение правила выпадало Алинарду Гроттаферратскому. Но поскольку всем известно, до чего немощен здоровьем преподобный собрат, вслед за Алинардом, согласно порядку, установленному неотвратимым движением времен, идет Хорхе. Ему-то Аббат и предоставляет слово для проповеди.

Тут я расслышал ропот недовольства, донесшийся с той стороны скамей, где обычно располагались Имарос и прочие итальянцы. Очевидно, Аббат договорился о выступлении с Хорхе, даже не спросившись Алинарда. Учитель вполголоса шепнул мне, что отказ от выступления был со стороны Аббата довольно разумным шагом, так как в любом случае, что бы ни сказал Аббат — Бернард и прочие авиньонцы станут внимательно вслушиваться и как-то перетолковывать его слова. А старец Хорхе, несомненно, углубится в свои обычные мистические прорицания, так что его словам авиньонцы большого значения не придадут. «И очень напрасно, я считаю,— добавил Вильгельм.— Поскольку никогда не поверю, чтобы Хорхе согласился говорить — да и был приглашен — без какой-то вполне определенной цели».

Опираясь на кого-то из монахов Хорхе взошел на кафедру. Лицо его озарилось огнем с треноги, которая единственная освещала этот придел. Другого света не было. Высветив лицо, отблеск пламени еще сильнее подчеркнул тьму, залегшую в его мертвенных глазницах, казавшихся двумя черными ямами.

«Возлюбленные братья — начал он,— и вы все, дражайшие гости обители, раз вы согласны слушать речи бедного старика... Четырежды смерть поразила тишину этого места. Не вспоминаю уж о прегрешениях — как давних, так и нынешних,— коими запятнаны самые отъявленные из оставшихся в живых. Смерти эти, как вы, несомненно, чувствуете, нельзя списать на немилость природы, которая, преданная своему распорядку, определяет все сроки нашего земного дня — начав колыбелью, кончая могилой. Все вы, возможно, думаете, что, хотя и преисполняя вас печали, эти тягостные события не касаются до души вашей. Ибо все вы, кроме одного-единственного, ни в чем не повинны. А после того как этот единственный будет покаран, вам останется только оплакать участь ушедших. А себя-то не придется винить ни в какой недобросовестности, представая перед Божиим судом. Вот что вы думаете. Дурни! — вскричал он ужасающим голосом.— Дурни безрассудные! Тот, кто убивал, он, конечно, принесет к стопам Божиим бремя своих злодеяний. Но только потому, что согласился послужить посредником предустановлений Господних! Так же потребовалось и в свое время, чтобы кто-нибудь предал Иисуса, ради того, чтобы могло осуществиться чудо искупления. И тем не менее Господь приговорил к проклятию и вечному поношению того, кто его предал. То же самое и в недавние дни. Кто-то грешил тут, сея смерть и разорение. Однако я говорю вам, что это разорение было если не угодно Господу, то во всяком случае позволено Им — ради наказания нашей с вами гордыни!»

Он умолк и обвел пустыми глазами помрачневшее собрание, как будто мог что-то разглядеть, как будто хотел уловить впечатления слушателей. А в это время чутким своим слухом смаковал напряженную тишину.

«В этом братстве,— продолжил он,— с давних времен обитает ядовитый аспид гордыни. Но какой гордыни? Гордыня ли это властительства монастырем, отрезанным от мира? Нет, конечно. Гордыня накопительства? О, братие! Задолго до того как в знаемом нами мире загремели раздоры касательно бедности и обладания, с самых тех времен, когда еще жив был наш основатель, мы, наш орден, хоть бы и владели чем угодно — на самом деле не владели ничем. Единственные наши настоящие сокровища были уважение правил, молитва, работа. Однако наш вид работы, вид работы, принятый в нашем ордене, и, в частности, вид работы, принятый в нашем монастыре — в большой своей части, да что там, почти что целиком — сводится к учению и к охране знаний. К охране, говорю я, а не к разысканию. Ибо знание, в силу своей божественности, полновесно и совершенно даже в самых началах своих, оно совершенно полно уже в своем истоке — в божественном Слове, которое высказывается само через

себя. Охрана, говорю я, а не разыскание. Ибо знание, в силу своей человечности, целиком определилось и целиком исполнилось смысла уже в те столетия, которые протекли от проповеди пророков до толкований святых отцов церкви. (...) В чем же, братие, соблазн той гордыни, которая искушает любящего ученье монаха? Это соблазн истолковать свою работу не как охрану, а как разыскание неких сведений, которые до сих пор почему-либо еще не даны роду человеческому. Как будто не слышаны самые крайние, самые последние из сведений! Те, что в устах последнего Ангела, пророчащего в последней книге Священного Писания! Слышите? «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто прибавит что́ к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто убавит что́ от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей». А коли так... Коли так, не кажется ли вам, злополучные вы мои собратья, что сии слова не на иное указуют, как на то, что недавно происходило в стенах здешней обители? А то, что недавно происходило в стенах здешней обители, не кажется ли вам, что указует на бедствия века, в который нам выпало существовать? Напряжен он и в речах своих и в трудах, и в городах и в усадьбах, в спесивых своих университетах и в кафедральных соборах, где как одержимый выискивает все новые добавления, все новые подтверждения словам истины. И тем самым извращает содержание этой истины. Она и без того уж обогащена всевозможными схолиями. Она нуждается только в бестрепетной защите — а вовсе не в дурацком наращивании подробностей! Вот она, гордыня, которая угнездилась и до сих пор гнездится, как змея, в этих стенах! И я говорю прямо к тем, кто тщились и до сих пор тщатся снять печати с тех книг, которые им не положены! Я говорю, что в них и есть та гордыня, которую Господь собирался покарать и которую он непременно покарает, если они не смирятся и не отступят! Ибо Господу не составит труда найти управу на нас, по нашей хрупкости. И он отыщет новое орудие мщения!»

«Слышишь, Адсон? — промурлыкал Вильгельм мне на ухо.— Старичок знает больше, чем говорит. Приложил ли он сам руку к этим делам, или нет — в любом случае он что-то имеет в виду, когда обещает не в меру любопытным монахам, что если они возобновят свои налеты на библиотеку — на тихую жизнь пусть не надеются».

Хорхе выдержал долгую паузу и заговорил снова.

«Но в ком же, наконец, как в символе воплотилась вся описанная гордыня? Кому служат наши гордецы как заместители и посланники, сообщники и знаменосцы? Кто, в сущности, орудовал и, возможно, продолжает орудовать в этих стенах? И тем самым извещает нас, что сроки приближаются? А также и утешает. Потому что если сроки близки — тогда сознаешь, что наступающие страдания, сколь ни невыносимы, однако же не будут бесконечны во времени, так как величайший из циклов этой вселенной исходит и кончается. Кто это? О, вы прекрасно поняли, о ком я говорю! Однако не решаетесь назвать его по имени! Ибо его имя — это также и ваше! И вы боитесь его, этого имени! Но хоть вы его и боитесь — я не побоюсь. Я выкрикну это имя самым громким голосом, и произнесу его, чтобы вас до самых кишок пронизал величайший ужас, и зубы ваши заколотились бы, перекусывая языки, и оледенела бы в ваших жилах кровь и темной пеленой накатилась бы на ваши зеницы... О, вот! Вот тварь богохульная! Это Антихрист! (...) Спасайтесь же во имя Отца, Сына и Духа Святого!»

«Аминь!» — откликнулись все.

Один за другим, без звука, без шопота расходились монахи по своим обиталищам. Без всякого желания говорить друг с другом

проследовали восвояси и минориты, и посланники папы. Все жаждали уединения и отдыха. На сердце у меня было тяжело.

«Спать, спать, Адсон,— приговаривал Вильгельм, взбираясь по ступеням странноприимного дома.— Сегодняшний вечер не подходит для прогулок. Мало ли что взбредет в голову Бернарду. Вдруг он решит приблизить конец света и начать с наших с тобой мощей... Завтра надо обязательно выбраться к полунощнице, потому что Михаил и прочие миноритыуезжают сразу после нее».

«А Бернард... и заключенные?» — спросил я еле слышно.

«Здесь Бернарду делать больше нечего. Он захочет попасть в Авиньон прежде Михаила и так все устроить, чтоб сразу после его приезда развернулся судебный процесс над келарем — миноритом, еретиком и убийцей. Костер Ремигия будет в виде праздничного факела озарять первую встречу Михаила и папы».

«А что станется с Сальватором... и с этой девушкой?»

«Сальватора повезут вместе с келарем. Очевидно, он предполагается как свидетель на процессе. Может быть, за эту услугу Бернард сохранит ему жизнь. Может быть, позволит ему бежать и убьет при попытке к бегству. Хотя кто знает. Может, он его и впрямь отпустит. Такие, как Сальватор, таких, как Бернард, интересуют меньше всего. Так что по-разному может получиться. Не исключаю, что он кончит свой век живорезом где-нибудь в лангедокских лесах...»

«А девушка?»

«Я же сказал тебе. Горелое мясо. Но она сгорит раньше всех, не доезжая Авиньона, на здешнем побережье, для острастки какого-нибудь поселения катаров. Я слышал, что Бернард договорился встретиться со своим сподвижником Жаком Фурнье... Запомни это имя, пока что он жжет альбигойцев, но метит явно выше. Для такой встречи красотка ведьма, которую можно со вкусом спалить — как раз то, что надо. Это повысит и самоуважение и славу обоих».

«Но разве нельзя что-нибудь сделать? — вскричал я.— Хоть что-нибудь, чтобы их спасти? Аббат не вступится?»

«За кого? За келаря, сознавшегося убийцу? За этого ничтожного Сальватора? Или ты о девчонке думаешь?»

«А если даже и так? — заорал я из последних сил.— По совести говоря, из всех трех она единственная, кто неповинен ни сном ни духом. Вы ведь знаете, что она не ведьма!»

«И ты веришь, что Аббат, после всего что тут было, поставит под удар те остатки авторитета, которыми он еще пользуется? Ради какой-то ведьмы?»

«Но взял же он на себя ответственность за побег Убертина!»

«Убертин был монах его аббатства и ни в чем не обвинялся. И вообще что за чепуху ты несешь. Убертин важная особа. Бернард мог убрать его только исподтишка».

«Значит, правду говорил келарь, и простецы всегда платят за всех, даже за тех, кто на словах заступается за них, даже за таких, как Убертин с Михаилом, которые своими разглагольствованиями о покаянии поднимают простецов на мятеж!» — Я совсем не владел собой, я уже не соображал, что девица не была несчастным полубратом, сбитым с толку заклинаниями Убертина. Но все равно она была крестьянка и платила за игры, которые ее не касались.

«Да, так все и обстоит,— печально отвечал на мои речи Вильгельм.— Хотя если ты жаждешь справедливости... Могу тебя успокоить. Безусловно, наступит такой день, когда крупные псы, папа с императором, замирятся и по этому случаю растопчут всю мелкую песью братию, которая пока что грызется, услужая им. Тогда и с Михаилом и с Убертином обойдутся так же, как сейчас с твоей девчонкой».

Теперь я могу сказать, что Вильгельм, произнося это, пророчествовал, вернее философствовал на основании законов натуральной логики. Но в ту минуту ни пророчества его, ни силлогизмы нисколько меня не утешили. Я был совершенно раздавлен сознанием собственной вины, ибо выходило, что девушка на костре будет искупать тот самый грех, в котором я участвовал наравне с нею.

Потеряв всякий стыд, я разразился рыданиями и метнулся к себе в келью, где в течение целой ночи кусал тюфяк и выл в полном бессилии, ибо судьба отказала мне даже в том, о чем читал я в рыцарских романах, украдкой, с ровесниками, у себя дома, в Мельке — в праве плакать и жаловаться, беспрестанно поминая имя возлюбленной.

Единственная земная любовь всей моей жизни не оставила мне — я никогда не узнал — имени.

(Окончание следует)

Литературное наследие

ДЖОН ДОНН

Четыре стихотворения

Перевод с английского
ИОСИФА БРОДСКОГО

Шторм

Г-ну Кристоферу Бруку[1]

Ты, столь подобный мне, что это лестно мне,
Но все ж настолько «ты», что этих строк вполне
Достаточно, чтоб ты, о мой двойник, притих,
Узнав, что речь пойдет о странствиях моих,—
Прочти и ощутишь: зрачки и пальцы те,
Которы Хиллиард[2] мнил оставить на холсте,
Пустились в дальний путь. И вот сегодня им
Художник худших свойств, увы, необходим.

Английская земля, что души и тела,
Как в рост ростовщики, нам только в долг дала,

[1] Кристофер Брук (ум. в 1628) — поэт, юрист, близкий друг Донна. Это стихотворное послание было написано летом 1597 года, когда Донн принимал участие в экспедиции английских кораблей по перехвату испанского «Серебряного флота».

[2] Николас Хиллиард (1537—1619) — художник, английский миниатюрист. Портрет Донна, гравированный Маршаллом, приписывается ему.

Скорбя о сыновьях своих, в чужом краю
Взыскующих Судьбу, но чаще — Смерть свою,
Вздохнула грудью всей — и ветер поднялся.
Но, грянувшись вверху о наши небеса,
Он устремился вниз и, поглядев вперед,
Узрел в большом порту бездействующий флот,
Который чах во тьме, как узники в тюрьме.
И он стремительно приблизился к корме.
И наши паруса набухли и взвились.
И мы, на палубах столпясь, смотрели ввысь.
И радовала нас их мощь и полнота,
Как Сарру зрелище большого живота!
Но добрый к нам тогда, он, в общем, не добрей
Способных бросить нас в глуши поводырей.
И вот, как два царя объединяют власть
И войско, чтоб затем на третьего напасть,
Обрушились на нас внезапно Зюйд и Вест.
И пропасти меж волн разверзнулись окрест.
И смерч, быстрей, чем ты читаешь слово «смерч»,
Напал на паруса. Так выстрел, шлющий смерть
Без адреса, порой встречает чью-то грудь.
И разразился шторм. И наш прервался путь.
Иона, жаль тебя! Да будет проклят тот,
Кто разбудил тебя во время шторма. От
Больших страданий сон, подобно смерти, нас
Спасает, не убив. Тебя же сон не спас.
Проснувшись, я узрел, что больше я не зрю.
Где Запад? Где Восток? Закат или зарю
И Солнце и Луну кромешный мрак скрывал.
Но был, должно быть, День, коль Мир существовал.
И тыщи звуков в гул, в единый гул слились,
Столь розны меж собой, все Бурею звались.
Лишь Молнии игла светила нам одна.
И дождь, как океан, что выпит был до дна,
Лился с небес. Одни, в каютах лежа без
Движенья, звали смерть, взамен дождя, с небес.
Другие лезли вверх, чтоб выглянуть туда,
Как души — из могил в день Страшного суда,
И вопрошали мрак: «Что нового?» — как тот
Ревнивец, что, спросив, ответа в страхе ждет.
А третьи в столбняке застыли в люках враз,
Отталкивая Страх огнем безумных глаз.
Мы видели тогда: смертельно болен Флот.
Знобило мачты. Трюм разваливался от
Водянки ледяной. А дряхлый такелаж,
Казалось, в небесах читает «Отче наш».
Лохмотья парусов полощутся во мгле,
Как труп, что целый год болтается в петле.
Исторгнуты из гнезд, как зубы из десны,
Орудья, чьи стволы нас защищать должны.
И больше нет в нас сил откачивать, черпать,
Выплевывать затем, чтоб всасывать опять.
Мы все уже глухи от хаоса вокруг.
Нам нечего сказать, услышь мы новый звук.
В сравненье с штормом сим любая смерть — понос,
Бермуды — Райский сад, Геенна — царство грез.
Мрак — света старший брат — во всей своей красе
Тщедушный свет изгнал на небеса. И все,
Все вещи суть одна — чья форма не видна,
Все формы пожрала Бесформенность одна.

И если во второй Господь не скажет раз
Свое «Да будет», знай — не будет Дня для нас!
Столь страшен этот шторм, столь яростен и дик,
Что даже в мыслях грех воззвать к тебе, двойник.

Посещение

Когда твой горький яд меня убьет,
Когда от притязаний и услуг
Моей любви отделаешься вдруг,
К твоей постели тень моя придет.
И ты, уже во власти худших рук,
Ты вздрогнешь. И, приветствуя визит,
Свеча твоя погрузится во тьму.
И ты прильнешь к соседу своему.
А он, уже устав, вообразит,
Что новой ласки просишь, и к стене
Подвинется в своем притворном сне.
Тогда, о бедный Аспид мой, бледна,
В серебряном поту, совсем одна,
Ты в призрачности не уступишь мне.
Проклятия? В них много суеты.
Зачем? Предпочитаю, чтобы ты
Раскаялась, чем черпала в слезах
Ту чистоту, которой нет в глазах.

Блоха

Узри в блохе, что мирно льнет к стене,
В сколь малом ты отказываешь мне.
Кровь поровну пила она из нас:
Твоя с моей в ней смешаны сейчас.
Но этого ведь мы не назовем
Грехом, потерей девственности, злом.
Блоха, от крови смешанной пьяна,
Пред вечным сном насытилась сполна;
Достигла больше нашего она.

Узри же в ней три жизни и почти
Ее вниманьем. Ибо в ней почти,
Нет, больше чем женаты ты и я.
И ложе нам, и храм блоха сия.
Нас связывают крепче алтаря
Живые стены цвета янтаря.
Щелчком ты можешь оборвать мой вздох.
Но не простит самоубийства Бог.
И святотатственно убийство трех.

Ах, все же стал твой ноготь палачом,
В крови невинной обагренным. В чем
Вообще блоха повинною была?
В той капле, что случайно отпила?..
Но раз ты шепчешь, гордость затая,
Что, дескать, не ослабла мощь моя,
    Не будь к моим претензиям глуха:
    Ты меньше потеряешь от греха,
    Чем выпила убитая блоха.

Прощанье,
запрещающее грусть

Как праведники в смертный час
Стараются шепнуть душе:
«Ступай!» — и не спускают глаз
Друзья с них, говоря «уже»

Иль «нет еще» — так в скорбный миг
И мы не обнажим страстей,
Чтоб встречи не принизил лик
Свидетеля Разлуки сей.

Землетрясенье взор страшит,
Ввергает в темноту умы.
Когда ж небесный свод дрожит,
Беспечны и спокойны мы.

Так и любовь земных сердец:
Ей не принять, не побороть
Отсутствия: оно — конец
Всего, к чему взывает плоть.

Но мы — мы, любящие столь
Утонченно, что наших чувств
Не в силах потревожить боль
И скорбь разъединенных уст,—

Простимся. Ибо мы — одно.
Двух наших душ не расчленить,
Как слиток драгоценный. Но
Отъезд мой их растянет в нить.

Как циркуля игла, дрожа,
Те будет озирать края,
Где кружится моя душа,
Не двигаясь, душа твоя.

И станешь ты вперяться в ночь
Здесь, в центре, начиная вдруг
Крениться, выпрямляясь вновь,
Чем больше или меньше круг.

Но если ты всегда тверда
Там, в центре, то должна вернуть
Меня с моих кругов туда,
Откуда я пустился в путь.

О Джоне Донне и Иосифе Бродском

Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн

И. Бродский. «Большая элегия. Джону Донну»

Подлинные поэты и в жизни ни с кем не схожи, в том числе и друг с другом. Мне довелось знать больших поэтов, и это свойство оставаться оригинальным во всем не переставало поражать. Только по одному поводу два поэта высказались не менее удивительно похожим друг на друга образом. Летом сорок девятого года, когда я нередко видел Б. Л. Пастернака, он как-то сказал мне: «Я одно время думал, что английская поэзия — родоначальник и источник для других европейских, как когда-то была греческая». А в шестидесятых я слово в слово то же услышал от И. А. Бродского, тогда совсем юного. Когда после долгого перерыва мы с ним встретились в конце ноября минувшего (1987-го) года в Нью-Йорке, я напомнил ему о том давнем разговоре, и он снова высказался в том же духе — столь же решительно, как о само собой разумеющемся.

При сходстве этих суждений Пастернака и Бродского я вижу и различия. Пастернак писал о том, что для него чудо английской стихотворной строки таит в себе напоминание о Шекспире, с которого для Пастернака оно и начинается. А Бродский, во всяком случае в молодости, думал прежде всего о Донне. Не будет преувеличением, если я скажу, что в середине 60-х годов многие наши любители поэзии, тогда уже вслед за Ахматовой оценившие поэтический дар Бродского, из его замечательной «Большой элегии. Джону Донну» (1963 год — автору было всего 23 года!) впервые услышали о великом младшем современнике Шекспира.

В Англии Донна, больше чем два столетия остававшегося полузабытым, вспомнили тоже лишь в XX веке. Новому открытию Донна его соотечественниками способствовал Т. С. Элиот (еще один великий английский поэт, памяти которого молодой Бродский посвятил пространный реквием). Элиот начинал писать английские стихи в совсем новом духе, ориентируясь главным образом на французских поэтов, а в английской поэзии сначала не видел себе предшественников, пока не нашел Донна. О нем он писал и в своем знаменитом эссе 1921 года, посвященном Донну и поэтам метафизической школы, и в стихах, где восхищался донновской остротой восприятия.

Поэзия Джона Донна отличается сложностью метафорического мышления. Его изощренные образы (concetti — в терминах поэтики итальянского барокко) близки современной европейской поэзии. Донн прожил относительно недолгую (1572—1631), но бурную жизнь, он был даже заключен в тюрьму за похищение невесты — своей будущей жены. Он быстро проделывает путь от беспечного кавалера до невеселого настоятеля собора — проповедника, завороженного ужасом смерти (всем памятны дивные слова одной из его проповедей, взятые эпиграфом к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол»). В стихах эти противоречивые перемены сказывались едва ли не быстрее, чем в поведении Донна. Особой поэтической силой и напряженностью отличается его любовная лирика — едва ли не высшее его поэтическое достижение. Возможно, что как лирический поэт он не имеет себе равных в английской поэзии и немногих себе равных — в мировой.

Бродский в собственных стихах, откликающихся на поэтический мир Донна, и в публикуемых журналом переводах (завершенных к 1970 году) первым попробовал раскрыть нашему читателю особенности этого английского поэта, и для англичан при всем обилии толкований и комментариев — или благодаря им? — остающегося трудным и сложным. Позднее у нас было напечатано немало переводов, сделанных иногда и известными нашими переводчиками, но и после этого опыты молодого Бродского сохраняют свою значительность. Переводы Бродского по сути верны. Лучшие или самые близкие ему строки переданы почти дословно, как предваряющие беспредельную смелость образности Бодлера, Лафорга и других французских «прóклятых» поэтов XIX века и лучших русских поэтов первых десятилетий XX века — и будущего Бродского последних сборников. Таковы, например, метафорические описания в «Шторме», где «знобило мачты» («The Mast/Shak'd with this ague») — Бродскому удалось превзойти в краткости хваленый лаконизм английского стиха! — и «Трюм разваливался от /Водянки ледяной» («and the Hold and Wast/With a salt dropsie clogg'd»). Но и в самых головоломных и отличающихся запутанностью изощренных сравнений, нагроможденных друг на друга, стихотворениях из «Песен и сонетов» Донна Бродский в переводе сохраняет естественность тона разговорной речи, подкупающего читателя. И тот принимает и

крайний рационализм уподоблений, например, развернутого сравнения с циркулем в «Прощании, запрещающем грусть», и жутковатую иронию «Посещения» (чем уже не тот же Бодлер или Гейне? — им тоже приходили в голову такие невеселые фантазии о загробных встречах с изменившей возлюбленной — французскую строку из подобного стихотворения Бодлера взяла как эпиграф к своим стихам Ахматова). И «Блоха» по сути как невесела, а читатель обманут (хотя бы отчасти) внешностью поэтической болтовни (самый образ блохи в этом жанре был расхожим). Как это видно особенно в «Прощании, запрещающем грусть», в Донне говорил и ученый-теолог, погруженный в средневековые премудрости и им верящий, и человек его времени, уже увлеченный новыми открытиями (в иных из описаний звезд в его любовных стихах видят след чтения только что перед тем вышедших трудов Галилея), телескопами и дальними путешествиями. Но он уже весь повернут к темноте барокко (оттого его и приняли такие законодатели нового барокко, как Т. С. Элиот). Недаром душа Донна в «Большой элегии» Бродского, ему посвященной, говорит почти что словами Рильке:

И климат там недвижен, в той стране.
Оттуда все, как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.

Начиная с составившей эпоху в нашем шекспироведении статьи академика М. П. Алексеева «Шекспир, Ренессанс и барокко» (она впервые была напечатана сразу после конца второй мировой войны), мы начали учиться и в позднем Шекспире угадывать падающую на него тень барокко или, как теперь иногда говорят, «второго Ренессанса без улыбки» (собственно, это предчувствовал уже Выготский в статье о Гамлете, а до него — Крэг в постановке «Гамлета» в Художественном театре). Не так важно, встречался ли Донн с Шекспиром: встретились их пути. Мы и Шекспира стали читать в свете — или в светотени, а то и во тьме? — Донна. Открыли ли этим новую черту Шекспира, особенность времени его и Донна — или и нашего века тоже?

О чем бы ни писал Донн, все подробности жизни в Англии и в континентальной Европе в его время, все технологические новшества и алхимические или астрономические теории нужны ему в стихах для воплощения его собственной лирической темы, внутри которой все его окружающее переплавлялось в метафоре его любви. И сейчас в ранних переводах Бродского я вижу след того, чему он сам научился у Донна: проницательности взгляда, четкости построения, продуманности замысла, наглядной осязаемости перевоплощенного в стихах мира, что особенно видно в высших достижениях следующих сборников Бродского. Его собственная поэзия стала такой самостоятельной именно потому, что он усвоил ошеломляющую степень новизны каждого большого поэта, когда и где бы он ни жил. В число десяти поэтов разных стран, стихи которых он каждый год разбирает в своих университетских лекциях, входят в те, кому посвящены эссе в его книге, сейчас изданной на многих языках: Мандельштам и Цветаева, Оден, Кавафис. Знакомить англоязычного читателя с русской поэзией стало так же важно, как было необходимо приблизить Донна к русским знатокам стихов.

Когда я дозвонился до Иосифа Бродского в Нью-Йорке поздним вечером, он спросил меня сразу же, возобновляя прерванный за 15 лет до того разговор о поэзии Древнего Востока: «Угадайте, какой у меня для вас подарок! Последний номер «Нью-Йорк ревью оф букс» с переводом шумерского стихотворения — разговора хозяина с рабом». Следующей частью шарады было: «А кто перевел?» Переводчиком «Slave! Come to my service» был сам Бродский. Ему хочется делать известной всем пока почти неведомую область самой ранней письменной истории мировой литературы. Для Бродского она, как для немногих, охватывает не только все континенты, но и несколько тысячелетий.

Мы условились, что я приду к нему на улицу Мортон в десять утра. Я оказался там раньше, не хотел его будить (знал, что он работал допоздна) и прошелся по этой тихой части Гринвич-Виллиджа — Латинского квартала Нью-Йорка, как его часто называют. Я быстро оказался у реки, и соседство с ней домов конца прошлого или начала нынешнего века вместе с пасмурным ноябрьским днем вызвало в памяти родной город Бродского, нет-нет да возникающий в его стихах: «...в городе, где река высовывалась бы из-под моста, как из рукава рука...». Поэзия Бродского, его переводы — на двух языках, русском и английском, его эссе соединяют разные литературы, разные языковые миры, разные времена. Начало этому было положено знакомством Бродского с Джоном Донном.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Большая элегия

Джону Донну

Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
Ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, все.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.

Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, крабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло всё. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
Поодиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому.
Геенна спит и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло все. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
И цепи спят. Чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.
Но, чу! Ты слышишь — там в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.

А нити нет... И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко.
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей? Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?»— Нет ответа.
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет».
Молчанье. Тишь. «Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж, лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»

«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Оттуда все, как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг.
И только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там вдали лежащей.

Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — все станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но, чу, пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь,— летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц. Душа его чиста,
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло все. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод ни лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди, и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

1963

■

Публицистика

Б. Й. ЖЕЛИЦКИ

УРОКИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАГЕДИИ

Заметки историка

Осень 1956 года стала трагической страницей в истории венгерского народа. Страну потряс годами назревавший глубокий общественно-политический кризис, который в конце октября — начале ноября перерос в кровавые контрреволюционные события. Скрупулезное исследование и анализ их составляет суть новой работы Ласло Дюрко — известного деятеля культуры, писателя-прозаика, успешно выступающего и в таком жанре литературной публицистики, как политические биографии: он — автор политических биографий В. И. Ленина, Яноша Кадара.

Новое произведение писателя, «1956» [1],— это приглашение к серьезному, открытому и откровенному разговору, к раздумью над ошибками, допущенными в процессе социалистического созидания. В этой работе хроника событий предстает во всей их подлинной сложности и противоречивости. На примере Венгрии писатель стремится не только осмыслить причины трагедии, но и показать, к чему могут привести абсолютизация опыта одной страны в строительстве социализма, несвоевременное разрешение возникающих противоречий, догматические ошибки, узкогрупповой характер партийно-государственного руководства, культ личности и связанные с ним нарушения социалистической законности, игнорирование экономических законов социализма и как следствие — неудовлетворенные потребности широких слоев народа.

Необходимость осуществления кардинальных перемен в венгерском обществе возникла еще в 1953 году, однако возглавляемое Матяшем Ракоши и Эрне Герё руководство Венгерской партии трудящихся (ВПТ) не желало и не было способно осуществить такие перемены. В книге прослежены исполненный драматизма процесс назревания в 1953—1956 годах предкризисной ситуации в стране, развитие самого кризиса, его этапы вплоть до вооруженной борьбы, перерастания ее в контрреволюцию и ее разгрома.

Писатель называет книгу «предварительным исследованием и прагматическим изложением событий», тем самым подчеркивая поисковый характер своей работы, стремясь обратить внимание специалистов (политиков, экономистов и историков) на необходимость более тщательного изучения уроков происшедшего, более дифференцированного подхода к оценке отдельных этапов развития событий, равно как и задействованных в них социальных и политических сил. Надо ли говорить, сколь важны и актуальны эти уроки.

Общественно-политическая мысль в социалистических странах Европы доросла до того, чтобы открытыми глазами взглянуть на противоречия современного общества, возможности возникновения при определенных условиях острых ситуаций, кризисов. Достаточно вспомнить, что обстановку, которая сложилась в советском обществе к середине 80-х годов, М. С. Горбачев охарактеризовал как предкризисную, требующую решительных мер — кардинальной экономической реформы, перестройки.

Проблема противоречий в условиях социализма по ряду причин долго не относилась (да и сегодня еще не принадлежит) к популярным темам научных, в том числе и исторических исследований, поэтому-то мы сегодня еще плохо знаем причины, мотивы и факторы назревания кризисов в обществе, их анатомию, а следовательно, и средства, которые могут способствовать их разрешению.

История последних четырех десятилетий в ряде социалистических стран Европы, в том числе и в Венгрии, показы-

[1] См. «ИЛ», 1988, № 7, 8. *(Прим. автора.)*

вает, что на разных этапах развития этих стран (в ГДР — 1953 год, в ЧССР — 1968 год, в ПНР — 1956, 1970, 1978—1981 годы) противоречия приобретали резкие формы, выливались в остроконфликтные, кризисные ситуации. Сегодня они являются частью истории этих стран, со своими конкретными причинами, со своей диагностикой, течением и последствиями. С ними необходимо считаться, изучать их, выявляя причины и обстоятельства их возникновения как для выяснения исторической правды, так и в интересах общественной практики, чтобы не допускать повторения ошибок в будущем.

Событиям 1956 года в Венгрии посвящены соответствующие разделы трехтомной «Истории Венгрии» (т. 3. М., «Наука», 1972), а также книг советского исследователя Л. Н. Нежинского «Очерк истории народной Венгрии 1948—1962» (М., «Наука», 1969), секретаря ЦК ВСРП Я. Береца «Крах операции «Фокус» (М., Политиздат, 1986). И все же работа Л. Дюрко существенно раздвигает рамки обсуждения связанных с ними проблем. В годы застоя научные публикации советских ученых, как и широкая печать, избегая глубокого анализа, ограничивались только краткой констатацией факта, акцентировали внимание на внешних причинах, приведших к контрреволюции, якобы исходящих только от Запада (влияние сталинизма сбрасывалось со счетов), а о внутренних факторах, ее вызвавших, говорилось лишь вскользь. Такой «страусиный» подход к острым кризисным ситуациям в социалистическом обществе, попытки делать вид, будто они не существовали или если уж и случались, то в результате подрывной деятельности империализма, привели к тому, что сегодня только узкий круг специалистов имеет представление о той довольно сложной гамме внутренних причин, которые, в частности, привели к трагедии 1956 года в Венгрии.

О кризисах следует говорить, рассматривая все их проявления не односторонне, а комплексно, с анализом всех корней, исходных моментов, процессов назревания и разрастания «метастазов», затрагивая как внутренние (политические, экономические, социальные, национально-психологические и идеологические), так и международные аспекты — не преувеличивая и не приуменьшая роль и значение ни внутренних, ни внешних факторов, но и не забывая, что, согласно марксистско-ленинскому учению, для любых явлений и процессов общественной жизни определяющими всегда являются факторы внутренние, та конкретная среда, в которой они развертываются — иначе говоря, факторы, которые до сих пор как раз меньше всего освещены в нашей научной литературе и публицистике.

Итак, в противовес еще столь недавнему официальному подходу сегодня уже общепризнано, что в ходе социалистического строительства при определенных условиях может возникать экономическая, социальная и политическая напряженность, могут иметь место обострения внутренней обстановки. (Ю. В. Андропов в статье к юбилею Карла Маркса отмечал, что даже неантагонистические противоречия нельзя игнорировать в политике, так как «противоречия, не являющиеся по своей природе антагонистическими, могут порождать серьезные коллизии». Накопление и несвоевременное разрешение противоречий чреваты опасностью, отрицательно сказываются на обществе, а в конечном итоге приводят к кризисам.)

Особую опасность представляет отход политического руководства от марксизма-ленинизма, от принципов пролетарского интернационализма, скатывание на позиции оппортунизма и национализма. Противоречия могут перерастать в антагонистические, если ведущие политические силы, как это случилось и в Венгрии, упорно цепляются за свои ошибочные позиции. Наша наука сегодня должна быть готова к анализу таких противоречий и конфликтов, к их открытому научному обсуждению. С этой точки зрения публикация фрагментов книги Л. Дюрко дает чрезвычайно ценный материал, убедительно показывает, что острых коллизий при своевременном распознании и умелом подходе к разрешению накопившихся в Венгрии противоречий можно было бы избежать. В 1953 году, затем в июле 1956 года существовала возможность разрядить обстановку, однако, к сожалению, раздираемое внутренними противоречиями, руководящее ядро ВПТ оказалось не на высоте положения.

Персонажи книги Л. Дюрко — не выдуманные, а реальные лица: политические и общественные деятели 50-х годов, студенты, интеллигенция, рабочие, крестьяне, так называемые «люди улицы», среди которых и убежденные сторонники социализма, и им сочувствующие, и просто наблюдатели из толпы, стихийно вовлеченные в митинги и демонстрации протеста против беззакония, произвола, грубых ошибок в политике, а затем и в водоворот трагических событий. И люди, истинно желавшие обновления социализма, и — рядом — классовые враги. И обиженные — и уголовные элементы...

Писатель выстраивает в логический ряд все известные ему факты. В этом плане он дотошен, но и предельно корректен, документален и объективен, стремится к четкости и ясности, пытается «докопаться» до сути, разобраться как в сложной психологии масс, так и в действиях руководства (к сожалению, как он убеждает нас, часто запоздалых), в сложнейших переплетениях стихийных и организационных начал октябрьских — ноябрьских выступлений.

При этом всегда ощутима позиция писателя, наблюдения по таким моментам, на которые не всегда обращали внимание авторы, прежде занимавшиеся проблемой 1956 года. В частности, это касается

оценки первого этапа уличных выступлений — студенческой демонстрации 23 октября 1956 года. Дюрко в отличие от многих авторов не квалифицирует это выступление как с самого начала контрреволюционное, а пытается определить этапы и ступени в назревании событий, подчеркивая тем самым постепенное изменение их характера. При этом он характеризует и условия, в которых менялась официальная оценка событий тех дней в процессе их развития и осложнения. Эти наблюдения заслуживают сегодня особого внимания.

Л. Дюрко восстанавливает картину конкретных действий органов власти, групп людей, отдельных личностей, анализирует их поведение и поступки. В своих рассуждениях он постоянно опирается на официальные документы, сообщения печати и радио, сопоставляет их, воспроизводя настроения улицы, атмосферу в кругах партийного руководства, в государственных органах власти, на предприятиях Будапешта. Речь идет не только о реконструкции событий, о приглашении читателя задуматься над происходящим. Автор задает вопросы и самому себе, выясняет достоверность тех или иных положений, подтверждает их или опровергает, иной раз оставляет вопрос открытым, то есть далеко не всегда ставит точки над «i», как бы предлагая читателю вместе с ним вникнуть в происходившее, позволяя ему самому судить и делать выводы, — одним словом, стремится, не навязывая свои или уже сложившиеся и принятые представления, добросовестно разобраться во всем, даже в самом сложном и замысловатом переплетении обстоятельств и противоречий, правды и вымыслов, догадок и фактов.

Да, проблема, за освещение которой взялся автор, очень сложна. Но сказать о ней свое слово ему удается. Предлагая свои оценки, он не страшится допустить расхождения с уже имеющимися оценками. Его суждения, его выводы — одна из позиций, одна из точек зрения, которой он делится со всей открытостью.

На протяжении 40—50-х годов венгерский народ достиг значительных успехов в строительстве социализма, но, к сожалению, с конца 40-х, и особенно в начале 50-х годов, резко заявили о себе серьезные ошибки и искажения, связанные с административно-бюрократическими методами руководства ВПТ, пренебрегавшего учетом конкретных условий и особенностей страны, историческими и национальными традициями. Характерно, что при этом высшее партийное руководство во главе с М. Ракоши и Э. Герё всегда ссылалось на то, что все их действия соответствуют «советскому образцу». Именно под таким лозунгом осуществлялась форсированная индустриализация с упором на преимущественное развитие тяжелой промышленности, что отвлекало средства от других отраслей экономики страны, главным образом от сельского хозяйства, приводило к напряженности и осложнениям не только в экономике, но и в социальной сфере и в итоге породило целый комплекс серьезных противоречий, острые социально-экономические проблемы, недовольство в массах, в том числе в рабочем классе. Интенсивное развитие тяжелой индустрии, работающей на привозном сырье, сочеталось с грубыми ошибками в процессе кооперирования сельского хозяйства, в аграрной политике ВПТ в целом, которая также носила на себе отпечаток всех тех отрицательных явлений, которые имели место во время проведения коллективизации в СССР.

Такая экономическая и социальная политика, вызвавшая резкое ухудшение материального положения трудящихся, сопровождалась грубыми нарушениями социалистической законности, пренебрежением национальными особенностями и традициями, что не могло не вызвать массовое недовольство, служило почвой для возрождения национализма и даже проявлений антисоветизма.

«Руководящая группа Ракоши и Герё, какое бы мероприятие она ни планировала, обязательно акцентировала внимание на том, что все проводится-де по эталону «советского опыта»,— обоснованно отмечал в этой связи Я. Берец в упомянутой выше книге.— В итоге среди широких слоев общественности создалось впечатление, что ответственность за неудачу принимаемых мер ложится якобы и на Советский Союз» (с. 31). Разумеется, все эти «угоднические меры» (именно так назвал их впоследствии Я. Кадар), которыми «Ракоши и его окружение больно ущемляли национальные чувства нашего народа, не были нужны ни СССР, ни советским людям; они были нужны подхалимам, которые оторвались от своего народа, пытались слепым копированием деятельности других оправдать себя и монополизировать дело советско-венгерской дружбы» («Непсабадшаг», 12.11.1956).

В общих чертах такова была ситуация в ВНР до смерти Сталина. В конце мая 1953 года состоялась встреча руководителей СССР и ВНР, на которой были затронуты вопросы культа личности и ошибок в политике ВПТ. На июньском пленуме ЦР[1] партии открылись возможности для пересмотра прежней политической линии.

Выше мы называли две даты — июнь 1953 и июль 1956-го, — когда в случае готовности, решительности и умения руководства ВПТ можно было бы исправить ошибки, остановить нарастание кризиса, предупредить взрыв. Анализ материалов июньского 1953 года и июльского 1956 года пленумов ЦР ВПТ ярко показывает, что, несмотря на накопившиеся противоречия, массы были готовы поддержать революционное обновление в партии и обществе, однако руководящая политическая сила оказалась неспособной решить проблему, а затем и па-

[1] ЦР — Центральное руководство (так назывался официально в 1948—1956 годах ЦК ВПТ).

рализованной. Возможности были упущены.

Что представляли собой эти возможности? Почему они не были реализованы?

Первый из этих пленумов, на котором развернулась широкая дискуссия, принял важное постановление об ошибках в политическом курсе и практической работе партии и наметил пути их исправления. В нем, в частности, отмечалось, что политика чрезмерно интенсивной индустриализации, грешившая элементами сектантского и авантюристического подхода, не учитывала реальные возможности страны, навязывала экономике напряженные темпы, что всеобщее распространение административных методов привело к упадку в сельском хозяйстве, к произволу по отношению к населению, к нарушениям законности, появлению практики, когда М. Ракоши сам давал указания, кого следует арестовывать. Пленум разработал целую программу новой экономической политики, предусматривающую сокращение темпов индустриализации, изменение соотношений между тяжелой и остальными отраслями промышленности в пользу последних, увеличение капиталовложений в сельское хозяйство, соблюдение добровольности при кооперировании крестьянства, изменения в системе обязательных поставок сельскохозяйственной продукции, поддержку товарного производства крестьян-единоличников, улучшение снабжения населения, сокращение численности армии и разбухшего госаппарата, восстановление законности и др.

И хотя М. Ракоши по-прежнему оставался во главе партии, все же важное место в постановлении пленума заняли идеи ликвидации культа его личности и восстановления коллективного руководства в ВПТ. К сожалению, как вскоре стало ясно, и на этом высоком партийном форуме Ракоши скрыл от партии противозаконные судебные процессы, которые были им инспирированы (что в дальнейшем привело к тяжелым последствиям), фактически не отказался от концепции одностороннего развития тяжелой промышленности, а следовательно, и не собирался всерьез реализовать решение пленума. Кстати, само постановление пленума по его личной просьбе, обращенной к Секретариату, не было опубликовано (полный текст издан только в 1986 году), а с его кратким вариантом были ознакомлены лишь высшие и средние звенья партийных органов. Создалась ситуация, когда об основных положениях решений пленума стало известно только из выступления нового премьер-министра Имре Надя (выдвинутого пленумом на этот пост) на сессии Государственного собрания ВНР (председателем его он стал вместо Ракоши), где он излагал задачи новой экономической политики.

И. Надь стал популярным политическим деятелем, с его именем многие связывали публичное вскрытие ошибок, допущенных руководством ВПТ в социалистическом строительстве, выдвижение многообещающих программ. Впоследствии между этими двумя политическими деятелями в партии развернулась фракционная борьба, еще больше осложнившая атмосферу в стране. В апреле 1955 года И. Надь подвергся критике за праворевизионистские взгляды. Апрельский пленум партии вывел его из состава Политбюро и ЦР ВПТ, он был отозван со всех постов. В решении апрельского пленума отмечалось, что Имре Надь стремился затормозить процесс социалистической индустриализации, особенно развития тяжелой промышленности, а на селе — кооперативного движения. В ноябре И. Надь был исключен из партии. Приписывая Надю все эти «грехи», предъявляя ему ряд других обвинений и вообще сделав его «козлом отпущения», ракошистское руководство, давно дискредитировавшее себя в глазах народа, тем самым стремилось отвлечь внимание от своей деятельности.

Вторая, тоже, к сожалению, упущенная, возможность появилась после XX съезда КПСС (февраль 1956 года). Съезд, решительно осудивший культ личности Сталина и ошибки, допущенные в ходе социалистического строительства, был встречен с большим одобрением в партийных и общественных кругах Венгрии, где многие сходные ошибки были допущены в результате бездумного копирования «лучшим учеником» Сталина—таковым считал себя сам Ракоши,— его методов и стиля работы. XX съезд КПСС вызвал надежды на очищение и возрождение социализма. Естественно, резко возрос интерес к таким проблемам, поднятым съездом, как необходимость восстановления ленинских норм партийной и государственной жизни, ленинских принципов коллективного руководства, борьбы против бюрократизма в системе управления и не в последнюю очередь верности ленинскому тезису о многообразии форм и путей перехода к социализму с учетом особенностей различных стран.

М. Ракоши и его окружение оказались неспособными должным образом воспринять новые идеи, отказаться от изживших себя методов руководства, что фактически ускорило процесс назревания кризиса в партии. Как стало известно из материалов мартовского 1956 года пленума ЦР ВПТ, где рассматривались задачи партии в свете решений XX съезда КПСС, Ракоши все еще старался доказать, что съезд якобы во всех своих деталях подтвердил правильность проводимой им политики. Участники пленума оспаривали правомерность такой позиции и настаивали на пересмотре политического курса ВПТ в духе XX съезда КПСС. Матяшу Ракоши было заявлено, что возглавляемое им руководство скрывает насущные проблемы, не опирается на трудящиеся массы, что он не искренен в отношении к рабочему классу, а проводимые кампании по преобразованию сельского хозяйства дают лишь формальные результаты, что затягивает-

ся реабилитация невинно осужденных людей, в том числе одного из бывших руководителей партии — Л. Райка, ставшего жертвой беззакония и произвола, культа личности Ракоши. Он отверг эти обвинения, но пообещал соблюдать принцип коллективного руководства, осуществить реабилитацию невинно осужденных, укрепить социалистическую законность.

Вскоре, однако, стало ясно, что на деле отступать от своих сектантско-догматических позиций и стиля руководства Ракоши не собирается. А ведь именно тогда были особенно сильными желание подавляющего большинства членов партии, всей венгерской общественности начать очищение социализма от искажений, негативных явлений, готовность к поиску путей его обновления с учетом венгерской специфики. Вместо осуществления нового курса партии Ракоши сосредоточил внимание руководства на борьбе против правых сил, а также сил и тенденций, объявленных им правыми, которые неизбежно усиливались вследствие его действий, направленных на сохранение личной власти. Правда, на совещании Будапештского партийного актива в мае 1956 года он все же вынужден был признать свою личную ответственность за тяжкие нарушения законности. Но признание пришло слишком поздно, а его поступки и политика в целом вместе с накопившимися ошибками, совершенными в прошедшие годы, привели к осложнению положения в партии и обществе, к назреванию недовольства, а затем — к кризису.

На собравшемся в июле 1956 года пленуме ЦР ВПТ М. Ракоши был освобожден с поста Первого секретаря (официально — «по состоянию здоровья»), на его место был избран Э. Герё, в состав ЦР были кооптированы Я. Кадар, Д. Каллаи, Д. Марошан. Кандидатура Герё была явно неудачной, ибо, являясь долгое время «вторым человеком» в высшем партийном руководстве, он был тесно связан с Ракоши, более того, являлся прямым соучастником совершенных тем нарушений и перегибов. И тем не менее в отчетном докладе ЦР ВПТ, с которым на пленуме выступил Э. Герё, справедливо говорилось: «В нашей партии как сектантство, так и правый оппортунизм пустили глубокие корни. Необходимо вести беспощадную, самую последовательную идейно-политическую борьбу против обоих уклонов за осуществление генерального курса и правильной политики партии». Можно спорить, конечно, какая опасность, левая или правая, была большей, более актуальной, но к этому времени необходимость борьбы на два фронта стала очевидной.

В решении июльского пленума были законно осуждены административные меры, насилие при проведении коллективизации, догматизм и недоверие к бывшим социал-демократам, пренебрежительное отношение к бывшим союзникам по Национальному фронту. В качестве основной политической задачи пленум выдвинул упрочение социалистической законности и расширение демократии; в сфере экономики — ликвидацию чрезмерной централизации и уменьшение плановых показателей, повышение материальной заинтересованности, улучшение качества продукции, снижение темпов коллективизации и строгое соблюдение принципа добровольности, совершенствование системы цен и др.

В партийных рядах июльские решения были встречены с облегчением и надеждой, получили они «добро» и в народе. Они могли бы стать началом перемен, могли бы служить ключом к разрешению конфликта, если бы на деле сопровождались немедленными и последовательными действиями по ликвидации прежней догматической линии и курса в политике, в экономике, сочетались бы с соответствующей идейно-политической борьбой на два фронта. Однако таких решительных действий не последовало, так как в руководстве ВПТ не было единого подхода к оценке недавнего прошлого, что еще больше усугубило надвигающуюся опасность. Кризис зашел уже слишком далеко, а частые повороты политического курса то влево, то вправо привели не только в партийных рядах, но и в самих массах к потере ориентации, а в итоге вызвали недоверие к руководству. Кризис продолжал углубляться.

Сегодня историками неоспоримо доказано, что грубые ошибки, допущенные М. Ракоши и его сторонниками в социалистическом строительстве, привели к осложнению положения как в партии, так и во всей общественной жизни страны, породили ситуацию, когда «низы» не хотели терпеть далее политику ракошистского руководства, а «верхи», не желавшие и не способные пойти навстречу велениям времени, не только растеряли свой авторитет и влияние, но и потеряли контроль над развитием событий, которые вылились в острый кризис, затем в вооруженное сопротивление и в конце концов — в контрреволюционное выступление с участием различных социальных сил. Лишний раз в этом убеждает исследование Л. Дюрко.

Читая его хронику, нельзя не согласиться с выводом о том, что сегодня политика больше преуспела в оценке этих событий, чем историческая наука. Однако при этом не следует забывать, что эта острая и деликатная проблема именно в документах возрожденной партии венгерских коммунистов ВСРП получила первую и до сих пор наиболее исчерпывающую, выдержавшую испытание временем историческую характеристику. Историками партии в ВНР издано немало трудов, которые вносят определенные коррективы в освещение событий, в целом подтверждая справедливость выводов и оценок, данных в решении Временного ЦК ВСРП от 5 декабря 1956 года.

Согласно этому важному партийному документу, события, начавшиеся 23 октября 1956 года, были вызваны взаимодействием четырех основополагающих причин или факторов: 1) деятельность сектантско-догматической клики Ракоши

ши—Герё в руководстве ВПТ, которая еще в конце 1948 года сошла с принципиальной платформы марксизма-ленинизма (в чем — и об этом сегодня следует сказать без обиняков — ей безусловно помогала сталинская практика, усердно копировавшаяся в ВНР); 2) роль в октябрьских событиях, в их трагическом повороте возглавляемого И. Надем и Г. Лошонци крыла растущей внутрипартийной оппозиции; 3) внутренние контрреволюционные силы; 4) подрывная деятельность международного империализма. В этом ряду не случайно стоит на первом месте деятельность клики Ракоши—Герё, чью политику, согласно результатам исследований венгерских историков партии, нельзя считать марксистско-ленинской. В декабрьском решении говорится не просто об ошибочной (как это было в 1953 году или в июле 1956 года), а о «навязанной народу» экономической политике, не только об ошибках, допущенных в коллективизации, а о «тяжкой компрометации кооперативного движения в глазах значительной части крестьянства», о «приказных и бюрократических методах руководства» партийной, государственной и экономической жизнью (см. Документы и материалы ВСРП. Будапешт, 1973, с. 13—15).

В решении отмечается также, что «сектантская политика прежнего партийного руководства привела с лета 1953 года к возникновению прежде всего в партии, а затем, под руководством лучших из коммунистов, и среди трудящихся широкого демократического оппозиционного движения». В исторической литературе до сих пор не получили освещения вопросы о составе, возникновении и деятельности этой «демократической партийной оппозиции», но из решения вытекает, что одним крылом этого «движения» являлись сторонники И. Надя, о которых во втором пункте этого же решения сказано: «Деятельность этой группы партийной оппозиции можно считать положительной до тех пор, пока их борьба (вместе со всей партийной оппозицией) была направлена против политики клики Ракоши—Герё». Все это созвучно оценкам Я. Кадара в его выступлении на заседании Временного ЦК ВСРП 2 декабря 1956 года (они опубликованы в новом сборнике его «Трудов», т. 1, 1956—1958. Будапешт, 1987), где он отмечал: «Платформа, с которой выступало правительство Имре Надя до 27 октября, в своей основе была правильной» (с. 21).

Небезынтересно обратить внимание и на характеристику, данную в решении Временного ЦК ВСРП участникам октябрьских событий. Здесь отмечается, что события имели разные этапы своего развития, что «большинство молодежи, участвовавшей в демонстрациях 23 октября в Будапеште, было озлоблено ошибками и методами руководства клики Ракоши—Герё, руководствовалось стремлением устранить эти ошибки, укрепить основы народно-демократического строя, повести страну вперед по пути социалистического строительства»; далее говорилось, что «поднявшиеся по стране массы как в своих целях, так и в намерениях и чувствах являлись в подавляющем большинстве верными сынами Венгерской Народной Республики, честными тружениками и истинными патриотами, а не контрреволюционерами» (с. 15—16). Но с другой стороны, подчеркивалось и то, что эти честные участники демонстраций и митингов, а также забастовок, выдвигавшие, «впрочем, вполне обоснованные и законные экономические и политические требования», в итоге способствовали ослаблению народного строя и порядка, увеличивали шансы контрреволюции, играли ей на руку. Иными словами, в решении была заложена четкая концепция, считавшая подавляющее большинство участников массовых выступлений (и не только студентов) не контрреволюционерами, а людьми растерянными, возмущенными ошибками, требующими исправить их. Отсчет же выступлений контрреволюции начинается с вооруженного восстания — притом не исключается, что среди его участников были люди, не настроенные контрреволюционно.

Последующие партийные форумы неоднократно возвращались к оценке событий 1956 года, внося в нее отдельные уточнения и дополнения (характерно, что при этом дифференцированность со временем стала как бы затушевываться, забываться).

К числу важных уточнений относятся дополнения, внесенные VII съездом ВСРП (1959), где в отличие от декабрьского решения 1956 года группу Ракоши уже обвиняют не просто в ошибках, а в **преступлениях**, а группу Надя — **в ревизионизме и предательстве** (это произошло уже после расстрела И. Надя в 1958 году). В целом же необходимо сказать, что декабрьское (1956) решение дало реальный и объективный анализ положения вещей, послужило серьезным основанием для реалистической политики ВСРП, принципиальной платформой, на которой произошла быстрая консолидация сил социализма в стране.

Проходят годы, вырастают новые поколения людей, желающие разобраться в истинных причинах и факторах, вызвавших столь резкое обострение ситуации в Венгрии в 1956 году. Мы в своем комментарии стремились дополнить эту картину, останавливаясь на внутренних факторах возникновения венгерской национальной трагедии 1956 года. Для современных поколений весьма важно осмыслить эти уроки, чтобы не допускать повторения подобных коллизий в будущем. Хочется надеяться, что в этом благородном деле сыграют свою просветительскую роль опубликованные журналом главы интересной и содержательной, заставляющей о многом задуматься книги венгерского писателя Ласло Дюрко.

◆

ПЕТЕР ШЮТТ

ПОЕЗДКА В ИРАН

Главы из книги

Перевод с немецкого В. БРУН-ЦЕХОВОГО

Университет

Рядом с башней Азади стоит памятник-символ революции — две арки ворот, ведущих в университетский городок. Сейчас оба входа строго охраняются, и прежде чем попасть на территорию университета, я прошел двойной контроль полиции и пасдаранов. А почти десять лет назад эти ворота были широко распахнуты. Массовые волнения в октябре 1977 года начались с того, что в университет стали стекаться люди — сперва сотнями, потом тысячами и, наконец, десятками тысяч. Все они жаждали услышать иранских поэтов, незадолго до этого освобожденных из шахских тюрем благодаря протестам за рубежом и на родине. Один из них — Саид Солтаншур. Мани, Реза Магдзади, Феридун Тонкабони и прозаик Фахиме Фарсайе — все они живут теперь в Федеративной Республике Германии. Некоторым уже предоставлено политическое убежище, другие все еще ходатайствуют об этом.

События последующих месяцев подтвердили особую роль университета как революционного центра, объединившего все течения и движения — буржуазную интеллигенцию из северных кварталов Тегерана, либеральную буржуазию из прилегающего к университету базарного квартала, рабочий класс и полупролетариев из кварталов бедноты на юге столицы. В год победы революции университетский городок был перестроен, одна из площадей была превращена в стадион для богослужений, где на пятничную молитву регулярно собиралось ни много ни мало до миллиона иранцев — не только для молитвы, но и ради споров о путях и целях революции.

Ныне место пятничной молитвы, устланное коврами поверх брезента, оцеплено целой армией «стражей исламской революции». Силы безопасности были расквартированы здесь после того, как два года назад несколькими взрывами бомб были сметены с трибун муллы, читавшие проповеди.

В дни революции войска шаха лишь один раз ворвались на территорию университета, убив более ста студентов. Это произошло в ноябре 1978 года, когда в Тегеране уже ввели военное положение. Затем наступила «весна свободы» и ворота «альма матер» широко распахнулись для всех политически активных граждан обоего пола. Университет зарекомендовал себя школой революции и приобрел такое значение, что с ним, вероятно, не могло бы поспорить никакое другое высшее учебное заведение от Беркли до Сорбонны. В академической теплице революции как грибы росли альтернативные издательства, журналы, газеты. Более двадцати различных левых изданий пережили здесь период краткого, но бурного расцвета.

Однако уже в мае 1980 года повеяло зимой: религиозные фанатики, группировавшиеся вокруг Хомейни, осознали, что идеи прогрессивной интеллигенции могут поставить под вопрос притязания мусульманского духовенства на господство. Под предлогом выкорчевывания рассадников оппозиции, западного мышления и марксистской пропаганды «стражи исламской революции» заняли территорию университета. Хомейни провозгласил «культурную революцию» и распорядился о прекращении на год занятий и научных исследований.

После отмены этого запрета и проведения чистки среди всего профессорско-преподавательского состава право на поступление в университет получал лишь тот, кто кроме экзамена на аттестат зрелости сдавал еще экзамен на знание догматов ислама.

Абитуриентам предлагалось письменно ответить на вопросы вот такого типа (за подлинность вопросов я ручаюсь): как надо обмывать труп правоверного? Какой ногой делает шаг благочестивый мусульманин, входя в туалет? Какова максимальная глубина, на которую мужчина может ввести свой член во влагалище женщины, когда у нее менструация? На сколько миллиметров должны быть сбриты усы над верхней губой мужчины, чтобы он мог пить чистую воду, не оскверняя ее? Почему Саддам — дьявол? Потому что, гласит пра-

Окончание. Начало см. в № 8.

вильный ответ, он ест свинину, пьет вино, танцует с голыми бабами, допускает в свое правительство гомосексуалистов и к тому же напал на исламскую страну.

Тегеранский университет до сих пор не оправился от ударов, которые нанесла ему «культурная революция». До сих пор он находится под полицейским контролем — «стражи исламской революции» несут караульную службу на всей его территории, чтобы в зародыше задушить подрывные идеи. В университетском городке они разбили свой лагерь, и оттуда во все аудитории и лаборатории доносится громкая маршевая музыка. Главное же, в лагере находится пункт для вербовки добровольцев. Тот, у кого возникают трудности при сдаче экзаменов, поступит умно, если приложит к экзаменационным бумагам копию заявления о добровольном вступлении в армию — это позволит существенно повысить средний балл. Ведь готовность умереть всегда оценивается на «отлично».

Вербовщики работают небезуспешно. Об этом свидетельствуют многочисленные хеппенсы, украшающие, наподобие цветочных грядок, входы в аудитории. Каждый факультет заплатил кровавую дань войне и гордится своими мучениками. Рядом с портретами выпускников, избравших своей судьбой смерть, в витринах выставлены их дипломы с оценками — словно в гибели во имя отечества с «хорошо» по географии вместо «удовлетворительно» намного больше смысла.

Во всем кампусе ощущается атмосфера страха и подавленности. Тем сильнее удивила меня дружеская встреча на семинаре по германистике. Хотя я не был тем новым преподавателем, которого участники семинара ждали уже несколько месяцев, группа студентов и педагогов встретила меня прямо-таки с распростертыми объятиями, предложив чай и фисташки. А после того как меня узнал один из профессоров и напомнил о временах, когда я носил куртку «а-ля Мао», у германистов окончательно пропали страх и недоверие, и они буквально засыпали меня вопросами о положении в ФРГ и об ирано-западногерманских отношениях. В свою очередь, их искренность побудила меня к откровенности, и я рассказал, почти ничего не скрывая, о своей работе в Комитете против ирано-иракской войны, о своем участии в западногерманском движении за мир.

Студенты и преподаватели, изъяснявшиеся на книжно-правильном немецком языке и цитировавшие самые неожиданные строки немецких поэтов, поделились со мной проблемами, с которыми в последнее время им пришлось столкнуться. Семинар оказался в трудном положении после того, как в феврале 1987 года был закрыт институт Гёте. Пришлось отменить курс немецкого языка, так как обещанный преподаватель до сих пор не приехал. Поступление книг и журналов из ФРГ прекратилось. Когда начался летний триместр, новых студентов-германистов не допустили к занятиям, хотя число занимающихся по этой специальности и без того сокращается. Раньше их было около тысячи, теперь — чуть больше сотни; знание литературы не очень ценится, спросом пользуется прежде всего технический перевод.

Семинар по немецкому языку и литературе всегда был бельмом на глазу у стратегов исламской «культурной революции». До революции это было одно из немногих мест, где безбоязненно изучали в оригинале труды Маркса и Энгельса, Канта и Гегеля. Германисты, побывавшие в Федеративной Республике Германии, возвращались в семинар под впечатлением студенческого бунта 1968 года, и постепенно здесь стали возникать ячейки сопротивления шахскому режиму. С приходом «весны свободы» германисты открыли двери всем, кто желал учиться. Они устраивали публичные лекции о поэтах и мыслителях другой Германии, прежде всего о Бертольте Брехте. Руководители семинара переводили и публиковали стихи и пьесы Брехта, нашлась и труппа, артисты которой играли пьесы великого мастера на улицах и площадях революционного Тегерана.

Со всем этим покончила провозглашенная Хомейни «культурная революция». Пасдараны перерыли библиотеку и сожгли во дворе университетского городка книги, которые показались им подозрительными. После того как работа семинара возобновилась, в центре внимания оказались вопросы ислама. Его ревнители определяют даже выбор тем для письменных рефератов и экзаменационных работ. Прежде иранские студенты изучали главным образом, как разрабатывалась тема Персии в литературе немецкого барокко, какое влияние оказывали на литературу немецкого классицизма и романтизма великие мастера персидской поэзии Фирдоуси и Хафиз. Теперь же изучают, например, творчество представителей современной западногерманской литературы, принявших ислам, вроде раскаявшегося шестидесятивосьмилетнего Хадаятуллы Хюбша, репортажи Вальрафа об угнетении мусульман в ФРГ или книгу Луизы Ринзер о Хомейни. Все это преподносится в качестве литературных свидетельств, из которых молодые последователи аятоллы Хомейни должны заключить, что наиболее прогрессивные немцы тяготеют к мусульманству. Услыхав подобные рассуждения участников семинара, я пояснил, что, несмотря на присутствие в ФРГ миллионов турецких эмигрантов, ислам у нас в стране все еще считается мировой религией, отношение европейцев к которой определяется многочисленными предрассудками в духе идеологии, формировавшейся на протяжении восьми веков, начиная с крестовых походов.

Новые знакомые простились со мной как с настоящим другом, пусть даже мы и не стали духовно ближе. Половина участников семинара проводила меня до ворот, соблюдая весь ритуал персидского гостеприимства. Для участников семинара германистов гости вроде меня — редкость, я был первым из пишущих по-немецки литераторов, кто посетил университет после свержения шаха.

Тегеранский базар

Базар в Иране — прямая противоположность крупнокапиталистическому супермаркету. Это пестрая смесь мелочных лавок, ювелирных и сапожных мастерских, забегаловок и бань. Несколько десятилетий назад

подобие такой торговли было и у нас — до тех пор, пока в годы «экономического чуда» более мелких конкурентов не вытеснили концерны. В последние годы шахской диктатуры сходная судьба угрожала и 200 тысячам тегеранских «базари», как здесь называют базарных торговцев. Их семейные предприятия, существовавшие на протяжении поколений, должны были быть принесены в жертву монополизации. Но «базари» стали защищаться. Мало-помалу они объединились со студентами близлежащего университета, с обитателями привилегированных северных кварталов и с муллами из трех тысяч столичных мечетей. Так возник «антиимпериалистический» союз, который оказался достаточно сильным, чтобы прогнать ко всем чертям шаха, его армию, а заодно и американцев. Направляли, организовывали и отчасти финансировали массовые выступления именно состоятельные «базари». Их многомесячная забастовка в сердце столицы экономически парализовала в решающий момент весь аппарат шахской власти.

Спустя восемь лет после триумфа «базари» над теми, кто собирался разорить их до нитки, чувствуется отрезвление. Оно вызвано происшедшими с тех пор событиями. Портреты Хомейни перекочевали из витрин в самые дальние углы лавок, не часто увидишь и другие символы верности Исламской Республике. Рвение мулл в области исламской морали не больно-то способствует успеху в коммерческих делах. Война оказалась невыгодной для большинства торговцев. Бедняки с юга столицы, не имея за душой ни риала, не осмеливаются и сунуться в базарный квартал. Из-за массовой безработицы покупательная способность в Тегеране упала до трети ее довоенного уровня. Импорт потребительских товаров снизился до одной пятой уровня 1980 года. На смену ему приходит ввоз оружия, огромные прибыли от которого достаются лишь ничтожной горстке торговцев. Товары массового спроса в основном распределяются по талонам, и «базари» остаются ни с чем.

Инфляция разрушает все традиционные масштабы цен, включая и цену на золото. В маленьких ювелирных магазинах толпятся женщины, чьи лица скрыты под чадрой,— они пришли не покупать, а продавать. Разложив на застекленных витринах золотые цепочки, кольца, браслеты — все сбереженное на черный день,— они надеются выручить за них хоть несколько тысяч туманов. Чаще всего, однако, женщины просят расплатиться с ними долларами или другой валютой, чтобы купить самое необходимое из продуктов. Из-за военных расходов иранский туман обесценился настолько, что людям приходится таскать с собой толстые пачки денег. Даже имея при себе миллион, все равно не купишь ничего стоящего. Серьезную покупку можно сделать, лишь обладая валютой. На черном рынке иные валютчики наживают целые состояния, тогда как большинство мелких торговцев и коммерсантов остаются с носом.

Есть дельцы, наживающиеся непосредственно на войне. Однажды я проходил по ряду, где продавались одни только протезы и инвалидные коляски для «неполных мучеников». Здесь предлагали самые различные заменители утраченных конечностей — от простых деревянных или металлических костылей, деревянных рук с железными крючьями вместо кистей до более совершенных изделий из пластмассы, а также кресла-коляски с электроприводом западногерманского, японского или американского производства.

Полным-полно покупателей в цветочных магазинах, хотя спрашивают чаще всего не живые, а искусственные цветы. Они идут на украшение поминальных алтарей перед домами павших. Поэтому продавцы цветов одеты в черное, подобно владельцам магазинов похоронных принадлежностей у нас в ФРГ; они как бы олицетворяют настроение горького похмелья, господствующее сегодня на базаре. Унылые старцы, правящие страной, запретили даже традиционный древнеиранский язык цветов. Желая помешать людям выражать с помощью цветов взаимную нежность, они распорядились, чтобы красный цвет тюльпанов, гвоздик, роз, гладиолусов и львиного зева на время войны означал лишь печаль по мученикам, напоминал лишь о пролитой крови и слезах.

Ярче выглядят те уголки базара, где продается «все, что осталось от старого мира». Вот лавчонка, битком набитая мундирами, фуражками и даже споротыми с мундиров солдат шахской армии пуговицами. В другой торгуют истрепанными, пожелтевшими иллюстрированными журналами со всех концов света, откуда, конечно, тщательно вырезан каждый «клочок» голого женского тела. Вопреки громогласной антиамериканской пропаганде на базаре видишь на удивление много атрибутов «американского образа жизни»— от кока-колы и жевательной резинки до джинсов и ковбойской шляпы. Все это — реликвии преданного и проданного поколения.

Иные лавчонки выглядят столь невзрачными, что поневоле думаешь: главный товар продается здесь из-под прилавка. В других на обозрение выставляется одна-единственная вещь — стиральная машина или холодильник,— она должна отвлечь ваше внимание от иных, более важных дел, которыми занят торговец. Я понял, что именно могут здесь предложить, когда в базарной сутолоке молодой иранец спросил меня на чистейшем, с оксфордским произношением, английском, не немец ли я. Я ответил утвердительно, и тогда молодой человек завел меня в глубь какой-то лавчонки. Предложив мне чаю, он дрожащим голосом изложил свою просьбу. Он показал мне билет авиакомпании ГДР «Интерфлюг» — от Стамбула до берлинского аэропорта Шёнефельд, а потом свой паспорт. Там была проставлена гостевая виза в Федеративную Республику Германию сроком на восемь недель; кроме того, к паспорту прилагалась транзитная виза для проезда в Западный Берлин. Молодой человек спросил меня, считаю ли я эти документы надежными и подлинными и можно ли с ними без помех приехать в ФРГ. Документы не вызывали у меня сомнений, о чем я и сказал иранцу. Он выслушал меня с видимым облегчением. Я спросил его, во сколько обошелся этот «воздушный побег».

«Сто двадцать тысяч туманов за визу плюс стоимость билета»,— ответил он.

«Но ведь это же целое состояние!» — воскликнул я.

Он кивнул: «Это все, что мне удалось скопить за последние десять лет, работая техником. Мне еще помогли родители и родственники».

«А как вы попадаете в Стамбул?» — «Это как раз не проблема, я подъеду поближе к границе, а курдские проводники переправят меня в Турцию».

«Платить придется?» — «Конечно, но не больше пяти тысяч туманов».

«А потом?» — «Автобусом в Стамбул».

«Когда вы отправляетесь?» — «Послезавтра».

Я пожелал ему удачи и дал на всякий случай свой адрес в Гамбурге — вдруг я смогу помочь ему в хлопотах о предоставлении убежища. Сейчас, когда я пишу этот репортаж, доверчивый молодой иранец уже несколько недель как находится в ФРГ. Он попросил политического убежища и был направлен в сборный лагерь в Эликсдорфе под Итцехоэ, где размещаются иностранцы, обратившиеся с аналогичной просьбой. Это лишь один из примерно пяти миллионов иранцев, которые бежали на чужбину, спасаясь от войны и террора Хомейни. Чтобы покинуть свое «государство божье», им годился любой путь — прямой или окольный. Самые бедные, преимущественно сельские жители, пешком пробирались в Пакистан, городские рабочие пытались пробиться в Турцию; те, кому это так или иначе удавалось, отваживались просить убежища в какой-нибудь из стран Западной Европы, в Канаде или США.

На тегеранском базаре предлагают разные пути в изгнание — дорогие и довольно дешевые, тайные и открытые, надежные и с риском для жизни. Каждый имеет свою цену. Самые дешевые ведут в Пакистан или Турцию. Тот же, кому не под силу раздобыть хоть толику наличных, может завербоваться, а фактически продать себя в рабство компаниям, нанимающим рабочих по контракту в Кувейт или другую арабскую страну. Самые дорогостоящие пути бегства — те, что ведут в США или ФРГ. Организаторы побегов на все лады расхваливают западногерманскую систему предоставления политического убежища, обещая тем, кто хочет бежать, свободу, жилье и рабочее место. С помощью этих посулов у преследуемых и притесняемых выманивают последние гроши.

Будни на телеэкране

Иранское телевидение показывает мир почти исключительно черно-белым. Черны бороды правоверных комментаторов, чадра женщин-дикторов, столбы дыма над холмами на вражеской территории, белы — одежды мучеников, бесконечные соляные пустыни Ирана и вершины гор, символизирующие национальную гордость иранцев. Все, что не соответствует черно-белым представлениям исламских вершителей судеб мира, безжалостно вырезается. Когда раз в неделю, чаще всего вечером в пятницу, демонстрируются фильмы из Индии, Китая или Северной Кореи, в жертву цензуре приносятся все любовные сцены, любое прикосновение мужчины к женщине, вплоть до рукопожатия, любой намек на обнаженное женское тело. Фильмы из других стран, с Запада или из Советского Союза, не показывают уже много лет — их относят к «порнографическим». Иранцы, как правило, считают свою телепрограмму смертельно скучной, но гостю из ФРГ она позволяет в какой-то мере познакомиться с идейными воззрениями духовных руководителей современного Ирана.

Вечерняя программа начинается в восемнадцать часов с фильма для детей. Вот показывают десятилетнего мальчика, играющего в войну со своими двумя братьями. Игровые эпизоды постоянно перемежаются документальными кадрами, теми самыми, которые уже можно было увидеть в официальной военной хронике. В конце появляется отец с ампутированной ногой. Он хвалит старшего за смелость и в награду вручает ему игрушечное ружье. Потом отец направляется с тремя детьми в мечеть, по дороге рассказывая им, какая захватывающая штука война, и старший кричит в восторге: «Отец, я тоже хочу на войну, хочу воевать против Саддама!» Отец хлопает его по плечу: «Подожди, мой мальчик! Через два года тебе исполнится двенадцать, и ты сможешь пойти добровольцем».

Детскую передачу сменяет программа для взрослых, которая на этот раз начинается с вечерней молитвы. Ее транслируют напрямую из больших соборных мечетей страны в Куме, Исфахане, Мешхеде или из какого-либо прифронтового города. На экране можно увидеть того или иного из наиболее влиятельных великих аятолл, которых показывают крупным планом. Затем, если нет чрезвычайного сообщения с фронта, — ежедневный комментарий, с которым выступает мулла.

В одном комментарии — на тему о духовном развитии современного человечества — шла речь о «вторжении ислама» в Европу. С экрана говорилось, что там ежегодно сотни тысяч людей принимают ислам, что иностранные рабочие из числа мусульман продвигаются все дальше на север и захватывают важные позиции в промышленности, в то время как неисчислимое множество коренных европейцев ввиду своего безбожного образа жизни заражается СПИДом — болезнью распутных — и умирает. В завершение комментатор-мулла выразил уверенность, что «через две тысячи лет после Иуды» зеленое знамя ислама взовьется над собором святого Петра в Риме. При этом он призвал в свидетели не кого-нибудь, а моего коллегу Гюнтера Вальрафа, повергшего ФРГ в ужас своим репортажем о «подпольной» деятельности мусульман-эмигрантов. Сейчас, по словам комментатора, мусульмане еще «на самом дне», но через несколько лет они будут уже «на самом верху»...

В девятнадцать — последние известия. Они всегда начинаются с коммюнике армейского командования, затем следуют сообщения из Ирана, после чего, куда в меньшем объеме, новости из исламского мира и под конец очень краткая международная информация...

Вечерняя телепрограмма и впрямь наводит невероятную скуку. Камера обычно

направлена на муллу или аятоллу, который повествует о чем-нибудь богоугодном или же просто читает Коран. В канун рамазана сам верховный революционный судья и главный моралист Гилани более полутора часов объяснял, какие заповеди должны соблюдать правоверные во время поста. Эти заповеди приравнены в Исламской Республике к законам, и государственные органы строго следят за их соблюдением. Наипервейшим гражданским долгом на время рамазана Гилани объявил плач, молитву и покаяние. Далее, с восхода до заката солнца запрещено вкушать какую бы то ни было пищу: под этот запрет, в соответствии с распоряжением верховного судьи, подпадает и многое другое. Это и жевание резинки, даже если в конце концов ее выплевывают, и чистка зубов, ибо нет уверенности, что остатки воды и пасты не попадут в горло. Запрещено также грызть ногти и ковырять в носу. Запрещено курить. Запрет распространяется на все формы чувственного наслаждения.

Не разрешается слушать приятные звуки, в первую очередь женские голоса. Столь же противозаконны сладострастные взгляды. Тому, кто смотрит на женщину, пусть даже она закутана с ног до головы, следует опустить очи долу или обратить взор на какие-либо «безобидные» предметы. Секс категорически запрещен. Дети, зачатые во время поста, считаются незаконнорожденными, правда, за одним исключением, которое моралист разъяснил следующим образом. Предположим, мужчина спит на втором этаже, а женщина — этажом ниже. Внезапно начинается землетрясение, отчего обрушивается потолок, который отделяет их друг от друга. От страха у мужчины наступает эрекция, в таком состоянии он падает прямо на женщину и происходит непроизвольный половой акт, в результате которого та беременеет. Согласно разъяснениям Гилани, ребенок, зачатый таким образом во время поста, не является незаконнорожденным и может быть принят в сообщество мусульман.

Мужчина с окладистой бородой, просвещающий иранскую нацию о правилах деторождения, не намерен шутить. Он настроен вполне серьезно. Это — служитель аллаха, верный идеям справедливости, лично ответственный более чем за двадцать тысяч смертных приговоров, приведенных в исполнение после революции. Он работал день и ночь, чтобы очистить народ от агентов шаха, преступников из САВАК, убийц, гомосексуалистов, нарушителей супружеской верности и проституток. Завершив чистки периода основания Исламской Республики, Гилани с такой же последовательностью повел борьбу с различными лагерями оппозиции. Среди противников правительства, осужденных этим человеком на смерть, был один из его собственных сыновей, член организации моджахединов. Гилани приказал расстрелять сына после того, как единомышленники последнего во время покушения на самого Гилани убили другого его сына.

После этой пространной речи на экране на мгновение появился седой аятолла. У Хомейни — отрешенный вид, он кажется настолько ушедшим в себя, будто пребывает уже в царстве мертвых. Он простирает благословляющую руку, как бы призывая туда и нас, живых.

Бехешт Зохра

Во всех культах и религиях кладбище — это как бы символ того, что́ означает человеческая жизнь для оставшихся в живых, своего рода таблица, где проставлена цена жизни и смерти. С этой точки зрения положение усопших в Тегеране незавидно. Место их упокоения — далеко от центра города, за нищими кварталами и горами мусора, на границе с пустыней, там, где земля и могилы дешевы. Если верить расписанию, каждые четверть часа из города отходят автобусы в направлении района Бехешт, что означает «рай». Но они обычно безнадежно переполнены, и потому многие добираются до кладбища пешком. Это утомительный путь по жаре и пыли. Он ведет мимо оливково-зеленых, цементно-серых и глинисто-желтых палаток, в которых живут десятки тысяч беженцев из зоны военных действий, в основном из городов и деревень Хузистана, разрушенных ракетами, артиллерией и химическими гранатами иракской армии. Многие живут здесь по шесть-семь лет, не имея надежной крыши над головой.

По соседству с лагерем беженцев — гигантская свалка отбросов многомиллионного города. Это лунный ландшафт, состоящий из тысяч куч мусора, который выбрасывают уборочные машины. Здесь обитают стаи громко каркающих ворон, козы, чьи кости, кажется, вот-вот проткнут облезлую шерсть... И здесь же роется в отбросах уйма оборванных детей. К югу зловоние от свалки усугубляется едким запахом гари, источаемым множеством кирпичных заводиков. Там обжигают кирпичи, используя для этого ил из реки, исчезающей на краю пустыни. Дым при этом стоит такой, будто раздувают уголь в адских жаровнях. С неба на землю то и дело падают мертвые птицы, которых настигли ядовитые облака, поднимающиеся над этой кухней ядов.

Минуя два высоких минарета, между которыми натянуты пестрые фонарики, красные и зеленые флаги и плакаты, прославляющие мученическую смерть, попадаешь в «рай» дочери пророка Зохры. Вход туда охраняют «стражи исламской революции». Они тщательно проверяют каждого живого и мертвого, желающего проникнуть в царство мертвых. Сразу же за воротами «рая» среди могил возвышается проржавевший американский танк. Это танк иранцев, который после освобождения города Хорремшехра в 1982 году первым прорвался на иракскую территорию. Все двенадцать членов экипажа заплатили за этот прорыв геройской смертью. Вознаграждением им стало погребение у подножия «железного гроба».

С букетом тюльпанов в руках — тюльпан в Иране символизирует мученическую смерть на войне — я влился в поток тегеранцев, которые в канун рамазана шли почтить память своих погибших родственников. Кладбище простирается передо мной как широкое поле, разделенное на ровные участки, где возделывается одна монокультура — мертвые. Могилы такие же плоские, серые, безо всяких украшений, как и до-

мишки бедноты на юге Тегерана. Иные могилы безымянны. На других — каменные таблички с именем и двумя датами — рождения и смерти; если родственникам это по карману, то вырезается изречение из Корана.

Есть, однако, и мертвые, о которых заботятся больше. Например, жертвы «черной пятницы» — четыре тысячи семьсот человек, павших во время кровавой бани, которую устроила шахская армия в сентябре 1978 года, пытаясь в очередной — и последний — раз покончить с революцией. Памятник жертвам этой расправы — багрового цвета, он украшен флагами и усыпан цветами так же, как и памятник семидесяти двум функционерам Исламской республиканской партии, погибшим летом 1981 года от руки моджахединов.

Отдельные участки поля мертвых обнесены проволочными изгородями да еще находятся под наблюдением пасдаранов, дабы устрашить посетителей и помешать проведению нежелательных траурных митингов. Здесь в безымянных, лишь пронумерованных, могилах похоронены моджахединны, казненные после неудавшейся попытки путча. Но не только им отказано в почитании со стороны близких. Права на украшенную могилу лишены проститутки, гомосексуалисты, воры, предатели, богохульники и другие «недочеловеки» — все равно, умерли ли они естественной, насильственной или «справедливой» смертью.

За время войны самым большим участком стал тот, где хоронят погибших. Кого бы я ни спрашивал, никто не мог мне ответить, сколько именно «шахидов» — мучеников ирано-иракской войны — погребено за эти годы на Бехешт Зохра. Наверняка их свыше ста тысяч; многие говорили, что более 130 тысяч, по словам некоторых — даже 150 тысяч. Но точное число жертв войны, покоящихся на тегеранском кладбище, никому не известно, это государственная тайна. Того же, кто рискнет выдать эту тайну, могут предать исламскому божьему суду.

На этом кладбище покой — удел лишь тех, кто глубоко под землей и уже не слышит шума битвы. Живые же слышат рев репродукторов над рядами могил. Смерть Саддаму! Смерть Израилю! Смерть Америке! Смерть, смерть, смерть! — вопит голос из раструбов, установленных на углу каждого кладбищенского участка, будто павших надо еще раз погнать в бой. За истошными воплями следуют изречения из Корана на арабском, маршевая музыка в прусско-германском духе, пронзительные траурные песнопения шиитов. Словно кто-то задался целью во что бы то ни стало лишить умерших могильного покоя или уберечь живых от размышлений.

Как бы ни была хаотична будничная жизнь Тегерана, на кладбище господствует строжайшая военная дисциплина. Мертвые того поколения иранцев, которое так и не узнало отставки, лежат плечом к плечу, рядами. Над всеми могилами установлены одинаковые алтари из стекла и алюминия, где выставлена фотография покойного, указаны его имя, дата и место рождения, дата и обстоятельства геройской смерти. Дополнительное украшение на могилах тех, кто пал в последний год,— полковое знамя, изображение Хомейни и лавровый венок из пластмассы.

Глядя на фотографии погибших, каждый понимает: в войне искали и нашли смерть очень молодые люди. Их лица напомнили мне о последнем призыве 13—14-летних, объявленном Гитлером весной 1945 года. На них читались и гордость — их призвали стать героями,— и страх смерти. Кое-кто плакал, снимаясь напоследок перед боем, но чаще всего на этих фотографиях — ясная детская улыбка. Аятолла Хомейни посвятил им эпитафию собственного сочинения. Эти слова, отлитые из свинца, повторяются на многих могилах: «Безгрешным принадлежит царство небесное».

Проходя между длинными рядами могил детей-солдат, я снова и снова останавливался у камней, под которыми погребены два или три брата, а иногда отец и сын. Семейные узы все еще очень прочны. Настолько прочны, что многие братья вместе добровольцами уходят на фронт, воюют в одной части, остаются неразлучными и в смерти. Для братьев, нашедших «геройскую смерть рядом друг с другом», существуют специальные ордена и знаки отличия, которые выставляются на обозрение в алтаре.

Над могилами склоняются плотно закутанные женщины. Именно здесь черная чадра воспринимается как траурное одеяние и как бы воплощает все те страдания, которые выпали на долю женщин в этой войне. Мужчины воюют или лежат в земле, и все бремя скорби приходится влачить на себе женщинам. Лишь изредка у могил можно увидеть и мужчин. Их лбы перевязаны красными лентами — это знак готовности последовать на смерть за своим погибшим братом, отцом, родичем, соседом или другом.

Поле мертвых рассчитано на богатые урожаи и машинные методы возделывания. В конце длинного ряда захоронений специальный экскаватор фирмы «Штилль», Эслинген, копает новые могильные ямы. В другом углу устанавливают алюминиевые алтари.

В нос ударяет сладковатый, удушливый запах. Вонь от кирпичных заводиков и мусорных куч смешивается с ароматом роз и олеандра. Поднося платок к носу, я увидел, что после долгих блужданий внезапно очутился перед Фонтаном крови — жутким памятником бесчисленным жертвам этой грязной войны.

Из фонтана толчками, как бы пульсируя, выбрасывается вязкая темно-красная жидкость, поразительно похожая на человеческую кровь. Она стекает в три жертвенные чаши, сообщающиеся друг с другом. Фонтан во всем мире — символ жизни, здесь же он символизирует массовую смерть. Кровь течет непрерывно, но с разной силой — то струей, то медленным ручьем, то снова резко ускоряя свой бег.

Земля закачалась у меня под ногами — она показалась мне тонкой коркой, под которой кишит кровь мертвых. Мне вдруг стало страшно ступать по ней: я испугался, что под тяжестью моих шагов эта корка обрушится и я окажусь погребенным в царстве мертвых. Я поспешно положил бу-

кет тюльпанов на ближайшую могилу и постарался как можно скорее покинуть это кошмарное место.

Неделю спустя я еще раз побывал на кладбище. Уходя через задние ворота, я с ужасом увидел, что́ ожидает женщин, потерявших своих кормильцев. За кладбищенской стеной рядом со свалкой стояли женщины в изодранных покрывалах — очевидно, вдовы павших. Они предлагали мне любовные услуги — и это несмотря на рамазан, несмотря на смертную казнь, которая в Исламской Республике Иран грозит каждой проститутке.

Под чадрой

Кроме золотых куполов мечетей, округлости которых издали напоминают женскую грудь, в Иране не увидишь ничего, что хоть отдаленно отдает эротикой. Исламская Республика целиком и полностью изгнала ее из общественной жизни, да и в семье сексуальные взаимоотношения сведены до уровня тюремных будней.

Соблюдая предписания, мужчины и женщины держатся как можно дальше друг от друга даже у себя дома. Естественно, я не подсматривал за своими друзьями в замочную скважину. Я могу рассказать лишь о «правилах хорошего тона», действующих в Иране. Начать с того, что супруги спят в разных комнатах, в отдельных постелях. Если мужу совсем уж невтерпеж, он ненадолго посещает жену, по возможности в темноте, на худой конец скрыв похотливые взоры под повязкой. От жены ожидают не страсти, а покорности, готовности отдаться и зачать. Женщина вообще не имеет права на чувственность. Единственное, что позволено выделять ее телу,— это слезы.

Разнополых детей с ранних лет стараются изолировать друг от друга, приучая к будущим ролям — главной мужской и второстепенной женской. Любое соприкосновение, телесный контакт между представителями «враждебных» полов запрещены, будь то рукопожатие, похлопывание по плечу или поцелуй. Один из главных побудительных мотивов человеческой деятельности — притягательная сила противоположного пола — почти целиком отвергается. В итоге подавляемые влечения оборачиваются неврозами, психосоматическими заболеваниями, политическим и религиозным фанатизмом, жаждой смерти и убийства. Я полагаю, что огромный психологический наступательный потенциал Ирана не в последнюю очередь питается агрессивностью, которую порождает непомерно суровое подавление естественных влечений.

Несомненно, что от этого постоянного психологического и социального «контроля» сильнее всего страдают женщины. Они служат козлами отпущения за все промахи мужчин и подставляют головы в качестве громоотводов для накопившейся ярости представителей сильного пола. Спокойный разговор мужчины с женщиной невозможен, все конфликты разрешаются с помощью криков или побоев. Во время менструаций женщины, как «нечистые», полностью выключены из семейной, совместной жизни. Все это сказывается на их самочувствии. Они страдают от пониженного давления, подвержены приступам головокружения, жалуются на головные боли, на боли в области крестца, на вялость и бессонницу, впадают в депрессию. В нарушениях самочувствия выражается, по всей видимости, безмолвный протест против необходимости приспосабливаться. А мужчины воспринимают эти признаки слабости опять-таки как доказательство неполноценности женщины.

Конституция Исламской Республики Иран — единственная в мире, в которой равноправие мужчины и женщины мало того, что не зафиксировано, но и отрицается как понятие — согласно букве и духу закона. Зато там юридически недвусмысленно обоснованы ценностные представления, взятые из Корана. В соответствии с ними ценность женщины вдвое ниже, чем мужчины. К примеру, показания мужчины на суде вдвое ценнее. Когда речь идет о возмещении ущерба, то за несправедливость, причиненную женщине, полагается наказание лишь в половинном размере. Подобная оценка была дана женщине свыше тысячи лет назад, еще до Корана, а пророк все это благословил — его слово служит оправданием сложившегося положения и в наши дни. Отсюда — комплекс неполноценности, который глубоко укоренился в женщинах и мешает им распрямиться. Это надо понимать и буквально: нигде не видел я столько пожилых и молодых женщин, которые, согнувшись, брели по улицам, нигде женщины не производят впечатление таких затравленных и загнанных, как в Иране.

В аэропортах — отдельный вход для мужчин и женщин. Раздельное обучение в школах, лекции в университетах; в учреждениях, как правило, существуют отделы, где работают или одни мужчины, или одни женщины, никак не соприкасаясь друг с другом. Под запретом общие пляжи, купальни и места отдыха. Разделение полов обязательно даже на сцене, на телевидении и в кино. К тому же женщинам не разрешают играть главные роли, а еще петь соло и сниматься лежа — этим, дескать, они совращают мужчин.

Для женщин полностью закрыты целые области общественной жизни. Им отказано в возможности изучать богословие, право, медицину, химию и другие естественные науки. Они не могут занимать руководящие посты, а с 1981 года их все сильнее вытесняют из мира труда: если при шахе численность занятых женщин составляла все же 13 процентов, то теперь — менее четырех. И это вопреки войне, вопреки тому, что многие мужчины — на фронте. Там же, где женщины работают, они обычно получают вдвое меньше своих коллег-мужчин. Обращаются с ними нередко как с последним дерьмом. Правоверный мусульманин не станет есть пищу, приготовленную женщиной, у которой месячные, не сядет в автобусе на место, которое перед этим занимала женщина, до тех пор, пока нагретое сиденье снова не станет «холодным». Он никогда не пожмет женщине руку. Муллократия Исламской Республики вне всякого сомнения обладает всеми чертами сексистской диктатуры, цель ее — сохранение господства мужчин.

Критики-феминистки, в особенности Кейт Миллет, чей репортаж об Иране, безусловно, одно из важнейших свидетельств об исламской революции, клеймят угнетателей женщин прежде всего за принуждение последних к ношению чадры. Я хотел бы им возразить. Не спорю, введенное исламским режимом предписание о ношении в общественных местах «хеджаба» и благопристойной исламской одежды противоречит представлениям европейцев о свободе личности. Но ведь наши освободительные идеалы — вдохновляются ли они либерализмом, марксизмом или феминизмом — совсем не обязательно соответствуют мечтам сегодняшних иранских женщин о свободе. Я имел возможность поговорить об одежде со многими женщинами — и прогрессивно мыслящими, и религиозными, и консервативно настроенными. Наконец, я сам видел этих женщин в черных покрывалах. Возникает впечатление, что женщины носят чадру, этот символ угнетения, с достоинством, даже с неким оттенком гордости.

Для того чтобы иметь собственную точку зрения на вопрос о чадре, надо знать его предысторию. Что правда, то правда — в шахские времена чадра была упразднена. Но ни при первом, ни при втором шахах династии Пехлеви женщины не сбросили покрывало добровольно — они делали это по принуждению верховной власти и мужчин. Зачастую покрывала с их лиц срывали полицейские, поэтому у них было такое ощущение, будто их на людях раздевают донага и насилуют. Указы шахских властей об отмене чадры исполнялись в принудительном порядке, и авторы столь же не считались с женщинами, сколь впоследствии муллы, предписавшие ношение чадры. Все эти указы не освобождали женщин, а ставили их вне закона по отношению к мужчинам. Пока продолжалось угнетение женщин в целом, «стриптиз», к которому их принуждал шах,— а именно так называли муллы отмену чадры,— воспринимался женщинами как дополнительное унижение. Прежде они могли скрыться под чадрой, теперь же почувствовали себя беззащитными перед алчными взглядами и приставаниями мужчин.

Не следует упускать из виду и социально-экономический аспект проблемы. Женщины из буржуазных кругов, составлявшие привилегированное меньшинство, конечно же, располагали средствами, чтобы обзаводиться современной одеждой, гардероб их позволял ежедневно менять платья и юбки. Для подавляющего же большинства женщин Ирана — из пролетарских и крестьянских слоев — указы шаха означали, что им придется ходить в лохмотьях. До этого у каждой женщины была по крайней мере одна чадра, которой она могла прикрыть свою наготу и бедность. Теперь же она оказалась не в состоянии не то что шагать в ногу с новой модой, но прилично одеться.

Только с учетом этого исторического фона можно объяснить, почему во время революции многие женщины добровольно закутались в чадру, при этом активно участвуя в революционных преобразованиях. Они вернули часть своей украденной сущности, впервые одевшись так, как сами считали нужным, а не как хотели того их мужья, шах, американцы или муллы. Женщины использовали извлеченную из сундуков со старьем чадру как своего рода революционный символ равенства. Такое уже было с синей блузой в России 20-х годов, с курткой Мао в Китае, с сандалиями дядюшки Хо во Вьетнаме.

Я отнюдь не собираюсь после всего сказанного делать из чадры знамя свободы. Шелковая завеса, покрывающая женщину с головы до ног, сплошь соткана из тончайших цепей рабства. Но одновременно придает ей и некое очарование.

Ни один поэт в мировой литературе не воспел женскую красоту с такой силой, как величайший миннезингер Персии Хафиз, ставший для Гёте наставником в период, когда тот создавал «Западно-восточный диван». В стихах Хафиза иранки предстают самыми прекрасными, очаровательными и чувственными женщинами мира, сочетающими в себе все достоинства представительниц Азии, Африки и Европы.

Хафиз славил женщин отнюдь не только как предмет страсти мужчин, но и как богинь, воплощение более сильного, более искусного в любви и более миролюбивого пола. Духовные и светские владыки Ирана боялись таких женщин — потому-то и загнали их под чадру. Однако им не удалось низвести всех женщин до состояния бесполых и беззащитных существ. Чего муллы не сумели отнять у женщин, так это их лица. Чадра как нельзя больше подходит для того, чтобы помочь лицу женщины заговорить. Черное покрывало заставляет таинственно светиться темные глаза иранки и позволяет ей изъясняться на тайном языке, который мы, европейцы, давно забыли. Во всяком случае, мне из-за таких взглядов иной раз не оставалось ничего другого, как в смущении отвернуться.

Афганские беженцы

От Мешхеда до афганской границы не более ста километров. На всем своем протяжении она открыта. Преимущественно консервативное население приграничной афганской области, строго придерживающееся ислама, заключило с нынешним правительством в Кабуле неофициальное, не подкрепленное договором перемирие. Поэтому уже около двух лет здесь почти не идут бои.

Трижды в неделю из Мешхеда в Герат — центр одноименной афганской провинции, до которого примерно 150 километров, ходит автобус.

В сущности, граница между Ираном и Афганистаном всегда была подвижной, это европейские колониальные державы — Англия, Франция и царская Россия — позаботились об ее точном установлении, чтобы обозначить сферы своего влияния. По обе стороны границы исповедуют одну и ту же веру. И там и здесь почитают имама Резу [1], и паломники из обеих стран посещают его гробницу. Дари, на котором говорят афганцы, похож на фарси иранцев, живущих в приграничной области, вплоть до отдельных слов. Граница не препятствует и сохранению родственных связей.

[1] Восьмой шиитский имам. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Уже поэтому многие иранцы с тревогой отнеслись к вступлению советских войск в Афганистан, опасаясь посягательств на свое национальное достоинство и религию, тем более что первые бои пришлись на один из критических моментов иранской революции в конце 1979 — начале 1980 года. Пусть даже сейчас на ирано-афганской границе почти нет вооруженных столкновений, пройдет еще немало времени, пока затянутся раны войны.

В Мешхеде два кладбища мучеников. На одном покоятся жертвы ирано-иракской войны, на другом хоронят своих мертвых афганские беженцы. Для жителей Мешхеда это одна и та же война — война правоверных мусульман против безбожников с Востока и Запада.

В окрестностях Мешхеда живет около полумиллиона беженцев из Афганистана. Многие бежали, спасаясь от войск обеих сторон, еще семь лет назад, как только завязались бои. До сих пор, несмотря на официальные предложения афганского правительства, стремящегося к урегулированию конфликта и национальному примирению, они не проявляют подлинной готовности вернуться на родину. Немало афганцев ютятся в палаточных лагерях, в домишках, построенных своими руками, где нет ни воды, ни электричества, или в заброшенных предместьях, покинутых местным населением. Свои скудные пайки и медицинскую помощь они получают от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Я без особого труда проник в один из официальных лагерей беженцев, где благодаря западногерманскому паспорту меня принимали почти как союзника. В палатках, в дощатых бараках, крытых гофрированным железом, живет около трех тысяч людей. Мне показалось, что среди них больше женщин, чем мужчин, больше детей и молодежи, чем пожилых. Из камня построены только бюро службы по делам беженцев и амбулатория Красного Полумесяца. Посреди лагеря — палатка, напоминающая цирковой шатер. Здесь обучаются дети, устраиваются совместные развлечения, показывают фильмы. Вода на территории лагеря подается лишь к нескольким кранам. Около них длинные очереди — сплошь дети, таскающие для своих семей воду в жестяных или пластмассовых ведрах. Кругом — нищета.

Беженцы, которым наши печать, радио и телевидение постоянно расточают громкие заверения в симпатии и солидарности, здесь, в лагере, едва ли ощущают благорасположение своих заступников. Совершенно ясно, что они — беззащитные жертвы шумихи, поднятой вокруг Афганистана лицемерными западными ревнителями «свободы». Разве можно насытить этих несчастных красивыми словами, раздающимися из Западной Европы и Северной Америки,— ведь слова эти не дали им и крыши над головой, не говоря уже о мирной жизни и работе. Кроме помощи от службы ООН по делам беженцев афганцы получают помощь только от Ирана. Исламское правительство снабжает их продовольственными карточками и ничтожно малой суммой денег, но поддержка эта отнюдь не бескорыстна. Во всех лагерях беженцев размещены вербовочные пункты «стражей исламской революции», где молодые афганцы могут завербоваться на другую войну — против «заклятого врага» Саддама. Афганские добровольцы пользуются теми же правами, что и их иранские соратники. Если они погибнут мученической смертью, их родственники получат ту же компенсацию и льготы, которые предоставляются иранским семьям.

Возможно, причиной тому бедность, но мне сразу бросилось в глаза, насколько строже афганские беженцы соблюдают исламские правила ношения одежды по сравнению с иранцами. Женщины закутаны с головы до пят, оставляют открытыми лишь глаза. Редкий мужчина одет по-европейски, традиционная одежда — белые штаны, шейный платок и головной убор наподобие тюрбана. Я не знаю, какие идеи и надежды владеют ими, но думаю, они мало что слышали о Марксе, Энгельсе и Ленине. Наверное, мыслями и чувствами своими они еще очень крепко привязаны к миру афганских гор, цепи которых веками защищали их от вторжения чуждого образа мыслей. Чтобы приобщить этих людей к прогрессу, со стороны правительства в Кабуле и его союзников потребуется немалая терпимость и более тонкие средства убеждения.

Хотя я и не был в Афганистане, посещения маленького нищего лагеря беженцев в Мешхеде оказалось достаточно, чтобы со всей очевидностью понять — и та и другая война равно заслуживают проклятия. Беженцам, как и всем, кто страдает от междоусобной войны в Афганистане, нужен мир, ничего, кроме мира. Я могу лишь пожелать успеха товарищу Горбачеву и тем, кто вместе с ним стремится покончить с военным безумием на нашем земном шаре, как можно скорее прекратить эту несчастную войну и вернуть домой советских солдат. Разрешение конфликта в Афганистане, по-моему, необходимая политическая и психологическая предпосылка для мирного урегулирования проблем самого Ирана в рамках мыслимого и возможного. Пока подавляющему числу иранцев будет казаться, что они окружены с Запада и Востока и что во всех их мучениях виноваты «сверхдержавы», сохранятся укоренившиеся в их сознании «образы врагов» и путь к миру будет блокирован.

Прощание с войной?

Со смешанным чувством прощался я с Персией. Один мой глаз плакал, другой смеялся. Я испытывал облегчение от того, что моя поездка, замаскированная под паломничество, со всеми ее большими и малыми неожиданностями, закончилась, что все обошлось благополучно благодаря помощи моих иранских друзей и заступничеству моих ангелов-хранителей. И столь же трудно было расставаться с гостеприимными хозяевами, которые две недели заботились обо мне, защищали и оберегали. Из-за меня они подвергались таким опасностям, которые вообще несравнимы с моим риском. В аэропорту на глаза наши навернулись слезы, хотя во избежание неприятностей мы воздержались от прощальных жестов, которые могли бы привлечь к нам внимание. Вооружен-

ные стражи порядка, недоверчиво наблюдавшие за нами, заставили еще раз забиться мое сердце — впрочем, за время пребывания в Иране я почти что привык к регулярному сердцебиению.

Ставший привычным страх преследовал меня до тех пор, пока самолет не отделился от земли и не описал дугу над иранской столицей. Из головы не выходил устрашающий пример — судьба беженца, который недели две назад, сидя в кресле, уже пристегнул ремни, как вдруг в машину, готовую к отлету, ворвались полицейские и увели его. Багаж несчастного точно в срок прибыл во Франкфурт-на-Майне, а сам он тем временем «приземлился» в тюрьме Эвин и ждет там процесса по обвинению в государственной измене.

Меня несколько раз тщательно обыскали, выдавили даже зубную пасту из тюбика — таможенники заподозрили, что в нем спрятаны доллары. Пришлось оставить привезенную из Мешхеда банку икры — что, если там взрывчатка? И все-таки самый важный «контрабандный товар» удалось пронести через все контрольные службы: бóльшую часть путевых впечатлений я хранил в памяти, а то, что пришлось записать, упрятал под грязное белье. И оказался прав, предположив, что ни один таможенник-мусульманин не станет перерывать грязное барахло неверного.

Мои чемоданы были набиты лакомствами: «улыбающимися» фисташками, жареным миндалем, солеными тыквенными семечками, орехами, мешочками с чаем — дарами Персии, горько-сладкий вкус которой мне предстояло ощущать еще долго. Среди множества прощальных подарков был и мешок сушеных винных ягод. С виду ягоды невзрачны — мелкие, сморщенные, полопавшиеся, цвета глины, зато внутри они мягкие, сладкие, как сахарная пудра, красноватые. Терпкий вкус плода, созревшего в стране, по которой я ездил, таил в себе воспоминания о солнце, соли, пыли, пустыне, о садах, обнесенных оградами. Этот горько-сладкий плод вкушали некогда порабощенные евреи, что сидели при реках Вавилона и плакали.

Поездка в Иран была самой дальней за всю мою жизнь — не в географическом, а в духовном смысле. Никогда ранее не бывал я в такой дали от дома, от Европы, от унаследованного мною западнохристианского и выработанного марксистского понимания мира. Ни разу до этого не отваживался я продвинуться столь далеко в поисках самых глубинных, внутренних связей мира. Быть может, впервые, заглянув за край Европы, я почувствовал, насколько все еще раздроблен, расщеплен наш человеческий мир, сколько в нем противоречий — пусть даже он все больше и больше срастается в единое нераздельное целое. Вот стихотворение, которое я написал, остановившись в Дамаске:

Последний завтрак в Дамаске

На четвертом этаже
дамасской гостиницы «Семирамида»
я последний раз завтракал в этой
стране —
свежей лепешкой
с овечьим сыром
и горьким кофе.
И смотрел на себя в зеркало
новыми, западно-восточными глазами,
а позади — зеркальное отражение
моря домов
в древнем библейском городе.
А дальше на горизонте
гора — та, с которой
апостол Павел
увидел по-новому мир.
Я уеду отсюда домой еще сегодня
и буду рассказывать людям о том,
что видел
собственными глазами.

Хотя я и не был на фронте, мне все-таки удалось посмотреть в глаза войне — самой ужасной после Вьетнама. И теперь я еще меньше, чем прежде, могу спать со спокойной совестью. До конца дней моих в памяти сохранится кладбище мучеников Бехешт Зохра точно так же, как я никогда не забуду братские могилы в Ханое.

Конкретные результаты моей поездки, по-видимому, невелики. Я не смог пролить свет на тайны стратегии ирано-иракской войны, не смог и найти ключ к решению проблем Среднего Востока. Но путь к миру есть — это борьба всех людей, которые любят жизнь, на Западе и Востоке, на Севере и Юге. Именно потому, что в Иране и Ираке слишком мало надежды на то, что воюющие народы сами сумеют прекратить войну, я считаю необходимым не откладывая усилить международное давление на оба государства и на тех, кто помогает им оружием.

С момента возвращения из Ирана у меня сложилось впечатление, что политика вытеснения из общественного сознания массовых убийств на берегах Персидского залива уже не срабатывает так, как семь лет назад. Возросла потребность в информации и действии. Совесть все больше не дает людям покоя. Во время эстафеты мира, организованной по инициативе «Спортсменов за мир», на боннской демонстрации движения за мир и прежде всего на съезде евангелической церкви во Франкфурте-на-Майне члены нашего Комитета против ирано-иракской войны собрали более 10 тысяч подписей под требованием об одностороннем прекращении всех поставок оружия в район Персидского залива. Новое качество приобрели и международные усилия по мирному урегулированию конфликта. Они сконцентрированы прежде всего в ООН, в Совете Безопасности. Впервые пять постоянных членов Совета Безопасности — США, Англия, Франция, Советский Союз и Китайская Народная Республика, на долю которых приходится около 60 процентов производства оружия в мире, приняли совместную резолюцию, требующую от Генерального секретаря ООН немедленно призвать оба государства к прекращению военных действий. Подобный призыв едва ли поможет тут же покончить с войной, для этого у ООН, к сожалению, еще не хватает сил, но Иран и Ирак можно было бы подвергнуть полной изоляции, вплоть до исключения из ООН. Эта акция способна, по крайней мере морально и политически, затруднить безнаказанные поставки оружия обеим сторонам. Как утверждают эксперты SIPRI [1], без пос-

[1] Stockholm International Peace Research Institute — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

тавок оружия из-за границы ирано-иракская война закончилась бы через три недели.

Эта война никогда не была войной на периферии. Она поколебала даже позиции Рональда Рейгана из-за той сомнительной роли, которую в последние годы играл в тайных поставках оружия Ирану американский президент, этот поборник «холодной войны», пришедший к власти не в последнюю очередь благодаря пропагандистской кампании против иранской революции и ее лидера Хомейни. Потрясения, которые эта война вызвала в высших эшелонах западной сверхдержавы, свидетельствуют: район Персидского залива — один из «нервных узлов» нашей Земли. Пока там не будет мира, останется пустой мечтой и мир во всем мире, к которому стремится все больше людей на всех континентах.

Эта война — не вспышка дикой стихии, не порождение исламского фанатизма и азиатской жестокости, не результат безумия,— на мой взгляд, наше западнохристианское суеверие, приписывающее всемогущество ядерному устрашению, гораздо опаснее. Эта война, как и все остальные,— хитроумное дело рук человеческих. Ее развязали люди, продолжают руки, умы и сердца людей, и прекратить могут только люди, можем только мы сами. Это наша война, порождение нашего равнодушия, нашего корыстолюбия, нашей неспособности печалиться о чужих страданиях. Если все мы сделаем все, что в наших силах, дабы покончить с ней и со всеми другими войнами, она, быть может, и войдет в историю человечества как последнее великое кровопролитие.

1987

◆

КОБО АБЭ

ЗАПАД — ВОСТОК: ВСТРЕЧА КУЛЬТУР

Как-то поздно вечером по телевизору показывали фильм «Марокко». Диктор объявил его «шедевром мирового киноискусства», но я, честно говоря, отнесся к этому утверждению весьма скептически. Дело в том, что фильм этот я уже когда-то смотрел, но в памяти ничего, кроме одной — последней — сцены, не осталось. Да и само время выхода фильма — а он был выпущен компанией «Парамаунт» в 1930 году,— и подбор исполнителей главных ролей — Марлен Дитрих и Гарри Купер — обещало нехитрую любовную коллизию. Что ж, с познавательной точки зрения интерес может представить и поблекшая за 50 с лишним лет романтическая история. Ведь 30-е годы — период смятения — похожи и на наше время. Видимо, все же стоит посмотреть картину, решил я,— вдруг она даст возможность хоть немного ощутить атмосферу тех лет

Финансовый кризис на Уолл-стрит в 1929 году, приход Гитлера к власти в 1933-м... Противоречия в мире обострились до предела, обстановка наэлектризовалась до такой степени, что в любую минуту могла разразиться гроза. И никто не знал, что последует за сгустившимися сумерками — ночь или рассвет. Начиналась настоящая паника — грандиозное психологическое Бегство.

«Марокко», как я и предполагал, оказалось незатейливой историей о Бегстве, меланхолической повестью о любви двух людей, бежавших в эту страну от сложностей европейского мира — солдата Иностранного легиона и певицы. Счастье влюбленных оказывается недолгим: у певицы появляется состоятельный покровитель — элегантный циник, и солдат решает с ней расстаться. Женщина склонна подчиниться обстоятельствам.

В день помолвки героини и ее покровителя Иностранный легион получает приказ выступать. Под гром барабанов солдаты уходят в пустыню. Героиня, сбежав с собственной помолвки, догоняет их и смешивается с толпой женщин-бродяжек, следующих за войском. В последнем кадре Марлен Дитрих бежит по пустыне, сбрасывая с ног туфли на высоком каблуке.

Как видите, я все-таки досмотрел фильм до конца. Возможно, из-за прекрасной игры Дитрих, которая словно создана для роли «беглянки». Тип легкомысленной женщины-мальчика вообще был популярен в 30-е годы, и это неудивительно — он хорошо вписывался в атмосферу предчувствия неминуемого краха и всеобщего опьянения мечтой о Бегстве.

Однако безоговорочно принять тональность фильма я не мог. Нет, я не нажал кнопку переключателя программ, но мысленно все же переключился — судьба героев Дитрих и Купера меня не слишком волновала. Куда больший интерес вызывали марокканские арабы, но в картине они фигурировали лишь как некие символы. Горожане, наблюдающие за марширующим Иностранным легионом,— всего-навсего безликие фигуры в белых бурнусах, атакующая туземная армия вообще не показана, она обозначена лишь намеком — звуками ружейной пальбы. Сюжет замыкается на белых — мужчине и женщине,— словно тут конец земли, дальше начинается пустота, нечто вроде «черной дыры». А здесь и свобода, впервые познанная на той грани между бытием и небытием, имя которой экзотика, и обретенная чистота отношений между мужчиной и женщиной.

Поскольку других героев в фильме нет, зрителю только и остается, что сопереживать влюбленным. Я же вместо этого все больше и больше раздражался. Даже последний, наиболее романтичный кадр вызвал у меня сильнейший соблазн поиздеваться с позиций голого практицизма: «Бывают же дуры на свете! Как вы думаете, далеко ли уйдет босиком по пустыне под палящим

солнцем певичка из кабаре? Она же обожжет ноги до волдырей, идти не сможет, и ее прикончат либо туземная армия, либо гиены».

Такое восприятие фильма, вероятно, объясняется тем, что в то время я как раз читал книгу Эдварда Саида «Ориентализм». Саид — профессор, преподает английскую литературу в Колумбийском университете в США. По происхождению он палестинец, рос и воспитывался в Каире. Похоже, именно горячая палестинская кровь побудила его придать книге поистине набатное звучание. Вкратце ее основная мысль в следующем: европейские и неевропейские страны — это не просто разные общности людей; Европа — это «субъект», постоянно ведущий наблюдение за Азией, Востоком в целом,— «объектом», который и формируется как результат этого наблюдения. Таким образом, Восток, который открыла для себя и изучает Европа,— это всего лишь некая еретическая модель, созданная для подтверждения правильности европейских стандартов.

Если развить эту мысль, получится, что Восток служит в качестве своеобразного «доброго зеркала», смотрясь в которое Европа может постоянно убеждаться в собственном превосходстве. В высшей степени резкое обвинение! В нем кипит ненависть уязвленного самолюбия арабов. Хотя Саид, пожалуй, возразил бы мне, что такая трактовка его обвинения сама пропитана ядом европейской оценки Востока. Видимо, так оно и есть. Раны, нанесенные колониальным господством, столь глубоки, что ненавистью их не исцелить. И само разделение мира на Европу и не-Европу, проведение между ними некой демаркационной линии следует рассматривать как тяжкое преступление.

И все же приходится признать, что в «уравнении» Саида отсутствует переменная величина. Его книга — это не кропотливое выяснение обстоятельств преступления, скорее это речь прокурора, произнесенная в отсутствие защитника. А переменная величина в уравнении быть должна.

В 1956 году на экраны вышел фильм французского режиссера Андре Кайата «Око за око». Ситуация в нем, диаметрально противоположная изображенной в «Марокко». Врача-француза, человека с добрыми намерениями, арабы приговаривают к смерти только за то, что он не араб. Его заманивают в пустыню, где он, ориентируясь по неверно составленной карте, сбивается с пути. Герой вынужден смириться с несправедливым приговором, хотя и не чувствует за собой никакой вины.

Меняя значение переменной величины уравнения, можно повлиять на его итог. Интересно, каким получился бы фильм «Марокко», если бы его выпустили не европейцы. Пожалуй, такого быть не могло. Ведь, как справедливо отметил Саид, деление мира на «центр» и «окраины» — это тенденция, свойственная исключительно европейцам.

Есть, правда, одно исключение — такой фильм мог бы появиться в Японии. Местом действия в этом случае стала бы бывшая Маньчжурия, Иностранный легион превратился бы в Квантунскую армию, а героиня (оставим в стороне возможность подобрать актрису, сравнимую с Марлен Дитрих) — в официантку, бежавшую с Хоккайдо или Кюсю. Туземную армию заменили бы китайские «бандиты». Поскольку Маньчжурский инцидент[1] произошел в 1931 году, совпало бы и время действия. А японская оценка азиатских стран не менее тенденциозна, чем европейская. По отношению к государствам Восточной Азии, например, Япония издавна выступала с позиций наблюдателя — «субъекта», держала себя подобно метрополии, управляющей колониальными владениями, усердно полировала восточноазиатское «доброе зеркало».

Любопытно, почему Саид не ввел Японию в зону своего обличительного обстрела? Почему исключил ее из состава обвиняемых? Полной ясности на этот счет у меня пока нет. Может быть, причиной тому — ощущение известной близости к японцам, таким же «цветным», как и он? Может быть, из-за трудностей борьбы на два фронта он решил прежде всего «атаковать» Европу? Или просто не упомянул Японию как нечто не стоящее внимания? Ясно одно: ожидать, что японцы будут Саиду благодарны за «снисходительность», не приходится.

После революции Мэйдзи[2] японцы помчались по истории на всех парах. Они неслись на двух ногах — страхе и алчности — и, усвоив все, что западные страны сделали, делают и собираются делать, наконец увидели финиш. Возможно, это был и мираж, но они увидели поперек дороги вывеску «Добро пожаловать!» и людей, приветливо машущих руками. Кто знает, на вывеске могли на самом деле быть другие слова, но совет остановиться в любом случае был бы напрасным. Пусть даже за этим финишем — место казни западных стран, разоблаченных Саидом и единодушно признанных виновными; теперь уже все равно — играть, так по крупному!

И вот сегодня японцы называют свои автомобили не «горизонт», а «скайлайн»[3], носят ту же обувь, что и белокожие манекенщицы, пьют пиво, которое пьют белокожие манекенщики, словом, постоянно живут в окружении образов белых людей, составляющих не менее половины действующих лиц рекламных материалов (которые опять-таки сейчас называют не рекламой, а «комасяру»[4]) — от телевизионных роликов до красочных вкладок в ежедневные газеты. Поэтому, когда в странах Южной Азии японцам дали прозвище «сверхбелые», вряд ли кто-либо из них стал его стыдиться. Похоже, наступает время, когда и европейцы с американцами приходят к мысли, что японцев можно воспринимать как одну из «разновидностей белой расы». В конце концов, и белые люди, заболев холециститом, желтеют.

Похоже, большинство японцев не считают вывеску с надписью «Добро пожаловать!» миражем «Глядите-ка,— говорят они,— наша интернационализация идет полным ходом, сейчас в Париже — японский бум.

---

[1] Событие, послужившее предлогом для начала агрессии Японии против Китая. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Буржуазная революция 1868 года.

[3] Skyline — горизонт *(англ.)*.

[4] От commercial — реклама *(англ.)*.

Тут тебе и гастроли театра «Кабуки», и сумо [1], и наш театральный авангард с уклоном в шаманство, и различные японские выставки». Я, когда слышу такое, всегда задаюсь вопросом: а почему, собственно, все разговоры об «интернационализации» ведутся только применительно к Японии, а ее западные партнеры оказываются вроде бы и ни при чем? Однако, если рассматривать интернационализацию как превращение в интернационалиста, интернационалиста — как человека, говорящего на европейских языках и постоянно контактирующего с европейцами и американцами, а интернационалистическое поведение — как некий набор хороших манер, не позволяющих на банкетах гладить против шерсти хозяина и хозяйку, то все становится на свои места. Интернационализация оказывается комплексом требований, выдвигаемых в одностороннем порядке «устроителями банкета», директивой, направляемой из «центра» на «периферию». Не общей для всего человечества проблемой, а предупредительным сигналом из «центра» мира людям, живущим на его «окраинах». Все — на курсы английского языка! Тогда мы сможем хорошо обслуживать группы туристов из «центра», прочтем и оборотную сторону вывески с надписью «Добро пожаловать!». А там написано: «Преуспевшим в учении».

Все же, как ни старайся, сколько ни настаивай на том, что Запад относится к Японии лишь как к «объекту наблюдения», народы Восточной Азии, испытавшие на себе японскую агрессию, не забудут, как японцы были «субъектом». Да и сейчас Япония не перестала посматривать в «доброе зеркало» восточноазиатских стран. Поэтому, ничего не поделаешь, приходится признать, что японцы в своем восприятии остановились на уровне «Марокко», им не суждено было проделать в послевоенные годы глубокий самоанализ на основе идей, выраженных в фильме «Око за око». Растущая популярность «секс-туров» [1] отнюдь не означает окрашенного эротизмом сочувствия «окраинам» в стиле Флобера. Что же касается народов Восточной Азии — разве они не относятся к японцам по-прежнему с неприязнью? И если мы не слышим их негодующих голосов, то это может гарантировать лишь то, что в толстокожести мы не уступаем европейцам.

Неужели невозможен иной тип взаимодействия между национальными культурами, кроме прискорбной модели, согласно которой созревание самосознания происходит лишь на основе рассмотрения чужих стран как «объекта», а себя — как «субъекта»?

Перевод с японского
Б. НИКОЛЬСКОГО

[1] Вид японской национальной борьбы.

ДЕЛАЙТЕ ВАШУ ИГРУ, ЛИТЕРАТОРЫ ОТ БИЗНЕСА!

В начале 1987 года министр культуры Франции Франсуа Леотар награждал писателя. Кавалером ордена Заслуг, весьма высокой награды, стал Поль-Лу Сюлидзер.

«Певец предпринимательства, Александр Дюма второго тысячелетия, вы восстановили в своих правах деньги, эту поруганную свободу, столь необходимую для нашей страны»,— сказал министр.

Многочисленная публика разразилась аплодисментами. Дюма двадцатого века мило улыбался, принимая как должное необычные почести. Впрочем, многое было необычным — похвальное слово министра культуры в адрес обиженных денег, восторги гостей, чья профессия — делать деньги (на церемонию собрался цвет банковского мира страны), и сам виновник торжества Сюлидзер, сравнительно молодой (ему нет и сорока), но прогремевший в финансовых кругах Франции делец, консультант десятка фирм из разных стран. Первую сенсацию он преподнес, когда в 18 лет стал самым юным в стране директором предприятия, производившего брелоки для ключей. В это прозаическое дело он вложил недюжинную фантазию. Его изделия сверкали и переливались. Некоторые можно было заводить, и они несколько секунд неизвестно зачем жужжали. Другие (с батарейкой) в ответ на свист хозяина «подавали голос».

Затем он стал выбрасывать на рынок заводные безделушки, столь же забавные, сколь и бесполезные. Я сам как-то соблазнился его продукцией, купив весьма оригинальную копилку: если вставить в отверстие монету, из-под черной крышки неожиданно возникала зеленая рука и с адским скрежетом вталкивала свою добычу внутрь. На крышке другой копилки малыш и девчушка, покружившись, сливались в поцелуе — в головы был вставлен магнит. Третья, если ее сжать, разражалась кошмарным хохотом.

Округлив состояние, Сюлидзер занялся рекламой, потом увлекся торговлей недвижимостью. Впрочем, трудно сказать, какие виды бизнеса он не испробовал — выпускал даже духи, носившие имя наследника Бурбонов, герцога Анри Орлеанского.

При чем здесь, однако, Дюма и орден? А притом, что человек, который запустил в продажу оглушительную хохоталку и придумал для бурбонских духов девиз «Голу-

[1] Специальные туристские маршруты по городам Юго-Восточной Азии, известным обилием «злачных мест».

бая лилия — королевский запах», за последние годы стал известным во Франции литератором. В 1980 году в издательстве «Деноэль» (группа Галлимар) вышла его первая книга — «Деньги», за ней — «Наличные» и «Состояние». Названия были даны по-английски: «Money», «Cash», «Fortune». Тираж их колебался от 70 до 35 тысяч, что по западным меркам весьма немало. Но автор остался недоволен. Он сменил издательство, привлек к рекламе телевидение, и следующие его опусы разошлись в количестве 180 — 230 тысяч экземпляров. Они, правда, носили менее «финансовые» названия. Но отказ от банковского жаргона не означал уход от главной темы — темы делания денег. Не изменился и жанр, который французский журнал «Лир» определил как «финансовый вестерн».

Как выглядит авторский почерк в книге, которой Сюлидзер дебютировал на писательском поприще,— романе «Деньги»? Франц Цимбалли — сын разоренного нечестными компаньонами бизнесмена итальянского происхождения — живет в Лондоне. Отец умер, когда сыну было всего десять лет. Вскоре скончалась мать. Достигшему совершеннолетия юноше объявляют, что отцовское наследство растрачено и он должен выселиться из дома. Францу предлагают покинуть Англию и ехать куда глаза глядят. Банкирский дом Мартина Яла, разоривший его отца, дает ему 10 тысяч фунтов отступного. Юноша наобум выбирает Момбасу (Кения) и пускается в путь, предварительно истратив полученные деньги на цветы для похорон подруги-наркоманки (она покончила жизнь самоубийством после того, как стало известно, что Франц разорен).

Молодой человек горит желанием отомстить обидчикам отца, связанным с банком Яла. Способ ясен — он должен очень быстро разбогатеть. Деньги станут орудием мести.

Высадившись без копейки в Момбасе, Франц закладывает часы отца и начинает свою «пляску Цимбалли». Для начала юноша завоевывает симпатии двух кенийцев, помогая им улавливать приезжих для обмена долларов по спекулятивному курсу. Его, правда, временно помещают в тюрьму, но затем судей «подмазывают», и Цимбалли вновь пускает свои денежки в рост. Он приобретает автомобили для туристских вояжей, приторговывает контрабандным золотом. Эти занятия помогают ему связаться с гонконгскими дельцами и начать с их соизволения свой бизнес — производство забавных безделушек. В Европе он разворачивает для их продажи бурную рекламную кампанию. Торговля идет бешеным темпом.

Часть богатств брошена на распутывание комбинаций, которые погубили его отца. Появляется список злоумышленников. Сюлидзер подробно описывает коварные рецепты, к которым прибегает его герой, разоряя одного за другим своих врагов. Преследуя их, он перебирается на другой берег Атлантики. Крупный куш — несколько миллионов — Франц наживает на отмене золотого стандарта доллара. Не обходится и без шпионских страстей: о возможности отмены стандарта сообщает гонконгский сообщник, получивший эти сведения от китайской разведки.

В США Франц начинает прибирать к рукам отели на побережье. Они пустуют, и банки, взявшие на себя ипотеку зданий, терпят большие убытки. Франц сколачивает в Западной Европе кооперативы по выкупу ипотек и домов. К бизнесу подключаются арабские шейхи, и Цимбалли наживается, поскольку отели резко растут в цене.

Теперь наш герой (ему только что исполнилось 20 лет) может приняться за более крупных соперников. Двое из них обосновались в Чили.

Он едет на Багамы, связывается с мафией, вручает ей несколько миллионов долларов и вместе с ЦРУ и крупнейшими американскими монополиями (среди них — «Интернэшнл телеграф энд телефон») организует забастовки владельцев грузовиков, чтобы дестабилизировать экономику Чили и разорить своих противников. О фашистском перевороте в Чили Цимбалли говорит, что его «эта новость не очень обрадовала». Убийство Альенде тоже «не обрадовало».

С упоением описываются дальнейшие «подвиги» Франца. В Калифорнии удается подсунуть еще одному обидчику отца дорогостоящий, но перспективный земельный участок. Затем через подкупленного губернатора города затевается кампания против застройки на этом участке. Очередной враг повержен. Наконец, доходит очередь и до Мартина Яла. На сей раз Цимбалли мобилизует всю свою «армию» — от гонконгцев и парижских дельцов до арабских шейхов и швейцарских «гномов»-банкиров. В решающий момент, когда Мартин Ял пытается занять денег, чтобы как-то выкрутиться, мировая пресса (с подачи Франца) изобличает его в связях с нацистами и преследовании евреев в годы второй мировой войны. Ял разорен. Отец Франца отомщен. Герой выгодно женится. Причем выясняется, что родители невесты почему-то купили как раз дом его отца под Ниццей. «Хэппи энд»? Книга так и завершается: бизнесмен-победитель в ряде крупных газет печатает фотографию своего бракосочетания, сопровождаемую фразой «I am very happy» — «Я очень счастлив».

Напомним, что министр культуры сравнил Сюлидзера с автором «Графа Монте-Кристо». Сам Франц Цимбалли неоднократно напоминает, что его месть осуществляется по законам романа Дюма.

Правда, критик Пьер Ассулин в обзоре на страницах журнала «Лир» не без ехидства отмечает: сравнение с автором «Трех мушкетеров» могло содержать и намек на малоприятное обстоятельство. Дюма, как известно, держал целый штат лиц, которые по его наброскам делали черновую работу. Не относилось ли сравнение с Дюма к наличию таких «негров» и у Сюлидзера?

Свои вещи Сюлидзер действительно пишет не в одиночку, а в соавторстве. Его идеи приводит в достойный вид Лу Дюран, бывший журналист, а ныне писатель.

«Он помогал советами на протяжении всей моей карьеры (литературной, само собой.— Л. З.). *Он работал над моими рукописями. Он существенно переделал, например,*

сюжет моего «Зеленого короля». Но было бы передержкой утверждать, будто он пишет книги за меня»,— заявил в одном из интервью Сюлидзер. Лу Дюран вторит: *«Я переделываю стиль. Мое вмешательство оплачивается».*

Действительно, он получает за книги Сюлидзера п о л о в и н у гонорара. Однако его имя на обложке не ставится. Лу (что означает «волк») помогает Полю-Лу (Полю-«волку»), и оба делят добычу, Сюлидзер настаивает, что идеи генерирует он сам. В чем же состоят эти идеи?

«В истории всегда случалось, что какие-то личности отвергались обществом из-за того, что имели слишком передовые взгляды и нарушали установленные схемы. Я один из них. Сартр говорил: деньги лишены идей. Я хотел ему ответить. Чтобы сделать деньги, когда их у тебя с самого начала нет, надо иметь много идей».

«Я всегда полагал,— говорил Сюлидзер в другом интервью,— *что выживание капитализма зависит от нуворишей, от смешения слоев».*

Идея автора весьма прозрачна — капитализму, чтобы обрести дополнительные силы, нужна новая кровь, свежее предпринимательство.

«За эти годы,— пишет Ассулин,— *набор его идеалов стал достаточно ясен: деньги, успех, воля к тому, чтобы пробиться наверх, закон джунглей, боевой дух»...*

Но, позвольте, где же низвержение устоев? Разве не подобным мифом о превращении сапожника в миллионера питался с начала века стереотип «американского образа жизни»? Разве не идут идеи Сюлидзера нога в ногу с продвижением в общественное сознание постулатов неоконсерватизма, прикрытых флером «старого доброго капитализма» («способный обогащается, а лентяй разоряется»). Вспомним: двадцать лет назад по многим странам Запада прокатился молодежный бунт, волна баррикадных стычек, столкновений с полицией. Даже молодые священники заняли ряд церквей и вывесили лозунг: «Церковь — для народа». Это был шумный период «контестации», оспаривания основ капитализма, ниспровержения его морально-этических принципов. Особую силу движение набрало в начале 70-х годов, когда к студенчеству присоединились рабочие. Неприятие молодыми власти денег разделили тогда даже многие семьи миллионеров.

Бурные дни, когда на глазах рушились авторитет и незыблемость большинства «ценностей» буржуа, нанесли глубокие раны западному обществу. В поисках противоядий оно предприняло все, что могло. Невидимые режиссеры (и собственный максимализм) толкали молодежь на экстремистские выходки, на терроризм. Внедрившиеся в ряды леваков идеологи внушали, что основной огонь нужно направить против коммунизма и «обуржуазившегося» Советского Союза. А затем расплодились кружки и секты, под лозунгами внутреннего раскрепощения проповедовавшие наркоманию, насилие, уход в мистику. Свобода личности кончалась ее распадом, подчинением новоявленным «гуру» — учителям. Они заставляли своих адептов собирать милостыню, заниматься проституцией и отдавать им немалые деньги «во имя идеи».

Но, обезвредив «контестацию», важно было возродить веру в капитализм, капитал, капиталиста. Немало интеллигентов, напуганных собственным радикализмом, качнулось тогда вправо, попало под влияние консервативных сил. Отход от левых убеждений щедро компенсировался — отступников рекламировали, приглашали выступать на телевидение, издавали чаще и платили лучше. Феномен завершился общим поправением, приходом к власти во Франции (и ряде других стран Западной Европы) консерваторов. Как раз эти силы и представлял Леотар.

Возвращение национализированных предприятий частным владельцам, сокращение социальных расходов и программ, закрытие заводов и фабрик, оставшихся без поддержки государства, — таковы некоторые последствия «рейганомики по-французски». Однако найти в среде писателей тех, кто впрямую бы писал оды капиталу, было трудно. «Мешала» традиция Бальзака, Золя и других гигантов мировой литературы. Они показывали, какое пагубное влияние оказывает на души тяга к обладанию «презренным металлом», как иссушает их погоня за прибылью — все это было глубоко, в традициях гуманизма, борьбы за человеческое в человеке. Сюлидзер весьма далек от них, им движет иное. Тем не менее его успех у читателей, в том числе и за пределами Франции, заслуживает внимания.

Капитализму за последние десятилетия вновь удалось заразить многие души жаждой быстрого обогащения. Теле- и кинозритель приучен к гангстерским способам добычи денег, свыкся с картинами насилия, убийств. Песенки на тему «money, money» проникли в репертуар звезд эстрады. Обыватель смакует детали быта высшего света, в том числе и бывших «левых», ныне раздобревших от гонораров, переключившихся на пропаганду реакционных, антикоммунистических идей.

Судите сами, легко ли отказаться от славных заветов прошлого нынешним «властителям дум» — наследникам Гюго, Стендаля, Мопассана,— профессиональным писателям Франции? Ведь помимо всего прочего крупный капитал ожидает получить сертификат своей доброкачественности в момент, когда его кредит низок, как никогда. Инфляция последних лет, спекуляции на курсе доллара, ценах золота, нефти, неслыханные по своим масштабам биржевые скандалы, затрагивающие имена престижных фирм и компаний, хроническая задолженность государству, налогоплательщикам, ограбление вкладчиков — таково лицо капитализма в его нынешней, супермонополистической фазе.

Эрве Базен, прекрасный французский писатель и крупный мыслитель, в целом ряде своих книг поднимает вопрос о банкротстве «ценностей» буржуазного общества. Он показывает, что стремление к деньгам приво-

дит к тому, что уже сами деньги владеют и управляют людьми, подобно бесу, которому продают души.

«Я хочу показать,— рассказывал мне писатель,— *как нелепостью становится самая главная цель общества. Представьте: всю жизнь француз гоняется за деньгами. Он подчиняет их накоплению лучшие силы и интеллект. А что получает в результате? Инфляция растет быстрее, чем проценты по его вкладам. Гонка становится бессмысленной. Цель отдаляется, чем больше к ней хотят приблизиться».*

Именно в такие моменты капиталу особенно нужны помощники в идеологической сфере. И если профессиональные писатели для этой цели оказываются непригодными, то пусть за нее возьмутся деятели типа Сюлидзера.

И Сюлидзер с ролью «терапевта» денег справляется: читатель получает иллюзию достижения того, что ему не удается в жизни. В стране, породившей классический тип рантье — с обостренным чувством собственности, жаждой обогащения,— такой прием обеспечивает немалую аудиторию. Важно лишь придать охоте за богатством тонкий, едва заметный оттенок благородства (все-таки Франция), завинтить острый сюжет, подбавить экзотики — Африка, Багамы, пляжи Атлантики и Средиземного моря,— разумеется, не забыть секс, и вот уже затронуты нужные струны души мелкого буржуа. Для культурного фона герой повести вперемежку с трудом Рокфеллера о значении творческого воображения в бизнесе читает того же «Монте-Кристо».

Но во главу всего ставятся деньги. Пляска денежных сумм, мелькающих нулей чарует, гипнотизирует.

«Делать деньги, «мэйк мани»,— поясняет Сюлидзер, предваряя свой роман «Деньги»,— *это и искусство, и страсть, и постоянное стремление к недостижимому».*

Автор манит читателя, показывая ему мираж неслыханного, сказочного обогащения, в действительности недостижимый. Он приучает его к тому, что зарабатывать деньги привычными методами, копя проценты,— просто банально.

Надо рисковать, повышать ставки, делать свою игру, как в казино. Конечно, когда министр культуры сравнивает автора с Дюма, он слишком щедр. В творениях Сюлидзера даже отдаленно не присутствуют благородные побуждения героев Дюма. Контрасты между гнусными субъектами, обокравшими Франца Цимбалли, и им самим сглаживаются не только тем, что обе стороны борются орудием подлогов, спекуляций, вероломства, но и мизерностью душевных движений юноши столь рано вступившего на тропу бизнеса.

Ему помогают личности вроде Турка, сексуального маньяка и дельца, у которого за телетайпами работают обнаженные девицы. Турок покушается не только на женщин, но и на самого Франца. Без тени морализирования они меняются компаньонками. Франц «дарит» выгодному соучастнику своей охоты датчанку Юту, двухметровую красавицу, разрисовавшую свои груди ромашками (она рекламировала игрушки Цимбалли).

В промежутках между финансовыми боями и сексуальными упражнениями даются прокладки — лирические воспоминания о детстве героя, о его доме в Сен-Тропе.

В союзники себе Цимбалли готов взять кого угодно, от контрабандистов до фашистов. Советник его заявляет, что в борьбе против Альенде «объединились ЦРУ, ИТТ, мафия» и что его «от этого тошнит» — между тем самого Франца это мало трогает. Нацистское прошлое Яла он разоблачает не из антифашистских убеждений, а только чтобы нанести еще один удар врагу.

Говоря о герое книги, невольно видим и самого автора. Человек, заработавший 750 тысяч франков только на рекламной фразе о «королевском запахе», ориентирован на запах денег. Его литературный труд, вернее, приемы делания книг неотделимы от философии бизнеса. Разница лишь в том, что если раньше Сюлидзер обогащался на своих безделушках и игре на биржевых курсах, то теперь он наживается, привлекая читателя описанием того, как можно легко обогатиться. Каждый свой новый контракт он обставляет все более высокими финансовыми запросами. Не забывает и о кинематографе. За право на экранизацию своей «Ханны» он получил пять миллионов франков, за «Зеленого короля» — уже 215

«Моя финансовая трилогия была в какой-то мере авансом,— откровенничает он.— *Она стала базой. Затем я организовал конференции и встречи по всей Франции. Неожиданно люди стали интересоваться деньгами. Они перестали стыдиться показаться выскочками. Это был уже сдвиг. Это был конец «отвратительного» капитализма. Это произошло во всемирном масштабе. Интеллектуалы* (вот он, реванш денег! — Л. З.) *поплатились за то, что отвергали культуру экономики, не стремились ее освоить».*

За свою недавнюю книгу «Спешащая женщина» Сюлидзер запросил рекордную сумму — 8 миллионов франков. И получил ее. В книге — все тот же винегрет привычных рецептов.

«Это история США и Китая,— пишет «Лир».— *в беспощадной атмосфере крупной прессы. Здесь действуют нацисты, богатая наследница, Аль Капоне, упомянут модный портной Бальмэн (это, конечно, случайность[1]), «негр», который редактирует за Гитлера «Майн кампф» Елена Рубинштейн* (опять модная фирма — Л. З.) *и т. д.»*

«Он говорит, что любит владеть красивыми домами, стильной мебелью шедеврами искусства, совершать большие вояжи,— перечисляет критик вкусы новой звезды.— *У него один дом в Нью-Йорке близ Цент-*

[1] Ирония критика очевидна. В «Зеленом короле» Сюлидзер трижды упоминает, что его герой пьет мартини. За это он получил от фирмы 80 тысяч франков. Упомянув однажды Бальмэна, он затем с удовлетворением отмечал, что «одевался у него». *(Прим. автора.)*

рального парка, дом в Марселе, десяток квартир в Париже».

Думается, можно и не продолжать. Сюлидзер не брезгует ничем, лишь бы заключить сделку, отхватить куш у рекламных бюро, привлечь внимание к себе, а тем самым и к своей коммерческой, простите... литературной продукции.

Недавно промелькнуло сообщение о том, что он взялся шефствовать над автогонкой Париж — Дакар, по пескам Сахары. И опять небескорыстно: состязание собирает рекордное число зрителей у телевизоров. Заодно средства массовой информации не забывают прославлять и «крестного отца» гонки А его акции идут вверх.

В конце прошлого года он совершил еще одно капиталовложение — на пару с западногерманским дельцом приобрел самолет, на котором Матиас Руст совершил свой опасный полет в Москву. Сюлидзер нанял пилота, который на том же самолете совершил полет над Елисейскими полями и Триумфальной аркой в Париже (естественно, не позволив себе там приземлиться). «Это жест мира»,— заявил он, подчеркнув, что хочет помочь Русту. Но очевидно, больше всего он хочет помочь сам себе. Самолет был обклеен рекламой журнала «Пари-матч» (конечно, не бесплатно) и общества «Мирис», основанного тем же Сюлидзером для рекламной эксплуатации «самолета мира».

Таков Сюлидзер, «певец предпринимательства».

ЛОЛЛИЙ ЗАМОЙСКИЙ

◆

Письма из-за рубежа

ЙОЗЕФ НЕСВАДБА

ВНОВЬ ПОЗЫВНЫЕ МОСКВЫ...

В прошлом году меня дважды приглашали в Москву. Благодаря научной фантастике. В первый раз я был приглашен в конце мая международным движением «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», которое основали кардиологи Лаун и Чазов, получившие за это Нобелевскую премию. В Москве состоялся седьмой конгресс. Кроме политиков, социологов, журналистов предполагалось собрать также врачей-писателей, прежде всего фантастов. Семинар должен был проходить под лозунгом «Научная фантастика и ядерная действительность». Встреча получилась поистине массовой, прибыло свыше двух тысяч врачей из пятидесяти трех стран — на девятьсот участников больше, чем предполагали организаторы.

«Мы очень интересуемся перестройкой...— объясняли мне пожилые супруги-гематологи, сидевшие рядом во время открытия конгресса.— Мы отправились навестить могилу родителей в Лодзи, а оттуда ведь близко. И не жалеем о своем решении. Тут царит совсем иное настроение. Люди начинают по-другому думать...» Конгресс проходил под девизом «Нам потребуется новая категория мышления, если человечество хочет выжить» — это слова Альберта Эйнштейна. Из-за наплыва гостей открытие было перенесено на малый олимпийский стадион, где участников приветствовали активисты движения. С политическим докладом выступил товарищ Добрынин, подчеркнувший значение нового подхода советского правительства к вопросам, касающимся будущего человечества, если ему вообще суждено состояться. Именно в такую эпоху более всего необходимо новое мышление... Выступил также молодой сенатор Альберт Гор из Теннесси, которого доктор Лаун представил как подающего надежды политика, намеревающегося баллотироваться на пост президента от демократической партии. Гор подчеркнул, что две супердержавы никогда не воевали, но им недостает совместной экономической цели, объектов плодотворного сотрудничества. Из его доклада я узнал, что гонка вооружений продолжается невзирая на переговоры: если в 1981 году в мире насчитывалось 11 тысяч ядерных боеголовок, то в прошлом году их стало уже более 50 тысяч. Термин «overkill» — «сверхубийство» — становится эвфемизмом. Человечеству грозит Апокалипсис, опасность возрастает с каждым днем... При этом никто, собственно говоря, не хочет войны, ибо в ней нельзя победить, тут скорее страх перед случайностью, отказом техники, ошибкой и т. д. По мнению сенатора, надо лишь открыть границы для экономического сотрудничества, идей и туризма — это и будет первым шагом...

Подобное мнение не раз прозвучало в высказываниях западных участников конгресса. Некоторые имели в виду «демонтирование» социалистического государства. Но искренних идеалистов было больше. Говорилось о ядерной зиме, о возможных последствиях случайного конфликта, о народах, на которые не были бы нацелены бомбы, но тем не менее могущих пострадать. Обсуждались губительное воздействие гонки вооружений на здоровье людей и развитие третьего мира, психологические аспекты международной напряженности, история борьбы за мир, вклад религиозных организаций, этическая сторона проблемы. Мы вспомнили о Пагуошском движении 50-х годов, зачинателями его выступали еще Эйнштейн и Рассел — ведь борьба против третьей войны ведется практически с момента окончания второй мировой войны.

На нашем семинаре определились следующие проблемы: люди все больше «привыкают» к возможности грядущего Апокалипсиса. Новые поколения получают как бы «прививку» подобного ощущения. Молодых можно взволновать образом гибнущего дерева, но не умирающей планеты. Академик Арбатов вспоминал беседы с М. Тэтчер: «Если до сих пор бомбы обеспечивали мир, значит, чем больше бомб, тем больше мира...» Так говорила Тэтчер. Но ей отве-

чали, что тогда не понадобится и шага к полному уничтожению — достанет шажка или движения руки...

«Я довольно долго работал военным врачом в данной области»,— рассказывал швед Йершильд, автор книги «После потопа»,—и пришел к выводу, что пережить атомный конфликт было бы страшным несчастьем. Единственное, что оставалось бы врачам,— найти острые камни и добивать раненых точно направленными ударами по голове, ибо иное вмешательство не было бы возможно...» Советские коллеги, среди которых был молодой Рыбаков, автор сценария о детях, переживших атомную войну, доказывал правоту шведа, используя как пример события в Чернобыле. Американец Брайанс обрисовывал опасность, подробно цитируя американскую НФ с созданным в ней «образом русского». Но говорилось и о том, что некоторые антиутопии—то есть картины мира после третьей мировой войны — из-за поверхностности художественного воплощения вместо того, чтобы предупреждать, скорее приучают к мысли о неизбежности подобного будущего и, главное, к представлению о том, что в нем можно будет жить.

Я тоже выступил в дискуссии, так как эта тема уже давно волнует меня. Впервые в жизни я участвовал в такой встрече не просто как врач, но как психотерапевт. С этой точки зрения было о чем поговорить: является ли страх перед будущей катастрофой разумным и «здоровым» или он — проявление отчаяния и истерии? Хотят ли люди, чтобы их вечно пугали гибелью? Глубинная ли это необходимость или средство манипулирования? Как это проявляется у молодого поколения или у матерей призывников? Обладают ли малые народы каким-либо опытом, могущим пригодиться всему человечеству? Ведь мы на протяжении целых поколений живем под угрозой биологического уничтожения... И — в итоге — что могут сделать литераторы? Мы вспомнили о Кареле Чапеке, который стремился бороться с помощью своих литературных произведений. Премьера его пьесы «Мать» должна была состояться в Норвегии как раз в день нацистской оккупации. После войны она первой была поставлена на сцене.

Каковы же результаты предупреждений литературы? Представляют ли антиутопии единственную возможность «заговорить» зло или дьявола. если угодно? Как вести себя в нашем неслыханном, беспрецедентном мире, что живет без глобальных войн, но при этом почва, можно сказать, с каждым часом все более явно ускользает у нас из-под ног? Борис Стругацкий считает, что жить так, как прежде, нельзя. Нельзя делать вид, будто ничего не происходит. Я же вспомнил цитату из Ясперса: «Человек, который в наше время преуменьшает опасность атомной смерти, подобен больному, не желающему слышать о своей раковой опухоли». А ведь своевременный диагноз и лечение дают по крайней мере надежду.

Дискуссия была оживленной, пришло много слушателей, которые также выступали. Доктор Боснак, психотерапевт из Нью-Джерси, рассказал о созданном им Объединении против Апокалипсиса. Советский врач-космонавт говорил о Земле как о планете, находящейся под угрозой. Советский фантаст Михайлов обратился к общим проблемам прогресса. Вл. Гаков, умело направлявший работу семинара, уже готовился завершить ее, когда слова попросил сорокалетний венгерский вирусолог: «На протяжении нескольких часов вы обсуждаете грозящую опасность и не замечаете той, которая уже стала реальностью. СПИД немилосердно собирает свою смертельную жатву. Вспомните о первой атаке сифилиса! Он унес жизни половины населения Франции. Нам грозит такая же судьба. Надо избавляться от коварных и опасных привычек к распущенности, укоренившихся в последние десятилетия, и возвратиться к заповеди, проверенной веками: не согреши! Эта заповедь имела профилактическое значение. так же как гаремы и целибат. Сфера пола, эротика, секс снова таят смертельную угрозу цивилизации...» Голос выступавшего дрожал, руки тряслись, он то и дело вытирал потный лоб. Но в зале присутствовали и другие вирусологи. И мы услышали, что тревога несколько преувеличена, ведь главный очаг опасности — лишь гомосексуалисты. Прозвучало даже предположение, что лаборатории сознательно драматизируют ситуацию, так как хотят увеличения дотаций... Тема новой заразной болезни уже не исчезала из наших диспутов—не потому ли, что является составляющей Апокалипсиса? Или потому, что в корне изменила ситуацию? Снова задача для НФ? Не станут ли нас в недалеком будущем женить, разводить и исповедовать вирусологи? Притянет ли эта отрасль науки новых савонарол?

«Мы пригласили вас как бы в противовес М. Крайтону,— объяснял мне позднее доктор Лаун,— жаль, что он не смог приехать. Так же как Кобо Абэ...» Я, конечно, знал книгу Крайтона «Штамм Андромеды» и смотрел принесший ему известность фильм «Western world», у Кобо Абэ знал только «Женщину в песках», поэтому я и понятия не имел, что он пишет фантастику. «Сейчас, пожалуй, ничего иного он и не пишет: кстати, Абэ — тоже врач. Я не удивляюсь ему. Во всем мире научная фантастика становится влиятельным жанром, завоевывающим все больше читателей, и потому вполне может высказываться по важным проблемам. По этой причине мы и устроили такой семинар. Научная фантастика имеет отношение к будущему и не может нас не интересовать. Скоро мы снова встретимся...» — обещал лауреат Нобелевской премии. В следующий раз это произойдет на восьмом конгрессе.

Итак, мне не удалось встретиться с Крайтоном, но зато я познакомился со многими известными людьми, которых доселе лишь читал. Больше всего взволновало меня, однако, знакомство с восьмидесятилетним профессором Массерманном — пожизненным президентом Всемирного общества социальной психиатрии. Я сидел рядом с ним в Большом театре, только он не сразу вспомнил меня — я был его переводчиком, когда профессор сразу после войны приезжал к нам в Есеники на первый международный конгресс психотерапевтов. Массерманн поздоровался и с сидевшим впереди

китайским профессором — в прошлом году он посетил Пекин, где демонстрировал свой фильм о сообразительных кошках. Он и там искал союзников в политической борьбе. Я осознал, как важны такие встречи и что люди, подобные Массерманну,— это наша маленькая, но несгибаемая надежда перед лицом Апокалипсиса...

Об иных надеждах говорил Карл Саган, директор лаборатории планетарных исследований в Корнеллском университете. Он начал с ответа вирусологам: «Мы должны объединить этот мир! Не исключено, что наша планета — единственная живая планета в космосе...» Нечто новое. Саган со Шкловским в 60-е годы усматривали во вселенной множество населенных миров — об этом свидетельствует последняя теория об антропологическом космосе. Отсюда следует необходимость поддерживать все, что объединяет нас... «Никакая новая болезнь не может заставить нас отступить. Нельзя поступиться уже добытыми свободами. Ведь мы располагаем огромными средствами. Попробуйте представить себе, что США до сего дня израсходовали на вооружение три триллиона долларов! За такие деньги можно купить всю землю, всю нашу планету. Абсолютно все...»

Саган — блестящий оратор, телезвезда, элегантный мужчина. Он благодарил хозяев за приглашение, потому что может вместе с женой отпраздновать таким образом в Москве годовщину своей свадьбы, стать свидетелем волнующих перемен. «На сэкономленные на вооружении деньги мы могли бы не только победить СПИД, но и предпринять совместный полет на Марс и устроить там первую исследовательскую станцию. Могли бы воспрепятствовать растрачиванию энергоресурсов нашей планеты, устранить «парниковый» эффект в метеорологии, возникший в результате развития автомобилизма, затянуть озонную дыру над Антарктидой — могли бы изобрести новую технологию и тем выбить почву из-под ног новых глашатаев идеологии мессианства и шовинизма, раздробляющих наш мир на все меньшие страны и маленькие народцы...» Оптимизм в представлениях Сагана о будущем опирался в основном на идею исправления прошлых ошибок. Что ж, и это неплохо.

Во второй раз мы спорили о будущем в начале сентября в гостинице «Космос». И если конгресс врачей заполнил все залы сверхсовременного Совинцентра, то на этот раз нам хватило маленького зала в новой гостинице, названной в честь советских успехов в космосе (рестораны тут именуются «Лунным» и «Галактикой», вечером предпочитают «Спутник»). Совет по научной фантастике и приключенческой литературе при Союзе писателей СССР пригласил наряду со своими членами и отдельных участников из других стран, чтобы обсудить тему «Научная фантастика и будущее человечества». Конференцию открыл известный у нас Е. Парнов, который остановился главным образом на проблематике прогнозирования (предсказывает ли НФ будущее или проецирует настоящее?) изобретений и постиндустриальных технологий. После приветственной речи сопредседателя совета, автора приключенческих произведений А. Кулешова, академик Петрянов-Соколов прочитал основной доклад, сделав обзор глобальных проблем. Он высказал мысль, вокруг которой вращалась и весенняя встреча: да, ядерный конфликт означал бы самоубийство человечества. Но даже если его и удастся предотвратить, мы все равно находимся в смертельной опасности! В этом случае нас ждет будущее без чистой воды и воздуха, без энергии и гуманных технологий. Поскольку загрязнение окружающей среды стремительно возрастает, мы живем за счет своих детей. Надо остановить растрачивание, изменить образ жизни. Долг литераторов — перевоспитать современников, вернуть им человеческое достоинство, очистить мозги... Поэтому так волнуют всех экологические проблемы, подумал я. Мы ощущаем близость этой опасности. Именно потому молодые бросаются спасать умирающие деревья...

Под председательством Фредерика Пола встреча обрела неформальный характер, поскольку он «вызывал» участников без регламента и без подготовки. Вскоре обозначились две основные, повторяющиеся темы: угроза войны и Апокалипсис, а также опасности, которые таят в себе прогресс и экологический кризис. Герберт Франке из ФРГ говорил о необходимости «новой» технологии, В. Михайлов — об изменении мышления, японец Такуми Сибано — о беспомощности писателя, Ларионова — о популярности НФ у молодежи, а писатель Шалимов преподнес прямо-таки казанцевскую перспективу. Часто звучал мотив так называемой паранауки и выяснилось, что среди участников есть еще «жюльверновские» поклонники техники. К примеру, академик Волков на второй день говорил об опасности оглупления людей с помощью компьютеров. Ведущие советские ученые академики Навашин и Клейменов поделились своими концепциями будущего. Прогноз ученых гораздо мрачнее и тревожнее, чем некоторых наших коллег по литературе. Навашин тоже упомянул о новой болезни — СПИДе. Он убежден, что ежедневно гораздо больше людей будет умирать от ожогов, чем от СПИДа, но это никого не волнует и гораздо больше средств уделяется борьбе с вирусами. Академик говорил об общем снижении сопротивляемости человека болезням.

Все сошлись на том, что долг литературы — сохранить тип человека, способного размышлять о технике, которая ему служит, всестороннего человека с богатым внутренним миром и чувством ответственности... Участники встречи попытались затем устроить небольшую «мозговую атаку» на данную тему, что принесло немалые трудности некоторым писателям, отдававшим предпочтение чувствам перед мыслями.

Я попытался обобщить все, что волнует меня в настоящее время. Мне шестьдесят лет, и я вижу, как возникает неожиданная опасность. Не только некоторые политики и вирусологи, но и экономисты типа Милтона Фридмена, судя по всему, хотят вернуться в викторианскую эпоху. Даже физики! Что иное представляет собой идея антропологического космоса, как не попытку на более высоком уровне реабилитировать геоцентрическую систему? В педагогике

опять говорится о необходимости авторитарного воспитания. Не удивлюсь, если снова появятся статьи о телесных наказаниях. Происходит ли реабилитация индивидуума вообще или отдельных индивидуумов? Не кроется ли тут требование неравенства людей? Атомный Апокалипсис и экологическая катастрофа не должны предотвращаться средствами эпохи тьмы, возвращением к средневековью. Не исключено, что именно эта тенденция и есть истинный Апокалипсис, истинная опасность. Этим объясняется рост паранауки, сект, предрассудков. Нельзя забывать о том, что подобное развитие ведет к социальной «тьме» (примером служит нацизм)...

Эта тема стала главной в нашей дискуссии, продолжавшейся и вне зала заседаний. Я вообще думаю, что подобные конгрессы особенно плодотворны благодаря неофициальным встречам. Находятся общие темы, заботы, новости, общий язык, наконец... На этот раз у меня была возможность представить своим старым знакомым Ондржея Неффа. С начала 70-х годов я мечтал привезти с собой на подобный форум своего «наследника». Ондржей был прямо-таки образцом: его повести начинают переводиться в мире, вскоре выйдут в Москве, он зажигательно выступает (в том числе на иностранных языках) и обладает личным обаянием. И я представил Ондржея прежде всего Джону Браннеру, который с 50-х годов работает в жанре научной фантастики. Он писал о моих первых книжках, доказывал, что в Чехословакии существует НФ, потому что это «индустриальная страна». Потом мы встретились в Окленде в 1964 году и с тех пор всегда помним друг о друге. Браннер — автор гимна английских защитников мира, его интеллектуальные научно-фантастические произведения заслуживают более пристального внимания в нашей части света. Затем пришел черед Гарри Гаррисона, автора бестселлеров НФ. Его последняя книга о динозаврах, которые не вымерли, а вытеснили людей, по-настоящему конкурирует с «серьезной» литературой. Гаррисон продал свой сериал о стальной крысе производителям электронных игрушек. К слову сказать, он является казначеем международной организации всемирной фантастики и знает буквально обо всем. Уже в начале 60-х годов он приехал к нам и при первой же встрече со мной ошеломил меня чешским словом «pivo», он и потом останавливался в основном в окрестностях Пльзеня. Гарри планирует новые встречи. В Ленинграде, в Рангуне — всюду люди интересуются своим будущим. Кроме деятеля Еврокона, французского автора Барбе, внимание приковывали дамы: Даина Чавиано с Кубы, Алта Вашова из Братиславы (ЧССР), госпожа Блиш из Афин. Борис Грабнер из Словении удивил нас тем, что размышлял в точности над теми же проблемами, что и мы, а известные в Европе издатели НФ Куцка из Будапешта и Холланек из Варшавы были объектом нашей общей зависти. Так же как Любен Дилов — синоним болгарской НФ.

Вторая встреча была прологом. Отсюда завяжутся диалоги всех авторов жанра НФ, считающих себя прогрессивными и стремящихся участвовать в борьбе за позитивное будущее. Успеху конференции весьма способствовала общая культурно-политическая атмосфера Москвы.

Когда мы летели обратно, нам раздавали в самолете газеты. Я выбрал «Moscow News». Очень интересная газета, принимающая гласность всерьез. Наряду с откровенным политическим комментарием была помещена статья о недавней катастрофе самолета в Польше, о суевериях в Галиции, об истории семьи американских негров, в 20-е годы эмигрировавших в Узбекистан. Правдиво и перспективно редактируемое издание. Вспоминаю одно стихотворение, переведенное с испанского. Начиналось оно строкою:

И вновь позывные Москвы!..

г. Прага

Перевод с чешского
Т. Н. ОСАДЧЕНКО

◆

Критика

О французской прозе

РОБЕР АНДРЕ

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Начну с того, что признаю себя виновным. Я неминуемо окажусь пристрастным, забуду какие-какие имена, но этого не избежать при подходе к столь обширной теме. Ограничу себя проблемами романа.

На моем пути — двойная трудность: как обозначить сам термин «роман»? Как очертить границы понятия «современность»?

Ведь важно, в какое именно время написана книга. Чем ближе к нашим дням, тем сложнее четко выделить тенденции, их размывает полноводный поток публикаций. Разве все прочтешь? Значит, нужно взглянуть на роман с некоего расстояния, более или менее произвольно выбранного, подобно тому, как смотрит на факты историк...

Сформулировать определение, видимо, почти невозможно, хотя им и пользуется большинство прозаиков, поэтому лучше говорить о концепции жанра. Моя не особенно оригинальна: роман для меня — это завершенное повествование, одновременно разворачивающееся в реальном и условном времени; условном — ибо предел ему положен автором, реальном — ибо предел этот сопрягается с календарной последовательностью событий. От сказки роман и отличается тем, что его время не мифологично. В заданных для персонажей рамках описаны факты, явления социального и частного порядка, взаимодействующие между собой.

Так, у Стендаля в «Арманс» роль социального контекста скромна, зато в «Красном и черном» он приобретает первостепенное значение как в развитии интриги, так и в формировании психологического облика главных героев. Шагнув в двадцатое столетие, у Арагона мы находим ту же эволюцию от произведений сюрреалистического периода, скажем, «Парижского крестьянина» (да роман ли это?), к «Базельским колоколам» и «Богатым кварталам». Тут я подошел к примеру, вероятно, наиболее знаменательному для предмета данной статьи: в цикле романов «В поисках утраченного времени» Пруст последовательно переходит от изображения мира детской души, а после — сада, летней усадьбы и пляжа в Нормандии к кропотливому описанию одного из социальных слоев конца XIX века.

Пример знаменателен, поскольку романы Пруста объединяют две основные разновидности жанра, или, если угодно, два типа повествования. Не вдаваясь в тонкости, все же можно провести границу между аналитическим романом, тяготеющим к самонаблюдению, и более объективированным романом о жизни общества,— типами, так или иначе взаимозависимыми в упомянутых мною произведениях. Разумеется, каждый человек принадлежит к какой-нибудь группе себе подобных, и срок его жизни заключен между точными датами рождения и смерти. Изменения в жизни общества отражаются в сознании людей, вызывая у них ответную реакцию. Наверное, это и хотел сказать Стендаль своим знаменитым определением романа как «зеркала, с которым идешь по большой дороге». И такое зеркало не просто воспроизводит бесчисленные образы, теснящиеся вокруг. Пародируя Лейбница (и противореча ему), можно утверждать: если наше «я» — действительно монада, то у нее должны быть окна в мир, контакты с миром.

Эти мысли, конечно, не новы, но, избрав «эволюционный» подход, мы придем к следующему заключению. Обращаясь к той или иной эпохе, романист уделяет большее или меньшее внимание субъективным реакциям монады; распахнутые в мир или захлопнутые окна представляют собой две противоположности, которые соотносятся подобно сну и яви.

Чем обусловлен выбор? Ответить на вопрос довольно сложно: ведь тут мы вплотную подходим к загадке творческой индивидуальности. Однако, в сравнении с другими жанрами литературы, существует и прямая зависимость выбора от историче-

ских судеб романа. Вспомним, что собственно роман, в привычном для нас толковании понятия, появился лишь в XIX веке, причем снискал быстрый, головокружительный успех у публики. Все или почти все великие романисты современны, творческие устремления большинства из них ориентированы на внешний мир. Их питают наблюдения над обществом, его трансформациями, толчками истории в его поступательном движении — естественно, в самых разных вариантах. Вес и значение социальных мотивов у Флобера в «Воспитании чувств» и у Гюго в «Отверженных» полярно противоположны, значит, есть несомненная связь между бурным развитием романа и приметами эпохи. Это относится, впрочем, к западноевропейской литературе (расцвет русского романа приходится на более сжатый период времени).

Следует отметить и другое совпадение. Чаще всего рассказчик в романе излагает события, то есть находится вне повествования. Прозаик, описывающий «явь»,— по преимуществу летописец. Может статься, я подхожу к сути издалека, но думаю, взгляд в прошлое помогает понять настоящее и обнаружить постоянно действующие, «общие» факторы.

Итак, первая половина XX века дает нам более контрастную панораму, но здесь попрежнему преобладают романы о жизни общества, многотомные эпопеи, одну за другой иллюстрирующие вехи жизни героя или даже целой семьи. Таковы «Семья Тибо» Роже Мартена дю Гара, «Люди доброй воли» Жюля Ромена, «Хроника семьи Паскье» Жоржа Дюамеля, романы бордоского цикла Франсуа Мориака.

При всем том разграничить тенденции развития жанра становится трудно. В предельном упрощении проблема выглядит так: романисты ищут новые пути, новые концепции повествования по сравнению с классическим наследием. Подражать Бальзаку можно, но ведь получаются не творения, а поделки. Новые пути поведут в сторону поиска формы и углубления в тайники памяти, следовательно, чаша весов склонится в сторону монады — к анализу. Фокус зрения станет иным, рассказчик предумышленно войдет в свое собственное повествование в качестве действующего лица.

Мы помним, что в «Человеческой комедии» Бальзака или в эпопее Золя характер героя целиком и полностью определяло его положение в обществе. Он был всего-навсего ходячей экономической и политической формулой. Рассказ о его жизни велся в настоящем времени. И тут появляется Пруст. Значение его творчества трудно переоценить.

О жизни своего героя в ретроспективе долгих лет Пруст расскажет от первого лица. «Я» в романе — это исполнитель, актер, под властью эмоционального напряжения памяти воссоздающий себя во всей многогранности своей натуры: недаром повествование начинается с того, что рассказчик засыпает.

На мой взгляд, приход Пруста в литературу — поворотный момент в становлении романа. С одной стороны, прежняя, линейная система изложения разрушена (память и часы отсчитывают время по-разному), с другой — рассказчик («я») делается центром этой системы и воспринимает мир как сумму образов и ощущений, накопившихся за долгие годы жизни.

Критик Реймон Фернандез нашел удачную метафору: Пруст произвел поистине коперниковскую революцию в жанре романа. Теперь пресловутое «я» не только получило право гражданства, но и является незыблемым центром гравитации общества. Впрочем, вот как говорит об этом сам рассказчик: «Вокруг спящего человека... чередой располагаются люди и миры» (я цитирую по памяти [1]),— нельзя не вспомнить, что первостепенное значение сну придавали и сюрреалисты.

Таким образом, Пруст предвосхитил поиски сегодняшних романистов, избрав иную точку зрения — отправную точку повествования. Его творчество открыло эру погружения в монаду, обращения к неведомым дотоле уровням сознания, может быть, даже к области подсознательного и к психоанализу. Наложение слоев памяти вело к созданию все более сложных конструкций: примером может служить и сам цикл «В поисках утраченного времени», чье подлинное начало заключено в его конце,— ведь там рассказчик объясняет, что ему никак не удается написать роман, к которому он собирался было приступить,— как вдруг на него снизошло поразительное откровение о причудах человеческой памяти, и все, что им уже создано, есть история этого откровения, его природы и следствий,— роман о преодолении автором творческого бессилия, роман о романе, антироман...

Термины привычны для нашего уха. В самом деле, все эти вопросы остро встанут в послевоенной литературе, скажем, в конце 50-х — начале 60-х годов, хотя события военных лет обусловили всплеск резкого неприятия прустовской тенденции в развитии романа.

Ясно, что после глобальных бедствий и ужасов войны эпопея «В поисках утраченного времени», независимо от ее эстетических достоинств, могла казаться легкомысленным по содержанию, чудовищным созданием эгоиста. Еще до войны поэт Поль Клодель высказал свой протест, записав в дневнике: «Мир состоит не только из рантье и их слуг». После мировой катастрофы к нам, как говорят сегодня, неистово взывало недавнее прошлое. Надо трезво взглянуть на него — нравственный запрос эпохи очевиден,— но под каким углом?

В довершение всего, на пути романиста встают те же сложности, что у его собратьев в XIX веке: масса событий, невиданные исторические и социальные потрясения. Он не может уйти от действительности в сновидения или занять позицию стороннего наблюдателя, оторванного от своего времени, от тяжких испытаний. Он должен свидетельствовать о пережитом и воздействовать не на каких-нибудь далеких потомков, а на тех, кто сегодня живет рядом с ним.

Таковы установки «ангажированного романа», которые Сартр, оставив позади «Тош-

---

[1] У Пруста иначе: «Вокруг спящего человека протянута нить часов, чередой располагаются года и миры» (М. Пруст. По направлению к Свану. М., 1973, с. 35. Перевод Н. М. Любимова). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ноту», воплотил в трилогии «Дороги свободы». Этим произведением он повел яростное теоретическое наступление на позиции Пруста (а также и Франсуа Мориака, которого считал «типичным создателем романов»): психологический анализ, по его мнению, искусствен, содержание — бытие монады — иллюзорно, образ вездесущего и всеведущего рассказчика абсурден.

Кроме того, появились и быстро завоевали популярность основанные на подобном же принципе повествования американские романы. Их авторы полностью отказались от анализа, и новых героев характеризовали не мысли, а поступки. По Сартру, человек скорее выражает себя в действиях, чем в словах, хотя в конечном итоге одно неотделимо от другого. И разумеется, современный романист не может стоять в стороне от политики.

Замечу мимоходом, что программа, в общем, не была нова: Мальро и Арагон вступили на этот путь еще до войны и подробно показали его значение и перспективы в теории и на практике. Цельность такого подхода очень важна. К сожалению, приходится констатировать, что представители этого направления, не считая двух названных прозаиков, не создали шедевров — лишь добротные романы. В памяти остались несколько книг Симоны де Бовуар, те же «Дороги свободы», хотя это и не лучшее из созданного Сартром (к тому же цикл не завершен). Правда, во второй его части — «Отсрочке»— интересна сама попытка автора показать судьбы героев на широком историческом фоне, однако манера изложения явно заимствована у Дос Пассоса.

Как ни парадоксально, самый яркий, самый захватывающий роман о днях немецкой оккупации, бесспорно, «Чума» Альбера Камю. Это парадоксально потому, что роман написан в традиционной манере и автор последовательно переносит приметы изображаемой реальности в плоскость символики (кстати, аналогичный прием будет использован Сартром в его пьесах). А большинство романов о поражении французов, массовом угоне населения в лагеря, о Сопротивлении канули в Лету.

Еще одно замечание на полях: события первой мировой войны действительно оказали тогда мощное влияние на большую прозу. Но в 40—50-е годы, за исключением философского романа Камю, мне кажется, не появилось ни одной книги, способной стать в общий ряд с «Огнем» А. Барбюса, «Жизнью мучеников» Ж. Дюамеля или даже «Деревянными крестами» Р. Доржелеса. Зато в 1939—1945 годах невиданного расцвета достигла поэзия.

Снова подтверждается уязвимость теоретических положений Сартра. Романист не может выбирать безусловно обязывающие его быть искренним темы высокого гражданского и нравственного звучания, если этот выбор не продиктован внутренней необходимостью. Богатство и масштабность сюжета сами по себе не сообщают ему непременных эстетических достоинств, которые могли бы превратить труд автора в произведение искусства. Крупные исторические события лучше видны на расстоянии, по прошествии многих лет. К примеру, назад оглядывались Гюго и Толстой, описывая битву при Ватерлоо и войну 1812 года.

Вернемся в наше время. Так, исторические события будут гораздо ярче, сильнее воплощены в позднейшей прозе — «Дорогах Фландрии» Клода Симона, «Балконе в лесу» Жюльена Грака — и, что весьма любопытно, на исходе нового этапа теоретических споров, затронувших существо жанра, его традиционные средства выражения. Я имею в виду тенденцию, которую развивал «новый роман». Эта школа так же отвергала психологический анализ, зато, словно гипнозу, подчинялась всемогуществу формы, разумеется, проявлявшемуся по-разному, в соответствии с индивидуальностью каждого писателя.

Общей для всех направлений была мысль о том, что роман как традиционный жанр совершенно устарел и не способен отражать современную действительность — ни внешний ее аспект, ни бытие самой монады. Параллельно новое поколение вновь открыло для себя атональную, сериальную музыку, которая вовсе развенчала мелодику и потрясла основы композиции. Хотя музыкальное письмо, рассматриваемое по вертикали, вечно было чем-то вроде алгебры, оно все же подчинялось канонам темперированной гармонии. А теперь композитор сам избирал себе канон, и письмо это превращалось в образчик чистейшей алгебры, подчиняющейся только законам звуковой серии.

Чрезвычайно притягательные условия! Отчего же не пойти дальше и не предположить, что форма романа, его архитектоника намечает, а может быть, и порождает содержание? В каком-то смысле это верно. Заданная траектория повествования влияет на ход развития сюжета, обнаруживает в нем повороты, которые — под другим углом зрения — остались бы в тени.

В итоге все сведено к форме, и прозаики принимаются за сложные построения, все более и более изощренные, подчас напоминающие фуги,— похоже, они всерьез завидуют виртуозной полифонии Баха. Роман избавляется от надоевших догм и даже от персонажей. Писал же Флобер, что хочет создать «книгу, которая держалась бы единственно силой стиля!»

Не буду подробно останавливаться на многочисленных произведениях и ограничусь ссылкой на роман Алена Роб-Грийе «Ревность». Все возможные реакции на это чувство у неназванных или попросту отсутствующих героев читатель должен вывести из кропотливого описания комнат некоей виллы и расположения в них предметов обстановки, мелких вещей и даже сколопендры на стене. Книга Роб-Грийе — одно из наиболее характерных и удачных сочинений, чистоты стиля... поистине классической. Можно вспомнить и «Времяпрепровождение» Мишеля Бютора с длинными фразами, тяготеющими к прустовскому синтаксису, где автор в бесконечном перечислении намеченных на день дел фиксирует каждую уходящую минуту, исследуя вместе с читателем метафизику времени как важнейшей основы бытия. Здесь обнаруживается влияние не только Джойса, но и

феноменологии. Добавим еще, что у двух этих французских прозаиков, особенно у Бютора, вселенная являет собой разросшуюся монаду, некий микрокосм со множеством зеркал (среди них — и зеркало сна), и тут мы забываем о сулящих опасность требованиях теории, по которым определенное содержание заключается лишь в определенную форму. Это доказывает любая попытка сочинительства. Сначала перед нашим мысленным взором возникает вовсе не форма, а довольно смутные образы, имеющие отношение к пережитому, к знакомым ситуациям, происшествиям. И только потом мы принимаемся за построение романа, наиболее адекватное сюжету. Аналогия с музыкой, вероятно, обманчива, ибо там форма опуса действительно структурирует содержание. Музыкальная тема состоит не из таких-то нот, а из их соотношений в данной тональности, это, если угодно,— Gestalt [1]. Существо фуги нераздельно слито с числом ее голосов, способом их развития. Нота просто изображает звук, однако слово отсылает нас к своему означаемому — ощущениям, контурам реальности. А роман — вот еще одно свидетельство — по сути своей есть проза. К поэзии он склоняется изредка, случайно. Как ни сложна бывает его форма, в отдельных предложениях речь все же идет о событиях. «Давно уже я привык укладываться рано»,— эта фраза, открывающая эпопею «В поисках утраченного времени», вводит долгое рассуждение о природе сна, прочно опираясь на знакомую каждому реальность.

Итак, «книга, которая держалась бы единственно силой стиля»,— идеал Флобера — пока еще не создана. И если она когда-нибудь появится, сомневаюсь, что это будет роман. Кстати, Бютор и Роб-Грийе совсем не случайно изменили жанру, уйдя в поэзию с эссеистикой и кинодраматургию.

Путь «нового романа» с его поисками и опытами — вероятно, последняя значительная тенденция как таковая, подчеркиваю,— несмотря на глубокое различие авторских индивидуальностей, еще усугубившееся в рамках группы «Тель кель», тесно связанной с наследием Джойса. Период ее процветания был кратким, потому что формализм (я беру это слово в несколько ином смысле, чем русские литературоведы в 20-е годы[2]) ведет к бесплодию. Группа ставила и проблемы «читаемости», тогда как развитие аудиовизуальных средств массовой информации снижало читательскую заинтересованность в экспериментальной литературе.

Дальше, начиная с семидесятых годов, как я уже сказал, разобраться в пестроте красок становится все труднее и труднее. Тем не менее мы, вероятно, переживаем период «романного бума», развития основных параметров жанра. Уроки Пруста не прошли даром. Рассказчик, ведущий повествование от своего, первого лица, одновременно является персонажем произведения. Вариантов такой основы множество, иные ориентированы на крайнюю субъективированность, скрупулезный поиск самого себя — их американский критик и романист Джон Л. Браун удивительно точно назвал «literature of self-revelation»[1]. Мне возразят: все эти исповеди, мемуары, автобиографии — уже не романы в строгом смысле слова. Разумеется, и речь идет не о новой ветви, скорее о постоянном течении во французской литературе, существующем со времен Монтеня. Знаменательно то, что оно опять приобретает огромное значение, несмотря на приговор Сартра и теоретиков «нового романа». С другой стороны, роман о «познании, или открытии самого себя» часто понимают как «роман о себе самом». Но это вовсе не преломление действительности сквозь призму памяти; на мой взгляд, поиск себя в прошлом предполагает и внимание к другим людям, живущим и действующим в определенную эпоху с ее нравами и отношением к истории. Если не считать болтливости, чрезмерного самолюбования рассказчика, например, у Марселя Жуандо или Филиппа Соллерса, воспоминания о детстве или юности обычно отличаются поэтической социологичностью. Я бы даже сказал, что такие сочинения — нынешняя замена «романа воспитания», образцы которого нам известны по немецкоязычной литературе.

Появилось целое созвездие достойных прозаиков, причем весьма непохожих друг на друга: Марсель Арлан, Жак Борель, Жорж-Эмманюэль Клансье, Ж.-М. Г. Леклезио, Мишель Лейрис, Патрик Модиано, Жан Бло, Клод Мориак и еще, и еще... Повторяю, это писатели очень разные; рассказчик у них не всегда включен в число персонажей, образ его нередко возникает в какой-нибудь прозрачной имитации «сюжетной прозы», где можно говорить о себе в третьем лице.

Кроме того, история снова выходит сейчас на первый план: всем знакомы прекрасные исторические романы Маргерит Юрсенар, Анри Труайя; существует и другая разновидность — роман, спроецированный в глубины истории. Действуют в нем исторические лица, но ставятся мучительные проблемы сегодняшнего дня — в духе романа немецкой писательницы Кристы Вольф «Кассандра». Таковы последние романы Доминика Фернандеза и некоторые книги Пьера Гамарра; правда, Гамарра публикует и популярные у читателей «региональные романы». Кстати, написанный в этом ключе «Конь моей гордости» бретонца Пьера-Жакеза Элиаса снискал успех у публики, и по его образцу было создано множество «этнографических» романов.

Проецирование настоящего в даль прошлого приводит к господству символа и мифа в литературе — я говорю о творчестве Мишеля Турнье. У него эта проекция даже сродни фантасмагории, а иногда тяготеет к сказке — как, впрочем, у А. П. Мандиарга или Леклезио.

В заключение стоит, наверное, уточнить: французские писатели не утратили привязанности к роману как жанру, хотя пессимисты вот уже десять лет утверждают, будто он умер. Нет, роман жив, но приемы повествования теперь удивительно разнообразны, ибо в результате жарких дискуссий по

[1] Образ *(нем.)*.

[2] Первое в Европе издание сборника статей русских формалистов (Париж, 1965) — к слову, заслуга группы «Тель кель».

[1] Литература самопознания *(англ.)*.

проблемам формы оковы ее были окончательно сброшены. Является ли эта свобода, эта вседозволенность реальным преимуществом? Трудно сказать. Вероятно, можно без особого преувеличения отметить, что вторая половина XX века все же дала Франции больше эссеистов и поэтов. В общем, если не считать золотого века, который начинается в прошлом столетии и кончается эпопеей Пруста, французская литература не богата настоящими романистами.

И все же надо какое-то время выждать, чтобы оценить произведение по достоинству. Кажется, Бернар Грассе — крупный издатель, между прочим, «открывший» Жана Жироду, Эрве Базена,— любил повторять: «Проходит едва ли не полсотни лет, прежде чем книга занимает свое истинное место в литературе».

В последнее время возникла еще одна серьезная опасность, о которой следует упомянуть, хотя она и не имеет прямого отношения к предмету статьи. Это безудержная страсть издателей к наживе. Они наращивают и без того бешеный темп публикаций и стремятся во что бы то ни стало заполучить бестселлер. Писатель Ален Деко приводит ошеломляющую цифру: в 1986 году было опубликовано 22 000 романов! Разве публика и критики могут устоять перед этой лавиной? Именно поэтому у французских романистов, за немногими исключениями, нет читателей. Бывает и так: автор получил Гонкуровскую премию, книга его молниеносно расходится в двухстах-трехстах тысячах экземпляров, зато следующий роман — ничуть не хуже, даже лучше первого — издается мизерным тиражом в три тысячи!

Дело не в том, что сам успех представляется мне подозрительным, но подчас им правит случай. Интересно, как отнеслись бы современные критики к коварному замечанию Сент-Бёва: «Литература решительно больна: «Отверженные» пользуются спросом!»?

Можно было бы детально прокомментировать эту фразу, вернув ее в надлежащий контекст, исключительный во всех отношениях. Ограничусь кратким замечанием: сегодня серьезное произведение гораздо чаще рискует остаться незамеченным. Наступила эпоха книг «for the happy few»[1], по выражению Стендаля,— особенно в области романного творчества, что связано с поворотом жанра к субъективизму. Пусть же романист, рассказывая нам о бытии монады и о внешнем мире, отринет подобные опасения. Он должен следовать своей дорогой, говорить своим голосом и оставаться самим собой, невзирая на капризы моды, смену лозунгов и даже тенденций. Выдающиеся произведения скорее порывают с традицией, чем являются ее продолжением.

Перевод с французского
И. ИСТРАТОВОЙ

[1] Слова «To the happy few» (для немногих счастливцев, англ.), завершающие «Пармскую обитель», вероятно, взяты у Шекспира («Король Генрих V», акт. IV, сц. 3).

ТАМАРА БАЛАШОВА

...СЕГОДНЯ

Уж дольше века длятся споры меж писателями, обещающими вложить в свое произведение важное для всех «сообщение», и писателями, упрямо повторяющими, что главное в художественном тексте не сообщение, а само Слово.

Важный виток этого спора в западноевропейских странах — манифесты 50—60-х годов: антироман — против романа, увлечение «текстом» вместо интереса к сюжету, характерам. И хотя в «Золотых плодах» Натали Саррот, «Изменениях» Мишеля Бютора, «Георгиках» и «Дорогах Фландрии» Клода Симона слово определенно несло тревожное, всех нас касающееся «сообщение», задача создать антиповествование, обязательно отказавшись от основных законов традиционного романа, была довольно разрушительной и гипноз формы, о котором пишет наш коллега Робер Андре, заводил в тупики так называемого «нового нового романа»[1].

Разрушительным пафосом было спровоцировано резкое движение в другую сторону — к устоявшимся формам семейного или регионального романа, к сюжетному сцеплению «историей», к нюансировке характеров. Процесс, условно обозначенный как «возвращение к реализму»[2], получил широкое освещение в советской и зарубежной критике. Переоценка экспериментаторства преломлялась то в вызывающей, подчеркнутой традиционности (Робер Андре говорит о «романном буме» и расцвете «сюжетной прозы»), то, напротив, в приближении к повествовательным формам антиромана при переосмыслении, однако, многих из громких «анти» 50—60-х годов. За прошедшие десятилетия стало абсолютно ясно, что «новый роман» (или в другой терминологии — антироман) помимо разрушений — нечитабельных, уныло пылящихся на полках текстов— оставил и плодотворный след в развитии зарубежной прозы. Этот «двойной урок» И. А. Тертерян сформулировала так: «Если вспомнить упомянутое нами разделение типов художественного произведения на «историю» и «речь» *(о близких двух типах повествования пишет и Робер Андре.— Т. Б.)*, можно сказать, что возрождение «истории», то есть возрождение связного повествования, «героя в обстоятельствах», сопровождается обостренным вниманием к «речи»[3].

Синтез «истории» и «речи» мог принимать самые разные формы, в том числе и близкие традиции романа XIX века. Напряженное внимание к «речи» свойственно очень широкому кругу современных романов. Демонстрируя приметы этого поворота, совет-

[1] Об этом опасном явлении написана одна из глав книги Л. А. Зониной «Тропы времени» — «Убиение языка» (М., «Художественная литература», 1984). *(Здесь и далее — прим. автора статьи.)*

[2] На материале разных стран он рассмотрен в книге «Новые художественные тенденции в развитии реализма на Западе. 70-е годы» Отв. редактор И. А. Тертерян, М., «Наука», 1982.

[3] Там же, с. 18.

ские критики чаще приводили в пример либо произведения недавних экспериментаторов, написанные в иной манере, либо произведения совсем молодых литераторов, не захотевших начинать с нигилистического «анти». И в том и в другом случае находилось подтверждение в манифестах, в аргументации отказа от антипрограмм.

Но есть феномен, более сложный, который ждет нашего внимания,— феномен, когда преодоление «анти» происходило исподволь, изнутри, без поворотов, без пересмотров, без деклараций. Произведения, о которых ниже пойдет речь, хранят верность многим принципам нового романа: избегают вводить сюжетные коллизии и психологические портреты, предпочитают двигаться по самой кромке меж сознанием и подсознанием, фиксируя те самые неуловимые тропизмы. И вместе с тем в их художественной структуре уже оформились важные оппозиции к программам антиромана: появилось уважение к «фигуративности» и реальности как основе художественного познания; интерес к психологии (а не только психике) индивидуума; поиск глубинной сути характера.

Как же совмещается антироманная техника письма с эстетическими категориями, поставленными антироманом под сомнение?

Среди ближайших преемников Алена Роб-Грийе и Клода Симона называют молодого литератора Эжена Савицкого, бельгийца по месту рождения, принятого очень тепло издательством «Эдисьон де Минюи» (открывшим в свое время новый роман).

Его книга «Лгать» (1981) — по сути, одна фраза, развернутая на печатный лист текста. Воссоздано состояние умирания, вернее, восприятие этого процесса умирания со стороны. Сын видит, как деградирует сознание матери. Когда-то молодая и энергичная, она торопилась домой, к детям; теперь, неопрятная, босая, бродит по двору, не замечая, что под ногами — гнилое ли яблоко, птичий ли помет, и все рассказывает, рассказывает, как приходила ночью черная пантера, как лизала она лицо молодой женщины, как терзала зубами крохотного ребенка... Части этой фразы-сюжета повторяются в разных сочетаниях от первой страницы до последней. Некоторые детали разворачиваются с медлительностью, предназначенной словно для грамматических упражнений: «На ней была черная перепачканная юбка... Юбка, смятая сзади, перепачканная побелкой с белесыми пятнами... Ее юбка с белесыми пятнами от золы или побелки, поскольку, плохо видя, она то и дело касалась боками перегородок, стен...» Повторы подчеркнуты словами «та же самая», «так же», которые тоже являются обычно ключевыми в антироманном повествовании. Вспомним у Алена Роб-Грийе: «Все похоже... похожи друг на друга все волны... все улицы, все дома, все перекрестки... все комнаты, все парки» («В лабиринте», 1959). И все-таки здесь сквозь сходство уже проступают различия. У Алена Роб-Грийе похожие друг на друга улицы, волны, парки должны были закрепить идею бессмысленной повторяемости явлений и абсурдности жизни. У Эжена Савицкого сквозь ощущение неотвратимости смерти прорастает чувство вины. Вины наблюдающего за то, что происходит. Сына перед матерью. Смерть неотвратима. Но отвратимо одиночество старости. Одно «сообщение» — о матери, медленно жующей огурец в пустынном доме («Пустыня и хруст огурца на зубах»), дает представление о том, что было «между» — между молодой женщиной, спешившей к своим детям, и выжившей из ума старухой. Додумать несложно. Дети разлетелись кто куда, дом онемел, долгие годы мучительного, отупляющего одиночества... Суд рассказчика над собой за все, что происходит «между», начинается со странных на первый взгляд вопросов: «Я видел маму... Видел ли я маму? Я не уверен в этом». Невнимание людей друг к другу — вот что подвергает осуждению автор романа «Лгать».

Обвинение и самообвинение — мотив совсем не характерный для типичного нового романа. К тому же Савицкий предпочитает гораздо более строгий ритм повествования, отграничивая разные временные пласты, галлюцинации от реально наблюдаемого. Таким образом, вариант «антиромана», созданный Савицким, явно проигнорировал многие из тех «анти», что когда-то легли в его основу. Нет событий, нет характера, нет сюжета в традиционном понимании, но ведь нет и бессвязных конструкций, хаотического смешения времен, полного совмещения реального и воображаемого. Портрет сознания, проступивший по канве тропизмов, зафиксированных автором, заставляет додумать события, представить себе характеры. Сюжет и характер как бы не отброшены вовсе, а лишь вынесены за рамки того, что попало в книгу. Они присутствуют вторым планом. И если автор на пространстве одной страницы роняет взаимоисключающие сообщения («Она улыбнулась... Она, кажется, не улыбалась... Она быстро шла к дому... Она шла медленным шагом»), то эти противоречия мотивированы вполне реалистически: сын перебирает фотографии, один снимок сменяется другим, задорная улыбка — печальным взглядом, фигура спешащая — фигурой застывшей. Да еще вступает в силу искус интерпретации, желание разглядеть за кадром целый пласт жизни. Кажется, вполне банальная деталь — фотографии, которые напоминают о том, что было. Но в художественной структуре нового романа, да и вообще современного французского романа эта деталь приобретает смысл эстетического манифеста, манифеста, подвергающего сомнению еще одно «анти».

Мотив фотографии удивительно настойчив во французском романе последних лет. Сквозь пожелтевшее фото прорывается к прошлому, к событиям войны и оккупации герой «Бульварного кольца» Патрика Модиано; не расстается с фотографией, которая должна ему помочь понять, кто он, герой «Улицы Темных Лавок» того же автора; фотографию делает стержнем своего повествования Эрве Гибер; по снимкам пытается восстановить эпизоды жизни матери рассказчик Савицкого.

Во всех этих случаях фотографии придана глубина, она — хранилище памяти и теней ушедших дней. Нечто прямо проти-

воположное по сравнению с тем значением, какое имела фотография в манифестах нового романа. Вместо плоскостной фотографии, вместо изображения-копии новый роман предлагал начать сложнейшее зондирование глубин сознания. Так почему же тем, кто пришел чуть позднее, для движения к глубинам сознания понадобилась именно фотография? Потому что произошла определенная переоценка того, что вообще может дать изображение, «фигуративность».

Фигуративное, презрительно отброшенное ради абстрактного, похожее, отодвинутое ради невероятного, отчетливое, отмененное во имя неуловимого — в этой новоманной логике была целая философская программа. Не стоит делать заключение, будто она не оправдала себя: и невероятное, и неуловимо-смутное играло и играет в художественной системе ряда произведений свою, немаловажную роль. Заключение напрашивается иное: похожее, даже «плоская» фотография) вовсе не лишено ни психологических, ни метафизических глубин. Обращение к мотиву фотографии — знак примирения с принципом фигуративности, слово доверия к тому, что может быть выражено с помощью вроде бы «копии».

Как манифест нового этапа движения антиромана может быть прочитан «Образ-призрак» (1981) Эрве Гибера. Четыре первые книги Эрве Гибера увидели свет благодаря «Эдисьон де Минюи» — своего рода знак качества экспериментальной прозы. То же издательство выпустило «Образ-призрак». Фотокорреспондент газеты «Монд» Эрве Гибер захотел изложить свои размышления о фотоискусстве в книге-эссе. Если бы автор касался техники фотографии, давал советы, как добиться нужной композиции или освещения, от проблем художественной литературы его книга была бы далека. Но Гибер ведет разговор о психологии фотографии, о том, что она способна открыть, какие тайны разгадать — и такой поворот темы имеет непосредственное отношение к сути художественного творчества. Гибер наделяет фотографию силой, в которой ей как раз решительно отказывали неороманисты. «Фотография, изруганная, оплеванная, является в этой книге... фактом письма»,— сообщается в аннотации. Действительно, Гибер возвращает фотографию (как принцип видения мира) на трон всемогущества. Он ощущает ограниченность ее возможностей по сравнению с живописью (глава об автопортрете Рембрандта не лишена чувства хорошей профессиональной зависти к искусству великого мастера), но менее всего видит в фото плоскую копию реальности. Более того, банальный, не проявляющий индивидуальность снимок, по мнению Гибера, далек от реальности. Серийные фото семейных событий (свадьба, рождение ребенка, похороны) или тривиальные снимки (на пороге дома, в шезлонге, на берегу моря) кажутся ему далекими от реальности, а эстетика, их породившая,— «порочной». Согласно такой эстетике «можно снимать Жанину, можно Лейлу — впечатление то же самое». Разве не слышится здесь полемика — пусть не прямая — с теориями, населявшими произведения персонажами-буквами, фигурами, для движения которых по поверхности повествования достаточно было знаков «он», «она», таинственными тропизмами, присущими любому существу, некими «психологическими элементами в чистом виде» (Натали Саррот)? Неуловимые флюиды душевных движений Гибер связывает с индивидуальностью; открытие тайн индивидуума равнозначно для него приближению к реальности; забвение индивидуального — «порочная эстетика». Нечто прямо противоположное отказу от индивидуальных нюансов в новом романе.

А раз таинственное берет исток в реальности, тогда снова получает права фотография (не фотокопия, а фоточудо). Появляющийся у Гибера термин «латентная фотография» более чем символичен. В эстетике антиромана эти понятия несовместимы, фотография не способна выявить глубоко скрытый, латентный смысл. Гибер же только латентную фотографию считает подлинной, иначе говоря, только высокое правдоподобие искусства, умеющее вести к тайнам индивидуума, считает он подлинным реализмом, не повторяя подмен, привычных для антиромана: раз реализм, значит — плоская фотография.

Два примера, развернутых Гибером в своеобразную программу, красноречиво говорят о тех различиях, которые существуют между «образом-призраком» Гибера и образом-призраком антиромана.

Первый пример (им открывается книга) — попытка сделать настоящую фотографию матери, выявить скрытый в ее душе свет. (Вспомним у Савицкого — «Видел ли я маму? Я не уверен в этом».) Все видят в этой женщине жену своего мужа, давление личности которого за многие годы исказило ее черты. Первое, что делает сын-фотограф,— удаляет из комнаты отца, который всегда рядом с матерью, на любом снимке. «И это мгновенно освобождает ее от тяжести, копившейся двадцать лет», потом он подбирает платье — не слишком броское, «чтобы оно тоже «не закрывало ее». И вот мама в кресле у окна, с нежностью наблюдающая за приготовлениями к съемке, «словно это медленное кружение вокруг нее — самая приятная ласка». Получившееся фото — «верх блаженства, лицо спокойное, с разгладившимися морщинками... на губах еле заметная улыбка счастья и мира» — запечатлело то душевное состояние, для которого нет места в каждодневной жизни: «Сеанс окончен. Вернулся отец, мать сменила платье, накрутила на бигуди волосы, взяла фен. Она снова стала женой своего мужа, сорокапятилетней женщиной, в то время как фото на миг отменило возраст». Так, с помощью «презираемой» фотографии был выявлен скрытый духовный мир женщины, давно утратившей привычку быть самой собой.

Второй пример — уличная сценка, которую рассказчику хотелось зафиксировать: «высокий взлохмаченный мальчик лет тринадцати-четырнадцати, вытянувшийся, очевидно, недавно и быстро, идет рядом с малышом, наверное братом. Левой рукой большой мальчик держит на поводке изнеженную борзую, правая — худая, длинная — опущена на плечо младшего, одетого в короткие фланелевые штанишки и серые голь-

фики, оставившие открытой лишь узкую полоску под коленкой. Рука, положенная на плечо, близость поджарой собаки, одежда малыша, ветхая, но чистая — все слилось для меня в нежный и хрупкий образ доброты и дружбы». Если припомнить, как издевался над такими «говорящими» деталями Ален Роб-Грийе [1], если восстановить бесстрастные «немые» детали в повествовании других антироманистов, то интерпретация «кадра» с двумя братьями воспринимается как манифест прощания с обессмысленной деталью, возвращение к той реалистической эстетике, которая позволяет «повесить» на стену ружье только в том случае, если ему предстоит потом привлечь к себе внимание. Призрачные видения, воскрешаемые в «Ревности» Алена Роб-Грийе или «Вихре» Женевьевы Серро, должны — согласно художественной системе этих романов — остаться неразгаданными: может быть, так было в действительности, может быть, пригрезилось... «Призрак» Гибера — реальность, которую просто трудно разглядеть,— именно фотография превращает его в образ. Книга Гибера — важный момент в движении эстетики современного французского романа.

Правда, как часто случается, манифест не поддержан практикой. Выпущенная издательством «Галлимар» повесть Гибера «Слепые» (1985) — скачок от элитарности к дурной беллетристике с привкусом патологии: явление не столь уж редкое в биографии антиромана.

Отказавшись от общего взгляда на мир как поле абсурдной игры случая, от идиосинкразии к фотографии, от лишенной смысла детали, наследники антиромана по-своему подошли и к идее тропизмов.

На тропизмах — неуловимых движениях души, не поддающихся определению,— построены книги новеллиста Жана-Лу Трассара. Ни про одну новеллу сборника «Ручейки без имени и значения» (1981) нельзя сказать, о чем она, что в ней «происходит». Будто подчиняясь совету Натали Саррот — повернуться лицом к неприметным событиям, переживаниям и, наведя микроскоп, увидеть их укрупненно,— Трассар воссоздает тончайшие переходы ощущений: прилив бодрости у человека, наблюдающего рассвет; необъяснимую тоску того, кто пережидает в лесной глуши дождь; тихую благодарность к женщине, прожившей с тобой всю жизнь; наслаждение от физического труда в поле, беспокойство мужчины, чувствующего равнодушие жены, надежду вернуть ее, снова пробудить нежность (прекрасная новелла «Похищение»). Поясняя, почему нет в рассказах ни сюжетов ни событий, автор делится опасениями, как бы «история не получила слишком определенного начала и конца, в то время как явление, к которому мы прикоснулись, имеет глубокие корни, уходящие за грань познаваемого, и не завершается после того, как его опишешь, покрывая рябью воду наших дней, звуча в немоте наших лиц». Трассар обещает не рассказывать историю, а только «коснуться ее». Он надеется, что читающий «сможет внести в нее то, чего не внес он сам,— аромат ветра, вкус грусти, придающий пейзажу интимность». Но чтобы читающий мог «внести», то есть домыслить, дочувствовать тот или иной перепад настроения, состояния, оно должно быть узнаваемым, достаточно близким. Едва коснувшись какой-нибудь струны, автор разбудит тогда в душе читающего дремлющую там мелодию. Главная мелодия «Ручейков» — гармония человека и природы, в атмосфере которой формируются и человеческие отношения. Солнце и дождь, коровы на лугу, пересохшая стерня, набухшие почки — все это импульсы, усиливающие тревогу, или, напротив, уверенность, диктующие опосредованно и поведение человека. «Что его угнетало? — спрашивает рассказчик.— Может быть, эта буря, сеющая сухие иголки и слезы? Факты? Надо ли причислить к фактам эту бурю или мысль, ветром промелькнувшую в сознании?» Человек реагирует на все, даже на то, что не отложилось в его сознании. «Какие атавистические органы, какие фантастические мембраны откликаются в нас в ответ на то, что вокруг?» Чтобы разбудить эти органы — музыкальные инструменты души,— писатель должен идти навстречу читающему. И сила тропизмов, фиксируемых Трассаром,— в тончайших психологических наблюдениях, благодаря которым для читателя эти тропизмы становятся узнаваемыми и — не названные — уже обретают жизнь, прорастая в сферы, что расширены домысливанием, «дочувствованием».

В антиромане неуловимость чувства была усилена тем, что оно «не ловилось» на антенны восприятия читателя. Все оттенки переживаний, воскрешаемые Трассаром,— из гаммы ежедневного человеческого опыта. Причем опыта, взращенного трудом насущным. В новеллах Трассара нет (в точном соответствии с заветами нового романа) героев, нет портретов; есть именно изменчивые переливы ощущений, настроений. Но настроений человека, связанного с землей, ею вскормленного, с ее помощью добывающего себе пропитание. «Здесь, кажется, с детства на небо смотрят только, чтобы определить погоду, озабоченные то ревматизмом, то молоком, которое свернулось и пропало, то утечкой масла в тракторе,— тогда ложишься навзничь и запускаешь руку поглубже, как в брюхо коровы. То и дело мы кланяемся земле, согнувшись ли, на корточках ли, руки всегда заняты корнями, которые выдергиваешь, ведрами, которые носишь, бочкой, которую делаешь. В наклон, согнув спину, двумя руками рвешь свеклу и бросаешь ее, тяжелую от мокрой земли, в ящики с утра до вечера. Потом загоняешь бычка в пропахший навозом грузовик. И, сорвав ноготь, льешь капли водки на кровоточащий палец». Обычно, иронизирует писатель, склонившись над чистым листом бумаги и начиная какой-нибудь рассказ, словно забывают об этих ежедневных жестах, а ведь именно из них рассказ в конце концов собирается.

Сам Трассар, хотя и опубликовал свою первую книгу в 1960 году и давно стал признанным автором издательства «Галли-

[1] Писателю казалось смешным видеть в руке, легшей на плечо,— выражение симпатии, а в решетке — намек на лишение свободы. Пора, настаивал он, «описывать просто стул, движение руки или форму рамы... мир ни выразителен, ни абсурден; он просто существует».

мар», по-прежнему живет в деревне, в краях, где вырос, где еще помнят его родителей. Он умеет писать пахоту и охоту, работу кузнеца и бочара, потому что сам пашет, слесарит, способен подковать лошадь.

Удивительная животворная любовь к этому зеленому чудо-миру, талант вслушаться в голос спелых хлебов, юрких ручьев, раскидистых ветвей, вглядеться в жемчужины росы, кружево лесной паутины, линии «руки» папоротника — это определенная жизненная позиция причастности к миру, когда человек измеряет свою ответственность особо высокой мерой, понимая, что он в долгу и перед людьми, и перед природой, щедро дарящей свои богатства. «С юных лет у него вошло в привычку выходить на свидание с прудом и рекой рано на рассвете... Он отправлялся туда без всякой цели, вернее имея такую важную цель, что ею не поделишься с другими, не объяснишь даже самому себе».

Обостренная наблюдательность усилена даром психолога: вслед за Трассаром мы подмечаем моменты человеческих отношений. Так, фиксируя момент, с какого земляки признали его — известного парижского писателя — своим, Трассар говорит: «Они стали говорить со мной тоже отрывками фраз», как и между собой. Внутренняя потребность человека в общении передана через констатацию — гипотезу: «Не научились еще учитывать последствия, которые имеют для работы или общего настроения размышления, оставшиеся невысказанными». Описывая встречу с чем-то неприятным, но влекущим, писатель так сообщает о моменте расставания — «чувство между облегчением и сожалением». О людях, которые рядом, но вступили в полосу отчужденности, сообщается, что «у них разные ночи и разные дни». Тоска крестьянина, очутившегося в городе, по рекам и ручейкам родного края выражена намеком метафоры: «Мне кажется, вода струится среди мебели, по натертому воском паркету... сорок лет я иду вслед за ручейком, даже когда я вдали, он щекочет мою ладонь».

А когда гармония нарушена и душевный дискомфорт достигает крайней точки (состояние, зафиксированное публикуемой ниже новеллой), каждая деталь реальности враждебна человеку, запугивает его. В описанном Трассаром новом «чреве Парижа» нет завлекающего изобилия и радости. Там бродит страх. Страх человека, сломанного постоянной агрессивностью большого города.

Погружаясь в музыкальную, струящуюся как речной ручей прозу Трассара, понимаешь, что мечта Флобера создать книгу, которая бы держалась «единственно силой стиля», осуществима. Лишнее, однако, здесь слово «единственно». Внимание к стилю, Слову — закон французской прозы на нынешнем этапе ее движения. Но полноголосие Слова — это всегда и полноголосие жизни. Истина, которую никто не сумел за сто лет опровергнуть, преломилась в этом своеобразном повествовательном синтезе, демонстрирующем сразу и бунт против антиромана, и плодотворную зависимость от него.

ЖАН-ЛУ ТРАССАР

ГНИЕНЬЕ

Три ступеньки вниз, и вот он уже медленно идет по длинному проходу между торговыми рядами. Здесь темновато. Где-то высоко, под застекленной крышей, еще освещенной закатным отсветом, безостановочно мечутся голуби. Они кажутся то почти белыми, то темно-сизыми в зависимости от того, приближаются ли они или удаляются от света. Голуби на мгновенье застывают, чтобы задержаться у стекол, а потом чинно рассаживаются на металлических фермах, стягивающих свод. Плеска их крыл он не слышит, они слишком далеко от него. Он выбирает путь по количеству людей в том или ином проходе — протискиваться сквозь толпу ему не хочется, но вместе с тем он избегает идти туда, где совсем мало народу. Покупатели не торопятся, приценяются, сравнивают, что почем, норовят купить подешевле.

Защищенный, как он думал, многолюдьем и многоголосой стеной перекрестных разговоров, он несколько дней тому назад решал сесть ли за столик на террасе кафе, но вдруг увидел проплывающую над головами посетителей грифельную доску, на которой белой краской было выведено: «Вызывают к телефону», а под этим мелко написано: «Господин Гюнц».

Он неторопливо встал и направился в зал, но к телефону не подошел и не взял трубки, да скорее всего, ему никто бы и не ответил. Увидев дверь черного хода, он выскочил во двор, а оттуда юркнул в переулок. С тех пор Гюнц выходил из дома только в сумерки. Он приметил одну витрину мясника — впрочем, он не всякий раз проходил мимо нее,— где были выставлены освежеванные охотничьи трофеи. Большие оковалки очень красного мяса. Ноги у туши были обрублены, но кое-где торчали пучки густой жесткой щетины в запекшейся крови. Скорее всего, это был кабан — зверь загнанный, замученный, пропоротый рогатиной. Чем дальше, тем невыносимей становился ему вид дверей. Вот спустишься на две-три ступеньки — и ты уже там. Гюнц по запаху определил, что идет в сторону центра. Несколько раз он таким образом добредал до водоразборной колонки с медным краном, стоящей на чугунной основе посреди зацементированного бассейнчика, в котором торговцы мыли ведра. А иногда ему так и не удавалось найти эту колонку. Посреди парка тоже был бассейн, но он был огорожен выкрашенным в зеленый цвет прекрасным металлическим заборчиком, чтобы гуляющие не могли подойти к воде. Миндель, сад которого имел выход прямо в парк, как-то раз отодвинул в сторону этот заборчик, чтобы подойти к Гюнцу. Невнятный шум, напоминающий гул падающей воды, скла-

дывался из шуршания газет и обрывков негромких разговоров, из поскрипывания плетеных корзинок, из шарканья шагов и еще из тысячи мелких звуков, которые, сменяя друг друга, сливались в некий беспрерывный поток. Недавно выпавший снег словно брал в раму кишащую расплывчатыми фигурами тьму убегающей вдаль улицы. По вечерам торговцы прикрывали свои лотки старыми мешками, грязными, сшитыми друг с дружкой тряпками. И эта рванина свисала на мостовую, так что легко было зацепиться за нее ногой и упасть. А те, кто торговал салом, мыли прилавки теплой водой. Жирные капли летели во все стороны, и Гюнцу не всегда удавалось вовремя отскочить. Тех, кто не мог ничего купить, привлекал запах мяса с душком, они, принюхиваясь, толпились возле этих прилавков, и тогда было трудно пройти между рядами. Лишь приблизившись, Гюнц мог разглядеть эти отливающие голубизной туши с островками иссиня-черной шерсти. Когда мясо было выложено на соломенную подстилку, случалось, что обметавшая их плесень переходила на солому, и тогда зрелище становилось воистину чудовищным. Мясник особой лопаткой соскребал бархатистые заплаты плесени и украдкой заворачивал эту волосатую слякоть в обрывок старой газеты. Вот уже три недели как Гюнц не возвращался к себе домой, а жил в номере, который снял в самой маленькой гостиничке из всех, когда-либо им виданных. Зажатая между двумя домами, она выходила на улицу узенькой стеной с вертикальным рядом окон и дверью, над которой красовалась вывеска. Там Гюнц и заточил себя. Окна в его комнате не было, свет проникал сквозь стекло фрамуги в крыше и освещал лишь железные растяжки, которые сплетались в чудовищную паутину. Из-за полутьмы в торговых рядах надо было остерегаться, чтобы продавцы не заподозрили тебя в том, что ты пытаешься у них что-то украсть. Конечно, наверняка были и такие, кто ухитрялся незаметно скинуть с прилавка кусок мяса в подставленную сумку и тут же поспешно закрыть ее, а торговцы, как известно, склонны заподозрить любого. Они поносили отпугнутых высокими ценами покупателей, которые проходили мимо, едва взглянув на товар. Рыбники сбивали лед с замороженной рыбы, и она сразу же становилась мягкой, талой, с нее капала вода и обрызгивала всех, кто стоял возле прилавка. Элегантное темно-синее пальто Гюнца, слишком легкое, чтобы защитить его от холода, хотя он никогда не опускал воротника, приобрело за эти дни весьма потрепанный вид. Да и сам Гюнц постарел, волосы его стали чересчур длинными, а висячие усы поседели. Тонкие черты его высокомерного лица обострились, а глаза избегали встречного взгляда. «Алло, это вы, Гюнц?..»

Постепенно телефонные звонки стали преследовать его по пятам... Они внесли полную сумятицу в его голову, вынудили бросить работу, покинуть квартиру, отказаться от дорогих его сердцу предметов. Эти телефонные звонки выгнали его на улицу, и теперь он опасливо шагал по заснеженным тротуарам в своих ботинках с чересчур тонкой подметкой. Торговцы выкидывали отбросы прямо перед собой в проход, а клиенты ногами месили эту гниль. Гюнц едва не касался лицом навешенных на прилавок груд каких-то лысых, будто полированных клубней, сплетенных корневищ, лохматых луковиц, узловатых ростков, корней, длинных и черных. На одни корнеплоды налипла мокрая земля, другие были вымыты и казались анемичными. Бывало, мясники смеха ради швыряли в него еще не остывшую тряпицу, которой пользовались вместо губки. Их-то Гюнц и боялся больше всего. Все они носили грубые башмаки на толстой каучуковой подошве и бесшумно двигались за своими прилавками по пропитанным кровью опилкам. Сперва он проводил целые дни, пытаясь понять, кто же ему звонит, но очень скоро это перестало его занимать. Телефонные звонки сами по себе имели какое-то значение, вне зависимости от того, кто за ними стоит. Причем перемена его отношения к звонкам произошла не разом, вдруг, а исподволь, незаметно, коварным образом его вынудили на все махнуть рукой. И вот Гюнц попал в тот квартал, где консьержки насыпают перед воротами толченую серу, он спотыкался о железную решетку, ограждающую дерево, цеплял ногой дерюжный жгут, который кладут в сточную канаву, чтобы направлять грязный поток по нужному желобу. На улице он дрожал от страха. Слишком много людей шли прямо на него. Другие же, когда он оборачивался, разглядывали витрины. Все зеркальные стекла нечетко отражали проходящих мимо людей, будто бы прогуливавшихся, но Гюнц был уверен, что в городе столько праздношатающихся быть не может. Проходы между рядами прилавков на первый взгляд казались одинаковыми, но любой пробел на любой из сторон тут же менял всю картину, и поэтому ничто не было ни симметричным, ни прямым. Гюнц следил за тем, чтобы случайно не очутиться возле какой-нибудь двери, держаться все время середины рынка — тут ему было не так холодно, несмотря на сквозняки, гуляющие между павильонами. Он старался, проходя мимо старух, случайно не коснуться их черных шалей или пальто. Он также избегал встречаться глазами с торговцами, которые с презрением следили, как он снует по рынку взад-вперед. Лица их были злобными, застылые черты выражали ненависть к покупателям и к соседям по прилавку. Гюнц издали наблюдал, как они лупили мальчишек, которые швыряли в них огрызками и рушили пирамиды выставленных на прилавках овощей. Почти на всех торговцах были сильно поношенные меховые куртки, перчатки с обрезанными пальцами и вязаные шапочки с ушами самых различных фасонов. Благодаря рундукам, на которых они стояли, даже коротышки казались великанами. То там, то здесь чья-то рука протягивала через прилавок железный штырь с насаженными на него черными печеными шарами, кровоточащими лиловатым соком. Свеклу пекли, чтобы предохранить ее плоть от увядания, чтобы шкура ее не была сморщенной, не покрывалась гнилостными яз-

вами, чтобы уберечь ее от быстрого разложения. Миндель был его другом, но обращался к нему на «вы», как и все; впрочем, Гюнц всегда стремился сам соблюдать дистанцию и требовал этого от других. Миндель задал ему несколько вопросов, смысла которых он не понял; не преодолев своей тревоги, Гюнц вошел в прямотаки дворцовые ворота и оказался по ту сторону высокой литой чугунной ограды с остриями копий, согнутыми в сторону улицы и не видимыми из парка. На некоторых корнеплодах появлялись мелкие блеклые листочки, которые день ото дня все больше разворачивались, образуя подобие короны, а сами овощи как бы пустели изнутри, порождая новую жизнь. Когда Гюнцу удавалось, он подолгу наблюдал за дрожжевидной массой, посыпанной сверху слоем зерна, которую никто не покупал — перекиснув и почти утеряв свое зловонье, она продолжала бродить. Созерцание этого процесса настолько его захватывало, что он забывал идти вслед за тем стариком, который уносил порожние ящики и весь остальной мусор, от которого торговцам надо было избавиться. Чтобы почувствовать себя уверенней, он на какое-то время становился в очередь, вдруг возникавшую у одного из прилавков, а потом незаметно уходил. И снова принимался бродить по проходам. Лампы, которыми торговцы пользовались в сумерках, слепили глаза, хоть и оставляли в темноте внутренность лавчонок. Одна старуха продавала только сухие травы и листья. Вокруг нее высились кипы старых газет. Иногда она держала в руке пучки каких-то листьев, но чаще всего в руках у нее ничего не было. В глубине ее лавчонки, под литографией с изображением какого-то евангельского сюжета, была булавкой приколота запыленная ветка, и Гюнц не раз видел, как старуха рукой указывала на нее, но ему так и не удалось понять, предлагает ли она кому-то продать листья этой ветки или объясняет, что не может этого сделать. Горами были навалены лиловые ядра величиною с человеческую голову. Некоторые из них, рассеченные пополам, обнажали сложные извивы притиснутых друг к другу капустных листьев. Гюнц пытался проследовать взглядом по лабиринту белых, окаймленных лиловым линий, устремлявшихся к центру, к тому, что никогда не станет видимой верхушкой растения, а дремлет, прикрытое все более и более тонкими складчатыми листами. Снег приглушил звуки города. Гюнц шел все по одному и тому же кругу, словно заведенный, а другие тем временем своекорыстно пользовались той силой, что отняли у него. Однажды ему удалось разглядеть дату на газете — ведь торговцы все, что продают, заворачивают в старые газеты,— так вот, эта газета была сорокалетней давности. Гюнц не знал, сколько прошло времени с тех пор, как он целиком ушел в себя, он шагал, опутанный сетью своих страхов. В мясных лавках было много рубщиков мяса, а так как часто им нечем было заняться, они со скуки швыряли в прохожих хрящи, а иногда даже кости. И покупателям, ничего не поделаешь, приходилось сносить эти унижения. Случалось также, что бадейка с кровью, которую мясники будто бы случайно роняли, расплескивалась, и тогда кровавые брызги летели на ноги и обувь проходящих мимо. У них в холодильнике всегда хранилась кровь, и Гюнц много раз видел, не желая того, как рубщики мяса, особенно ученики, выходили из чулана, вытирая кровавые губы рукавом куртки. Когда по вечерам торговцы начинали убирать свои прилавки и задвигать решетки, соединяя их цепью с замком, Гюнца охватывала тревога. Ему казалось, что он острее чувствует холод. Он всегда выискивал способ остаться здесь, но в конце концов все же одним из последних уходил с рынка. Поскольку в метро вагонные двери автоматически закрываются, он мог быть уверен, что, если соблюдать все меры предосторожности, ему удастся уйти от преследователей. Но когда надо было выйти на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха, он долго колебался, какую для этого выбрать станцию. Он опасался, что именно здесь убийца с гарпуном в руке подкарауливает его, чтобы пробить ему голову. Рыбники кидали своим подручным рыбу, чтобы те почистили ее и выпотрошили. Рыбу скребли ножами, чешуйки разлетались в разные стороны, как крылатые насекомые, и впивались в кожу — паразиты, решившие ожить, найдя себе новое место. К Гюнцу такие чешуйки тоже прилипали, в первую секунду он пытался сдирать их с лица, но потом ему начинало казаться, что они его неотъемлемая часть. Гюнц давно ожидал, что именно кожа предаст его. Ему больше не удавалось следить за ней с обычной тщательностью, и так как она уже перестала сопротивляться поту, можно было ожидать, что она окончательно выйдет из повиновения, покроется угрями или струпьями и не будет в состоянии скрывать свои изъяны. И помощь Минделя, в искренности которого он, впрочем, не был до конца уверен, не могла помешать перегородкам его существа становиться проницаемыми. К счастью, в городе человек не оставляет следов на снегу, потому что тысячи других ног их немедленно затаптывают. В маленькой галантерейной лавчонке, рядом с носками неопределенного цвета, лежали куклы, которых Гюнц часто разглядывал. Они были совсем давнишними, эти куклы, и можно было предположить, что девочки, для которых они предназначались, должно быть, уже стали старухами. Быть может, теми самыми старухами, что топтались здесь дни напролет с пустыми плетеными корзинками и Гюнц вместе с ними. Ему показалось, что за ним больше не следят. Видимо, Миндель все-таки принял меры. А быть может, все эти телефонные звонки исходили от людей Минделя, если только у него и в самом деле есть своя группа, как он уверяет. На перекрестках, гонимые сквозняком, медленно кружились скомканные бумажки. Быть может, смысл жизни и заключается в том, чтобы мотаться по проходам крытого рынка, между решетками с замками и досками прилавков, каждую деталь которых он знал назубок, то ища старика, собирающего пустые ящики, то избегая встречи с ним,— изнашивать свою жизнь, растрачивать ее день за днем, вышагивая над подземельем, дверь в которое замурована, тем самым подземельем, что зачем-то понадобилось Минделю,

как и многим другим. Гюнц бежал от телефонных звонков из своего кабинета, из спальни, он потерял свой привычный облик и за несколько дней спустился по тем ступенькам, подняться на которые ему потребовались долгие годы, чтобы попасть в буржуазный круг своей страны. Но всех этих жертв оказалось мало. Очень скоро он стал замечать, что преследующее его наваждение постепенно заняло не только все пространство вокруг него, но и все свободное время, которым он надеялся от него отгородиться. Сперва это наваждение распространилось по вечерам на всю его спальню, потом заполонило все улицы. Оно сопровождало его, куда бы он ни шел. Оно прилипало к его коже. Теперь достаточно было ничтожной ранки, чтобы осажденное им тело Гюнца сдалось и вытекло наружу из этого отверстия, и он, брошенный на произвол судьбы, мог бы укрыться только в дальней клеточке мозга, подобно человеку, который в панике прячется в каморке чердака, когда убийцы уже взломали дверь его дома. Он уже задыхался от охватившей его тревоги, и шаг его был нетвердым. Он запамятовал, почему в первый раз оказался на рынке и почему с тех пор приходит туда каждый вечер, как только начинало смеркаться. Миндель как будто бы не верил в телефонные звонки, о которых ему рассказывал Гюнц. Однако он попросил его как плату за услугу, быть может и не оказанную, попытаться найти вход в подземелье, расположенное под городом. Он уверял, что два входа ему уже удалось обнаружить, не хватает только третьего, расположенного где-то вблизи от двух вокзалов, с которых можно было быстрее всего попасть за границу. Но Гюнц не следил достаточно пристально за стариком, собиравшим пустые ящики и отбросы с прилавков, иначе он уже давно мог бы зайти вслед за ним в подземелье. Часто старик перебирал солому и грязную бумагу в мусорном ящике у входа на рынок, но в подземелье спускался очень редко, видимо, потому, что чрезмерно устал. Во всяком случае, Гюнц всегда видел его согнутым под тяжестью тюка или ящиков, взваленных на плечи. Он никогда не слышал, чтобы тот произнес хоть слово. Гюнц издали замечал старика, следил за ним глазами, но всегда терял из виду прежде, чем успевал догнать. Гюнцу было еще неведомо, что и сам он постепенно может превратиться в такого вот немого мусорщика на рынке. Собственно говоря, он не спешил выполнить поручение Минделя. Проходы образовывали некий лабиринт, и Гюнц предпочитал оставаться в полутьме, хотя здесь было слякотно, не просыхали лужи и что-то мягкое расплющивалось под ногами, гнутая проволока цеплялась за полы его пальто, он то и дело касался головой то костей, грудой наваленных на лоток, то репы, горой возвышавшейся над прилавком. В витринах были разложены отдельные органы: сердца, гортани, легкие, словно покрытые лаком ребра, горбатые языки, белые мозги, и когда продавцы давали сдачу, монетки пачкали липкой кровью руку покупателя. Гюнц заметил это как раз в тот момент, когда в глубине лавки вдруг зазвонил телефон, хотя никогда до этого он не видел там аппарата и не слышал звонков, продавцы не шелохнулись, не сняли трубки, телефон все звонил и звонил, а они, как только раздался первый звонок, уставились, словно завороженные, в его лицо, наблюдая, как оно быстро меняется, съеживается, теряет выражение, превращается в крысиную морду, и Гюнц отступает от прилавка, проскальзывает с отсутствующим взглядом за спинами людей, втирается в самую гущу толпы, тонет в ней и, не останавливаясь, медленный и черный, пропадает.

Перевод с французского
Л. ЛУНГИНОЙ

◆

ВИК. ЕРОФЕЕВ

«ПОЭТА ДАЛЕКО ЗАВОДИТ РЕЧЬ...»

ИОСИФ БРОДСКИЙ: СВОБОДА И ОДИНОЧЕСТВО

Лауреат Нобелевской премии 1987 года Иосиф Бродский — поэт русской культуры, который ныне, по воле судеб, принадлежит американской цивилизации. «Поэта далеко заводит речь...» (М. Цветаева).

Эмиграция не такое простое понятие; в случае с Бродским это особенно ясно видно. Поэт пишет на двух языках, отчетливо чувствует свое двуязычие («После того как я целый день «варюсь» в английском, русский необходим мне для восстановления сил и здоровья»), и его новые стихи существуют теперь одновременно в русской и английской словесных «оболочках», на страницах русскоязычных книг и — параллельно — крупных американских поэтических журналов. Смысл этого параллелизма скорее не в том, что Бродский сам переводит себя на английский, а в том, что он стал носителем двух поэтических традиций (как сам он сказал в нобелевской лекции — традиции Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама и англо-американской традиции Фроста, Элиота, Одена) Его авторские переводы — не механический жест, а момент раскрытия и узнавания англо-американского творческого наследства, не потому ли американская словесность видит в Бродском не только поэта-пришельца. Таким образом, в Бродском сошлись и причудливо переплелись две разнородные культуры, и их «конвергенция» — случай в известной мере уникальный и чем-то напоминает творческую судьбу В. Набокова. Вот почему я пишу о нашем соотечественнике и американском гражданине, жителе Нью-Йорка, на страницах «Иностранной литературы».

В недавней книге эссе «Меньше, чем единица»[1] (удостоенной премии как лучшая литературно-критическая книга Америки за 1986 год), написанных по-английски, как считают сами американцы, пластично и безупречно, Бродский приобщает американского читателя к миру русской поэзии. В своих же русских стихах поэт парит над американским ландшафтом:

Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы суслика на меже.

На воздушном потоке распластанный,
одинок,
все, что он видит,— гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки

Новой Англии...

Этот полет одинокого сильного ястреба, держащего курс на юг, к Рио-Гранде, на пороге зимы, прослежен, казалось бы, американским глазом, но смущает финальная строка стихотворения: детвора, завидев первый снег, «кричит по-английски: «Зима, зима!» На каком же языке ей кричать в Соединенных Штатах, как не по-английски? Последняя строка взрывает герметичность американского мира, вселяет подозрение, что здесь не обошлось без мистификаторской мимикрии, разрушенной напоследок намеренно и наверняка.

В декорациях американского неба вдруг возникает черная языковая дыра, не менее страшная, чем осенний крик птицы, чей образ, и без того нагруженный тяжестью разнородного смысла, ввиду этой дыры, приобретает новое, четвертое измерение, куда и устремляется ястреб:

...Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад

птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких

[1] Joseph Brodsky. Less than one. N. Y., 1986.

звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.

Бывают программные стихи, но не бывает программных криков, так что я удержусь от банальных определений, замечу только: этот крик эхом отозвался во всех углах последнего сборника стихов Иосифа Бродского «Урания» (1987) [1].

Как отзывается эхом и слово «одинок». Здесь, я вижу, открывается перспектива дешевого злорадства. Но если это эхо свести к эмигрантскому синдрому, выйдет глупость. Стоит ли говорить о том, что Иосиф Бродский, один из самых молодых нобелевских лауреатов, не нуждается в лицемерном или в нелицемерном сочувствии, его судьба в американском изгнании — в отличие от многих — сложилась на редкость благополучно; и дело даже не в том, что, обласканный вниманием интеллектуальных кругов, он жил безбедно и вольно, читая лекции по литературе в различных американских университетах, а в том, что его творческая судьба не прервалась, она логическим образом развивалась.

И если развитие вело поэта все дальше к одиночеству, то это было им же самим предсказанное и неизбежное одиночество, причина коего таилась не столько в исходе политической тяжбы с не распознавшими его талант властями, сколько в поэтическом кредо Бродского, его экзистенциальной позиции.

Простая, жестокая мысль о том, что свобода художника обретается ценой одиночества, а, если перефразировать Брехта, абсолютная свобода стоит абсолютного одиночества, приходит на ум, когда читаешь стихи из «Урании»:

Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.

Но останавливаются. И заросли
скрывают дальнейшее, как печать
содержанье послания...

Одиночество, в глазах обывателя, вещь не менее стыдная, чем голое тело. Чем дальше, тем прозрачнее становится воздух стихов Бродского, тени удлиняются, оказываясь куда длиннее человеческих фигур, которые, к тому же, все чаще оборачиваются мраморными изваяниями, не приспособленными для диалога.

Римская империя — тот поэтический мир, который молодой Бродский воскресил живою страстью противоборства поэта и тирана-барана (устойчивая и несколько легкомысленная рифма разных стихов) — на глазах, за ненадобностью, превращается в собственные руины. Ниспровергать некого, дружить, яростно споря,— зачем? Друзья, возлюбленные из стихов перебираются в посвящения. Это плата за ястребиный полет, который — как видно в том же сборнике «Урания» — может принимать и более умиротворенные формы путешествий; и гулкие шаги туристического «я» раздаются в различных местах Европы, Америки, отдаваясь в читательском сознании. Склонность к длиннотам, порою свойственная Бродскому, словно инерция ускорения, толкающая мысль все с большей скоростью вращаться по кругу, приобретает другое значение: мысль круто разворачивается к воспоминанию (причем воспоминание о любви уравновешивается любовью к воспоминанию) и сладостно вязнет в нем, в том месиве человеческой жизни, где не было ни свободы, ни одиночества, где было все несовершенно, но зато *было*; длинноты превращаются в признания:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

В сущности, это не так, это только «часть речи» — уступка отчаянию; ведь именно «так раздеваются догола». Однако, как помним, спохватываются, «останавливаются». Движение начинается в другую сторону. Мы словно оказываемся в некой геометрической фигуре, в поле сильных разнонаправленных эмоций. Отчаяние сменяется любовью, это особый вид любви, дань давней философской традиции, amor fati (любовь к року), стоическая позиция, в последний раз с блеском использованная Львом Шестовым[1] (любимый философ поэта), позиция, совмещающая любовь и отчаяние, на полпути от отчаяния к любви. В сорокалетний юбилей, уже в Америке, Бродский писал:

Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Но и это лишь часть предполагаемой фигуры. Поэтический мир Бродского, по сути дела, оказывается квадратом, сторонами коего служат: отчаяние, любовь, здравый смысл и ирония.

Бродский был изначально умным поэтом, то есть поэтом, нашедшим удельный вес времени в поэтическом хозяйстве вечности. Оттого он быстро преодолел «детскую болезнь» определенной части современной ему московско-ленинградской поэзии, так называемое «шестидесятничество», основной пафос которого определялся... впрочем, Бродский отдал этому пафосу мимолетную дань — хотя бы в ранних, достаточно банальных стихах о памятнике:

Поставим памятник

в конце длинной городской улицы...

У подножья пьедестала — ручаюсь —
каждое утро будут появляться
цветы...

И т. д., и т. п. Короче, «поставим памятник лжи». Такие стихи с легкостью обеспечивали поэту репутацию смутьяна, и Бродский явно ценил эту репутацию — назвать его политической девственницей было бы несправедливо. Но куда сильнее и оригиналь-

[1] Иосиф Бродский. Урания. Анн-Арбор, 1987. Часть стихов из «Урании» вошла в подборку, опубликованную в «Новом мире», 1987, № 12.

[1] Л. И. Шестов (1866—1938) — русский философ-экзистенциалист, оказавший значительное влияние на западную мысль XX века; после революции жил за границей. Подробнее о нем см. в статье Вик. Ерофеева «Остается одно: произвол. Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова», «Вопросы литературы», 1975, № 10.

нее прорвалась в поэзии юного Бродского тема экзистенциального отчаяния, захватывая попутно темы расставаний, разлук и потерь, оформляясь в элегический жанр, смешиваясь с темой абсурдности жизни и смотрящей из всех щелей смерти:

Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть — это стекла в бане,
в церкви, в домах — подряд!
Смерть — это все, что с нами,—
ибо они — не узрят.

Такой бурный «пессимизм» в сочетании с «фрондой» был чреват общественным скандалом, который не преминул разразиться. В 1964 году двадцатичетырехлетнего поэта судили в Ленинграде за тунеядство. Есть замечательный документ эпохи, эпохи борьбы с абстракционизмом и «новой волной» в литературе. Он свидетельствует о той дьяволиаде, которая вторглась в жизнь молодого поэта. Это статья «Окололитературный трутень» в «Вечернем Ленинграде» от 29 ноября 1963 года, подписанная А. Иониным, Я. Лернером и М. Медведевым. Вспомним тот «прекрасный» стиль не очень давней поры: «Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами...»

От вельветовых штанов, в представлении авторов статьи, до измены родине оставался только один шаг, и путем привычной подтасовки вырванных из контекста цитат, обвинений в наглости, порнографии, нелегальных встречах с иностранцами, наконец, в желании угнать самолет за границу авторы пытались доказать, что этот шаг уже сделан. Но поскольку политические обвинения были голословны, акцент был все-таки сделан на тунеядстве: «Надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде».

Из книги «Меньше, чем единица» можно почерпнуть кое-какие биографические сведения. Вернувшись в Ленинград после войны из эвакуации, Бродский с родителями жил в «полутора комнатах», в типичной ленинградской коммуналке, бывшей квартире (жизнь богата иронией) Мережковского и Гиппиус. Бродский бросил школу, пошел работать, чтобы помочь родителям. Он сменил немало профессий: был и фрезеровщиком на заводе, и смотрителем маяка, и санитаром в морге. «Мне все было интересно,— сказал поэт на суде.— Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях». В эссе «Полторы комнаты» поражает щедрость любви Бродского к своему очень скромному детству, к людям и обстановке, которые его окружали, к семейному укладу. Это — дань памяти умершим родителям: «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Можно, конечно, сказать,— не озлобился. Значит, все в порядке!

Ну, разумеется: гонения на поэта, которого высоко ставила Ахматова, за которого она вступилась, за которого переживала, обеспечили ему необычную судьбу, и такая судьба — нелегкая, опасная, но все-таки не слишком страшная (всего полтора года северной ссылки!), мучительная (не печатали, не признавали — зато признала Ахматова) — пожалуй, даже *нормальная* русская поэтическая судьба, за нее только благодарят.

Суд — каким бы гнусным он ни был — в метафизическом измерении жизни предоставил Бродскому право быть поэтом, ибо поэт, как известно, это взаимосвязь стихов и судьбы, и достойный ответ Бродского на вопрос судьи Савельевой о том, кто зачислил его в ряды поэтов: «Я думаю, что это... от бога», явился достойным вторжением поэта в свою собственную судьбу.

Роль страдания в поэтической судьбе — запретная тема, поскольку грань между оправданием насилия по отношению к своемыслию и пониманием необходимости страдания слишком неопределенна, хотя речь идет о разных измерениях. Во всяком случае, нелепо со сладостным мазохизмом ожидать страдания как оформления поэтической судьбы; страдание не выбирается, а выбирает.

В нобелевской лекции, помним, Бродский назвал в качестве своих учителей пятерых поэтов: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Роберта Фроста, Анну Ахматову, Уистена Одена: «Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае, они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой — но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности». Список учителей Бродского можно расширить. В него войдут и русские поэты XVIII века, прежде всего Державин, и Баратынский, чье представление о Музе, обладающей «лица необщим выраженьем», особенно близко Бродскому, и обэриуты, и английские поэты-метафизики XVII века, особенно Джон Донн, и Т. С. Элиот. Англо-американская прививка — новость на русской почве. У англо-американцев, как пишет Бродский в эссе об Одене, он учился «сдержанности» в выражении поэтических чувств, «универсальному значению и тревожной примеси абсурда». Поэтическое мышление, по мнению Бродского, синтетично, требует усвоения разнообразного опыта: «Поэт крадет направо и налево и при этом не испытывает ни малейшего чувства вины».

Но результат этих «краж» только тогда становится поэтически ценным, когда преобразуется в собственное ви́дение мира. «Служенье Муз прежде всего тем и ужасно,— считает поэт,— что не терпит повторения: ни метафоры, ни сюжета, ни приема... Чем чаще поэт делает этот следующий шаг, тем в более изолированном положении он оказывается. Метод исключения в конечном счете обычно оборачивается против того, кто этим методом злоупотребляет».

Иными словами, злоупотребление методом становится для Бродского единственно возможной формой употребления метода, зло же скапливается не в стихах, а в судьбе, расширяя до безграничности пространство одиночества.

Если поэзия современников и сверстников Бродского, вошедших в литературу в

начале 60-х годов, развивалась в двух направлениях: в сторону авангардистской эстетики (или же ее выхолощенного эпигонством подобия) и в сторону архаизации речи, то Бродский попытался соединить, казалось бы, несоединимые вещи: он скрестил авангард (с его новыми ритмами, рифмами, строфикой, неологизмами, варваризмами, вульгаризмами и т. д.) с классицистическим подходом (величественные периоды в духе XVIII века, тяжеловесность, неспешность и формальная безупречность), скрестил мир абсурда, нередко торжествующий в жизни, с миром порядка, возникающим на каких-то не доступных рассудку уровнях. Эти скрещения позволили поэту преодолеть зависимость от культурной традиции, обрести право беседовать с ней на равных, вырваться из книжности, сознавая при этом, что культура стала частью жизни и, следовательно, требует соответственного отражения (делать вид, что культура — одно, жизнь — иное и только жизнь заслуживает отражения — ошибка, как правило, тех поэтов, кто культуру воспринимает как нечто внешнее, то есть неорганично). Бродский преодолел книжность, используя прием «одомашнивания» культуры; здесь футуристическая традиция отношения к культуре как к музею использованных приемов сошлась с интимным переживанием культуры (розановское[1] отношение к литературе как к собственным штанам).

Привкус абсурда, усвоенный Бродским у экзистенциальной философии, англо-американских поэтов, а кроме того, обэриутов, содействовал разложению не только чистого отчаяния, но и других сторон эмоционального квадрата.

Любовь — мощный двигатель поэзии Бродского, и это порою намеренно форсируется: «Я любил тебя больше, чем ангелов и самого...» — в своем чистом виде восходит к уроку Одена:

If equal affection cannot be
Let the more loving one be me[2].

Но эта чистота чувства у Бродского — редкость. Обычно любовь, как я уже говорил, переплетается с отчаянием и тревогой (из ранних стихов: «Ни страны, ни погоста /не хочу выбирать./ На Васильевский остров я приду умирать»), образуя синкретический образ любви к возлюбленной, родине, несовершенному миру, року и т. д. Или же любовь начинает порою смешиваться — здесь включается абсурд и недостаточность веры в абсолютные ценности — с циническим чувством.

Этот момент объективизируется в эпатаже, «дразнении гусей», свидетельствуя о нравственной дезориентации, характерной примете современного мира. В результате любовная трагедия может обернуться фарсом, изложенным бойким пятистопным ямбом:

Петров женат был на ее сестре,
но он любил свояченицу; в этом
сознавшись ей, он позапрошлым летом,
поехав в отпуск, утонул в Днестре.
(«Чаепитие»)

[1] В. В. Розанов (1856—1919) — русский писатель, публицист и философ.

[2] Если любовь всегда неодинакова,
Пусть я останусь тем, кто любит больше.

Фарс разлагает любовь — особенно тогда, когда ее не слишком хватает — на составные, чреватые натурализмом элементы:

Сдав все свои экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга:
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
(«Дебют»)

Однако такой взгляд редко доминирует, находясь в «связанном» виде, обогащаясь, нейтрализуясь или преображаясь благодаря иронии.

Роль иронии в поэзии Бродского непосредственным образом сопряжена со здравым смыслом. Я бы даже мог назвать поэзию Бродского поэзией здравого смысла, так велик в ней момент сдержанности, самоотчуждения, «постороннего» взгляда. Такое определение может показаться вялым и малопоэтичным, во всяком случае, не демоничным, что в XX веке звучит чуть ли не оскорблением. Но недаром, вспоминая свою первую встречу с Оденом, Бродский приводит его отзыв о Чехове: «Лучший русский писатель — Чехов».— «Почему?» — «Он — единственный из ваших людей, у кого был здравый смысл».

Слова умирающего Н. Страхова: «Я хотел быть трезвым среди пьяных» — можно применить к поэзии Бродского. Именно трезвость и здравый смысл удержали Бродского от метафизической экзальтации, не допустили мистического запанибратства. Его стихотворение «Разговор с небожителем», в сущности, осталось монологом:

Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье...

Позиция здравого смысла определяет цикл стихов Бродского на темы Римской империи, созданный прежде всего не для каких-либо аллюзий, но для того, чтобы показать устойчивость и постоянство мира, что близко идеям автора «Улисса». В политическом плане здравый смысл заставляет Бродского занять «постутопическую» позицию, увидеть в катаклизмах века борьбу не добра со злом, а меньшего зла с большим и выразить, в результате, свой скептицизм по отношению к политическим движениям в целом: «Я не верю в политические движения,— утверждал поэт по приезде в США,— я верю в личные движения, в движения души — когда человек смотрит на самого себя и устыжается так, что производит какое-то изменение — внутри себя, не вовне». Бродский сочувственно относится к идее «непротивленчества», делая акцент на внутреннем самосовершенствовании, отчуждаясь, однако, от максимализма толстовства. Впрочем, последовательного аполитизма не получается, и в нобелевской лекции поэт высказался решительно: «По крайней мере, до тех пор пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства».

Включенный в поэтику, здравый смысл зачастую переплетается с иронией и самоиронией, позволяющей поэту как снимать эмоциональное напряжение, так и вести

диалог с культурой на разных содержательных уровнях, с различными целями. Один из наиболее показательных примеров такого дерзкого, иронического диалога можно обнаружить в поэме «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974), особенно в той ее части, где Бродский предлагает свою версию пушкинской темы и где особенно отчетливы все стороны его эмоционального квадрата:

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
Я вас любил, так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — — — но не
дast!

Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Парменнду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

Эмоциональный квадрат Бродского был бы достаточно непрочной, «взрывной» фигурой, если бы не существовало веры Бродского в слово.

Именно такая вера может рассматриваться как абсолют в поэтическом сознании Бродского.

В 1965 году он сформулировал свое кредо, остающееся в силе по сей день. В стихотворении «Одной поэтессе» он писал:

Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом...

Бродский обнаруживает три вида поэзии:

Один певец подготовляет рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот.
А третий знает, что он сам лишь рупор.
И он срывает все цветы родства.

Именно третья, медиумная, позиция близка Бродскому, который, через отрицание сарказма, объясняет ее экзистенциальную значимость:

И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за снлой жизни Проницая призму
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.

Отмечу, что в книге «Меньше, чем единица», где по разным эссе рассеяны мысли Бродского о собственной поэтике, дано и другое объяснение «нормальному классицизму»: человек, долго живший в архитектурных ансамблях Ленинграда, «склонен связывать добродетель с пропорциональностью Это старая греческая мысль, но, будучи перенесена под северные небеса, она обретает несколько воинствующий характер и заставляет художника, мягко говоря, чрезвычайно заботиться о форме Такое влияние особенно очевидно в отношении русской, или, по месту рождения, петербургской поэзии. Ибо в течение двух с половиной столетий эта школа, от Ломоносова и Державина до Пушкина и его плеяды (Баратынский, Вяземский, Дельвиг) и далее до акмеистов в этом столетии (Ахматова, Мандельштам), существовала под тем же знаком, под которым и была зачата: под знаком классицизма».

Впрочем, с экзистенциальной точки зрения вера в слово может быть поставлена под сомнение. Будь Бродский верным учеником Кьеркегора и Шестова, у него было бы два пути. Либо в конечном счете замкнуться в молчании, поскольку отчаяние парализует самую возможность коммуникации, попросту делая ее бессмысленной. Либо совершить «скачок» (если пользоваться терминологией Камю, исследовавшего подобный казус относительно именно Кьеркегора и Шестова) и в глубине отчаяния найти источник веры.

Бродский решает дилемму как поэт. Молчание, естественно, не соответствует самой природе поэтического таланта. Что касается «скачка», то Бродский сознается в недостаточности своих метафизических возможностей.

Поэтому он придает слову значение абсолюта, мимоходом ссылаясь на первую строку Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...», впрочем, роль ссылки была здесь скорее метафорической. Бродский возвел слово в абсолют, исходя главным образом из своих юношеских представлений о культуре (отразившихся в эссе «Меньше, чем единица», где он писал, обобщая опыт своего послевоенного поколения: «Книги... держали нас в своей абсолютной власти. Диккенс был более реален, чем Сталин или Берия... Книги становились первой и единственной реальностью в то время, как самая реальность рассматривалась как бессмыслица или помеха»), затем дополненных опытом поэта: «...Слова и то, как они звучат, важнее для поэта, нежели идеи и убеждения. Когда дело идет к стихотворению, в начале по-прежнему стоит слово».

Этот вывод, по дурной традиции, можно было бы отнести к формализму, не имей он противоположного значения. По логике Бродского, вступая в поэзию по каким угодно соображениям, поэт в результате отдает себя во власть языка, который определяет прошлое, настоящее и будущее культуры, то есть является ее главным хранителем. Язык, выступая как некая совокупность коллективной памяти, диктует поэту его место и его роль в тот самый момент культуры, который совпадает с моментом его жизни. В этом смысле поэт оказывается несвободным — это, пожалуй, единственная несвобода, которая не только не вызывает у Бродского бунтарской реакции, но и охотно им принимается, поскольку в конце концов оказывается лишь мнимой несвободой. Дело в том, что, определив инструментальность поэта, язык дает ему силы, каких у него не могло быть, ведет его куда дальше, чем он бы шел сам, по своему произволу, и свобода — здесь парадоксальным образом возникает формула Маркса — превращается именно в осознанную необходимость служения языку. «Сколь бы драматичен ни был непосредственный опыт человека, он всегда перекрывается опытом инструмента,— пишет Бродский в эссе о Марине Цветаевой.— Поэт же есть комбинация инструмента с человеком в одном лице, с постоянным преобладанием первого над вторым. Ощущение этого преобладания ответственно за тембр, осознание его — за судьбу».

Стихи Бродского, в своей совокупности, представляют собой гимн бесконечным возможностям русского языка. все пишется во славу ему:

Слушай, дружина, враги и братие!
Все, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,

но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится),
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.

Именно вера в язык вводит Бродского в классическую эстетику, сохраняя его экзистенциальное право быть поэтом, не чувствуя абсурдности своего положения, подозревать за культурой серьезный и неразгаданный смысл и, что тоже важно, сдерживать капризы своенравного лирического «я», которое — в рамках эмоционального квадрата — швыряет во все стороны: от любовного безумства к ироническому признанию, от утверждения своей гениальности к утверждению собственного ничтожества. Такая «качка» не может не приводить к парадоксам, способным озадачить критику, к которой, как выясняется из сборника эссе, Бродский не питает особой любви, так как она слишком удалена от момента подлинного творчества, чтобы оценивать его адекватно.

Мнения самого Бродского о литературе часто пристрастны и спорны, но не лишены внутренней логики. Об этом можно судить, в частности, по негативным суждениям о Толстом, которому Бродский — словно по традиции места жительства, по следам Мережковского — предпочитает Достоевского. В XX веке особенно высоко Бродский ставит прозу Платонова. Он противопоставляет его не только В. Набокову, который, по отношению к Платонову,— канатоходец в сравнении с покорителем Эвереста, но и большинству его современников. В отличие от них Платонов «подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и стилистическими кружевами».

Говоря о судьбе романов Платонова в эссе 1984 года, Бродский оказался плохим пророком, заявив, что они никогда не будут напечатаны на родине писателя. Но сейчас важны не прежние заблуждения, а желание поэта разобраться в том, что происходит в настоящее время у нас в стране. Бродский неоднократно, но неизменно сдержанно говорил в различных интервью об изменениях к лучшему, однако во имя истины не следует уменьшать его скептицизм изгнанника, не распространяющийся при всем том на веру в русскую культуру.

Он отстаивал ее достоинство в сравнительно недавней полемике с чешским писателем, живущим на Западе, Миланом Кундерой, создателем теории среднеевропейской культуры, повернутой будто бы спиной к иррациональной, надсадной культуре России, представленной у него прежде всего Достоевским. «Сущность подавляющего числа романов Достоевского,— возражал Бродский,— состоит в борьбе за человеческую душу, ибо писатель предполагал, что человек является существом духовным». Бродскому также принадлежат слова об «огромной культуре» России, сказанные им в 80-е годы в одной из бесед: «Россия — страна с огромными ресурсами, с невероятными человеческими возможностями. И какой бы отток культуры, интеллигенции из нее ни происходил, она рано или поздно из своих недр что-нибудь эдакое выдаст и всех удивит. Это, если угодно, количественный эффект. Это просто огромная страна, огромная культура. А в том, что касается литературы,— один из самых грандиозных языков. И поэтому совершенно неизбежно, что в недрах этого языка будут возникать явления, которые всех нас будут сводить с ума. Независимо от того, где будет находиться человек, говорящий или пишущий на этом языке».

Единственным долгом поэта перед обществом Бродский считает долг «писать хорошо». В сущности, даже не только перед обществом, но и перед мировой культурой. Задача поэта — найти свое место в культуре и соответствовать ему.

Но найти свое место в культуре — не значит получить пожизненный мандат. Стихотворение «Осенний крик ястреба» — это мужественная попытка поэта разобраться в своем настоящем положении. Необходимо удержаться на высоте, найти смысл в своем одиночестве и своей свободе, превратить их в катализатор поэзии, что безусловно нелегко, ибо это может вести к разрушительному самоповтору. Сложность еще и в том, что — если обыграть слова самого Бродского — сумма двух культур, американской и русской, для языкового состояния поэта может оказаться меньше каждого из слагаемых.

Ослабление связи с живым, меняющимся русским языком не может пройти бесследно; это плата за судьбу, которая, через страдания, муки, амбиции поэта, предоставляет ему право почувствовать в полной мере себя инструментом языка в тот момент, когда язык оказывается не в обыденном состоянии данности, а в положении ускользающей ценности, когда осенний крик ястреба приобретает болезненную пронзительность.

◆

Среди книг

Издано в СССР

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ЗНАКОМСТВО

Микеланджело Буонарроти. Перевод с итальянского Александра Махова. Ленинград, «Детская литература», 1987.

Лирика Микеланджело мало известна широкому русскому читателю, да и в самой Италии эта «младшая из микеланджеловских муз», которую «он держал на положении Золушки» (Абрам Эфрос), заняла законное место в истории литературы лишь в нынешнем столетии (классический труд конца прошлого века, принадлежащий Адольфо Гаспари, уделил поэзии Микеланджело совсем немного снисходительных строк, в которых в качестве извинения за неуклюжесть стихотворной формы выдвигалась значительность содержания). Сам Микеланджело не стремился к обнародованию своих стихов, их знали немногие близкие к нему лица, а когда в начале XVII столетия племянник художника решил опубликовать сохранившиеся от дяди пьесы, то он основательно переработал их в угоду расхожим поэтическим вкусам и понятиям о литературном слоге. Сделанная с самыми лучшими намерениями, эта адаптация славы поэта Микеланджело не принесла.

Знакомство с поэзией Микеланджело в ее подлинном виде начинается с 1863 года, когда Чезаре Гуасти впервые дал публикацию его стихов по автографам и прижизненным спискам, а основополагающим рубежом в этом направлении был 1897 год, когда вышло капитальное издание микеланджеловской лирики, осуществленное Карлом Фреем. Уже в XX веке Райнер Мария Рильке, выступивший как переводчик поэзии Микеланджело, поставил вопрос о ее самодовлеющем, не зависимом от его изобразительного творчества значении, а знаменитые искусствоведы Генри Тоде и Эрвин Панофский дали основательный анализ ее философско-эстетической проблематики. У нас в 1940 году блистательный критик и незаурядный переводчик Абрам Эфрос подготовил книжку избранных стихотворных пьес Микеланджело со вступительной статьей и обширным комментарием. Задержанный войной, труд Эфроса вышел в свет двумя изданиями уже значительно позже его кончины, в сборниках 1964 и 1983 годов, посвященных жизни и творчеству Микеланджело. Пластическая сила стиха Микеланджело, его нарочитая «корявость», его необычная образность сразу обратили на себя внимание Д. Шостаковича, и он создал на тексты переводов Эфроса вокальный цикл, получивший широкую известность. Интересно, что, познакомившись с поэзией Микеланджело по переводам Эфроса, Шостакович, будучи не во всем ими удовлетворен, заказал новый перевод Вознесенскому, но когда свободные вариации последнего на темы Микеланджело были готовы (их опубликовала в 1975 году «Иностранная литература»), Шостакович все же остановил свой окончательный выбор на Эфросе.

«Просто» стихотворцу любого ранга, даже крупному поэту, Микеланджело не по силам. В лучшем случае он удачно переведет Микеланджело-«петраркиста»: гладкие, банальные пьесы из не лучших стихотворений, обращенных к Томмазо Кавальери или Виттории Колонна; не исключен успех и в транскрипции антологической надписи к статуе Ночи. Микеланджело же — законный наследник своего великого земляка Данте, ворочавший слова, как глыбы, подгоняемые одна к другой в циклопической кладке, говоривший, по словам его современника поэта Ф. Берни, «вещи», а не «слова», Микеланджело — философ-ново-

платоник, Микеланджело — участник последних «пиров» гуманистической мысли, наконец, Микеланджело — аналитик и судья собственного искусства — может быть переведен только литератором определенного уровня культуры и определенных, накапливаемых годами знаний в области истории итальянского Ренессанса. В противном случае читатель получит более или менее умелый суррогат.

В случае с Александром Маховым не приходится говорить даже об умелости подделки. Знакомясь с его переводом, затрудняешься сказать, чего в нем больше — элементарного незнания итальянского языка или невежественного пренебрежения к проблематике микеланджеловской поэзии.

Одна из трудностей перевода Микеланджело состоит в том, что с ним неизбежно связана интерпретация текста, его стихи надо постараться понять, максимально приблизившись в этом понимании к его современникам, откомментировать их в уме, и это понимание вложить в перевод, обращенный к современному читателю. Но надо передать и неповторимую микеланджеловскую образность, пластичность его поэзии, ее неожиданные ассоциативные ходы, его отношение к слову как камню, тяжесть поступи его стиха, с которой не справился даже такой крупный поэт, как М. А. Кузмин, когда переключил ее в тональность намеренно галлицизирующего косноязычия в стиле русского XVIII века (в своих переводах стихотворных цитат в ромен-ролландовской «Жизни Микеланджело»).

Ничего этого даже в отдаленной степени в переводах Александра Махова нет. С первых страниц своей книги он буквально огорошивает нас переводческой отсебятиной, откровенным искажением авторской мысли, пренебрежением к образности оригинала и простым непониманием текста. Возьмем, скажем, сонет III (мы будем следовать нумерации издания Карла Фрея, у А. Махова по причинам, о которых нетрудно догадаться, какая-либо нумерация отсутствует). Написанный в пору одной из размолвок с Юлием II, заказчиком плафона Сикстинской капеллы, полный упреков папе, поверившему наветам недоброжелателей, но тем не менее дышащий глубокой почтительностью к вспыльчивому, но по-настоящему ценившему Микеланджело покровителю, под пером А. Махова сонет III превращается в кое-как зарифмованную и малопристойную ругань, видимо претендующую, по мысли переводчика, на разряд «социальной критики». В оригинале сонет открывается сдержанной, полной чувства собственного достоинства констатацией: «Если есть правда в старинных пословицах, то бесспорно в этой: Кто может, никогда не хочет. Ты поверил сказкам и небылицам, ты наградил врагов истины». Александр Махов избирает для обращения верующего католика к папе слог, напоминающий самые рискованные выражения, употребляемые Гюго в адрес Наполеона III в «Возмездии» (надо ли говорить, что и к семантике подлинника он подходит столь же «творчески»):

Издревле нам пословица известна,
Как (!) зависть правде затыкает рот.
Всесилен при дворе мерзавцев сброд —
Подобострастье государю лестно.

Микеланджело говорит о величайшей преданности своему государю, о крайней досаде на то, что не может угодить ему своим искусством: «Я всегда был и являюсь лишь твоим преданным слугой. Я принадлежу тебе, как лучи принадлежат солнцу. Но у тебя нет ни сожалений, ни угрызений совести о потерянном мной времени, и чем больше я стараюсь, тем меньше нравлюсь тебе». У А. Махова это превращается в предъявление счета за невознагражденные заслуги:

От смелых мыслей духу было тесно,
И я все дни трудился напролет,
Забыв, что бездарям у нас почет,
А вдохновенье вовсе не уместно.

Микеланджело горько сетует на то, что в нем хотят найти еще одного придворного льстеца, а не поборника справедливости и законности. «Я надеялся, что твое/Величие меня возвысит, что при необходимости я мог бы быть гирей /Справедливости или карающим мечом, а не (придворным) эхом». Александр Махов развертывает и дальше свой невнятный перечень неоплаченных услуг:

Мечтой я жил возвыситься в делах,
Но не обласкан за свое раденье —
В ответ мне прозвучало эхо гнева (!).

После этого, конечно, заключительная терцина, в которой мысль о тщетности ожидания от небес вознагражденья на земле за заслуги заменяется утверждением, что «не ценится добро на небесах», воспринимается почти как благоговейное отношение к авторскому тексту.

Вообще мысль сделать из «создателя Ватикана» певца «мести и печали», а заодно и богоборца положительно не оставляла Александра Махова. Микеланджело обличает (сонет X) отступничество папской курии от Христа, ее погруженность в мирские интересы и занятость военными экспедициями, грозит христопродавцам небесной карой,— у переводчика упреки поэта самому Спасителю стоят на грани кощунства и богохульства:

Куют мечи из водосвятных чаш.
Все на потребу: крест и плащаница.
Христова кровь в продаже, как водица,—
Невозмутим и нем спаситель наш. (...)

Смиренья небо требует в ответ.
Порвем ли мы привычек рабских узы,
Чтоб искупления увидеть свет?

(В действительности в подлиннике читаем: «Здесь делают из церковных чаш мечи и шлемы и пригоршнями продают кровь Христову, и все же Христос изливает на нас свое терпенье. (...) Но если на высотах неба бедности воздается слава, то какова же будет награда нашему образу жизни, когда мы здесь шествуем под иным знаменем?»)

Но может быть, гражданственные мотивы лирики Микеланджело просто не являются forte переводчика, и ему ближе ее интимная сторона? Извольте, вот сонет LXV, созданный в 1534 году, в пору самой пылкой дружбы художника с прекрасным Томмазо Кавальери. В четырнадцать строк стихотворения вмещено предельно много:

начинается оно с темы, которая постоянно возникает у Микеланджело — о том, что материал вмещает огромное разнообразие свершений в зависимости от гения художника; затем во втором четверостишии мраморной глыбой гордости, в которой коснеет нежная участливость, становится друг, предмет поклонения художника; далее, в терцинах временная непроявленность, немота этой нежности уподобляется немоте безгласной, но целительной природы, и выражается надежда на целительность дружбы с Кавальери: «Так же, как перо и чернила таят в себе стиль высокий, низкий или средний, так же, как мрамор заключает в себе образ скверный или драгоценный, в зависимости от того, что может извлечь из него наш талант, подобным же образом, быть может, о мой господин, хотя я еще и не нашел способа дать проявиться ему, нежное и участливое сострадание скрывается в оболочке вашего сердца наряду с гордостью. Животные, травы, заклятия, камни, целебные для наших недугов, могли бы сами поведать об этом, если бы, как мы, могли говорить. Быть может, мое спасенье в вас, быть может, в вас заключено то, что исцелило бы меня от всякого зла». Этот алмазной крепости концентрат чувства, мысли, величайшего самоотреченья превращен в нелепые вирши, прочитав которые иные из читателей с трудом подавят в себе подозренье, что Микеланджело был заурядным графоманом:

Беря перо с чернилами, порой
Мы пишем ярким иль безликим слогом.
И образ в камне говорит о многом:
Горел творец иль был объят тоской (!).

Когда, мой повелитель, я с тобой,
То на лице твоем читаю строгом:
Ведешь ты дружбу с дьяволом иль
с богом (!) —
Но вдохновляюсь родственной чертой.

Кто сеет вздохи, стоны и рыданья,
Идя у прихоти на поводу,
Изменчивой, как ветер в непогоду,

Пожнет одни несчастья и страданья.
Не с красотою будем мы в ладу,
А только боль узрим душе в угоду (!).

Вообще главный переводческий «принцип» Александра Махова — приблизительно передать тему переводимого стихотворения, но отнюдь не «то что хотел сказать автор по данной теме» (давнее определение «идеи произведения» из школьного учебника) и отнюдь не его образность — подобным буквоедством он себя не утруждает. Чем-то его переводы напоминают развязный синхронный перевод иностранного фильма. Если Микеланджело клеймит бывших друзей из Пистойи (сонет LVIII) за зависть и гордость, то у Махова они «предатели и низкие лжецы», ликующие, «свободу попирая» если поэт славит ночь как счастливую, хотя и мрачную пору (сонет LXXVIII), когда на смену любой деятельности приходит покой, то, согласно Махову, в это время «спорится работа в тишине»; если для Микеланджело она последнее лекарство обремененных, то в чтении Махова: «...от духовной (!) нищеты спасаешь»; если оригинал гласит (сонет CIX, XXI): «Я родился под знаком темноты, а потому были мрачными мое рожденье и мое младенчество», то русскому читателю предлагается: «Меня сдружил [бог] лишь с ночью одного — /Вот почему чернявый (!) я с рожденья»; восьмидесятилетний старец говорит (сонет CLVII) о том, что на пороге смерти ему все еще жаль плотских благ, несмотря на порыв души в запредельное — переводчик без обиняков заявляет: «Душа, презрев мирские искушенья, /Томится, ожидая свой черед».

Подобные примеры можно было бы множить без конца Создается впечатление, что по каким-то непонятным причинам издатели книги не потрудились не только отрецензировать рукопись у компетентного итальяниста (что совершенно не трудно сделать в Ленинграде с его кафедрой итальянского языка в университете и специалистами по истории итальянской культуры в Эрмитаже), но даже не заглянули ни в один из предшествующих русских переводов Микеланджело. А жаль. Не исключено, что в их души закралось бы тогда спасительное сомнение, и кто знает, может быть, беспримерная переводческая халтура не получила бы возможности самозванно представительствовать за великого итальянца.

М. В. ТОЛМАЧЕВ

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом. Перевод с английского В. Голышева. «Новый мир», 1987, № 7—10.

Вот и знаменитый роман Кена Кизи наконец пришел к нам, с четвертьвековым опозданием,— уже как литературный памятник.

В каждую эпоху художественной истории появляется несколько произведений, которым суждено быть сначала знаменем, а потом и зеркалом этой эпохи. «Над кукушкиным гнездом» — из этих книг. Роман, которым в 1963 году дебютировал никому не ведомый тогда прозаик, стал вместе с «Колыбелью для кошки» Воннегута и «Поправкой-22» Хеллера настольной книгой мятежной молодежи Америки 60-х. Литературоведы поторопились окрестить новый авангард 50-х — начала 60-х — а именно к этой линии современной прозы США принадлежит роман Кизи — искусством «варварского», «примитивного», «инфантильного» мирочувствования. Уж слишком вызывающей казалась безыскусная простота стиля и чудаковатая наивность видения мира, скажем, в романах-странствиях Джека Керуака или повестях-коллажах Ричарда Бротигена (может быть, мы и их когда-нибудь прочитаем?). И все же первое впечатление о прозаиках, превратившихся в кумиров студенческой Америки, как о самоучках, демонстративно презревших все законы и нормы литературного творчества, оказалось ошибочным. Американская неоавангардистская проза глубоко укоренена в национальной художественной традиции. И роман Кизи — насквозь литературен. При внимательном чтении здесь обнаруживается множество сюжет-

ных мотивов, образов, «позаимствованных» молодым писателем у близких и далеких предшественников. Но есть, кажется, у «Кукушкиного гнезда» и непосредственный прототип.

В новелле Эдгарда По «Черт на колокольне» поведана история о некоем райском уголке земли — городке, спрятанном от остального мира за кольцом непроходимых гор, в котором жили счастливые люди. Их блаженная жизнь текла строго по расписанию, исчисленному бегом часовой стрелки на курантах ратушной башни. С боем курантов здесь вставали, с боем курантов завтракали, обедали, ужинали, обсуждали дневные происшествия и отходили ко сну. Да и сам этот городок был возведен неизвестным архитектором по образу и подобию циферблата: одинаковые домики стояли по кругу, разделенному на шестьдесят переулков... Словно в насмешку над Томасом Мором, американский писатель создал сатирическую версию «наилучшего устройства государства», которую сам же и опроверг. Эта механическая утопия погибла, когда из-за горной гряды вдруг появился ухмыляющийся черт и сломал часы на ратуше...

При чтении романа Кизи эта новелла вспоминается не раз. «Кукушкино гнездо» — загадочная книга. То, что происходит в лечебнице для душевнобольных, вряд ли можно прочитать как достоверную хронику «трудов и дней» типичной американской больницы. Да, но что происходит? Рассказ ведет не Кен Кизи, а пациент «психушки», прикидывающийся глухонемым и явно страдающий психическим расстройством. Значит, все, о чем здесь идет речь,— шизофренический бред? Нет. Монолог «вождя» Бромдена невозможно воспринять только как фантазию сумасшедшего.

В том-то и суть романа, что (в этом и обнаруживает себя художественный замысел Кизи) будничная жизнь в нем предстает кошмарной галлюцинацией, а та в свою очередь — вымороченной реальностью. В поэтике Кизи идет во многом от сюрреализма: картины подлинной действительности и образы больного воображения неотличимы, они перетекают друг в друга, фантастическое возникает из конкретной американской повседневности. В самом деле, в «Кукушкином гнезде» четко определены пространственно-временные координаты сюжета: Средний Запад США, 1960 год, скоро очередные президентские выборы. И вот из этой достоверной, легко угадываемой реальности прорастает ирреальный монстр — лечебница для душевнобольных, предстающая как неприступный бастион Власти, и старшая сестра Гнусен, персонификация этой сверхчеловеческой и бесчеловечной Власти.

Больница, о которой ведет свой рассказ «вождь» Бромден,— воображаемый «портрет» Америки второй половины XX века, миниатюрная модель постиндустриального общества, где необратимо восторжествовали принципы рационального и целесообразного социального строительства. Не случайно рассказчик считает «психушку» фабрикой на огромном Комбинате, с конвейеров которого сходят непрерывным потоком штампованные изделия — люди. Разумеется, бывает и брак. Он и поступает сюда, в больницу, где «исправляют ошибки, допущенные в домах по соседству, в церквах и школах».

В этой своего рода исправительной колонии (вспомним Кафку) «бракованные» человеческие экземпляры доводятся до кондиции, до такого состояния, когда они не могут представлять угрозы для нормальной, рациональной и целесообразной работы Комбината А достигается это просто — тотальным подчинением пациентов внутреннему распорядку. Вся жизнь больницы четко регламентирована. «Все, что люди подумают, сделают, скажут, расчислено на несколько месяцев вперед по заметкам, сделанным старшей сестрой»,— поясняет «вождь» Бромден. И добавляет: если кто-то из пациентов вдруг сболтнет что-то лишнее или сделает что-то не предусмотренное программой, в большой вахтенный журнал на столе у старшей сестры должен тотчас поступить соответствующий сигнал от свидетелей нарушения дисциплины. Это важнейший принцип «починки» больных: пациенты сами следят за исправным исполнением всех предписаний персонала...

Обратим внимание еще на такую деталь: обитатели лечебницы находятся в бессловесном подчинении у чернокожих санитаров, что в условиях Америки самого начала 60-х годов воспринималось как вопиющий знак униженного ничтожества несчастных «сумасшедших». Но главное, из их душ жестоко и планомерно вытравляются все «патологии» — живые проявления человечности, для чего применяется широкий набор особых средств от «мозгобойки» до «отсекателя любопытства» и одурманивающих наркотиков. Больница, как не без гордости полагает старшая сестра, являет собой образец идеального жизнеустройства, где созданы все условия для комфортного существования. Этакая воплощенная утопия, в которой жесткий порядок обеспечивается не только спрятанной в стенах подслушивающей аппаратурой и постоянной слежкой за пациентами через стеклянное окно наблюдательного пункта, но и послушанием самих «больных».

Но это, конечно, *анти*утопия, удавшаяся попытка построить «идеальное государство». Больница в романе Кизи — угрюмый, пугающий мир, населенный не живыми людьми, а механическими куклами. И все, что происходит в этом псевдоутопическом микросоциуме, напоминает, по словам «вождя» Бромдена, «кукольное представление» Да и сама владычица этого кукольного государства, мисс Гнусен, мертвое, бесполое существо,— тоже кукла в облике человеческом, из нутра которой доносится «запах механизмов».

Образ механизма, «точной, смазанной, отлаженной машины», возникает всякий раз, когда рассказчик делится с нами впечатлениями о повседневной рутине этого адского рая. Кажется, что самая необходимая вещь здесь — часы: стенные часы в палатах, часы в коридорах, наручные часы у медперсонала. И разумеется, часы самой старшей сестры, с которыми она никогда не расстается — то теребя их в руках, то перекладывая их с места на место в своей сумке, где нет «никакого женского барахла, только

колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска... иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки». А вся лечебница оказывается реализованной мечтой мисс Гнусен «о мире, действующем исправно и четко, как карманные часы со стеклянным донцем».

И вот в этот бесперебойно тикающий часовой механизм вторгается — прямо как черт у Эдгара По — возмутитель спокойствия, который нарушает, ломает выверенный и «расчисленный на многие месяцы вперед» порядок жизни больницы. Рэндл Патрик Макмёрфи — архетипический герой американской литературы молодежного протеста, у истоков которой стоит «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Макмёрфи — литературный сородич героев Аллена Гинсберга и Джека Керуака. Он — «гражданин мира», исключивший себя из социальной иерархии и отвергнувший моральный этикет буржуазного общества. Вот краткий послужной список его деяний, которые и привели его в царство сестры Гнусен: возглавил побег военнопленных из лагеря в Корее, уволен из армии за невыполнение приказов, осужден за уличные драки и нарушения порядка... Он вечный бродяга, кочевник, беглец, не признающий никакой власти над собой: Макмёрфи сам себе губернатор, и шериф, и президент, без обиняков заявляющий о своем жизненном кредо: «играть в карты, быть холостым, жить где хочешь и как хочешь, если люди не помешают».

Макмёрфи то и дело провоцирует своих новых приятелей на поступки, не предусмотренные дневным расписанием, запрещенные и, так сказать, «антиобщественные». И сам он ведет себя вызывающе, эпатируя персонал и дивя пациентов. Он смачно рыгает, зевает во весь рот, вульгарно жестикулирует, чешется, громко разговаривает, оглушительно хохочет. Макмёрфи — любитель пожрать, не дурак выпить, заядлый картежник, охоч до женского пола. Словом, гротескный герой, воплощение здоровой, живой жизни — той, которая убита в обитателях больницы старшей сестрой Гнусен. «За этим я и прибыл в ваше заведение,— балагурит Макмёрфи,— развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом». Он и впрямь изо всех сил старается «развлечь и повеселить» — утопить эту мрачную обитель в смехе.

Макмёрфи — носитель смехового взгляда на окружающий мир. И «вождь» Бромден с нескрываемым восхищением описывает этот завораживающий, всепроникающий смех, который сверкает «в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе». Этот «черт на колокольне» — шут, валяющий дурака. Даже его мотоциклетная шапочка, нахлобученная на макушку, выглядит как своего рода шутовской колпак. Кстати, не случайно, что Макмёрфи — ирландец, традиционный персонаж американских «дурацких» анекдотов.

И совершенно закономерно с появлением этого «рыжего шута» возникает мысль о карнавале, который Макмёрфи берется затеять в лечебнице. Карнавал — тоже форма мятежа против угрюмой серьезности старшей сестры, «излечившей» своих пациентов от умения смеяться («Знаешь, чем сразу удивила ваша больница? — говорит Макмёрфи одному из пациентов.— Тем, что никто не смеется»).

Макмёрфи появился в «психушке» не только как «черт»-разрушитель. Он пришел и как мессия — чтобы открыть людям глаза на безумие их нынешнего состояния, чтобы исцелить их от немоты и немощи духа, от отупения воли, от идиотизма покорного подчинения. Мотив спасительного самопожертвования иронически (шутовски!) обыгрывается в сцене препровождения Макмёрфи на его Голгофу — в «шоковый шалман», когда он, раскинув в стороны руки (имитируя распятие), принимает на чело терновый венок из электродов.

Ему удается выполнить свою миссию: он воскрешает в этой «напуганной компании» нормальные человеческие чувства. Под предводительством Макмёрфи обитатели больницы совершили акт абсурдного протеста против диктатуры сестры Гнусен, усевшись у выключенного телевизора и демонстрируя свой отказ подчиниться уставу «психушки». И потом — когда Макмёрфи вместе с двенадцатью приятелями (апостолами?) самовольно отправился на рыбалку...

Макмёрфи в книге — главный герой. Но не менее важна и фигура «вождя» Бромдена. Не забудем, что автор записок о сумасшедшем доме — индеец-полукровка. Еще со времен Купера и Торо индеец в американской литературе стал олицетворением вольного, не стесненного социальными путами, состояния человеческого духа. Подобно марктвеновскому Геку Финну, Бромден на протяжении всей книги грезит о свободе, о побеге на свою «индейскую территорию» — в далекий мир детства, грустным напоминанием о котором вертится у него в голове навязчивый мотивчик детской песенки-считалки о гусе, пролетавшем над гнездом кукушки...

Он, «вождь» Бромден, и оказывается самым преданным и талантливым учеником рыжего бунтаря, который научил его способу вырваться из мертвого дома. Для этого нужно было всего-навсего суметь подавить слабость духа, ощутить себя внутренне свободным. Финальная сцена романа — бегство Бромдена из больницы — это, думается, чистая аллегория: ведь он проломил стену своего безотчетного страха, разбил вдребезги созданный в воображении призрак несокрушимой Власти сестры Гнусен.

«Вся Америка — сумасшедший дом», словно бы говорит Кен Кизи. Сумасшествие — не как медицинский казус, а как признак социального неблагополучия — традиционная метафора. Но у Кизи она наполняется новым смыслом. Раньше (вспомним двух знаменитых литературных «безумцев» — Гамлета и Чацкого) сумасшедшим объявлялся герой, обличавший безнравственность окружающего его мира. У Кизи сумасшествие становится атрибутом самого общества, которое уродует, калечит своих абсолютно нормальных граждан. И это безумие становится признаком ненормальности всей системы социального бытия, превратившегося в угрозу для человека. Впрочем, и такой вывод в начале 60-х уже казался тривиальным: метафору «безумно-

го мира», идущую, кстати говоря, из поэтики сюрреализма, широко использовали непосредственные предшественники Кизи — битники (стоит вспомнить еще и блестящую сатирическую киноленту С. Крамера «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», вышедшую почти одновременно с романом). Однако Кизи идет дальше. Он не только изображает ужасающий облик «сошедшего с ума мира», но и разгадывает его внутреннюю механику, показывая нам, что в создании этого «безумного мира» участвуют и облеченные властью старшие сестры, и запуганные ими пациенты... Вот почему роман Кизи прочитывается не только как социальная сатира, но и как политическое моралите, дающее причудливое, но убедительное объяснение природы тоталитарной власти — этого навязчивого безумия нашего столетия.

О. АЛЯКРИНСКИЙ

ДОБИТЬСЯ ПРАВДЫ БЛАГОДАРЯ ОБМАНУ

Шэнь Жун. Деревенская тайна. Повесть. Перевод с китайского В. Семанова. «Москва», 1987, № 8.

Повести и рассказы китайских писателей, переведенные у нас за последние годы, рассказывали о пережитом во времена «культурной революции». Да это и понятно. При первой же возможности литераторы вынесли на суд читателей ужас событий, испытанных народом Китая в то страшное время. В китайской литературе родилось новое социально-критическое направление, возникла «литература шрамов», «обличительная литература», «литература изображения мрака». Однако после «десятилетия смуты» уже минуло другое десятилетие, и в стране произошли настолько разительные перемены, что невольно возникает вопрос: как за сравнительно небольшой отрезок времени неузнаваемо преобразились люди, каким образом могла восстановиться и окрепнуть экономика? Ответить на эти вопросы во многом помогает повесть известной китайской писательницы Шэнь Жун. Ее выбор и перевод — несомненная удача В. Семанова, который много делает для знакомства наших читателей с лучшими образцами современной китайской прозы.

События в книге разворачиваются накануне третьего пленума ЦК КПК XI созыва, который китайцы считают поворотным в своей истории. Изменения в жизни китайского крестьянства незадолго до пленума и вскоре после него показаны на примере обычной деревни Наследниковка. Таких деревень в Китае тысячи. Ее жители явственно ощущают, что в стране назревают перемены. Два огромных стенда с дом высотой — своеобразные окна политических кампаний деревни — подобно барометру отражают изменения в жизни страны. Кажется, еще недавно на них были нарисованы Линь Бяо и Конфуций, сидящие верхом на ослах, сегодня же их заменили разноцветными кошками, поскольку началась кампания критики Дэн Сяопина, который, как известно, сказал: «Не важно, черная кошка или белая,— лишь бы ловила мышей». Когда разгромили «банду четырех», кошек замазали, а вместо них намалевали Царя обезьян, сражающегося с духом белых костей. «Вчерашние ошибки сегодня становились истиной, вчерашние преступники — сегодняшними героями»,— как сказано в повести.

При такой чехарде событий трудно сохранить положение пусть маленького, но все-таки начальника, каким является секретарь партбюро деревни Ли Ваньцзюй — главный герой повести. Занимая уже много лет этот пост, он прослыл образцовым секретарем, которого и коммунары и уездное начальство хвалят. Как это ему удается — загадка для тех, кто, сидя в уездном комитете, судит о жизни в деревне по отчетам и трафаретным выступлениям на собраниях.

Мы привыкли к упрощенному образу китайского крестьянина — безответного, простодушного труженика. Но сегодняшние сообщения наших газет, радио и телевидения отмечают такие качества крестьян КНР, как предприимчивость, деловая хватка, умение чувствовать потребность момента. Они всегда были свойственны китайцам, но всячески подавлялись во время авантюристической политики «большого скачка» 1958 года, голода начала 60-х годов и последовавшего за ними «черного десятилетия». Почти двадцать лет строго регламентировались все стороны человеческого бытия — от общественного производства до личной жизни. Коммунам спускались сверху бессмысленные приказы по ведению хозяйства. «То изволь всюду сажать батат, ни кусочка земли для других культур не отведи. То уничтожай гаолян, чтобы духу его нигде не было. Сегодня тебя по радио призывали перебирать бобы, завтра — брать в руки серп и приниматься за уборку. Ну скажите, разве на одном и том же поле можно сразу и сеять и урожай собирать?» — рассказывает о недавнем прошлом главный герой повести. Чтобы при таком руководстве выжить, не умереть с голоду, Ли Ваньцзюй предпочитал обманывать верхи, но быть правдивым «с желудком, землей и коммунарами». Столкнувшись с очередным глупым распоряжением, секретарь «внешне его расхваливал, а в действительности делал все наоборот». Земля вдоль дороги превращалась в «опытное поле», потому что проверяющее начальство с дороги в поля не сворачивало. А в дальних полях крестьяне сажали то, что хотели, и убирали урожай тогда, когда считали нужным. Этот обман и был главной тайной деревни Наследниковка, которую тщетно пытались разгадать не только жители соседних деревень, но и уездные власти.

«Обмануть, чтобы выжить» — это кредо помогло Ли Ваньцзюю избежать репрессий во время набегов в деревню хунвэйбинов, помогло накормить коммунаров, когда по всей стране люди гибли от голода. Обманывая, деревенский секретарь даже построил для деревни мельницу, что было совершенно невероятно для Китая в то

время, и тем самым обеспечил односельчан доходами. Конечно, постоянная ложь с трудом давалась правдивому по характеру человеку. Только сознание того, что он притворяется ради спасения коммунаров, и их поддержка помогли Ли Ваньцзюю в его многолетней двойной игре.

В финале Ли Ваньцзюй оказывается героем дня, его атакуют многочисленные корреспонденты. Фактически он сумел предугадать тот поворот в экономической политике страны, на который ориентировал третий пленум. Но «счастливый конец» повести не столько дань традициям классической китайской литературы, сколько торжество здравого смысла и крестьянской сметки.

Можно упрекнуть писательницу в схематизме некоторых героев, но читатель, надеемся, оценит важность этой социально острой повести, удостоенной высокой награды — литературной премии КНР за 1982 год.

Н. ЗАХАРОВА

Издано за рубежом

БАНАЛЬНОСТЬ КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ИЛИ А ВЫ СЧАСТЛИВЫ ЖИТЬ, КАК ЖИВЕТЕ?

Doris Dörrie. Liebe, Schmerz und das ganze verdammte Zeug. Zürich, Diogenes, 1987.

Дорис Дёрри. Любовь, тоска и вся эта чертова дребедень.

Как в кино...

(Известное выражение)

Как в кино? И впрямь — как в кино... Ну разумеется — как в кино! Однако все по порядку. Дело в том, что некий супруг, отец двоих детей... Нет, пожалуй, вот так. Один дизайнер рекламы потребительских товаров, человек знающий, что ему нужно от жизни, и уже многого от нее добившийся, «слегка презирающий этот мир, который так дорого платит за привлекательность своей упаковки»... Нет-нет нет... Юлиус Армбруст, уверенный в себе, интересный мужчина слегка за сорок, на двадцатом году брака, особо не отягченного иллюзиями о вечной любви, но вполне добротного — как у людей,— потерял голову и совершенно вышел из себя. Да, у него есть соперник, безусловно, счастливый, ибо на него, Юлиуса, конечно же, ничуть не похожий. Несколько сдержанных слов не признания — сообщения — и благополучная идиллия обращена в груду жалких развалин. Драма душевная усугубляется еще и тем, что его, Юлиуса, предпочли какому-то ничтожеству, несостоявшемуся художнику Стефану, явному неудачнику, который и в тридцать пять остался «хипповатым студентом». Именно этому «господину Никто в задрипанном синем «фольксвагене» и было принесено в жертву их безмятежное супружеское счастье!

В глазах Паулы, добропорядочной хранительницы домашнего очага, Стефан предстает «человеком с другой планеты», отринувшим комфорт и престиж, не пожелавшим продавать свой талант. Но до таких ли интерпланетарных тонкостей оставленному мужу, коль сердце его терзаемо многими страстями, и более всего жалостью к себе самому. Снедаемый муками ревности, целыми днями мечется по городу покинувший свой дом Юлиус, выслеживая встречи Паулы с разлучником-конкурентом. Он не опасается быть узнанным: прежнего блистательного Юлиуса «не стало, будто и не было вовсе». Осунувшийся, небритый, он чем-то напоминает разве что того молодого человека, который двадцать лет назад забросил учебу в Академии художеств, чтобы «с наслаждением окунуться в мир сшитых на заказ костюмов и четких критериев». Тривиальная история «потери лица»? Бесспорно. Но тут-то все и начинается.

Волею судеб (точнее — благодаря удачно выстроенной автором цепочке случайностей) Юлиус поселяется в квартире Стефана. Чтобы легче было оценивать преимущества соперника и изучать его, Юлиус надевает маску «одного из своих», не приемлющих истеблишмент и отвергнутых им. Превращение не стоило ему особого труда и уж тем более не стало мучительным: «В кроссовках и джинсах он так же не был самим собою, как и при галстуке, с кредитной карточкой в кармане». Казалось бы, подобный сюжетный ход тоже встречается на каждом шагу: герой, преобразившись, наконец-то найдет себя и, ничтоже сумняшеся, вырвется из респектабельного существования к подлинной жизни. Нисколько. В руках мастера игра литературными клише и образчиками житейских фикций обращается в калейдоскоп, узор которого столь же причудлив, сколь и непредсказуем.

Происходит некое раздвоение героя: Юлиус ветхий изумлен твердостью и неподкупностью Юлиуса нового; Юлиусу новоявленному омерзителен Юлиус аутентичный, развращенный приспособленец с двадцатилетним стажем. «Обоих» их не оставляет чувство опасности, исходящей от хаоса инертности Стефана. К тому же, к ревнивой ненависти покинутого супруга исподволь примешивается еще одно чувство — почти нежность к невыносимому двойнику. И тут — рождается Идея: заботливо раздув не угасшую в Стефане искорку честолюбия, Юлиус начинает созидать ближнего по образу и подобию своему.

Выхлопотав Стефану высокооплачиваемую работу графика в рекламном агентстве, Юлиус не без злорадства наблюдает изменения, происходящие с «приятелем». «С уверенностью лунатика Стефан обратился внезапно в преуспевающего мужчину в расцвете сил, который знает, чего он хочет от жизни, и не терпит никаких сомнений». Для инфантильного существа, ценность личности которого перенесена вовне, в признание окружающих, гипертрофированная игрушка карьеры становится целью не только всеобъемлющей, но и всезаменяющей,— этого ли не знать Юлиусу. И стоит ли упоминания деталь, что в восприятии мужчины, дела которого пошли в гору, польза от влюбленной женщины приближается к нулю, а встречи с ней становятся лишь помехой в работе. Поэтому когда Стефан объявляет о своем решении подыскать квартиру попросторнее в более презентабельном районе, Юлиус просто возвращается в свой дом, в свою нормальную жизнь с нормальными мыслями, «где через несколько минут после его прихода все снова стало, как раньше». Победитель? Ответа нет. Да и вообще, что же это, собственно говоря, было? Трезво разыгранная мелодрама? Ловко закрученная комедия? Авантюрный мини-роман? Трагедия лабильной морали постиндустриального общества? Психологический эксперимент, исследующий необычные поведенческие реакции? Или скомканный детектив, где убийство споткнулось о хохму? Кино, да и только!

«Мужчины» — одна из четырех новелл, собранных в первую книгу Д. Дёрри[1] «Любовь, тоска и вся эта чертова дребедень». Их едва ли можно определить как литературные записи или прозаические заготовки будущих фильмов, хотя до сего времени на экране не была воплощена лишь новелла «Деньги». Это невероятная, головокружительная история сбывшейся мечты, причем персонажи ее — обычные, скучные люди, которым (и это характерно для всех героев Д. Дёрри) невыносима удручающая безвариантность своей биографии; они стремятся уйти от недоосуществленности самих себя, став «кем-нибудь другим». Вот только нужно освободиться от каждодневных забот о достатке,— всего лишь разбогатеть. И вдруг пресловутый гром среди (как водится) ясного неба — и невинный игрушечный пистолет помогает вышутаться из долгов, а страдающая от своей непривлекательной внешности, «расплывшаяся, как медуза» домохозяйка Кармен Мюллер — нечаянно — превращается в удачливую и неуловимую гангстересу, грозу провинциальных банков. Артистическая, необузданная игра с сюжетом словно демонстрирует былое могущество Случая, прибежищем которого в бесфабульное время стало разве что кино. Вихрь погонь, ограблений с переодеваниями, весь набор детективного бурлеска, неопровержимо счастливая развязка, миллионы в чемодане и — разочарование. Деньги только арифметически умножают возможности человека, а самого человека достанет всего лишь на покупку фабрики...

Противоречие кажущейся сиюминутной упорядоченности обстоятельств — «драматургии внешней» и алогичной спонтанности мотивации — «драматургии внутренней» вскрывает мучительную раздвоенность судорожных действий повседневной нормальности «человека одомашненного», такого привычного и неведомого вида «homo domesticus». Подспудные, непроявившиеся экзистенциальные возможности, бушующие в четко разграниченных графах ролевых взаимоотношений, выталкивают житейские стереотипы в совершенно иное измерение непредсказуемости каждой последующей минуты.

Тоска по настоящей жизни в мире, где «казаться» значит неизмеримо больше, чем «быть», приводит к убийству. Жажда обогатить скудную, недостаточную собственную личность «посредством другого», сведшая синеволосую Анну Блюме и «прямоугольно-элегантного» Армина и заставившая их заключить договор о сосуществовании, становится гибельной (новелла «В самое сердце»). Дёрри исследует феномен «незаконности глубокого чувства, деструктивности стремления к счастью» в опутанном условностями конвенций человеке, показывая, сколь близки и мгновенно взаимообратимы благопристойный порядок и хаос, идиллия и ад.

«Существует ли он вообще, шанс не стать идиотом, и не делаем ли мы себя идиотами всякий день, пунктуально, как часы, маршируя на работу, живя с нелюбимой женщиной, зачиная детей, которых мы — еще прежде, чем они родились,— считаем наивысшим счастьем на земле?» — глубокое чувство заставляет сформированного миром мнимых ценностей Якоба Гёттлиха усомниться в их смысле (новелла «Рай»). Смоделировав исходную структуру, Дёрри словно проводит пытающегося спрятаться в другом человеке героя по острию пороговой ситуации, наблюдая поглощающую его мглу безумия. «Чувствующий себя, как клише», герой бессилен найти выход, оказавшись в «лабиринте» любовного треугольника. Развязка этой, по определению Д. Дёрри, «отравленной комедии о любви и ревности», гротеск и ужас которой мелькают, словно две стороны подброшенной монетки, кроется в кошмаре убийства.

«Меня всегда больше всего интересовало смешное в трагическом,— касается Д. Дёрри этой стороны своего творчества.— Думаю, что выжить можно лишь в том случае, если разовьешь в себе чутье на курьез. Только тогда будешь в силах вынести то, что происходит в мире».

Итак, противусентиментальная мелодрама? Ироническая трагедия? Как бы ни было затруднительно (целесообразное ли?) соотнесение прозы Дорис Дёрри с традиционными жанровыми рубриками, неоспоримо одно — яркий талант рассказчика. Литературное рождение кинорежиссера состоялось. Состоялось очевидно. И блистательно. Как «не бывает». Разве что в кино...

И. ЛАНИН

[1] Дорис Дёрри — крупнейший режиссер западногерманского кинематографа. Ее фильм «Мужчины» (1986) стал в ФРГ самым популярным фильмом года. *(Прим. ред.)*

СТОЙКОЕ ДЕРЕВЦЕ ЧИЛОЛО

Tchicaya U Tam'Si. Ces fruits si doux de l'abre à pain. Paris, Seghers, 1987.

Чикайя У Там'си. Эти нежные плоды хлебного дерева, 1987.

Чикайя У Там'си написал еще одну часть задуманной эпопеи о стране Конго [1]. Рассказ о первом мучительном десятилетии существования независимой республики, создание которой связано с трагическими событиями — предательским убийством национального героя Конго Патриса Лумумбы Чикайя был соратником и другом Лумумбы. Его гибель осталась в сердце поэта незаживающей раной. Предательство Лумумбы конголезскими политическими деятелями тех лет — тема многих стихотворений Чикайи У Там'си.

Марионеточное прозападное правительство Народной Республики Конго пало лишь в 1963 году, а курс на некапиталистическое развитие страны был провозглашен в 1968-м, после государственного переворота, приведшего к власти М. Нгуаби (убитого в 1977 году во время второго государственного переворота). Сколько политических теорий родилось в эти годы в Конго? Сколько голов слетело с плеч из-за несогласия с линией того или иного правительства? Сколько политиков-«однодневок» (так называется и одна из частей рецензируемого романа) было вскормлено этой неустойчивой средой и погибло, едва появившись на свет? И об этом тоже новый роман Чикайи У Там'си.

Книга «Эти нежные плоды хлебного дерева» с предыдущими романами Чикайи связана разве что по временной оси. Правда, появляется в новом романе некая связующая ниточка — Полен Поббар, сын главного героя трилогии Проспера Поббара, посланный отцом учиться во Францию и теперь вернувшийся на родину.

В основе нового романа — история судьи Раймона Поати, который обнаруживает определенную закономерность в серии страшных убийств девочек и юных девушек и не может сразу определить для себя нарушение ли это современного закона или кровавая традиция. Нет у него и уверенности в том, что блюстители традиций не пользуются покровительством официальных властей. Эти события происходят в момент, для судьи Поати внешне весьма благополучный: ему сулят пост прокурора республики, дети подросли, старший сын учится во Франции и вскоре вернется, единственная дочь Чилоло — постоянный источник радости и утешения, жена Матильда работает директором народной школы и, казалось бы, понимает проблемы мужа... Однако за высокий пост судье недвусмысленно предлагают «заплатить» — отдать жену в любовницы президенту. Отказ от такой «платы» — первый шаг Раймона Поати на пути к гибели. Старший сын Гастон, к полному неудовольствию отца, женился, даже не познакомив родителей с невестой. Слава богу, что не на белой, вздыхает с облегчением судья: нет-нет, он вовсе не «черный расист», но все же подобные браки обречены на несчастье... А тем временем река Конго продолжает выносить на берег трупы девочек со вспоротыми животами, и кому, как не судье Поати, заниматься этим?

Раймон Поати подозревает и не без оснований, что жертвы для кровавого ритуала «закупаются» в бедных деревнях не только Конго, но и менее развитых соседних государств. И все шито-крыто. А какой скандал разразился бы, если бы пропала хоть одна девушка в Браззавиле или Пуэнт-Нуаре! Чтобы разобраться в происходящем — и в самом себе, — судья внезапно берет отпуск и, бросив дела, отправляется «на отдых» в провинцию. Удается ли ему там что-нибудь выяснить, остается для нас загадкой — в романе много таких недоговоренностей (фольклорный прием «решайте сами!», позаимствованный у африканского мифа и сказки, предполагает открытый конец не только у литературного произведения в целом, но и у отдельных его эпизодов; как и в традиционной устной африканской литературе, этот прием ведет к дискуссии, к сосуществованию различных точек зрения), но вскоре Раймон Поати исчезает из дома — исчезает навсегда. В то, что он жив, верит лишь его жена Матильда.

Когда из Франции вместе с молодой европеизированной женой возвращается старший сын судьи Гастон Поати, с момента исчезновения отца прошло уже некоторое время, а семья переехала в сельский дом, который постепенно приходит в упадок. Убитые горем мать и сестра, брошенные как бы на полпути младшие братья... Весь груз ответственности за семью ложится на плечи Гастона, и тут же приходит новое горе: внезапно умирает Чилоло, любимица покойного отца. Оказывается, она умерла от прерванной беременности, а беременна была... от брата, Гастона. Так гласит молва. Так молва объясняет ненависть Чилоло к жене Гастона. А не потому ли Гастон не хочет иметь детей от собственной жены? И снова излюбленный прием Чикайи — решайте сами!

Еще во Франции Гастон знакомится и тесно сходится с Поленом Поббаром, хотя между ними существуют некоторые разногласия политического характера. Полен становится женихом Чилоло, но вскоре та почему-то начинает избегать его. Не инцест ли тому причиной? Во всяком случае, сам Полен уверен в этом: ведь Чилоло ему в конце концов категорически отказывает, а вскоре и трагически гибнет. Бывшие друзья становятся врагами. Эта вражда выплескивается и в сферу политики, тем более что оба — члены политбюро партии (очевидно, Конголезской партии труда). Гастон, выступая против догматического толкования понятия «революция», пытается объяснить товарищам, что буржуазная революция в Конго, совершенная не без участия колонизато-

[1] См. рецензию И. Тогоевой «Мятущийся «герой»?» на книги Чикайя У Там'си «Тараканы», 1980; «Медузы, или Морская крапива» 1982; «Ночные бабочки», 1984 в «ИЛ», 1987, № 3 (*прим. ред.*).

ров, все-таки была шагом вперед и революцией в полном смысле этого слова — хотят они признавать это или нет — и что до более высокого уровня хозяйствования их стране предстоит еще нелегкий и долгий путь. После чего Гастон оказывается практически в изоляции. Этому немало способствует своими выступлениями его ярый противник Полен. В конце концов Гастона арестуют, а вскоре две Матильды, его мать и вдова, получают труп сына и мужа, якобы совершившего в тюрьме самоубийство

Чикайя очень неоднозначен в своих политических оценках, хотя и пытается впрямую их не высказывать. В целом в книге не так уж много места уделено собственно политике, и в то же время весь роман словно пропитан ею Как и в стихотворениях Чикайи, как и в его предыдущих романах, «образ среды» рождается исподволь, естественно, через показ духовного мира конголезцев, через понятные африканцам фольклорные параллели. Написав книгу «Эти нежные плоды хлебного дерева», Чикайя У Там'си шагнул в своем творчестве на ступеньку вверх, хотя нельзя не признать, что рядовому африканцу этот роман прочитать и осмыслить будет значительно труднее, чем, скажем, роман «Тараканы» («Радуга», 1987). Прежде всего потому, что здесь, как и в поэзии Чикайи, на простор порой вырывается «поток сознания». Особенно в последней части романа, где в образе шута или безумца перед нами возникает то сам судья Поати, то его сын, а то полубезумный комментатор — шут ли? — из второго романа эпопеи.

Фольклорную поэтичность роману придают прежде всего два женских образа: Чилоло и Муиссу. Единственную дочь судьи, Марию-Терезу, прозвали Чилоло. Чилоло — невысокое деревце, родственное хлебному, дающее нежные плоды и одновременно такое неприхотливое, что не погибает, даже если в бруссе случается пожар. Деревце чилоло красуется в гербе рода Поати, а сам судья бессознательно чувствует странную но непреодолимую связь внешнего и внутреннего облика дочери, единственной и любимой со скромным, стойким и плодоносным растением. Любовно относится к Чилоло и сам автор: для него Чилоло, как и Муиссу,— воплощение вечно живой души народа. Муиссу — деревенская сказительница без прошлого и без возраста. Она как бы комментирует основные события романа своими сказками-притчами (прием для Чикайи-прозаика постоянный: в предыдущих романах роль такого «комментатора» выполняла сестра главного героя — Софи). Притчи Муиссу, пересыпанные поговорками и песнями, и сами по себе представляют немалый литературный, фольклорный и философский интерес.

Многочисленны образы современных африканок в романе Чикайи. Обе Матильды, жена судьи Поати и его невестка, — современные эмансипированные женщины. О судьбах своих героинь писатель высказывается весьма противоречиво: хорошо или плохо, что ни жена судьи, ни тем более его невестка практически не знакомы с обычным бытом африканских женщин, — не всем же вечно держать в руках мотыгу! — зато безусловно развиты духовно, ощущают себя самостоятельными личностями? Этот и многие другие вопросы остаются как бы без ответа. Автор просто «описывает ситуацию», не давая собственного о ней суждения.

Творчество Чикайи У Там'си — один из наиболее ярких примеров становления жанра романа в рамках собственно африканской фольклорной традиции на привнесенном в страну языке и культуре Запада. Проза Чикайи удивительно многогранна и емка по самым разнообразным литературным «показателям», а его последний роман лишний раз доказывает, сколь высокого уровня достигли уже в своем развитии литературы Африки.

И. ТОГОЕВА

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ДЛЯ КАТАЛОНЦЕВ

Literatura de les nacionalitats soviètiques del Gran Nord. Barcelona, Colleció „Internacional", 1987.

Литература народов советского Крайнего Севера.

В первые каталонцы получили возможность так полно познакомиться с фольклором и литературой малых народов советского Крайнего Севера. Значительным событием в развитии связей двух стран несомненно станет появление столь уникального двуязычного сборника, который откроет, возможно, целую серию изданий, выходящих раз в год. Идея таких публикаций возникла еще во время визита в Переньян в ноябре 1985 года трех советских писателей: Мустая Карима, Юрия Рытхэу и Владимира Санги, приглашенных ассоциацией «Франция — СССР», включающей также страны Восточных Пиреней. На встрече, организованной каталонским издательством «Либериа Каталана», одним из основных стал вопрос о судьбах малых народностей, важный как для Испании в целом, так и для Каталонии. И потому столь велик интерес к решению этой проблемы в СССР

Составители сборника поставили задачу познакомить широкую читательскую аудиторию с повседневной жизнью, традициями, обычаями и верованиями почти 27 национальностей Крайнего Севера, чем и обусловлен подбор текстов: сказки, легенды, поэзия и проза современных советских писателей Севера — Владимира Санги, Леонида Лапцуя, Микуля Шульгина, Юрия Рытхэу а также авторов, чье творчество непосредственно связано с Крайним Севером,—Федора Абрамова, Мустая Карима, Лидии Гладкой, ленинградской поэтессы и переводчицы, всю жизнь посвятившей литературе народов Крайнего Севера. Обращаясь к обычаям и верованиям малых народностей, составители выделили в особый раздел и отрывок «Рождение человека» из романа Владимира Санги «Женитьба Кевонгов», где с этнографической точностью воспроизведены

обряды нивхов, связанные с появлением на свет ребенка.

Внимательно отнеслись составители к подбору стихотворной части сборника: здесь представлены и поэтические размышления о смысле бытия, тонкие зарисовки прекрасной природы Севера, любовная лирика.

Не осталась вне поля зрения и жизнь современной северной деревни, представленная небольшим рассказом Ф. Абрамова «Как Лукеша свою Маньку замуж выдала», пронизанным светлым юмором, выдержанным в чисто сказовой манере.

Во многом успех издания определила огромная работа, проделанная Жозепом Мариа Гуэль-и-Сосиас, сохранившим в переводе своеобразную повествовательную манеру, присущую северным сказкам с их неторопливым ритмом повествования, и тонко передавшим творческую манеру каждого из современных участников сборника. В сборнике кроме художественных текстов есть и тщательно подобранный справочный материал: сведения о местах расселения народов Крайнего Севера, история их отношений с Центральной Россией до и после революции, краткие биографические сведения о публикуемых авторах.

Н. ГРУЗДЕВА

◆

Из месяца в месяц

Австрия

«ПОБЕДИТЕЛЬ, ПОБЕЖДЕННЫЙ»

Так называется новый сборник рассказов австрийского писателя Вильгельма Певны, выпущенный издательством «Ойропа». Название его программно: автор размышляет о судьбах своего поколения, «людей 1968 года». Почему потерпели крах надежды и идеалы тогдашних бунтарей? Что в жизни считать победой и что — поражением?

Герой рассказа «Деньги», почтовый служащий из Вены, неожиданно становится обладателем миллионного состояния — и оказывается неспособным распорядиться им. «Он пробует вести себя как миллионер, но его сознание — это сознание мелкого почтового служащего», — иронически пишет рецензент газеты «Фольксштимме» Герхард Мозер. Он не понимает «правил игры» нового для него мира, становится «дойной коровой» для ловкачей и бежит от них на Таити.

Тема отношений между победителями и побежденными анализируется в рассказе «Дорожное знакомство». Выходец из семьи миллионера решает стать журналистом. Он печатает под псевдонимом несколько честных репортажей о Латинской Америке, показывая роль США в эксплуатации этого континента. У него начинаются неприятности, сама жизнь его под угрозой. Тогда он под собственным именем печатает какой-то пустяковый репортаж, чтобы заработать деньги на обратную дорогу, возвращается «в лоно семьи», отрекается от прежних убеждений и в конечном счете расплачивается за это сумасшествием.

Перед сходными проблемами оказываются персонажи других рассказов Певны: боксер, ставший чемпионом Европы (теперь он уже не будет мерзнуть в нетопленой комнатушке), пирует в роскошном отеле вместе с людьми, которых он охотнее всего поколотил бы; два бывших друга-архитектора — один ценой грязных сделок добился процветания, другой сохранил верность идеалам своей молодости. Кто из них победитель, кто побежденный? На чьей стороне симпатии Певны — очевидно.

«Автору, — пишет рецензент «Фольксштимме», — удалось, без преувеличений, создать шедевр ангажированной прозы, свободной от клише, общих мест и искусственных конструкций».

Болгария

КНИГА О ДОРЕ ГАБЕ

Дора Габе (1888—1983) — легендарное имя болгарской поэзии XX века. Поэтесса, прожившая едва ли не столетие, много и плодотворно работала и в новой Болгарии. «Торжественный раздался звон колоколов свободы», — писала она о дне Девятого сентября. Анализу творческого и жизненного пути Доры Габе посвящено немало литературоведческих исследований, ценность же книги Снежины Кралевой «Прикосновение к Доре Габе», вышедшей в софийском издательстве «Отечествен фронт», болгарские критики видят именно в ее «неакадемичности». Автор рассказывает о своем многолетнем общении с выдающейся поэтессой, о тех дружеских отношениях, которые у них сложились. Д. Габе делилась с ней многими своими переживаниями, в ее последние часы именно Снежина Кралева находилась рядом с нею. Автор бережно воссоздает атмосферу, окружавшую Д. Габе в разные периоды ее жизни, образы людей, которые были ей близки, — болгарских деятелей литературы и искусства, выдающегося чешского поэта Витезслава Незвала. Значительное место в книге уделено встречам Доры Габе с советскими писателями — И. Эренбургом, К. Фединым, С. Маршаком и другими. Рецензируя эту книгу на страницах еженедельника «АБВ», Луко Захариев заметил: «Снежина Кралева является автором нескольких поэтических книг, но ее книга о Доре Габе, бесспорно, самая поэтичная из них. Можно со всей определенностью сказать, что «Прикосновение к Доре Габе» — одно из лучших произведений, написанных о выдающейся болгарской поэтессе».

Великобритания

«ПОДЛИННО ГЕНИАЛЬНОЕ РОЖДАЕТСЯ В СТАНЕ МУЖЧИН»

Новый литературоведческий анализ творчества Джордж Элиот (1819—1880) — книга Дженнифер Аглоу «Джордж Элиот» — это, по выражению рецензента еженедельника «Таймс литерари сапплмент» Эндрю Сандерса, «беспристрастное и педантичное «прочтение» как личности писательницы, так и ее романов».

Свое исследование Дж. Аглоу начинает с утверждения: «Поймать Элиот в феминистскую сеть — дело нелегкое». Основным вопросом, волновавшим Элиот, был «женский вопрос», проблема независимого положения женщин, их свободной творческой активности. Сама Элиот, по мнению Дж. Аглоу, — «женщина-первопроходец», которая «все же понимала, что подлинно гениальное рождается в стане мужчин, и хотела бы к нему принадлежать». Она — «жертва душевного смятения, вы-

званного внутренним страхом перед своим независимым положением и своей литературной деятельностью». Все эти сомнения Элиот так или иначе нашли отражение в ее романах — историях человеческих судеб.

Решение «основного вопроса» оказывается под силу лишь одной из героинь Элиот — Ромоле де Барди. Но и ее путь «первопроходца» нельзя назвать показательным: ведь Ромола добивается личной свободы не в XIX, а в XV веке. Героини Элиот, несмотря на независимость характера, приходят к пониманию того, что «существуют пределы и границы, выход за рамки которых небезопасен». Большая свобода для них означает и неопределенное будущее.

В двух последних, сложных романах — «Миддлмарч» и «Даниэл Деронда» — Дж. Аглоу прослеживает новую постановку «основного вопроса». Здесь переплетаются социальный, интеллектуальный и нравственный аспекты, что связано с событиями личной жизни писательницы. В 1871 году (период обдумывания композиции романа «Миддлмарч») чета Льюисов (подлинная фамилия Элиот) сняла коттедж в графстве Суррей. По вечерам супруги читали книги по естественным наукам, а также «стихи Мюссе или что-нибудь в этом роде». «Смесь» науки и искусства, чтения и сочинительства — все это нашло отражение в системе образов романа, которую Дж. Аглоу называет противопоставлением «мужского» и «женского» восприятий. Позже в романе «Даниэл Деронда» Элиот пытается убедить читателей в том, что в будущем на смену «противоборству и подавлению» в человеческих отношениях должна прийти взаимопомощь.

«Как ужаснулась бы Джордж Элиот, если бы узнала, что ее романы впоследствии, в XX веке, назовут «особой областью изучения женщин»!» — восклицает рецензент. «И хотя героини Элиот могли слегка эпатировать читателей, в книгах, как и в жизни, она почти ни о чем не умалчивала, а задумывалась и спрашивала о многом»,— этими словами заканчивает свою книгу Дж. Аглоу.

ПРОКЛЯТЬЕ «ШОТЛАНДСКОЙ ПЬЕСЫ»?

82-летний хормейстер Банчо Банчевски разбился насмерть, упав с верхнего яруса «Метрополитен-опера» во время антракта спектакля по опере Верди «Макбет». Нью-йоркская полиция сочла, что его смерть — самоубийство, но в театральных кругах вновь заговорили о проклятье, тяготеющем над «шотландской пьесой».

Любому английскому актеру известно, комментирует это событие обозреватель агентства Рейтер Дэвид Берреби, что у трагедии Шекспира, как и у одноименной оперы Верди, «нехорошая» репутация. Само упоминание названия трагедии считается небезопасным, и осторожные артисты предпочитают говорить: «шотландская пьеса». Сложился даже обычай: тот, кто произнесет «Макбет» или прочтет вслух цитату из трагедии, должен немедленно выйти из комнаты, три раза повернуться вокруг своей оси, сплюнуть и лишь затем, постучавшись, смиренно попросить разрешения войти.

Дэвид Берреби в связи со смертью Банчевски приводит «зловещий» перечень несчастий, связанных с постановкой «Макбета»: то на актеров обрушивались декорации, то Макбеты и Макдуфы в поединке наносили друг другу увечья, то леди Макбет вдруг падала со сцены. Режиссер Лилиан Бейлис, готовившая постановку на лондонской сцене в 1937 году, внезапно заболела и умерла. Лоуренс Оливье, который играл главную роль, тогда же чуть не был раздавлен упавшей кулисой. Злосчастной оказалась и постановка 1942 года Джона Гилгуда: умерли король Дункан и две ведьмы — причем одна прямо на сцене. В 1950 году на Бермудах пожар Макбетова замка перекинулся в зал, и зрители едва унесли ноги. Не повезло и Питеру О'Тулу, который в 1980 году во время репетиций чуть не свалился со своим мотоциклом (на котором, кстати, сидела и актриса, игравшая леди Макбет) со скалы, а затем один из спектаклей пришлось отменить, потому что в зрительный зал подложили бомбу.

Считается, что все зло идет от сцены с ведьмами. Английский актер Ричард Хаггет полагает, что проклятье, которое Шекспир вложил в уста своих ведьм, и вправду может иметь силу.

Картина Генри Уоллиса «Смерть Чаттертона» воспроизведена на обложке книги П. Акройда «Чаттертон».

«ЮНЫЙ ГЕНИЙ»

Так назвал Уильям Вордсворт Томаса Чаттертона (1752—1770), поэта и мистификатора, ушедшего из жизни в неполных 18 лет. О Чаттертоне, его талантливых литературных подделках, его разоблачении и трагической гибели писали, потрясенные самоубийством юноши, Блейк, Альфред де Виньи, Колридж, Китс.

Личность и судьба Чаттертона давно занимают и Питера Акройда, видного английского литературоведа, критика, романиста, автора беллетризированных биографий, лауреата премий «Уитбред» и Сомерсета Моэма. Еще в романе «Последнее завещание Оскара Уайльда» Акройд приводит высказывание Уайльда, характеризующее самоубийство Чаттертона как «величайшую трагедию, выпавшую на долю юноши, столь одаренного и плодовитого, что он щедро приписывал свои произведения другим». А в романе «Хоксмор» Акройд наделил главного героя, Ника Двайре, некоторыми чертами Чаттертона.

Последний роман известного литературоведа, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Р. Кристиансен, целиком посвящен юному поэту и мистификатору. Однако было бы неправильно, полагает рецензент, этот роман считать историческим или биографическим. По своей сути книга Акройда — эксперимент, состоящий, в частности, в дерзком совмещении нескольких планов повествования и временных пластов. Акройд рассказывает нам историю жизни и самоубийства Чаттертона, но его повествование связано и с сегодняшним днем: здесь действуют молодой поэт-неудачник и преуспевающая романистка, которые пытаются, внимательно вчитавшись в тексты мистификаций Чаттертона, понять причины трагедии. Однако их разыскания ни к чему не приводят, напротив, лишь множат тайны. История гибели Чаттертона не проясняется, а усложняется, когда им в руки попадает портрет Томаса Чаттертона в зрелом возрасте, написанный через тридцать два года после предполагаемого самоубийства поэта. На самом деле он продолжал жить и писал стихи, скрываясь под именем одного из поэтов-метафизиков. Самоубийство Чаттертона, дает понять Акройд, могло быть еще одной его мистификацией, и чуть ли не самой дерзкой и талантливой.

Основа «изобразительного» плана книги — знаменитое полотно английского художника Генри Уоллиса «Смерть Чаттертона», находящееся в галерее Тейт. Репродукция его воспроизведена на суперобложке книги, но и сама картина играет довольно существенную роль в повествовании. Известно, подчеркивает Акройд, что моделью

Уоллису послужил молодой Джордж Мередит.

Безусловно, пишет рецензент, роман Акройда не только о Чаттертоне, но и о его двойнике на картине Уоллиса, о современных поэтах и писателях. В этой трагической и в то же время полной остроумия книге Акройд, размышляя над превратностями человеческой судьбы, над проявлениями человеческой глупости, которая так часто становится причиной многих драм, пытается понять природу искусства и истины.

Венгрия

«ВЕЛИКИЙ СУМЕРЕЧНЫЙ ГОД»

Эту строку стихотворения Осипа Мандельштама вынес в заголовок своей статьи, опубликованной в журнале «Кёнььвилаг», историк Иштван Хусар. Статья эта будет открывать книгу Миклоша Куна «1917. Хроника одного года», которая скоро выйдет в свет в издательстве «Кошут».

Каким бы большим ни казался такой срок — 70 лет, в истории это всего лишь «вчера» пишет И. Хусар. А хорошо ли мы знаем наше «вчера», адекватно ли оцениваем его значение? Полагаю, что ответить «нет» на этот вопрос было бы неправильно, но короткое «да» было бы слишком поспешным, необдуманным ответом. Многое еще предстоит узнать и понять о том годе и о том дне, который изменил ход истории и возвестил о начале новой эры.

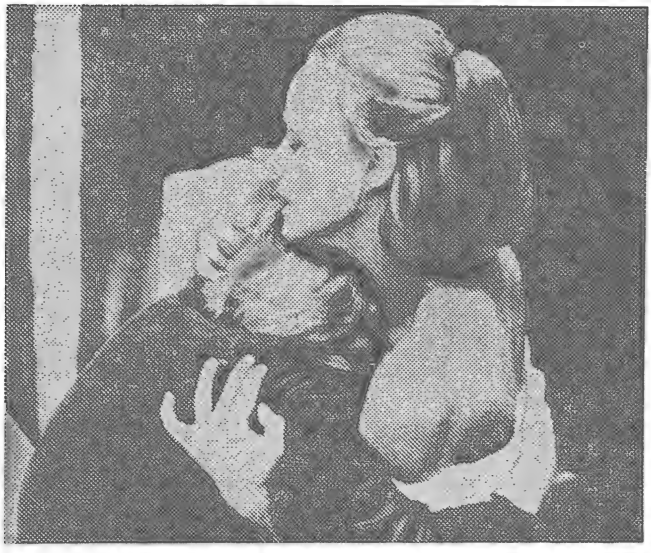
Объективное освещение событий, огромное количество документов поразят читателя книги М. Куна, считает И. Хусар. Книга М. Куна — это «учебник истории», но он не годится для заучивания, для механического пересказа, он прежде всего заставляет задуматься. Прошлое суверенно, его нельзя изменить, но оно может многое объяснить вселить веру в тех, кто идет трудным путем борьбы. Надо только время от времени стряхивать с прошлого оседающую на нем пыль десятилетий.

И. Хусар приводит пророческие слова В. И. Ленина, сказанные им в связи с четвертой годовщиной Октября: «Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яснее становится значение пролетарской революции в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей работы, взятый в целом»

«Глубже вдумываемся...» — повторяет ленинские слова венгерский историк. — Нужна, очень нужна нам та исследовательская, аналитическая работа, которая проделана автором книги. Огромен труд, вложенный в ее составление, — подбор документов, комментарии, анализ событий года, каждого месяца, анализ самих документов. Большую часть представленного материала на венгерском языке читатель увидит впервые... Признаюсь, я просто не мог оторваться от рукописи».

«А какая партия встает со страниц книги, — восклицает И. Хусар, — какие силы руководили революцией, эта партия умела бороться и побеждать, чутко реагировала на все нюансы революционного процесса. И какие личности стояли во главе партии! Каким моральным, политическим авторитетом обладали они признанные вожаки масс!»

Но историческая достоверность состоит также и в том, отмечает далее Хусар, чтобы не возвеличивать прошлое, не приспосабливать его под нас нынешних. Схематизм всегда обедняет действительность, мешает понять суть происходящего. Книга Миклоша Куна помогает сегодняшнему читателю увидеть и понять все величие 1917 года, каждого его дня.



Кадр из фильма Кароя Макка «Последняя рукопись».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

РАССКАЗ ТИБОРА ДЕРИ — НА ЭКРАНЕ

На экранах Венгрии демонстрируется фильм «Последняя рукопись», очередная работа лауреата премии Белы Балажа, кинорежиссера Кароя Макка. «Эту картину вполне можно рассматривать как продолжение или как эпилог фильма «Любовь», — пишет в журнале «Критика» Петер Пал Тот.— Оба они сняты по рассказам Тибора Дери. Но если «Любовь» пробуждала у зрителя чувство поэтическое, то «Последнюю рукопись» можно назвать «элегическим киноабсурдом».

В основу фильма положен рассказ Т. Дери «Веселые похороны». Однако, отмечает журнал «Фильмвилаг», благодаря дополнительным сюжетным линиям, развитию отдельных мотивов и драматургическому контрапункту фильм получился даже богаче, чем сам рассказ. В центре повествования стоят два героя, борьба которых придает произведению особую остроту. Знаменитый писатель Дёрдь Няри лежит на смертном одре. В это время его старый друг, «товарищ Марк, президент Академии», предпринимает все, чтобы заполучить последнюю рукопись Няри — его дневник. в котором (как можно предположить) идет речь о судебных процессах, о событиях 1956 года, поступках некоторых общественных деятелей. «Рукопись не должна попасть в чужие руки», — тревожится Марк. К умирающему писателю из Лондона приезжает молодая скрипачка. Марк пытается привлечь ее на свою сторону, ревностно следит за тем, чтобы разоблачительная рукопись не уплыла в Лондон. Слух о тайном дневнике порождает панику в министерстве: у каждого есть причины для боязни. Драматические, гротескные эпизоды сменяют друг друга. Покойный писатель как бы в знак протеста встает во время похорон из гроба и вступает в схватку с Марком: бегает среди могил, разбрасывает по ветру листки рукописи и в конце концов увлекает своего друга вместе с собой в могилу.

«Какие бы разногласия ни возникали между героями «Последней рукописи», они, однако, всегда полностью

зависели друг от друга, как два воздушных гимнаста, — пишет П. Тот. — Великий писатель и изощренный функционер понимают друг друга с полуслова. Ведь у них общее прошлое, общие мечты, общая борьба, общие предательства и компромиссы». Трагедия жизни писателя заключается в том, что он был чужаком среди окружавших его людей. В том, что он не оставил после себя ничего ценного, что занимался самообманом, внушая себе, что служит человечеству.

Трагедия Аурела Марка, которого критик П. Тот называет «воплощением власти», в том, что в течение пятидесяти лет он боролся, лгал, занимался конспирацией, запрещал произведения литературы, которые, однако, в душе ценил очень высоко, он доносил даже на друга своего детства, если того требовала ситуация.

«Лента посвящается сомнениям, рождающимся на пороге смерти, — пишет журнал «Фильмвилаг», — и в этом режиссер верен рассказу Тибора Дери. Однако зрителя потрясает не смерть писателя, а та утратившая свою ценность жизнь, тот фальшивый мир, который он оставляет нам».

Греция

«КИНО — ПЕРЕСТРОЙКА»

Живой интерес вызывает в Греции происходящий в нашей стране процесс «реабилитации» многих произведений искусства — в частности, кино. Греческий зритель уже познакомился с некоторыми фильмами, получившими в последние годы право выхода на экран. На специальном мероприятии «Кино — перестройка», которое было организовано Всегреческим союзом кинокритиков, «новое лицо» нашего кинематографа представлял фильм Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин».

Критик М. Пападопулу в газете «Та Неа» отмечает, что в ходе соперничества двух сверхдержав, которое не прекращается и в сфере «седьмого искусства», американские технологические поделки были буквально сметены «шок-фильмом» А. Германа. Кинолента, относящаяся к категории «заклятых» лент последнего двадцатилетия, пишет критик, воспринимается сегодня как произведение, совершенно нетрадиционно трактующее память, как шаг вперед даже по сравнению с признанными работами Алена Рене. У А. Рене, считает М. Пападопулу, память возникает из эмоции и почти сливается с ней. А. Герман предпринимает попытку иначе воспроизвести механизм памяти — он соединяет эмоцию с разумом и таким образом вызывает и фиксирует на пленке память о прошлом как на уровне переживания, так и на уровне историко-событийном. «Возникает документальный фильм, в сюжет которого вплетаются интимнейшие душевные переживания и повседневная жизнь героев».

Кинокритик отмечает также, что впервые в советском фильме показаны не только положительные стороны строительства социализма, но и другие, темные и неизвестные. В этой связи им делаются попытки истолковать вероятный символический подтекст фильма, но во многом, признается критик, «фильм остается неясным и открытым для всевозможных толкований».

Итоговая оценка газеты «Та Неа»: «„Мой друг Иван Лапшин" — фильм, использующий память так, как это свойственно шедеврам... Произведение доселе неизвестного великого режиссера, творчество которого знаменует начало нового расцвета советского кино».

Дания

ЭКРАНИЗАЦИЯ НОВЕЛЛЫ КАРЕН БЛИКСЕН

Вслед за американским режиссером Сиднеем Поллаком, недавно сделавшим по произведениям Карен Бликсен фильм «Из Африки», героев писательницы оживил на экране ее соотечественник Габриэль Аксель, с успехом работающий в театре, кино и на телевидении. «Пир Бабетты» — история француженки, которая, спасаясь от последовавших за разгромом Парижской коммуны и унесших жизнь ее мужа и сына репрессий, находит пристанище в Дании, в маленькой пуританской общине. В центре картины — столкновение двух философий, двух представлений о жизненных ценностях и счастье. Олицетворяют их, с одной стороны, пастор-пуританин, на чьем счету лишь загубленные судьбы тех, кому он помешал сделать правильный жизненный выбор, маскируя свои эгоистические побуждения требованиями религиозной морали, с другой — католичка Бабетта, несмотря на пережитое, полная щедрости и жизненной силы, дарящая людям радость. Кульминацией фильма становится роскошное пиршество на французский лад: выиграв куш в лотерею, искусная кулинарка Бабетта устраивает обед для общины, в которой она прожила 14 лет.

По словам Г. Акселя, об экранизации этой «жемчужинки» творчества Бликсен он думал с середины 70-х годов. В интервью корреспонденту французского журнала «Синема» Кароль

Кадр из фильма Г. Акселя «Пир Бабетты».

(Журнал «Ревю дю синема»)

Дебара режиссер сказал, что он сознательно оставил за пределами экрана эпизоды боев коммунаров с версальцами, религиозные сцены: «Мой фильм — сказка о появлении феи, чье волшебство покоряет всех; он — о превратностях судьбы, о жизни, о любви. Окончательно раскрепостивший членов общины пир — символический урок счастья, источниками которого являются дарение и творчество». «Порой приходилось изменять «букве» новеллы, чтобы сохранить ее дух, — рассказывает режиссер. — Так, описанное у Бликсен историческое местечко, будучи использованным в качестве съемочной натуры, казалось сошедшим с туристской рекламы; пришлось строить декорации, а затем экспериментировать в лаборатории с цветом на уже отснятой пленке. Вообще цвет — равно как и музыка, и звуковые паузы — играет в фильме большую роль. Определяя цветовую гамму фильма, расположение источников освещения, мы с оператором Хеннингом Кристиансеном вдохновлялись картинами старых мастеров, особенно Вермера».

В «Пире Бабетты» заняты восемь датских актеров, снимавшихся еще у Карла Теодора Дрейера — в фильмах «Дни гнева» (1943), «Гертруда» (1965) и др. На роль Бабетты Г. Аксель (чей творческий путь, кстати, связан с французской культурой: в Париже он учился, выступал в юности как актер, а в последнее десятилетие сделал ряд фильмов для французского телевидения) пригласил известную французскую актрису Стефан Одран. «Поднятые в фильме проблемы актуальны по сей день, — считает С. Одран. — Ведь в нем идет речь о том, что полнокровное человеческое общение несовместимо с догмами».

Картина одинаково трогает зрителей разных стран. Она удостоена приза экуменического жюри на Каннском фестивале, главного приза и премии молодежного жюри на фестивале в Брюсселе, приза публики в Амстердаме и других.

Индия

«НАД МОРЕМ СЛЕЗ И ЗЛА»

Авторами специального приложения для детей к газете «Таймс оф Индиа» в феврале 1988 года стали ученики школы «Голубые колокольчики». На страницах газеты словно в зеркале отразился мир сегодняшнего индийского подростка — мир отнюдь не безоблачный. В своих стихотворениях, которым отдана целая полоса, дети пытаются осмыслить окружающую их действительность, проблемы, стоящие перед человечеством,

Иллюстрация, сопровождающая стихотворение «Народ — это мы?» в специальном приложении для детей.

(Газета «Таймс оф Индиа»)

причины вражды между людьми. Вот названия некоторых стихов: «Почему бывают войны?», «Гонка вооружений», «Права человека», «Народ — это мы?».

Тревоги взрослых вторгаются в жизнь ребенка и вытесняют обычные детские радости. Восьмиклассник Бхахат Сингх в стихотворении «Радуга» пишет:

Лишь дождик капать
перестал —
Наверно, он идти устал,—
Вслед радуга взошла.
Дорогой-радугой пущусь,
По ней высоко поднимусь
Над морем слез и зла.

Дети спрашивают: как жить, если в душе страх и опустошенность, если политическим и религиозным распрям нет конца, а голодный ребенок в «День детей» вместо еды услышит речь политикана? И кто защитит их от бед?

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА-КОММУНИСТА

В индийской столице и ряде других городов Индии торжественно отмечалось 80-летие со дня рождения выдающегося индийского поэта-коммуниста Махдума Мохиуддина, сообщает еженедельник «Нью эйдж». В большой аналитической статье друг и соратник поэта Р. Б. Гаур пишет, что отмеченные изяществом формы стихи Мохиуддина до сих пор волнуют умы и сердца читателей. Творчество Махдума Мохиуддина — человека, целиком посвятившего себя борьбе за светлое будущее своего народа, составило одну из наиболее ярких страниц в истории поэзии урду нового времени.

В Дели прошло собрание, на котором выступили известные критики: Камар Раис, Вишванатх Трипатхи, Рашидуддин Хан. В своих выступлениях они говорили о значении поэзии Мохиуддина для современности. Местный танцевальный коллектив под руководством Прабхакара Рао порадовал зрителей премьерой балета на сюжет поэмы Мохиуддина «Ожидание».

На родине поэта, в Хайдарабаде, по улицам города прошла торжественная процессия — от знаменитой башни Чар-Миар до Хусайн-сагара, озера на окраине Хайдарабада, где воздвигнут памятник поэту,— к его подножию были возложены гирлянды живых цветов. Торжественный митинг открыл известный поэт урду Али Сардар Джафри. В своей речи он особо отметил, что в поэзии Махдума Мохиуддина нашли отражение надежды, помыслы и устремления простых людей Индии.

На митинге выступили также президент «Индийской ассоциации народного театра» поэт Кайфи Азми, главный редактор выходящего на урду еженедельника «Сиясат» («Политика») Абид Али Хан.

В заключение празднеств состоялся концерт, в котором приняли участие лучшие артисты Хайдарабада. Известная певица Шарада Редди исполнила песни Мохиуддина в переводе на язык телугу.

Делийское издательство «Пиплз паблишинг хаус» выпустило к юбилею сборник его стихов, набранных графикой деванагари.

Испания

БУНЮЭЛЬ, ДАЛИ, ЛОРКА

Одна из самых престижных литературных премий страны «Эспехо де Эспанья» за 1987 год присуждена Агустину Санчесу Видалю за книгу «Бунюэль, Лорка, Дали: загадка без конца». О книге-лауреате и ее авторе рассказывает газета «Паис».

История взаимоотношений трех выдающихся представителей испанской культуры XX века, отмечает газета, в последнее время привлекает пристальное внимание исследователей. Недавно в Париже была проведена международная научная конференция на эту тему. А. Санчес Видаль, пишет «Паис», поставил перед собой задачу тщательно проанализировать, каким образом дружба, связывавшая в определенные годы Луиса Бунюэля, Федерико Гарсиа Лорку и Сальвадора Дали, отразилась на их художественной эволюции. Естественно, наиболее подробно в книге рассказывается о периоде, когда все трое вместе жили и учились в Студенческой резиденции — уникальном заведении, ставшем оплотом свободного образования в Испании. Под крышей Студенческой резиденции собрались бунтарски настроенные молодые поэты и художник, она превратилась в центр новой культуры и оказала сильнейшее влияние на формирование нескольких поколений испанской интеллигенции.

Точкой опоры в размышлениях о творчестве трех великих испанцев, в оценке вклада, который они внесли в развитие не только национального, но и мирового искусства, А. Санчес Видаль делает сюрреализм. Он детально прослеживает, как по-разному складывались отношения Л. Бунюэля, С. Дали и Ф. Гарсиа Лорки с этим течением, пытается вскрыть причины их позднейших эстетических и идейных расхождений.

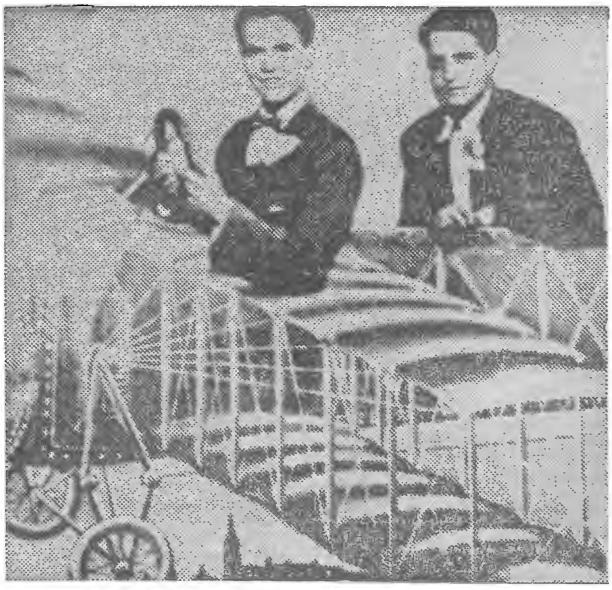
Бесспорное достоинство книги, считает «Паис», состоит и в том, что на ее страницах впервые публикуется целый ряд интереснейших документов и материалов (например, те, что касаются совместной работы Л. Бунюэля и С. Дали над фильмами «Андалузский пес» и «Золотой век»). «Это сотрудничество,— говорит А. Санчес Видаль,— имело гораздо большее значение для их дальнейшей творческой судьбы, чем ранее принято было считать».

По мнению жюри конкурса «Эспехо де Эспанья», книга «Бунюэль, Лорка, Дали: загадка без конца» представляет собой серьезное научное исследование. Однако от большинства академических работ ее отличает то, что она адресована самому широкому читателю, и поэтому, полагает «Паис», ее несомненно ждет успех как в Испании, так и за ее пределами.

Агустин Санчес Видаль, сообщает газета, преподает литературу в Сарагосском университете. В свои 39 лет он уже является автором 12 книг. Его творческие интересы разнообразны: испанская поэзия 20—30-х годов нашего века, сюрреализм в живописи, кинематографе и литературе, история поп-музыки. Хорошо известны специалистам его монографии «Литературные произведения Бунюэля» и «Луис Бунюэль и кинематограф».

Федерико Гарсиа Лорка и Луис Бунюэль.

(Журнал «Магазин литтерер»)



Италия

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС» И... КОМПЬЮТЕР

«Я ездила провожать его и только что вернулась из аэропорта, — рассказывает матери по телефону молодая женщина.— Он рыдал, казнил себя и признался мне, что любит другую... Не знаю, кто из нас двоих был несчастнее в тот миг». Неожиданный, удивительно современный поворот событиям знаменитой пьесы Жана Кокто «Человеческий голос» (см. «ИЛ», 1971, № 6) дал в ее новой экранной версии известный итальянский режиссер Франческо Мазелли.

Роль «брошенной возлюбленной», красавицы Анны в фильме «Личный код» исполняет Орнелла Мути. Работать актрисе было нелегко, замечает обозреватель журнала «Панорама» Энрико Магрелли,— ее предшественницей в создании этого образа была великая Анна Маньяни. Однако, по мнению постановщика, О. Мути блестяще справилась со столь сложной задачей благодаря прекрасной актерской школе, умению тонко передать смятение человеческого сердца, а также способности подчинить собственное дарование общему замыслу фильма.

От сюжета Кокто у Мазелли осталась лишь общая канва, продолжает обозреватель. Главный герой картины, бывший возлюбленный Анны, привык работать с компьютером и записывать на его дискеты свои потаенные мысли, поверять ему свои чувства, даже в самолете, во время сильной воздушной качки, ведь «это — его дневник, его отдушина». Герой пользуется секретным, никому не известным «личным кодом» и смело рисует «портрет своей души», не беспокоясь о сбросе памяти.

Компьютер волею случая попадает к Анне, она готова внимать дорогим ей записям... Но неожиданно для себя самой Анна открывает тайну «личного кода», ей становятся доступны «приметы прошлого, вся история их любви, заключенная в файле компьютера». Увидев себя самое, свои поступки глазами прежнего возлюбленного, Анна разом излечивается от мук: «безраздельное обожание сменяется в ее сердце резким неприятием его человеческой натуры».

«Наш фильм — вовсе не сентиментальный детектив,—

Орнелла Мути в фильме «Личный код».

(Журнал «Панорама»)

сказал Ф. Мазелли в интервью журналу «Панорама»,— это серьезное, драматическое киноповествование, и игра Орнеллы Мути проникнута именно тем трагизмом, которого достойна судьба ее героини».

НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ УНГАРЕТТИ

В газете «Унита» опубликована большая статья известного поэта Эдоардо Сангуинети о поэзии Джузеппе Унгаретти (см. «ИЛ», 1988, № 3). Исследуя влияние творчества мастера на сегодняшний литературный процесс Италии, Сангуинети замечает: «Унгаретти был на протяжении полувека крупнейшей фигурой в итальянской поэзии. С одной стороны, он отверг излишнюю красноречивость Д'Аннунцио, с другой — так же решительно отбросил и новую выспренность футуристов». Для Унгаретти быть поэтом означало главным образом «сознавать свою индивидуальность», ощущать себя «существом, которому суждено испытать все муки жизни и неизбежность смерти».

Отсюда тянутся прямые нити к концепции поэтического языка. Унгаретти писал, что итальянский язык, в отличие от других, родился как «язык универсальный», ибо в нем и «форма слова — это реальность, единственная в мире конкретная реальность... Только эта реальность и заставила человека поверить, что он может творить, подобно Богу».

Э. Сангуинети полагает, что сегодня в Италии читатели в основном «бесстрастно-равнодушны и невнимательны» к Унгаретти. Возможно, ошибочной была его теория «магистрального направления» в итальянской поэзии, этапы которого определяло творчество таких мастеров, как Петрарка, Микеланджело, Тассо и Леопарди: прошлое, считал Унгаретти, оживает лишь в разрывах, разломах времени.

На той же странице газета «Унита» публикует ранее неизвестное стихотворение Унгаретти «Греция, 1970». Оно написано поэтом за четыре месяца до смерти и посвящено любимой им стране, томящейся под гнетом «черных полковников».

Чем назвать тебя, Греция,—
Не норою безумцев?
Где твоя соразмерность?
Афины
Мои, Афины очей
распахнутых,
Разве не тут всех,
взыскавших
Человечности,
распахивались
Очи?
А теперь ты
в чудовищности
Слепнешь? Кто довел тебя
до этого?
Что за чудища?

(Перевод Гарио Дзаппи)

Журналисту Дарио Микакки Унгаретти говорил, что этим стихотворением хотел бы призвать молодежь «забыть о страхе»: «Страх — это состояние, которое приводит к наихудшим последствиям. Когда в душах поселяется страх, народ теряет свое достоинство. Страшитесь страха».

Колумбия

ГАРСИА МАРКЕС О ЛЮБВИ И О СЕБЕ

Газета «Интернэшнл геральд трибюн» опубликовала интервью обозревателя Марлиз Саймонс с Габриэлем Гарсиа Маркесом, которому исполнилось 60 лет.

«Сейчас, — признается писатель, — моя жизнь как никогда интересна и насыщенна, я полон сил и энергии». Действительно, отмечает обозреватель, Гарсиа Маркес много и плодотворно работает: руководит созданным им Латиноамериканским институтом кинематографии, где занимается и преподавательской деятельностью, пишет сценарии для фильмов и театральных постановок, трудится над новыми книгами.

Среди тем в произведениях Г. Маркеса, по наблюдению М. Саймонс, две — любовь и стихийные бедствия — вызывают постоянное и особое внимание писателя. Обе темы представлены и в последнем романе «Любовь во время чумы». Сам автор так объясняет свой интерес к этим явлениям: «Со временем я понял, что чувства и переживания, жизнь души в конце концов и есть самое главное. Любовь присутствует всюду: в некотором роде все мои книги — о любви. А стихийные бедствия всегда волновали меня. В них таится непостижимая опасность, завораживающая людей, и обреченность. Я вот что заметил: большие бедствия всегда вызывают у людей обострение чувств и страстное желание жить».

Говоря о сюжетах своих произведений и прототипах героев, Гарсиа Маркес подчеркивает, что и то и другое он неизменно берет из жизни. Так, сюжет романа «Любовь во время чумы» появился в результате творческого синтеза двух жизненных ситуаций: истории любви родителей самого писателя и случая, о котором он узнал из газет: двое немолодых уже людей, имевших семьи, оставались преданными первому чувству, и тайна этой романтической любви открылась лишь из-за их трагической гибели...

Гарсиа Маркеса волнуют судьбы народов Латинской Америки, и здесь, как отмечает М. Саймонс, его взгляды близки идеям Симона Боливара. Эта яркая, героическая личность, по признанию писателя, поразила его

и вызвала желание воссоздать образ «неистового латиноамериканца». Так возник замысел романа «Боливар», работа над которым близится к завершению.

«Ну, а потом начну мемуары, — сказал в заключение Гарсиа Маркес. — К ним обычно приступают, когда уже ничего не помнят. Я же буду писать медленно и постепенно, а публиковать по частям — по 400-страничному тому. Всего, думаю, их получится шесть».

Норвегия

«МОЙ ОТЕЦ КНУТ ГАМСУН»

Крупнейшее норвежское издательство «Гюльдендаль» выпустило в свет новым изданием книгу Туре Гамсуна «Мой отец Кнут Гамсун» (впервые книга вышла в свет в 1952 году, в год смерти писателя).

«Книга Туре Гамсуна — основополагающий биографический труд о Гамсуне, и она не может не служить фундаментом для всех других биографий писателя. Книга эта основательная, поразительно объективная, теплота и искренность рассказа сына об отце достойны восхищения»,— таково мнение обозревателя газеты «Нашунен».

В новом издании книга расширена и переработана автором, в нее вошли некоторые неизвестные ранее материалы, в частности переписка с выдающимся норвежским художником Эдвардом Мунком. В новом послесловии к книге, написанном в 1987 году, Туре Гамсун рассказывает: «Я стремился постичь его художественные цели, его неодолимое стремление к красоте, его духовную

Кнут Гамсун. Фотография 1890 г.

Кнут Гамсун. Фотография 1950 г.

мощь, его любовь к великому и малому». Говорит Туре Гамсун и о «связи, родстве между ним и русскими, нерасторжимой связи», упоминает он и о той радости, которую испытал Гамсун, когда впервые увидел русский перевод своего романа «Голод».

Туре Гамсун — по профессии художник, но в 1984 году он дебютировал в прозе романом «Человек с моря». Глазами своего героя, тоже художника, оказавшегося в прошлом, Т. Гамсун видит, какие умонастроения и идеологические основы жизни кайзеровской Германии привели позднее к возникновению гитлеровского фашизма.

В настоящее время, отмечает норвежская пресса, интерес к личности Кнута Гамсуна и его творчеству растет. В Национальном театре в Осло идет его пьеса «В когтях у жизни», там же осуществлена сценическая постановка автобиографических эссе писателя «На заросших тропинках» (1946—1948). Готовится спектакль «Игра жизни», ведется работа над пьесой известного норвежского драматурга Гкермуда Скагестода, посвященной Кнуту Гамсуну и его жене Марии.

Польша

«БЕСЫ» НА КИНОЭКРАНЕ

В начале фильма юродивый бежит по березовой роще. В конце фильма бунтовщики, убийцы и старый либерал — после пожара — бегут на пароход, у парохода они останавливаются, бормочут строки Евангелия от Луки. Эти кадры обрамляют кинорассказ Анджея Вайды о деятельности одной нигилистской группы в России в начале 1870-х годов, киноповествования, в основу которого положен роман Ф. М. Достоевского «Бесы», сообщает обозреватель французского журнала «Экспресс».

Польский режиссер еще в 27-летнем возрасте, отмечает критик, «открыл» знаменитый роман Достоевского и с тех пор вот уже несколько десятилетий испытывает на себе воздействие чар этого произведения. А. Вайда много раз осуществлял сценическую постановку романа, но фильм по нему удалось снять только сейчас.

Румыния

«ПЕТЕРБУРГ — ПЕТРОГРАД — ЛЕНИНГРАД»

Специальный выпуск журнала «Секолул 20», посвященный «Северной Пальмире», мог бы иметь подзаголовок «История культуры в одном городе», пишет обозреватель газеты «Ромыния литерарэ».

Материалы номера, поражающие своим богатством и разнообразием, сгруппированы по нескольким разделам. В один из них — «История и миф» — вошли, в частности, публикации стихотворений И. Анненского, О. Мандельштама, А. Белого, И. Бродского, фрагменты поэмы А. Блока «Возмездие», «Поэмы без героя» А. Ахматовой, здесь же помещена ее статья «Смерть Пушкина», дневниковые записи современницы и друга поэта Д. Ф. Фикельмон. Истории возникновения города на Неве, комментирует обозреватель, посвящены главы из романа Д. Мережковского «Христос и Антихрист», сопровождаемые статьей А. Белого о писателе, статьи Нины Каухчишвили «Архитектор царя — Джакомо Кваренги», Этторе Ло Гатто «Миф Петербурга». Переходом к рассказу о Петербурге Достоевского послужила его знаменитая «Речь о Пушкине». Вслед за нею идут заметки Генриха Бёлля о городе, где творил великий русский прозаик, Витторио Страды — о проблемах его творчества, Вячеслава Иванова — о «Преступлении и наказании».

Другой раздел — «История и документ» — включает прозу Ю. Трифонова (отрывок из романа «Нетерпение»), воспоминания М. Волошина, неопубликованные заметки дочери Вяч. Ив. Иванова, Лидии Ивановой, «Башня». «Под знаком революции» родились, по мнению создателей номера, статья А. Блока «Интеллигенция и революция» и очерк Н. Д. Кочи «Ленин», напечатанный в 1919 году в журнале «Кемаря» («Призыв»).

О месте романа А. Белого «Петербург» в истории литературы идет речь в комментариях Р. Казари и Дж. П. Пиретто к образной системе романа и в главе из «Освещенных окон» В. Каверина.

Статья видного слависта Татьяны Николеску, принявшей особо деятельное участие в подготовке номера, открывает румынскому читателю «фантастический мир Ремизова». «Причудливое видение» Ремизова предстает перед ним в отрывке из романа «Крестовые сестры».

О феномене «Мира искусства» и сезонах «русского балета» повествуют мемуары М. Добужинского, секретаря С. Дягилева Бориса Кохно, с которыми перекликаются заметки Г. Улановой о театре имени Кирова, Е. Азерниковой — о Ленинградском ТЮЗе. Д. Хэулиэ — о хореографе Борисе Эйфмане. Трагической нотой военного времени звучит глава из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина.

В небольшой по объему рецензии, сетует обозреватель газеты «Ромыния литерарэ», трудно перечислить все находки, которыми порадовал на этот раз румынскую читающую публику «Секолул 20». Однако хочется еще отметить пеструю, сверкающую мозаику наблюдений «из жизни северной столицы» XVIII—XX веков — страницы принадлежащие перу Ф Дэшвуда, Д. Маккензи Уоллеса, Артура Рэнсома (Великобритания), Л. Ф. де Сегюра, г-жи де Сталь, Ж. де Местра, А. Дюма-отца, Т. Готье (Франция), Р. М. Рильке (Австрия).

Петр I. Офорт В. Боброва.

(Журнал «Секолул 20»)

США

НОВАЯ ПОСТАНОВКА «ВИШНЕВОГО САДА»

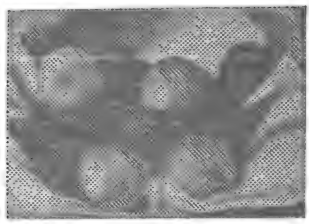
Пока в Нью-Йорке с большим успехом шел спектакль «Махабхарата» — сценическая обработка знаменитого индийского эпоса, осуществленная Питером Бруком, — выдающийся английский режиссер готовился поразить американских зрителей новой премьерой, сообщает обозреватель журнала «Плейз энд плейерз». В Бруклине Питер Брук собирается во второй раз поставить «Вишневый сад» А. П. Чехова. Уже распределение ролей в пьесе стало своего рода сенсацией. Раневскую будет играть Наташа Перри, жена Питера Брука, — несколько лет она исполняла эту роль на парижской сцене. Гаева сыграет Эрланд Йозефсон, известный зрителям по фильмам Ингмара Бергмана. Роль Ани исполнит дочь Артура Миллера, Дуняши — дочь Нормана Мейлера.

«АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»

В Национальной галерее (Вашингтон) прошла выставка картин крупнейшей американской художницы Джорджии О'Кифф, посвященная 100-летию со дня ее рождения. Эта экспозиция с самых ранних полотен, датированных 1916 годом, до картин 60-х годов еще раз показала «ясность и силу творчества» художницы, его неповторимую образность. пишет на страницах еженедельника «Ньюсуик» критик Дженет Хобхаус.

В живописи Джорджии О'Кифф ярко отразилось своеобразие ее внутреннего мира, ее незаурядной личности. Успех и признание пришли к ней рано, сразу после первой персональной выставки в 1917 году, и неизменно сопутствовали ей. Одно время она учительствовала в Техасе, затем вышла замуж за фотографа Альфреда Штиглица и всецело посвятила себя искусству. О'Кифф была настоящей отшельницей: живя в пустыне в штате Нью-Мексико, она создавала свои произведения, черпая вдохновение в окружавшей ее природе. Джорджия О'Кифф считала, что «любой художник, особенно женщина-художница, должен страдать или по крайней мере жить вдали от источников обычного человеческого счастья», отмечает рецензент. В одном из писем 1952 года художница признавалась: «Когда я остаюсь наедине с землей и небом, то чувствую, что сливаюсь с бесконечностью и неизвестностью, и это дает мне больше, чем любая официальная религия».

Восторг О'Кифф перед природой, ветром, огнем и дождем особенно ощутим в



Джорджия О'Кифф. Сливы (1920).

(Журнал «Тайм»)

живописи раннего периода, в фантастических, радужных сочетаниях цветов и оттенков. Когда в 20-е годы художница обратилась к более «реалистичным» объектам, то и здесь проявилась ее удивительная страсть к природе. Привычные и знакомые предметы — фрукты, водоросли, ракушки, камни и цветы — предстают в качестве полных тайны и символики видений. Таково, например, известное полотно «Сливы» (1920).

Страстное, эротичное восприятие цветов и фруктов сближает Джорджию О'Кифф с ее современником, известным английским писателем Д. Г. Лоуренсом, отмечает Дженет Хобхаус.

«Ее творчество — это полурелигиозное самовыражение личности, оно стоит вне критики»,— пишет рецензент. А по словам видного искусствоведа Генри Макбрайда, искусство Джорджии О'Кифф — художницы, ставшей «американской легендой»,— это «нечто меньшее и нечто большее чем просто живопись».

АЛЕКСАНДР ГРИН — «ЗАБЫТЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ»

Недавно издательство «Ардис» представило читателям сборник рассказов русского писателя Александра Грина в переводе на английский. Как отмечает в предисловии к этой книге ее составитель и переводчик Николас Люкер, «это самый большой по объему сборник рассказов Грина на английском». А рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Харлоу Робинсон напоминает и о других попытках познакомить американцев и англичан с чарующей прозой «забытого мечтателя» — это подготовленное на английском языке советским издательством «Прогресс» в 1981 году «Избранное». куда вошли не только рассказы, но и знаменитая феерия «Алые паруса», дважды выходившая в США отдельным изданием.

Творчество Александра Грина, этого «самого нерусского из русских писателей», талантливого последователя западных мастеров приключенческого жанра — Стивенсона, Майн Рида, Брет Гарта, — как ни странно малоизвестно за рубежом, даже среди изучающих русскую литературу студентов, пишет рецензент. А между тем «Алые паруса» для

Александр Грин.

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

русского — то же, что, например, «Остров сокровищ» для американца или англичанина, и одно упоминание об этой книге, замечает Х. Робинсон, вызывает мечтательную улыбку у русского собеседника, будит воспоминания о юности. В мире, рожденном фантазией Грина, полным-полно чудес, но творят их не волшебники, а простые люди, способные не только мечтать, но и в жизни следовать мечте.

В новый сборник включено двадцать рассказов писателя, относящихся к разным этапам его творчества, — от рассказа «Апельсины» (1907), в котором отражен опыт революционной деятельности А. С. Гриневского, до современно звучащей притчи «Зеленая лампа» (1930). Положительно оценивая перевод рассказов — плод долгой, кропотливой работы Н. Люкера, рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» считает, что одной добротности перевода, вероятно, все же недостаточно для того, чтобы герои Грина «ожили» и стали близки сегодняшнему читателю: «Книги Грина требуют от переводчика богатой фантазии».

Уругвай

ПЕРВЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЛОВАРЬ

Как сообщает корреспондент журнала «Каса де лас Америкас», в Уругвае вышел из печати первый в истории страны энциклопедический словарь «Уругвайская литература». Издание, состоящее из двух томов, содержит сведения о творчестве почти пятисот авторов.

Создание словаря было предпринято по инициативе известного уругвайского писателя Марио Бенедетти. Составитель словаря, видный литературный критик Вильфредо Пенко, начал работать над ним еще в годы засилья режима военной хунты, однако вынужден был прервать свой труд: любые публикации о творчестве находившихся в изгнании прогрессивных писателей преследовались военной диктатурой. Лишь после 1985 года В. Пенко получил возможность не только возобновить работу, но активно продолжить ее: образовался авторский коллектив, в который вошли, в частности, писатели Оскар Брандо и Каролина Бликсен.

По мнению уругвайского прозаика и критика Хосе Педро Диаса, долгожданное издание словаря по достоинству оценено литераторами страны.

Франция

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА БУНИНА

Восторженно встретила парижская пресса выход в свет книги И. А. Бунина «Темные аллеи» (1946) во французском переводе (издательство «Л'аж д'ом»), выполненном молодыми русистами Ж.-Л. Гёстером и Ф. Лораном.

В этом сборнике новелл, по определению известного литературоведа Кристиана Муза, писатель «воссоздает образ прежней, старой России при помощи одних лишь слов, и впечатление наше тем глубже, чем глубже для Бунина боль разлуки с родиной и одновременно — счастье нового, неизменного ее обретения, мысленного возвращения в ее пределы». Крупнейший прозаик, первый русский лауреат Нобелевской премии (1933), Бунин по праву гордился блестящим знанием народной жизни, мельчайших деталей и примет ее уклада. «Если бы я... Русь не любил, не видал, из-за чего же бы так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто?» — вспоминал он в 30-е годы, уже будучи на чужбине.

«Темные аллеи» — последняя книга «парижского изгнанника, снедаемого тоской по родине», продолжает на страницах журнала «Кензен литтерер» К. Муз. В ней явственна и безысходная дума об ушедшей России, и безнадежный, отчаянный призыв к высокой любви. О земной и прекрасной любви повествует каждая строка бунинского сборника: в нем, пишет обозреватель журнала «Магазин литтерер», «безраздельно царит Эрос...». Богатая гамма оттенков этого чувства, от всепоглощающей страсти до тихого преклонения, с удивительным мастерством передана писателем в рассказах «Степа», «Чистый понедельник», «Руся», «Натали», «В Париже», «Качели», «Генрих» и других.

Любовь у героев Бунина — «последнего русского реалиста» — всегда коротка, подобно вспышке молнии, всегда мучительна, ибо бросает вызов судьбе, продолжает Кристиан Муз. В этом состоит «преступление», и так же многолико неотвратимое наказание — смерть, одиночество, отрешенность от жизни духа, от Бога. Книга Ивана Бунина, которую он считал своим лучшим произведением, проникнута, по меткому слову К. Муза, «некоей лирической антилиричностью, очарованием живописного полотна, привлекающего именно четкостью красок и линий». Бунин, «певец материального абриса жизни, любви и смерти», умеет попасть в цель, назвать предмет или явление собственным именем, чтобы не дать ему исчезнуть, раствориться в бездне памяти.

Читая «Темные аллеи» сегодня, тонко подмечает К. Муз, мы ощущаем, как Бунин каждой новеллой бередит незажившую «рану разлуки с родной землей»,— он, «самый русский из всех писателей, лишившийся России».

«БАЛЕТНОЕ КРУЖЕВО» СЕРЖА ЛИФАРЯ

В «Опера де Пари» прошли великолепные спектакли, посвященные памяти известного французского хореографа Сержа Лифаря, сообщает журнал «Нувель обсерватёр». Этот праздник балета включал и три лучшие работы балетмейстера — «Икар» (1935), «Сюита в белых тонах» (1943) и «Миражи» (1944), он явился прекрасным, хотя и несколько запоздалым выражением признания и почитания, считает рецензент журнала Рафаэль де Гюбернатис.

Шарль Жюд в балете С. Лифаря «Икар».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Праздник начался величественным шествием двухсот танцовщиков и балерин — от корифеев и «звезд» балета до самых младших учеников — медленно, один за другим появлявшихся в торжественных белых одеяниях. Это шествие, пишет Рафаэль де Гюбернатис, «напоминало выход королевской свиты, поражающий одновременно величием и простотой». Продолжила это ослепительное представление «Сюита в белых тонах», где есть столь характерная для Лифаря легкость, а также тонкая гармония с музыкой Лало и где танцовщики плетут удивительное балетное кружево...»

По словам самого Лифаря, поистине «гениальные декорации» для его балетов создали Пикассо («Икар») и Кассандр («Миражи»). Как считает рецензент, в «Икаре» есть зародыш хореографического бунта («танец, вырвавшийся из-под власти музыки»), ибо здесь, по замыслу Лифаря, в основе всего лежит «лишь внутренний ритм тела», который в оркестре «ведут» ударные инструменты. Другой балет Лифаря такой же безукоризненной пластики — «Миражи» — еще раз ярко демонстрирует нам, как в танце языком образов можно выразить неотвратимость судьбы, тенью следующей за человеком, пишет в заключение «Нувель обсерватёр».

ПЕРВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ

По инициативе руководства Общества писателей Франции в Страсбурге прошел Первый фестиваль писателей Европы, в котором приняло участие 250 представителей из семнадцати стран. Организаторы фестиваля стремились доказать, что они мыслят категориями «общеевропейского дома». Социалистические страны здесь представляли Миклош Хубаи (Венгрия), Ежи Лисовски (Польша) и Богумил Грабал (Чехословакия). Миклош Хубаи, делясь своими впечатлениями от фестиваля с корреспондентом газеты «Непсабадшаг», сказал: «На первый взгляд между таким понятием, как работа писателя, и таким понятием как фестиваль, мало общего. Их соединение сулит рождение какого-то нелепого гибрида Однако страсбургская встреча, богатая событиями, была очень ко времени, да и место выбрали не случайно. Ведь расположенный на немецко-французской границе Страсбург на протяжении многих лет не раз становился яблоком раздора, а сегодня он стал символом международного сотрудничества. Писатели имели возможность встретиться здесь с прошлым Европы и обсудить проблемы, связанные с ее будущим».

В программу фестиваля входило представление книг отдельных писателей — Эрнста Юнгера, Фридриха Дюрренматта, Энтони Бёрджесса, Альберто Моравиа. Миклошу Хубаи было поручено вести вечер Фридриха Дюрренматта, творчеством которого венгерский критик занимается уже более 20 лет. Состоялись вечера национальной литературы представленных на фестивале стран Европы, встречи с французской молодежью, посещение уроков литературы в школах Страсбурга.

Большой интерес у участников фестиваля и у его гостей вызвала беседа по теме «Средняя Европа», которую провели Миклош Хубаи и Богумил Грабал. Как отметил М. Хубаи, интерес к ней был настолько велик, что беседу пришлось продолжить на следующий день, хотя это и не предусматривалось программой. На встрече речь шла о культуре стран дунайской долины, перспективах развития. «Употребляя понятие «две Европы», — говорит М. Хубаи, — я имел в виду то, что существует исторически традиционная Европа и некая Европа будущего. И точно так же, как неделима Европа прошлого, так неделима и Европа будущего, в противном случае понятие «европейская культура» утратит свой смысл. А мы, писатели, встретились в Страсбурге для того, чтобы сохранить эту культуру».

ФРГ

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

Роман «Краеведческий музей» (1978) многие считают «наиболее зрелой и наиболее тщательно написанной книгой Зигфрида Ленца», — пишет в журнале «Шпигель» критик Нико фон Фестенберг. Теперь на экраны вышел трехсерийный телефильм, снятый по мотивам романа кинорежиссером Эгоном Гюнтером.

В основе киноповествования — рассказ мастера-новровщика Зигмунта Рогаллы. Лежа на больничной койке, Рогалла пытается поведать юноше Гюнтеру о своей жизни в мазурском местечке Лукнове, хотя и чувствует, что Гюнтеру многое непонятно, да и не очень интересно.

Вместе с рассказчиком зритель погружается в безвозвратно ушедший мир, пишет рецензент. Первая часть называется «Прекрасные дни в Мазурах» и охватывает детство героя (здесь его роль играет Иржи Штрах), начало первой мировой войны, приход русских войск. Мы видим отца Зигмунта — Яна Рогаллу, деревенского «кудесника» в черном цилиндре, торгующего снадобьем, действие которого он испытывает на себе: дает гадюке укусить себя, а потом сам себя излечивает.

Вторая часть называется «Зигмунт и Эдит». Это годы ученичества героя (теперь его роль играет Хельмут Цирль) у загадочной ковровщицы Сони Турк: тогда же впервые возникает тема краеведческого музея. Образ Адама, создателя музея, в фильме несколько отличается от романного. У Ленца это был чудак, немного не от мира сего, роющий, как крот, мазурскую землю в поисках пушечных ядер или старинных боевых топоров. В фильме это крикун-националист, оканчивающий свои дни вдали от родины.

Создателей фильма вообще гораздо меньше, чем Ленца, заботит исторический анализ событий, замечает рецензент, «но от истории никуда не денешься».

Третья часть фильма называется «Расставание». Герой покидает родные места, которые после войны переходят к Польше. Впечатляюще описанный Ленцем хаос

Кадр из фильма Э. Гюнтера «Краеведческий музей».

(Журнал «Шпигель»)

последних дней войны в фильме подкреплен мелодраматическими эффектами: тут и вой ветра, и снежная метель. «В этом есть что-то от опер Вагнера», — полагает Н. фон Фестенберг. Повагнеровски выглядит и финал: Зигмунт Рогалла (в третьей части его роль играет известный актер Марио Адорф) сжигает себя и свой краеведческий музей, который он увез с собой в Шлезвиг-Гольштейн. «В огне гибнет история» — таков смысл кинематографически эффектной концовки.

Между тем главная мысль Ленца была совсем иной, считает критик. «Родину не сохранить в музее» — вот что хотел сказать автор. У Ленца герой сжигает музей, чтобы им не могли злоупотреблять идеологи реваншизма, сам же он получил ожоги лишь по случайности...

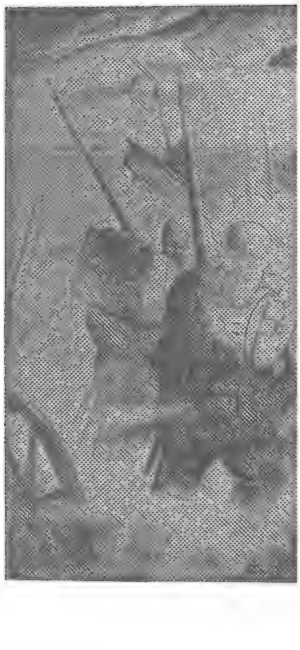
ВОЙНА И МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

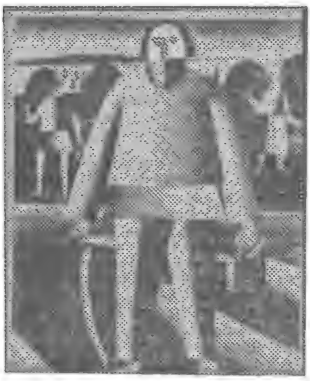
В залах гамбургского «Кунстхалле» состоялось открытие выставки под девизом «Ужас и надежда: как художники видят войну и мир», пишет журнал «Культурхроник». В экспозиции представлено около 300 произведений мастеров живописи, станковой и книжной графики, скульптуры XIX — XX вв. из частных и государственных собраний ФРГ и СССР. Наиболее значительными называет западногерманская пресса работы В. Кандинского, О. Дикса, К. Малевича, а также широко известную в Советском Союзе и за его пределами картину В. М. Васнецова «Витязь на распутье» (1882).

Каталог первой совместной выставки, рассказав-

Отто Дикс. Фрагмент триптиха «Война» (1929—1932).

(Журнал «Культурхроник»)





Казимир Малевич. Сенокос (1909).

(Журнал «Культурхроник»)

ший о 150 ее участниках, подготовлен директором «Кунстхалле» Вернером Хоффманом и директором Государственной Третьяковской галереи Ю. Королевым.

Шедевры вернисажа «Ужас и надежда...» позже были показаны в Баварии — Мюнхене, а в мае — июне нынешнего года москвичи увидели их в ГМИИ им. А. С. Пушкина, а ленинградцы — в Эрмитаже.

СПЕКТАКЛЬ ПО РОМАНУ БЁЛЛЯ

Мюнхенский театр «Каммершпиль» поставил спектакль по книге Генриха Бёлля «Женщины у берегов Рейна» (1986) — последнему произведению выдающегося западногерманского писателя. Режиссер спектакля Фолькер Шлёндорфф (он экранизировал и роман Бёлля «Утраченная честь Катарины Блюм»), не стал «театрализовать» этот «роман в диалогах и монологах», пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Рената Шостак.

В то же время Шлёндорффу удалось создать своеобразную сценическую интерпретацию, чуждую «внешнего реализма», отмечает рецензент. Спектакль сопровождается грустной музыкой, которую Вернер Хенце написал для фильма о Катарине Блюм, но лишь здесь она зазвучала по-настоящему ярко и в полном объеме. Оформила спектакль американская художница Дженнифер Барлетт. Массивные деревянные «тумбы», отдаленно напоминающие очертания домов, «символизируют то, от чего страдают герои Бёлля: окаменение сердец, господство дурного материализма, косность прошлого, которое не желает сдавать своих позиций».

Спектакль, как и книга, исполнен печали и горечи. Зритель видит «типичных» бёллевских героев: своенравных, но простодушных на вид женщин и честолюбивых карьеристов, политиканов и богачей, слишком банальных, чтобы счесть их мерзавцами... «Один из них умирает, другой становится министром, третий исчезает, прихватив с собой компрометирующие его документы, но всего этого мы на сцене не видим. Рассказывают об этом в основном мужчины, а женщины беспомощно слушают. Они обречены на пассивность и только мечтают куда-нибудь сбежать — на Кубу или в Никарагуа; кто-то топится в Рейне, кто-то вешается».

«Бёлль скептически относится к тому, что называется демократией, — продолжает Рената Шостак. — В пьесе немало острых, сатирических сцен, но это не холодная сатира. Господа, жадно рвущиеся к власти, озабоченные тем, как бы скрыть свое прошлое, — все-таки живые люди, а не марионетки. Шлёндорфф показывает, что и они нуждаются в сочувствии.

В заключение спектакля режиссер под аплодисменты публики ставит посреди сцены большую фотографию Генриха Бёлля и кланяется ему. «Глядя на печальное его лицо, чувствуешь, как нам сейчас не хватает этого человека», — с горечью замечает Рената Шостак.

Япония

СОЮЗ КАБУКИ, ШЕКСПИРА И РОКА

Восприимчивость древнего театра кабуки к новым формам поистине не имеет границ, полагает обозревательница еженедельника «Джапан таймс уикли» Дженелл Биддинджер. Недавно это вновь доказала труппа «Супер-итидза» из Нагая, поставившая в токийском «Тиэтр-Эппл» необычный спектакль, соединивший, казалось бы, несоединимое: традиционную игру актеров кабуки, шекспировскую драму и рок-музыку. «Король Лир» не первый эксперимент подобного рода, который проводит режиссер Синъити Ивана за десять лет существования «Супер-итидза». Традиционное нередко является самым что ни на есть передовым — так считает режиссер.

Ансамбль из четырех музыкантов в углу сцены играет рок, а тем временем на «ханамити» (сцену) выходят актеры в своих традиционных облачениях. Оказалось, что бешеный ритм рок-музыки как нельзя лучше подходит к шекспировскому накалу страстей.

Дженелл Биддинджер отмечает игру Томохико Хара, который блистательно исполняет сразу две роли — самого Лира и его врага Эдмунда. Постановка имела успех у публики, спектакли шли при переполненном зале. «Началом прекрасной дружбы» назвала Дж. Биддинджер союз кабуки. Шекспира и рока.

Авторы этого номера

ЖОАН УБАЛДО РИБЕЙРО (JOÃO UBALDO RIBEIRO; род. в 1941 г.) — бразильский писатель; профессор политических наук Федерального университета Баии, читал курс лекций в Южно-Калифорнийском университете (США). Автор романов «Нет печали в сентябре» («Setembro não tem sentido», 1968), «Вила-Реал» («Vila Real», 1979), «Да здравствует бразильский народ» («Viva o povo brasileiro», 1984), повести «Объездчик диких лошадей» («Vence-cavalo», 1971). Наибольшую известность получил роман «Сержант Жетулио», обличающий режим реакционной диктатуры, существовавший в Бразилии после переворота 1964 г. Роман печатается в журнальном варианте по изданию, вышедшему в Рио-де-Жанейро в 1983 г. («Sargento Getulio». Rio de Janeiro, Editora Artenova, 1983).
Вступление к роману написано для «Иностранной литературы» бразильским писателем Жоржи Амаду, лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

НОВИКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА — советский переводчик-искусствовед. В ее переводе публиковались произведения латиноамериканских писателей Хуана Рульфо (Мексика), Доры Алонсо (Куба), в «Иностранной литературе» — романы колумбийского писателя Альфонсо Лопеса Микельсена «Избранные» (1976, № 10), перуанского — Марио Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и писака» (1979, № 11—12), эквадорского — Альфонсо Барреры Вальверде «Унаследуешь неведомое море и незнакомые тебе языки» (1983, № 12), повесть колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Хроника объявленной смерти» (1981, № 12).

НГУЕН БИНЬ (NGUEN BÌNH; 1918—1966) — вьетнамский поэт и драматург. Автор многих сборников стихов, среди них: «Неверный шаг» (1940), «Тысяча окон» (1941), «Двенадцать причалов» (1942), «Старик точит меч» (1947), «Пишу жене на Юг» (1955), «Бьют барабаны в весенней ночи» (1958), «Наша с тобой верность» (1960), «Звездная ночь» (1962) и др.
Публикуемые стихи взяты из книги Нгуен Биня «Избранное», вышедшей в Ханое в издательстве «Ван хаун» в 1986 году. Его произведения переводятся на русский язык впервые.

ФОНЯКОВ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ (род. в 1935 г.)— советский поэт и публицист. Автор книг стихов: «Именем любви» (1957), «Стихи о моих товарищах» (1963), «Надежда» (1969), «Горсть» (1974), «Ткань» (1979), «Долгие мгновения» (1984), «На своей единственной земле» (1986) и др. Переводит стихи поэтов народов СССР и зарубежных, в том числе вьетнамских поэтов Те Ханя, Хоанг Минь Тяу, Фам Хо, Нгуен Зюя, Зьеп Минь Туйена и др. Неоднократно бывал во Вьетнаме, публиковал статьи и очерки об этой стране.

РОБЕР АНДРЕ (ROBERT ANDRÉ; род. в 1921 г.) — французский писатель, критик; доктор филологии, профессор, президент Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор романов «Упорное сражение» («Un combat opiniâtre», 1960), «Тщеславная память» («La memoire vaine», 1964), «Соблазнитель» («Le séducteur», 1972), «Простодушная страсть» («Une passion ingénue», 1980), «Прекрасная пора» («La belle saison», 1987) и других, а также работ о Бальзаке, Стендале, Достоевском. В «Иностранной литературе» напечатаны переводы его повестей «Взгляд египтянки» (1977, № 1), «Дитя — зеркало» (1981, № 6), статьи и выступления.
Статья «...Вчера и сегодня» получена от автора в рукописи.

ЖАН-ЛУ ТРАССАР (JEAN-LOUP TRASSARD; род. в 1933 г.) — французский писатель. Получил юридическое образование, публикуется с 1960 года. Автор книг рассказов и новелл «Дружба пчел» («L'amitié des abeilles», 1960), «Ржавчина в душе» («L'érosion intérieur», 1965), «Шерстяные слова» («Paroles de laine», 1969), «Водосбор» («L'ancolie», 1975), «Ручейки без имени и значения» («Des cours d'eau peu considérables», 1981).

БАЛАШОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА — советский литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Творчество Арагона» (1964), «Активность реализма. Литературно-критические дискуссии на Западе» (1982), «Французская поэзия XX века» (1982), «Эрве Базен и пути французского психологического романа» (1987) и многих статей в периодической печати, в том числе в «ИЛ».

ЕРОФЕЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1947 г.) — советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор многих статей по истории русской и западных литератур. В «ИЛ» напечатана его статья «Путешествие Селина на край ночи» (1986, № 11).

ЖЕЛИЦКИ БЕЛА ЙОЖЕФОВИЧ (род. в 1936 г.) — доктор исторических наук, переводчик с венгерского. Автор ряда книг и статей по истории Венгрии, в их числе монографии «Социалистическое рабочее движение в Венгрии (1873—1890)» (М., 1975), «Революционный путь Венгрии к социализму» (М., 1979), «Рабочий класс социалистической Венгрии (60-е — первая половина 70-х годов)» (М., 1984).

◆

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Повесть венгерского писателя КАРОЯ САКОНИ «Французская ферма». «Прочтите эту щемяще-печальную повесть,— пишет в своем вступлении Виктор Астафьев,— и, кроме всего прочего, поймете, что прошлая война обрекла на великие страдания, нечеловеческие мучения не один наш народ. Она была пагубна для всех, кто был ввергнут в ее бездонную пучину».

АРТУР ЛОНДОН. «Признание» — фрагменты автобиографической книги деятеля международного коммунистического движения, смещенного с поста заместителя министра иностранных дел Чехословакии и незаконно репрессированного, обнажают механизм фабрикации одного из самых громких процессов 50-х годов в странах народной демократии.

Публицистический очерк БОРИСА АСОЯНА «Принцип Додо» впервые в советской журналистике рассказывает о чудовищной, кровавой странице в истории современной Африки — годах диктатуры Иди Амина в Уганде.

Статья Г. ЧХАРТИШВИЛИ «Мученичество св. Себастьяна, или Завороженный смертью» — исследование эстетики саморазрушения в творчестве японского писателя Юкио Мисимы (1925—1970). Литературная иллюстрация к статье — новелла «Патриотизм», первая публикация Ю. МИСИМЫ на русском языке.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017. Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.06.88. Подписано в печать 16.08.88. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., 26,53 уч.-изд. л.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 2162.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Женщина с собакой

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394